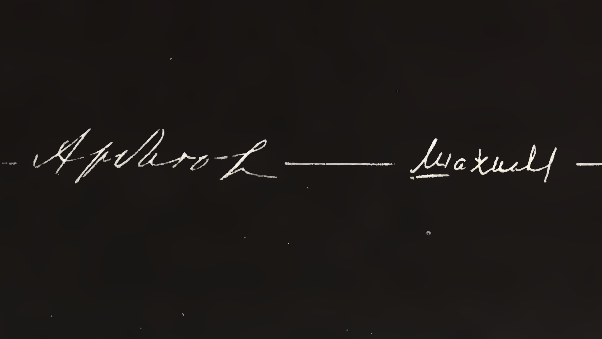
Федор
Бурлацкий

ВОЖДИ И СОВЕТНИКИ

О ХРУЩЕВЕ, АНДРОПОВЕ И НЕ ТОЛЬКО О НИХ...


Maxwell

Граммъ — Л. Делюсин.

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца,—
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.

ПУШКИН
Борис Годунов

Глава первая
ОТТЕПЕЛЬ

Глава вторая
АНДРОПОВ

Глава третья
СТАЛИН И ХРУЩЕВ

Глава четвертая
XX СЪЕЗД

Глава пятая
ТИТО И КАДАР

Глава шестая
ХОДЖА И СНОВА ТИТО

Глава седьмая
РЕФОРМАТОР

Глава восьмая
ЭЙЗЕНХАУЭР И КЕННЕДИ

Глава девятая
КАРИБСКИЙ КРИЗИС

Глава десятая
СОВЕТНИКИ

Глава одиннадцатая
БРЕЖНЕВ

Глава двенадцатая
ПОЗДНИЕ БОРЕНИЯ

Федор
Бурлацкий

ВОЖДИ И СОВЕТНИКИ

О ХРУЩЕВЕ, АНДРОПОВЕ И НЕ ТОЛЬКО О НИХ...

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 66.61(2)8
Б91

Бурлацкий Ф. М.

Б91 Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них...— М.: Политиздат, 1990.—384 с.: ил.

ISBN 5—250—00689—2

Новая книга известного учеиого, публициста, народного депутата СССР Ф. М. Бурлацкого не совсем обычиа. Это и суждеиия, и мемуары человека, на протяжеиии многих лет участвовавшего в политической жизни страны, когда протекала деятельность Н. С. Хрущева, Ю. В. Андропова, других руководителей партии и государства, а также их советников. Высказывая собственное мнение о серьезных практических акциях, об осуществленных и нереализоваиных идеях 60-х годов, автор приоткрывает и секреты «коридоров власти», где ему самому довелось бывать.

Книга адресована широкому читателю.

Б $\frac{0902020000-232}{079(02)-90}$ ББК 66.61(2)8

ISBN 5—250—00689—2

Памяти матери моей
посвящаю

Основной замысел этой книги — попытаться воссоздать политический, а в еще большей мере психологический портрет Хрущева, а также его окружения — я наблюдал их на протяжении многих лет. Готовя речи, а иногда выступая в качестве советника Хрущева, Андропова и других советских руководителей, я имел возможность видеть изнанку политической жизни. И поэтому меня больше всего занимают не сами события (они описаны давно и многократно), а политические нравы людей, возведенных случаем или ловкостью, правдами и неправдами на Олимп.

На протяжении почти пяти лет — с 1960 по 1964 год — я тесно соприкасался с Хрущевым, имел возможность слышать его выступления, высказывания в интимной обстановке, во время встреч с советскими и зарубежными политическими деятелями. Шесть раз мне довелось сопровождать его в поездках за границу.

Если искать аналог, то моя деятельность больше всего напоминала то, что делал Тед Соренсен для Джона Кеннеди. Подружились мы с Соренсеном во время международных конференций, посвященных карибскому кризису, и других встреч и с приятным удивлением выяснили, что по разные стороны океана делали примерно одну и ту же работу, испытывая, как ни странно, очень сходные чувства. И он, и я были, пожалуй, одними из наиболее либеральных ассистентов двух крупнейших лидеров, которые нашли в себе мудрость и мужество предотвратить сползание к термоядерной войне в период карибского кризиса.

Хрущев интересен сам по себе. Шутка ли, сын простого крестьянина, шахтер, обыкновенный слесарь, получивший самое минимальное образование — он до конца так и не научился писать без орфографических ошибок,— был вознесен на такую вершину власти. Обласканный Сталиным, он стал смелым и великим сокрушителем его культа.

Достигнув власти, держал в своих руках в период карибского кризиса судьбу каждого из нас, можно сказать, всего человечества.

Только богу в воображении наших предков принадлежало право судного дня, апокалипсиса. Но история любит парадоксы, если она вручила такую же власть простому русскому мужику из деревни Калиновки Курской области. Из забытой богом, бедной и несчастной России, истерзанной монгольским игом, жестокими царями, а в наше время — сталинизмом.

Молодому читателю трудно понять, что значат имя и эпоха Хрущева для нашего поколения советских людей, для тех, чья юность прошла во время ужасающей мировой войны и еще более страшного сталинского террора. Представьте себе на минуту многотысячную, многомиллионную массу людей, стоящих на коленях или распластанных на земле перед статуей идола. И вдруг нашелся Некто, который сказал: «Смотрите, это просто медный истукан, вылепленный вами самими и вами самими водруженный на высокий постамент». Сказал — и, накинув металлическую петлю на шею истукана, с помощью бульдозеров и танков сбросил его с пьедестала; так он был низвергнут не только в Москве, но и во многих столицах Восточной Европы.

Не менее интересна и эпоха Хрущева, так точно названная Ильей Эренбургом «оттепелью». Это один из самых важных и, быть может, самых непростых периодов истории Советского Союза, да и всего современного мира. Важных — потому что непосредственно перекликается с идущей сейчас в нашей стране перестройкой и первыми шагами демократизации. Непростых — потому что касается десятилетия, которое поначалу называлось «славным», а потом получило название «волюнтаризма и субъективизма».

То было время острых политических борений, ломки человеческих судеб. Хрущев нанес сокрушительный удар по культу Сталина, но рука его как бы остановилась перед грозной громадой сталинской системы. Тогда начался переход от «холодной войны» к мирному сосуществованию и заново было пробито окно в современный мир. Но дверь не открылась, и народ остался отрезанным от современной цивилизации. На том крутом изломе наше общество вдохнуло полной грудью воздух обновления и захлебнулось... то ли от избытка, то ли от нехватки кислорода.

Долго, очень долго об этих бурных годах в Советском Союзе не принято было говорить. Как будто чья-то рука

начисто вырвала целую главу из нашей летописи. Более двадцати лет лежало табу на самом имени Хрущева. Но жизнь взяла свое. Я, кажется, был первым, кто написал правду о Хрущеве в наше время, почти четверть века спустя после его падения. Вслед за этим хлынул целый поток описаний и воспоминаний.

В то же время эта книга — не мемуары в чистом виде. Свои личные наблюдения я дополнял сведениями, почерпнутыми из исторических документов хрущевской оттепели. И здесь я стремился больше описывать отношения между Хрущевым и другими советскими и иностранными деятелями — Тито и Карделем, Кадаром и Мао Цзэдуном, Эйзенхауэром и Кеннеди.

Я давно интересуюсь проблемами политического лидерства в нашем, таком величественном и таком трагическом современном мире. Я писал о Ленине и Сталине, Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине, Гитлере и Франко, о Джоне Кеннеди и других деятелях. И вот Хрущев — часть жизни нашего поколения, моей политической жизни...

С Хрущевым у меня связан особый интерес к тому феномену, который я называю авторитарно-патриархальной политической культурой. Быть может, одним из самых ярких ее выразителей был именно он, Никита Сергеевич,— сильная личность, едва затронутая цивилизацией...

Особую ценность для меня представляют мемуары Хрущева. Они важны как источник размышлений о судьбах нашей страны после сталинской эпохи. Прежде всего, потому, что они сделаны человеком, который сам был частью этой эпохи, но имел великое мужество отвергнуть ее. Затем, потому, что они сделаны человеком острого политического ума, чьи суждения сохраняют непреходящую значимость. Они важны и потому, что принадлежат деятелю, который всей душой жаждал благосостояния и мира советскому и всем другим народам.

Наконец, стиль мемуаров. Об этом можно было говорить много. В отличие от воспоминаний другого крупного деятеля XX века — Уинстона Черчилля, который продолжал отстаивать в них свою правоту и разделываться с противниками, мемуары Хрущева подкупают искренностью, простотой, исповедальным характером. По всему было видно, что к концу жизни этот незаурядный человек сам хотел понять, осмыслить прошлое и честно передать свое понимание потомкам. Ни тени самолюбования, кокетства, ни намека на выпячивание своей личной роли, ни капли стремления свалить свою вину на других.

Мы видим человека, глубоко погруженного в самого себя и события, в которых он участвовал, взвешивающего на весах старческой мудрости каждый шаг своей жизни. Спала шелуха самоуверенности, которая так мешала Хрущеву в последний период его деятельности. Отгорели страсти борьбы, отзвучали литавры аплодисментов, остался здравый смысл простого русского крестьянина. Очень достойный документ эти мемуары, и жаль, что они до сих пор целиком не опубликованы в советской печати!

Мемуары касаются различных сторон истории нашей страны и многогранной деятельности Хрущева. XX съезд партии и подготовка секретного доклада о Сталине, XXII съезд, вынос тела тирана. Убийство Кирова и уничтожение двух третей делегатов XVII съезда. Репрессии против военных, «дело» Кузнецова и Вознесенского. Война с Финляндией, договоры с Гитлером, Варшавское восстание, корейская война, смерть Сталина, арест Берии, берлинский и карибский кризисы, воспоминания о различных деятелях разных стран, встречи с учеными, интеллигенцией — словом, все или почти все важнейшие события с середины 30-х по середину 60-х годов, то есть за три десятилетия. Историки еще напишут свои исследования, связанные с тем, о чем повествуют мемуары.

Особое место в книге отводится Ю. В. Андропову. Объясняется это прежде всего тем, что я имел возможность почти пять лет, в сущности, ежедневно общаться с ним, поскольку работал под его руководством в отделе ЦК КПСС. Я стремился удовлетворить тот большой интерес, который имеется в нашем общественном мнении к этой незаурядной, хотя и противоречивой политической фигуре. В то же время я не ставил перед собой задачу дать его политический портрет, поскольку длительный период его деятельности на посту председателя КГБ СССР остается для нас до сих пор закрытым.

Эта книга не только о Хрущеве и его соратниках, а и о поколении XX съезда партии. Описание людей того поколения, их борений, сомнений, противоречий, их политической культуры представляет особый интерес сейчас. Это дает ключ к пониманию того, как была выстрадана нынешняя перестройка, какие она ставит цели и к чему может привести.

Я бы даже сказал, что больше думал о советниках, чем о вождях. Мне хотелось показать, как созревал процесс десталинизации в душах молодых людей, которых потом назвали детьми XX съезда. Пусть не сетует читатель, что

я пишу о себе, о своих поисках, мыслях и публикациях, о своих испытаниях, взлетах и падениях. Это объясняется, конечно, не тем, что мои мысли и чувства отличались какой-то уникальностью, напротив, я полагаю их типичными для нашего поколения. Я попросту лучше знаю то, что происходило со мной, чем с другими, которые сами напишут свои мемуары.

Собственно, это уже происходит. Опубликованы многочисленные воспоминания. Каждый пишет «со своего угла» — что видел, как понимал, а в общем постепенно складывается мозаичная и правдивая историческая картина хрущевской эпохи. Мне особенно импонируют публикации сына Хрущева — Сергея Никитича своей искренностью, честностью и простотой. Именно ему мы обязаны тем, что получили такой выдающийся документ, как мемуары Н. С. Хрущева.

Моя книга — одно из первых свидетельств человека, который не входил в высшую «обойму», а находился этажом ниже и располагал поэтому большими возможностями для критического отношения к руководителям.

Приводя выписки из документов и из статей того времени, я ставил целью дать информацию современным, особенно молодым участникам дискуссий и поисков новой модели цивилизованного демократического общества, о том, что было высказано и обдумано в 50—60-х годах и позабыто в 70 — начале 80-х. Что бы мы ни говорили, главное о Сталине и сталинизме было сказано уже тогда, в докладе Хрущева на XX съезде КПСС, в повести «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына, в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба», написанном в ту пору, в работах многих публицистов и политических писателей. Надо знать об этом, чтобы мысль не топталась на месте. Иными словами, сегодняшние революционеры должны опереться на вчерашних реформаторов.

В своих воспоминаниях я не придумал ни одного эпизода и ни одного героя — все это списано с подлинных событий и живых людей. Почти все мои герои выводятся под собственными фамилиями, и лишь в некоторых случаях я изменил этому правилу, чтобы не обидеть никого своими субъективными заметками. Я стремился быть абсолютно искренним и правдивым, в том числе и по отношению к самому себе, и надеюсь, что эта особенность моей книги, а не только описываемые в ней события, будет по достоинству оценена читателями.

Глава первая
ОТТЕПЕЛЬ

1

Подобно любимым мной английским романистам, начну свой рассказ с самого себя, не только для того, чтобы обрисовать фигуру автора, а чтобы читателю был яснее образ советника.

Не все знают, что хрущевская оттепель началась не в 1956 году, в период XX съезда партии, а сразу после смерти Сталина. Сама эта смерть потрясла до основания душу каждого человека в нашей стране, хотя и вызвала разные чувства. Ушло нечто, казавшееся незыблемым, вечным, бессмертным. Простая житейская мысль: умер человек, и тело покойного надо предать земле,— едва ли кому-либо приходила в голову. Нет, рухнул, обрушился институт власти, то, что лежало в самом фундаменте всего здания. Как теперь жить? Что произойдет с нами? Куда пойдет страна?

Помню траурное собрание в Мраморном зале Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте. Я работал тогда секретарем секции общественных наук редакционно-издательского совета, председателем которого был президент академии А. Н. Несмеянов. Александр Николаевич и открыл траурный митинг. Голосом, начисто лишенным эмоций, как бы отрешенным от всего земного, он сказал о кончине великого человека, руководителя партии и государства, выдающегося ученого. Потом он употребил формулу, которая сразу же врезалась в мое сознание: обеспечено бесперебойное руководство партией и страной во главе с верным учеником Ленина, соратником товарища Сталина Г. М. Маленковым. Бесперебойное... Там, наверху, тоже ощущали утрату какой-то главной опоры государства.

Из других выступавших мне запомнился академик Н. В. Цицин, сторонник Т. Д. Лысенко, близкого друга

Хрущева. Цицин плакал навзрыд на трибуне. Впрочем, плакали практически все. И у меня была влага в глазах из-за ощущения торжественности момента и какого-то неведомого мне дотоле чувства ожидания важных перемен.

Помнится еще, что, когда я вышел после митинга, я бросил случайному спутнику то ли серьезно, то ли иронически странную фразу: «Теперь остался лишь один живой классик — Мао Цзэдун. Надо срочно запасаться его произведениями». Я не знал, что двадцать лет спустя мне доведется опубликовать его биографию.

Во время похорон Сталина я попал на Трубную площадь, о которой вспоминали многие наши писатели. Однако попал я до того, как произошла давка и кровопролитие. Мы снимали комнату в Печатниковом переулке, неподалеку от Трубной. За несколько недель до кончины вождя родился наш первый сын, его простудили в родильном доме и выдворили через неделю, скрыв от нас, что он заболел двусторонним воспалением легких. С огромным трудом мы устроили его в Филатовскую больницу у площади Восстания. Шел я рано утром через Трубную не для того, чтобы хоронить Сталина, а чтобы спасать своего сына, шел в больницу. Я успел пройти между машинами в тот самый момент, когда они по чьему-то мудрому указанию перекрывали все проходы. Во время последовавшей давки на одной Трубной площади погибли десятки людей. Народ все еще продолжал платить кровавую дань тирану.

Я верю в генетику, в то, что большая часть нашего интеллекта и нравственного облика предопределена происхождением. Конечно, на каждого влияет среда, исторические обстоятельства и случай. Конечно, имеется немалый люфт, и ты можешь сделать свой выбор — профессиональный или политический. И все же очень трудно уйти от своей природы. Я, например, мечтал стать физиком, заниматься только наукой. Всю жизнь я больше всего любил писать и извел вагон бумаги. Но генетический код постепенно и неуклонно подталкивал меня шаг за шагом к роли политического советника. И это не просто судьба. Это пришло от родителей, а возможно, и более отдаленных предков. Да и характер я целиком получил от них.

Когда думаю о своей семье, я особенно ясно ощущаю, насколько она была типичным сколком всего нашего общества после революции. Мои родители представляли собой поразительный симбиоз двух культур или даже двух сословий, которые могли соединить свои жизни только

в обстановке переворота, перепахавшего до самой глубины всю общественную почву.

Мать моя родилась на Украине, неподалеку от Киева, в семье деревенского кузнеца. Я никогда не видел деда, он умер за несколько лет до моего рождения. Но, по описаниям, это был очень крепкий, даже могучий мужчина, который славился большим мастерством в кулачных драках во время деревенских сшибок, когда одно село шло на другое. Он отличался озорным нравом, острым языком и властным характером. В семье было восемь детей, и когда они садились за стол, никто не решался сунуть ложку в общую миску с кашей раньше отца. Нарушитель знал, что расправа будет быстрой и крайне болезненной. Мать нередко вспоминала, как дед высек ее вожжами за то, что она порвала единственное платье, сделав из него надувной шар, чтобы легче плавать в Днепре.

Двенадцати лет она ушла в Киев, «в люди». Служила нянькой в богатом доме, а потом, не поладив с хозяйкой, стала работать на фабрике. Здесь ее вовлекли в социал-демократический кружок, обучили грамоте и обострили до крайности классовые чувства, которые она и до этого питала к богатым и власть имущим. Восемнадцати лет она вступила в партию большевиков и стала участницей боевых отрядов, которые воевали с белыми. Во время польской кампании ее партизанский отряд пытался вести самостоятельные операции, но был полностью разгромлен. Спастись удалось, кажется, только матери, да и то только потому, что она до решающей стычки была отправлена в тифозный госпиталь в Киев в очень тяжелом состоянии.

Она часто рассказывала мне, как им пришлось отступать, а вернее, бежать из Киева. Всех больных и раненых подняли на ноги — а у нее тогда была температура выше сорока градусов,— и все, кто на костылях, а кто с поводырями, уходили своим ходом из города. Это сумасшедшее напряжение сил оказалось спасительным. Выйдя из стен госпиталя почти в бессознательном состоянии, мать уже на следующий день почувствовала себя лучше, а через неделю полностью оправилась от тяжелейшей болезни, которая скосила многих. Тут она попала в регулярную часть Красной Армии, где и встретилась с отцом. Эта встреча вряд ли была инспирирована кем-то на небесах. Скорее, это был результат ломки привычного уклада жизни миллионов людей, их передвижений с места на место, которыми изобиловала гражданская война.

Отец мой родился и вырос совсем в другой среде и об-

становке. Он происходил из семьи интеллигентов, вероятно, достаточно обеспеченных. Я не знаю подробностей о его родителях, потому что он не любил о них рассказывать, да и вообще не любил говорить со своими детьми. Но я сам пришел к такому выводу, поскольку только состоятельная семья могла дать ему возможность закончить в Петербурге классическую гимназию и два курса в консерватории. До конца своей жизни отец очень хорошо играл на пианино, скрипке, мандолине и других инструментах, хорошо, как мне казалось, профессионально исполнял арии из опер «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Фауст». У него был прекрасный тенор и абсолютный слух.

Уже в студенческие годы отец увлекся революцией, и это перечеркнуло его артистическую карьеру. Отец писал недурные стихи, тоже в классическом стиле, и занимался этим до конца своих дней. Я помню, как он в 1945 году вернулся из армии, седой как лунь, тяжко больной туберкулезом, но с ученической тетрадкой, исписанной стихами.

Так вот, во время гражданской войны вместе с 6-й армией, которая формировалась в Петрограде, отец попал на Украину и здесь-то встретился с моей матерью. В ту пору она, кажется, была уже медсестрой, хотя время от времени ее еще продолжали посылать в разведку. У матери долго хранился именной дамский пистолетик, который, если память мне не изменяет, она прятала где-то в волосах: они были у нее густые и длинные и закручивались на голове.

Если верить отцу, мать была очень хороша, и он влюбился в нее в той мере, в какой на это был способен человек, безмерно сосредоточенный на самом себе, на своих страстных мечтаниях о творчестве. Ну а мама полюбила его без памяти с самого начала и на всю жизнь, несмотря на драматизм окружающей обстановки — участие в боях, затем в продотрядах, потом работа в ЧК. Отец писал матери романтические стихи в стиле Надсона:

Помнишь ли ты море,
Тихий лепет волн,
Огонек, мерцавший
Где-то там вдали.
Лунное сиянье и
Волшебный челн,
На котором вместе
Мы с тобой плыли.
Помнишь ли скалу ты,
Что в море притаилась
В робком ожиданьи

Поцелуя бури,
Гордую ту чайку,
Что над нами взвилась,
Трепетно купаясь
В голубой лазури.
Мы тогда мечтали
Храм любви воздвигнуть,
Чистый и хрустальный,
Чудо красоты.
И в объятьях грезы
Так легко достигнуть
Неземного счастья,—
Помнишь это ты?

Мне сейчас даже трудно себе представить эту поразительную смесь тяжелого, нередко жестокого ратного труда и такой чистой романтики классического толка. Я понимаю, если бы отец писал рубленые стихи, подражая Маяковскому или Хлебникову.

Впрочем, многое из ощущений той эпохи осталось для меня неясным. Одно я знаю твердо — отец не был вполне счастлив. Мама отличалась твердым, авторитарным характером. Обо всем судила бескомпромиссно и в то, во что поверила однажды, верила всю жизнь, почти фанатично. Очень странно, но при всем этом она была остра на язык, бесконечно шутила, вышучивала себя и других, ну и, конечно, любила петь революционные песни. С детства мне больше всего запомнились «Вихри враждебные веют над нами» — песня, которую напевала мать, и «Паду ли я, стрелой пронзенный» — ария, которую многократно повторял отец своим прекрасным бархатистым тенором.

Отец так и не состоялся ни в одном виде творчества, хотя писал стихи, сочинил две пьесы, играл и пел. Но судьба так закрутила его, что он всю жизнь только мечтал о творческой биографии, а обрести ее не смог. Судьба часто перебрасывала его с места на место. И с раннего детства мне запомнились сплошные переезды.

Я даже успел захватить подлинный кусочек революционной романтики: отца направили как-то в конце 20-х годов парторгом в коммуну в Крыму. Коммуна была создана в основном эмигрантами, но организована была по последнему слову утопической техники. Полная общность имущества дополнялась общностью мужей и жен. В коммуне были только две семьи — председателя и наша, а остальные жили раздельно, в одном доме мужчины, в другом — женщины. А дети были, естественно, в садике. Мне было четыре года, и я тоже был в садике.

Отец и мать рано отошли от политики. Я не знаю, что здесь сыграло главную роль — большая семья или какие-то неудачи отца на этом поприще. Как человек неисправимо интеллигентный, мягкий и даже бесхарактерный, отец, наверно, не очень хорошо вписывался в образ партийного функционера 20-х годов. В конце концов жизнь бросила его на странное поприще — он стал ревизором финансовых органов. А мать — врачом. Хотя она практически нигде не училась: полгода в социал-демократическом кружке накануне революции и трехмесячные курсы медсестер в конце гражданской войны; тем не менее она считалась хорошим доктором. Ее интуиция, природная проницательность, а главное, фанатическая вера в себя производили магическое впечатление на пациентов. На моих глазах она, затрудняясь в диагнозе, выписывала безвредный салол с беладонной, и через два-три дня благодарный пациент возвращался к ней исцеленный, потрясенный быстрым эффектом.

Отец писал матери грустные строки:

...И, долго боровшись под флагом коммуны,
Случайно ты вышла из стройных рядов,
Но в жизни звучат еще прежние струны
Желаний, минувшего трепетный зов.

То, что мать и отец «вышли из стройных рядов», вероятно, спасло им жизнь в 30-х годах...

Но политика на всю жизнь осталась их любимым предметом. Особенно у матери. Для нее идеалы гражданской войны сохранились непоколебленными до самого конца жизни, хотя она видела, что многое складывалось не так, как думалось и мечталось в те времена.

В семье у нас было трое детей. У меня были старший брат и сестренка, моложе меня на два года. Ее звали Ларочка. Она была необыкновенно хороша — черноволосая, белолицая, с огромными синими глазами. Это была моя первая и, возможно, единственная любовь — любовь на всю жизнь.

Ларочка умерла, когда ей было одиннадцать лет, заболев скарлатиной, которая осложнилась менингитом. Помню, когда мать привезла ее из больницы, я увидел ее холодное, безжизненное, одеревеневшее тельце, упал перед ней на колени и долго бился, почти в конвульсиях. Потом мы вместе с братом выскочили на улицу и ходили под дождем, взявшись за руки, раздираемые рыданиями. Много десятилетий прошло, но я никак не мог оправиться

от этого удара. И только когда мне минуло сорок лет, я отправился в тот поселок, где похоронили Ларочку, и долго искал на кладбище ее могилку, но так и не нашел. Кладбище, правда, сохранилось, несмотря на бои, которые были неподалеку, а камня с надписью почему-то не оказалось. Я положил цветы на чью-то могилу, где не было надписи, и тогда только эта боль, которая жила все время в моей душе, отпустила меня...

Отец, кажется, был не очень привязан к семье. У него возобновился туберкулез, которым он заболел в гражданскую войну, и, наверное, он жил в постоянном страхе, поскольку в те времена эта болезнь считалась неизлечимой. Может быть, это объяснялось его общественными неудачами, а может, он страдал от властного характера матери. А может быть, потому, что мы были не очень похожи на него — отец был довольно высокий, худой, русоволосый, с небольшими серыми глазами, прямым и расширяющимся к ноздрям носом, тонкими губами, с огромным сократовским лбом. А мы пошли в мать или даже скорее в деда: широкоплечие, не очень высокие крепыши, со скуластыми лицами, карими глазами, черноволосые и такие же озорные, как дед. Брат, кстати, позаимствовал у деда драчливость. В школе он считался самым сильным парнем и, чуть что, пускал в ход кулаки. Так что мне в школе не приходилось драться: все боялись брата. Правда, и у меня после смерти Ларочки вдруг прорвалась страсть к дракам. Мама отправила меня в детский санаторий, и там я дрался почти каждый день: нервы были вздыблены и кожа до предела обнажена. Любой косой взгляд, любое слово могли вывести меня из себя. И позднее в трудные моменты жизни я нередко чувствовал, как «пепел деда», непокорного и драчливого, стучится в мое сердце... Впрочем, иной раз и слабохарактерность отца, его приверженность «служению» тоже, наверное, сказались на моей биографии.

К чему я вспоминаю обо всем этом? Я вовсе не думал так много рассказывать о себе. Но мне самому хотелось бы понять, была ли какая-то предназначенность в том, что я, помимо своего желания, попал в сферу высокой политики? И не только попал, но и полагал себя носителем какой-то пусть скромной, но необходимой миссии.

Это очень странное чувство. Много позднее я услышал о таком понятии, как «харизма», которой обладают некоторые политические деятели, способные поднять и повести за собой огромные массы. Это некая магия, быть может генетически присущая отдельным людям. Никто не знает

природы этого феномена. Люди, которые родились вожаками, лидерами, сами глубоко ощущают это в себе и такое же ощущение внушают окружающим. Собственно, подобное же явление было обнаружено потом учеными и исследователями в мире животных, в частности у обезьян, волков, мышей...

Я никогда не претендовал на роль лидера, но испытывал с ранних лет какое-то странное чувство предназначенности, особенности, непохожести, пожалуй, точнее всего это чувство передает слово «миссия»; почему-то я должен был выполнить какую-то миссию. Только вот какую, я по-настоящему не знал. Может быть, поэтому меня всегда считали высокомерным, хотя я сам полагал себя живым и веселым в общении, но по временам глубоко уходил в себя, охваченный предчувствиями, мечтаниями, неясным ощущением. То ли я должен был открыть, наконец, загадку и смысл существования человека на земле. То ли разгадать природу вечности и бесконечности, сама мысль о которых ужасно томила мою душу. То ли я должен сыграть какую-то политическую роль — я этого не знал. Но это чувство не покидало меня очень долго.

Теперь, когда я достиг уже более чем зрелого возраста, я думаю, что миссия моя была очень скромна. Можно считать ее уже завершенной, если я опишу то, что видел: людей, действительно наделенных харизмой. Я не более чем советник и инок. Как советник, я нередко проникаю в образ вождя, которому даю советы и за которого пишу тексты. Еще больше я — инок, который накапливает впечатления, впитывает их в себя, чтобы выплеснуть для потомков.

Да, я не сказал о своем образовании. А это тоже немаловажно. В школу я пошел шести лет. Случилось это так: я пришел, когда занятия были уже в разгаре, и на перемене вручил учительнице записку от матери. Мать писала, что мне нет еще семи лет, но я хорошо читаю, пишу, считаю и умножаю в уме, а дома за мной некому присматривать, так как она весь день на работе.

Мальчишки, которые уже успели сдружиться, набросились на новичка и образовали «кучу малу». Но на следующей перемене я взял реванш. Я встал на руки и пошел вокруг школы. Обошел ее раз, затем другой. Восхищение было всеобщим. Скоро я стал «первым учеником» и лучшим спортсменом.

Генетика баловала меня долгие годы. Видимо, дедуля мой здорово постарался. Мне все давалось очень легко —

и арифметика, и алгебра, и литература. Только иностранный язык шел хуже — не хватало терпения сосредоточиться на нем. И в спорте я быстро доходил до достаточно высокого предела. У меня было пять вторых разрядов, правда ни одного первого, поскольку я не сосредоточивался на каком-то одном виде спорта целиком. Может быть, поэтому и жизненная судьба моя сложилась таким же образом? Во многих сферах я достигал второго разряда. Но, кажется, нигде не суждено мне было стать первым...

Война. О войне я когда-нибудь расскажу особо, как я, подросток четырнадцати лет, воспринимал первые бомбежки. Я очень храбрился, вначале выходил прямо на дорогу, которую бомбили, демонстрируя свое бесстрашие. Первый страх меня настиг, когда бомбы действительно падали буквально в десяти шагах. Сумасшедший свист в ушах, чудовищный взрыв над головой — и я падаю, вскакиваю, обсыпанный землей, бегу и снова падаю, и снова бегу. Спасся я только чудом — рядом погибли многие.

Затем мы эвакуировались вместе с колхозниками, перегонявшими скот. Мать была медсестрой и поварихой. Отец, тот просто полеживал в телеге, натужно кашляя. А я гонял скот — коров, свиней и косяк лошадей. У меня была маленькая красная лошадка-двухлетка. И я сидел на ней как влитой. Скачка за лошадьми — это, кажется, самое незабываемое воспоминание военной поры. Было так вольготно, так смело, так стремительно.

С той поры осталось еще одно воспоминание, но совсем в другом роде. Приблудился к нам цыганенок, примерно моего возраста. Веселый, вертлявый и очень вредный. Он постоянно дразнил меня. Называл «большевичком», «комиссаром» и какими-то другими очень обидными прозвищами. Мне запомнился настоящий приступ бешенства, который я пережил, наверное, в первый и последний раз. Я сидел верхом на своей красной лошадке с батогом в руке, а цыганенок вертелся и кочевряжился передо мной, корчил рожи, дразня меня и хохоча во все горло. И тут на меня нахлынуло. Я стал хлестать его кнутом прямо с лошади. Он упал, я соскочил и бил его еще и еще. Вдруг меня резануло: я увидел ясно этот лежащий в пыли маленький комочек, терзаемый мною. Я бросил кнут и убежал в поле, вытирая слезы бешенства и болезненного сострадания. Эта история навсегда отвратила меня от драк, хотя пристрастие к честной борьбе осталось на всю жизнь.

Брат мой скоро ушел в армию, был он под Сталинградом и дошел до Польши. Вернулся инвалидом первой

группы — обмороженный, израненный. Мать ухаживала за ним, как за малым ребенком, и умерли они почти в одно время. Типичная судьба советской семьи...

2

Надо заметить, что я с юности не любил Сталина. Думаю, что этим я в большей степени обязан своей матери. Мать очень гордилась тем, что однажды Надежда Константиновна Крупская в своем выступлении на митинге в Киеве назвала ее в числе других первой ласточкой революции. Фанатично преданная революции, мать не понимала и не принимала того, что происходило при Сталине, хотя до конца жизни сохранила веру, что все это будет преодолено, что во всех революциях были свои изломы, изгибы, движение вспять, надо только набраться терпения и никогда не терять надежды.

Мать так и не объяснила мне, как отец и она на рубеже 30-х годов оказались вне партии, хотя состояли в ней с 1918—1919 годов. У меня отложилось смутное воспоминание о том, что отец принимал участие в партийных дискуссиях. Возможно, тогда он и был наказан, а мать вышла из партии «механически». Об этом я знаю точно, поскольку ей пришлось давать объяснения при новом вступлении в партию сразу после окончания Великой Отечественной войны, что она сделала под влиянием обычного тогда подъема патриотических чувств.

Родители назвали меня Федором не почему-нибудь, а в честь Фридриха Энгельса. Может быть, поэтому из двух наших классиков я всегда как-то больше был расположен к нему... Одной из песен, которые я слышал в детстве от матери, была «Наш паровоз, вперед лети!..». Строчки из нее я позднее включил в доклад Хрущева на XXII съезде КПСС. Они ему очень нравились. Одно поколение революционеров...

Родители постоянно переезжали с места на место, и я теперь понимаю, что отец опасался репрессий. В юности же мне об этом ничего не рассказывали. Мать не прямо, а исподволь воспитывала во мне восхищение героикой гражданской войны, всего ленинского периода нашей истории и критическое отношение к тому, что происходило в 30-х годах.

Однако подлинную школу политического созревания я прошел позднее. В 1950 году я приехал в Москву для

поступления в аспирантуру. Я должен был пробиться любой ценой, тем более что у меня не было ни рубля на обратную дорогу. Самоуверенный мальчик, попав на прием к ученому секретарю АН СССР В. П. Пешкову, физику по специальности, предложил: «Я окончил институт за два года. Мне нужен только один год в аспирантуре. Я обещаю защититься в этот срок. Вы же физик — поставьте на мне эксперимент». Василий Петрович посмеялся, и я получил разрешение на один год. И действительно защитился с опозданием всего лишь на день.

Так вот, во время пребывания в аспирантуре я познакомился с бывшим председателем то ли Ставропольского, то ли Ростовского Совета еще во время революции 1905 года со странной казачьей фамилией Герус. После поражения революции он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, там изучал английский язык. А вернувшись в Россию после Октября 1917 года, уже не участвовал в политической жизни. Лонгин Федорович преподавал английский язык в школе, однако по-прежнему интересовался всем, что происходило в партии и стране.

Жил Герус в маленькой комнатенке в общей квартире возле Красных ворот, где и отвел мне место на раскладушке. Три раза в день Лонгин Федорович кормил меня и себя гречневой кашей с молоком — на большее у нас не хватало. Не это было моей главной пищей.

У хозяина в его убого обставленной комнатенке стоял огромный книжный шкаф с политической литературой. Стенограммы всех съездов партии, запрещенные во всех библиотеках страны. Первое издание ленинских произведений с подробными комментариями, произведения Бухарина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Томского — словом, всех представителей ленинской гвардии.

Я читал это по ночам, при свече, устроившись в самом углу прямо на полу. Читал взахлеб, особенно стенограммы съездов конца 20-х годов, которые потрясали своими бурными страстями, разноголосицей мнений, острым предвидением будущего. До сих пор помню одну из речей Каменева, который прямо говорил о том, что складывается культ личности Сталина, режим его авторитарной власти и что дело идет к кровавым репрессиям внутри самой партии.

После этих ночных чтений я уже другими глазами перечитал материалы процессов 1936—1938 годов. Я был поражен, как могут другие не видеть, что все это чудовищная ложь с начала до конца. Меня удивляло, что даже та-

кой проницательный человек, как Лион Фейхтвангер, который присутствовал на одном из процессов, не сумел разглядеть истину, простую, как вода. Впрочем, он отметил такую странность: Радек, делая самые страшные саморазоблачения — о своей службе в царской охранке, о подготовке покушения на Ленина,— спокойно помешивал ложечкой в стакане с чаем... И все же Фейхтвангер дал обмануть себя.

Что там говорить, большой мастер режиссировал эти кровавые политические драмы, если человек, переживший фашизм, не смог чутким ухом уловить фальшь во всем оркестре. Уже тогда я пытался представить себе, какой ценой можно было добиваться подобных ошеломляющих результатов. Того, чтобы крупные политические деятели, прошедшие через царские тюрьмы и даже каторги, с такой покорностью агнцев, которых тащат к жертвенному камню, поливали себя и других мутной пеной изобличений, чтобы ни у кого из них не хватило мужества на процессе вставить хотя бы одно слово, которое показало бы присутствовавшим, что все это грубый и жестокий фарс. Как это могло быть? Пытки, истязания?.. Обещание жизни, сохранения безопасности семьи? Внушение мысли об исторической необходимости этой жестокой чистки? Уже тогда пришла мне в голову мысль о том, что это были просто спектакли с тщательно заученными речами и даже репликами. Спектакли, которые повторялись по нескольку раз, так что обвиняемые не знали, то ли это подлинный суд, то ли очередная репетиция.

Говорю обо всем этом, потому что впоследствии нередко читал и слышал, как многие наши писатели (например, Константин Симонов), ученые, люди постарше и поопытнее меня, оправдываясь, твердили одно и то же: мы-де слепо верили вождю. И не просто верили, но искренне преклонялись перед ним в своих поэтических и прозаических творениях. Не знаю, не очень доверяю — слишком выгодно было слыть сталинистами. Сколько себя помню, едва ли не с юности я испытывал глубокое отвращение к тому, что один человек определяет все: как нам жить, что делать и даже как думать. Меня возмущали и коленопреклоненные песнопения, и фальшивый ритуал популизма.

Читатель не поверит, но это правда: после моих ночных чтений мне нередко снилось, что я спорю со Сталиным, и все было очень четко, как в хорошем кино. Я обвинял его в преступлениях, я говорил ему о бедах народных,

о подавлении мысли, о воспитании рабской покорности. А он со своим характерным акцентом веско опровергал все это. Сейчас я думаю, что уже тогда я был травмирован политикой, она вошла не только в мое сознание, но и в подсознание. Кстати, мне впоследствии многократно снились сны, где я дискутировал с Хрущевым, или с Андроповым, или с другими деятелями. Странно, но факт. Может быть, так и формируется политический человек. Разнообразные впечатления, испытания и знания, переплетаясь, становятся его сущностью.

Надо сказать, что болтали мы в аспирантские годы с близкими друзьями о Сталине крайне неосторожно. И вот однажды меня и моего друга — Г. Х. Шахназарова, нынешнего президента Советской ассоциации политических наук,— пригласил в ресторан Дома журналиста С. А. Покровский, который работал в том секторе Института государства и права АН СССР, где мы учились в аспирантуре. Он завел разговор о Сталине. И я со свойственной мне опрометчивостью чуть было не нырнул в омут. Но тут мой друг толкнул меня ногой под столом и сказал шутливо: «Да о чем вы, Серафим Александрович, прекрасные шашлыки, вино, поговорим о женщинах». А тот снова за свое, я снова чуть не клюнул, а друг мой снова меня ногой толк. Так и не выудил из нас Покровский ожидаемого. Много лет спустя, когда выяснилось, что Покровский посадил таким путем несколько аспирантов (одного из них расстреляли), я понял, что друг спас мне жизнь...

Судьба самого Покровского весьма показательна для 20—30-х годов. Внешне он выглядел как типичный народник XIX века, и его фотографии легко можно было спутать с кем-нибудь из периода оттепели при царе Александре II Освободителе, который пал жертвой собственного либерализма. Как известно, его убили бомбой представители крайнего крыла «Народной воли».

Большой, почти облысевший череп, усы и бородка цвета спелой ржи, маленькие синие глазки с выражением страха и сарказма, красные и почти всегда влажные губы, широковатый нос с большими ноздрями, довольно стройная и высокая фигура, складная речь — все выдавало в Покровском потомственного интеллигента, родом, вероятно, из лиц духовного звания, о чем свидетельствует и его фамилия.

У него была странная страсть к скандальной полемике. Вцеплялся он в какого-либо ученого и со всех доступных трибун въедливо, со знанием дела трепал и трепал его

имя, труды, высказывания. Одной из его постоянных мишеней был профессор старой, еще дореволюционной школы С. В. Юшков, известный историк государства и права. Этот мешковатый, пожилой уже, наверное, больной человек буквально не мог выносить самого присутствия Покровского, который пользовался каждым случаем, чтобы обвинить почтенного профессора в антимарксизме.

Юшков всю жизнь искренне стремился в своих трудах опереться на твердую почву марксизма и ленинизма. Однако привычка к объективности приводила к тому, что нога его постоянно соскальзывала с этой почвы в сторону реальных фактов. Я пригласил Юшкова по совету моего научного руководителя С. Ф. Кечекьяна — кстати говоря, приват-доцента Петербургского университета в прошлом — в качестве оппонента своей диссертации. Юшков поставил условие: чтобы не было и духа Серафима Покровского во время защиты. Кечекьян просил Покровского, и тот обещал не приходить и не выступать. Однако, как и всегда, надул. Явился на защиту и, как обычно, долго сводил счеты с Юшковым, который не выдержал и, ссутулясь, ушел прямо с заседания.

Так вот, сам Покровский — и об этом мне рассказывал Юшков, который в свою очередь вел досье «на этого проходимца»,— начинал карьеру как участник «троцкистской оппозиции». Еще обучаясь в университете в Ленинграде, на втором курсе,— вероятно, в силу выдающихся способностей — он стал преподавателем на своем факультете. Но во время волны дискуссий во второй половине 20-х годов он выступил в защиту Троцкого, а впоследствии, вероятно, и Зиновьева, за что уже в те времена, когда это еще не стало правилом, он был сослан в Воронеж. Там-то и произошло его перевоплощение. В ту пору его друг — помнится, профессор Левин — печатал в Ленинграде статьи Покровского (но по договоренности с ним под своей фамилией) и посылал аккуратно гонорар бедствовавшему Серафиму Александровичу.

И вот уже в начале 30-х годов Покровский пишет свой первый донос в НКВД. И на кого же? На своего благодетеля. Донос этот, по рассказам, звучал так: «Прошу привлечь к ответственности профессора Левина, который публикует статьи небезызвестного троцкиста Покровского». Настоящая достоевщина! Это же надо так переворотить свое сознание, чтобы придумать такой донос!

В результате Покровский стал постоянным сотрудником органов НКВД. Он был возвращен в Москву, защитил

диссертацию и работал старшим научным сотрудником в Институте государства и права АН СССР.

Дальше произошло нечто еще более невероятное. Во время публикации полного собрания сочинений Сталина в одном из последних томов появились ответы «вождя» на два письма С. Покровского, направленные им в конце 20-х годов. Покровский тогда полемизировал со многими сталинскими установками и идеями. В первом письме Сталин довольно подробно отвечал ему, а во втором — ограничился кратким разъяснением и заявлением: я завершаю с вами переписку, поскольку вы самовлюбленный нахал. Понятно, что публикация этих писем всполошила руководство Института государства и права. Покровский был немедленно уволен. Однако суд, куда он обратился, восстановил его — наверное, не без подсказки органов безопасности, где Покровский продолжал служить агентом. Дальше его жизнь складывалась еще более странно.

После XX съезда Покровский был восстановлен в партии. Выступая тогда на партийных собраниях, он бил себя в грудь и говорил: «Мы — старые коммунисты», поскольку оказался одним из старейших членов партии. Но мать одного аспиранта, расстрелянного по доносу Покровского, сумела получить материалы из органов безопасности и обратилась в наш институт с требованием исключить Покровского из партии. Собрание парторганизации было единодушным, справедливость восторжествовала, и Покровский был снова, на этот раз окончательно, выдворен из партии. Выходя с партийного собрания, он столкнулся со мной в коридоре и, довольно весело сверкая глазами, сказал: «Ну что же, один билет отняли, зато два осталось» — и показал билеты в театр...

Много лет спустя, когда я работал заместителем директора Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР, уже после смерти Покровского ко мне обратился его сын с просьбой зачислить его сотрудником в наш институт. Я оказался перед трудной дилеммой, не зная, как поступить. Хотя сын за отца не отвечает, однако все же не очень приятно было бы видеть постоянно отпрыска человека, который хотел упечь меня в тюрьму. К счастью, сын Покровского сам отказался от этой идеи, что избавило меня от трудного решения.

Кстати говоря, именно Покровский да еще заведующий нашим сектором настоятельно рекомендовали мне включить обязательно в мою диссертацию хотя бы одну ссылку на Сталина. Однако я проявил некоторое упорство, мо-

тивируя тем, что Сталин ничего не писал о Н. А. Добролюбове, известном русском критике 60-х годов XIX века,— это была моя тема.

Так что настроения и судьбы людей во времена Сталина были отнюдь не однозначны: одни сажали, других сажали. Одни играли роль молота, другие — наковальни. Одни доносили, другие были жертвами доносов.

Проблема выбора и нравственного императива оставалась делом совести каждого даже во времена самой жестокой тирании. Так было всегда, так всегда будет, во все времена, среди любых народов, в условиях любых режимов. Джордано Бруно пошел на костер. Галилей предпочел отречься, чтобы продолжать бороться за истину, основные труды Коперника опубликованы после его смерти. Но дилемма, которая стоит перед великими мира сего, не чужда, в сущности, любому человеку. И его выбор бывает нередко так же труден, хотя и куда менее значителен и заметен.

В аспирантуре у нас было четкое деление на две неравные группы. В большую входили представители «аристократических» семейств, которые попадали к нам, как правило, по телефонным звонкам родственников или покровителей. Их так и называли — «позвоночные». У нас в аспирантуре и в соседних институтах обучались в ту пору зятья Сталина, Маленкова, сыновья министров — Гинзбурга, Абакумова и многие другие, рангом пониже. Зять Сталина, собственно, в ту пору уже перестал числиться в его родственниках. Об этом рассказывали забавную историю. Жил он со Светланой Сталиной в Кремле. И вот однажды, когда он возвращался домой, охранник, ничего не объясняя, отнял у него пропуск. Так он узнал, что выдворен из семьи вождя. В ту пору — это было время борьбы с космополитизмом — Сталин посчитал, что его дочери неудобно иметь мужа-еврея. И по его настоянию Светлана вышла замуж за сына Жданова, которого тоже через какое-то время бросила.

У нас в аспирантуре училась девушка — высокая, дебелая, большезадая. О ней рассказывали любопытную историю. Проходила она как-то по Арбату (это совсем рядом с нашим институтом), и вдруг возле нее остановилась черная машина. Вышел человек в форме полковника и попросил ее последовать за ним в машину. Потом оказалось, что повезли ее в резиденцию Лаврентия Берии — тогдашнего всесильного руководителя органов безопасности. Неизвестно, сколько времени она провела с ним, но после этого получила квартиру на одной из центральных улиц Москвы.

Была она нервная, со слегка «сдвинутыми» мозгами, как о ней говорили. Покровский ухаживал за ней, и по этому поводу замечали: любит падалицу подбирать.

Я входил в группу бедной, но гордой демократии. Мы презирали весь стиль чиновных отпрысков — пьянки, коллективный секс, танцульки, постоянный треп о футболе. Зато работали по 10—14 часов в сутки. Может быть, в этом и была та самая «сермяжная правда», о которой мечтал герой книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» — незабвенный русский интеллигент Васисуалий Лоханкин...

Тем временем мои отношения с добрейшим Лонгином Федоровичем Герусом закончились плачевно. Однажды я обнаружил рядом с очередной тарелкой гречневой каши с молоком записку, написанную взволнованным почерком: «Петр Михайлович! (Забыл, как меня зовут!) Нам придется, к сожалению, расстаться. Ваши ночные чтения мешают моему и без того трудному засыпанию. Так что извините меня и подыщите себе другую квартиру». Мне пришлось пустить в ход все свое упорство, и я добился размещения в аспирантском общежитии на Малой Бронной, в одной комнате, кстати говоря, с нынешним президентом Академии наук СССР Г. И. Марчуком. С ним мы тоже часто говорили о судьбе переселенных народов, не понимая, как это согласуется с социализмом.

Моя академическая жизнь, однако, оборвалась быстро и неожиданно для меня самого. Мне заказали рецензию на какую-то книгу о Герцене для журнала ЦК КПСС «Коммунист». Я не знаю, что больше привлекло внимание редактора — сама рецензия или двадцатипятилетний автор, молодой кандидат наук, обуреваемый жаждой активной деятельности. Сейчас мало кто помнит, что очень скоро после смерти Сталина во всех сферах культурной и политической жизни начался поиск представителей молодого поколения, которые могли бы по-новому двинуть дело. Так я попал на работу в журнал «Коммунист». Одновременно со мной туда пришли десятка полтора таких же, как я, выходцев из академической и журналистской среды. То же самое потом я видел и в аппарате ЦК КПСС. В печати стали появляться новые имена, которые олицетворяли оттепель: В. Дудинцев, В. Померанцев, Б. Окуджава, Е. Евтушенко.

В политической сфере эта перемена происходила, разумеется, медленней. Большинство моих сверстников так и застряли на уровне советников. Но на этом уровне обновление шло весьма активно. Не знаю, было ли это результа-

том установки сверху или происходило стихийно, по старшее поколение политических работников тогда стремилось опереться на молодежь. Замечу попутно, что пока среди так называемых «прорабов перестройки» мы видим имена почти исключительно представителей нашего поколения. А самое главное начнется тогда, когда пойдет новая волна и включатся молодые энтузиасты, реформаторы, которые так же неистово уверуют в необходимость перемен и так же фанатично возьмутся за дело, как дети XX съезда.

3

Первые месяцы после смерти Сталина были полны тревожного ожидания. Зловеще прозвучали в ушах произнесенные Берией на траурном митинге с Мавзолея, рефреном повторяемые слова: «Кто не слеп, тот видит...» Но первые речи Хрущева, Маленкова и других руководителей уже несли с собой какие-то элементы новизны. Стали говорить о народе, его нуждах, о том, что целью социализма не может быть только индустриальный рост, о продовольствии, о жилищной проблеме, о прощении тех, кто оказался в плену. Словом, повеяло ветерком перемен.

Наш журнал какое-то время размещался в здании ЦК КПСС. Мы входили в одну партийную организацию с его аппаратом. Мне больше всего запомнилось совещание партийных и государственных работников, в котором принимали участие тогдашние руководители страны. С основным докладом выступил Маленков. Главный пафос его речи был — борьба против бюрократизма «вплоть до его полного разгрома». Он в значительной степени повторил свое выступление на XIX съезде партии. То и дело в его устах звучали такие уничтожающие характеристики, как «перерождение отдельных звеньев государственного аппарата», «выход некоторых органов государства из-под партийного контроля», «полное пренебрежение нуждами народа», «взяточничество и разложение морального облика коммуниста» и т. д. Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших как раз тот самый аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность со страхом, страх — с возмущением.

После доклада стояла гробовая тишина, которую прервал живой и, как мне показалось, веселый голос

Хрущева: «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора». И только тогда раздались дружные, бурные, долго не смолкавшие аплодисменты. Так одной фразой Первый секретарь завоевал то, чего Председатель Совета Министров не смог добиться своими многочисленными, страстными речами. Кстати, позднее Хрущев сам поссорился с этим аппаратом и испытал его силу...

Внутри редакции тоже происходили удивительные движения. Месяца через три после смерти Сталина журналу поручили подготовить статью о роли народных масс в истории. Писал ее в основном философ М. Д. Каммари, который до этого прославился работами о роли личности в истории. Он привлек к этому своего заместителя и — для вставок — меня. Я перечитал недавно статью. Как остро говорилось в ней о борьбе с культом личности, с бюрократизмом, о развитии демократии! Откуда что взялось?..

Руководство редакции поддержало мое предложение провести конкретные социальные исследования о местах заключения, о привилегиях в снабжении продовольствием и услугами здравоохранения, об источниках нетрудовых доходов. Обсуждая со мной этот замысел, заместитель главного редактора А. И. Соболев, меряя большими шагами свой кабинет, говорил: «Надо поднять голос глубокого возмущения против бюрократизма и перерождения нашего аппарата».

Я привлек тогда к этому делу удивительного человека, представлявшего живой осколок ленинских времен,— бывшего работника РКИ Нефедова, который с юношеской страстью ухватился за возможность участвовать в расчистке авгиевых конюшен сталинской поры. Мы посетили множество тюрем и лагерей в Рязанской области. Направили большую группу студентов для сравнения столовых и буфетов на заводах и в министерствах. Получили в Статистическом управлении сведения о неравенстве в распределении доходов. Одним словом, собрали пять пухлых томов материалов, которые, увы, так и не увидели света.

Руководство редакции не решилось даже передать служебную записку в партийные органы, настолько ужасающими выглядели факты. Мне запомнилось, что в Рязанской области в то время происходило больше убийств, чем во всей Англии. Как же мог журнал, который на протяжении десятилетий твердил о почти полном изжитии «пережитков капитализма» в сознании людей, предать эти факты гласности?

Мне запомнилось отчетливо и выступление на одном из закрытых совещаний крупного хозяйственного руководителя того времени В. А. Малышева. Он говорил о нашем резком отставании от Запада в области науки, техники, производительности труда, о тенденции к технической стагнации, об отсутствии внутренних механизмов саморазвития экономики, о погубленном интересе крестьянства к труду, об отсутствии стимулов у рабочего человека, о нищенском жизненном уровне населения, особенно в деревне, о неэффективности административных методов управления хозяйством. Это было больше тридцати лет назад. Странно сказать, но мы до сих пор мечемся в кругу тех же проблем и только сейчас стали нащупывать пути их решения.

Правда, и тогда уже в редакции были опытные люди, которые скептически оценивали все эти словесные фейерверки. Одним из них был мой непосредственный руководитель Сергей Павлович Мезенцев. По его собственному рассказу, восемнадцатилетним пареньком он с котомкой на палке, прихрамывая (правая нога была парализована с детства), ушел из деревни в период коллективизации. Затем рабфак, партшкола, Академия общественных наук и вот — член редколлегии ведущего партийного журнала. Мы вели с ним отдел критики и библиографии, готовили рецензии на толстые научные книги, скажем по истории Киевской Руси, или о современном капитализме, или о философских течениях XIX века.

Получив рецензии от маститых академиков и профессоров, он обычно передавал их мне с деликатно обозначенными остро заточенным карандашом небольшими замечаниями на полях: «Так ли это?», «Верно ли?» Однажды из чистого озорства, не желая его обидеть, я написал под каждым из таких замечаний: «Может ли быть?» — «Может».— «Так ли это?» — «Так».— «Да ну?» — «Ну да» и т. д. Запечатал статью в конверт и отправил курьером ему в соседний кабинет. Через полчаса он прихромал ко мне, сел напротив и сказал с большой печалью: «Молод ты, Федор. Ох, молод и горяч. Смотри, добром не кончится». Я готов был провалиться сквозь землю от стыда.

Но вот что интересно сейчас оценить: кто же из нас оказался умнее? Должен прямо признать, что этот нормальный и простой мужик, который мнился мне куда менее образованным, чем я, во многом оказался прав в наших спорах. Я написал тогда и с колоссальным трудом

буквально протащил через редколлегию статью о развитии советской демократии. В ней было сказано, что Советы депутатов трудящихся должны стать полновластными и постоянно работающими организациями, а не просто собирающимися для того, чтобы проштамповать подготовленные аппаратом решения; что на выборах в Советы надо выдвигать не одного, а нескольких кандидатов, тогда будет реальное голосование; что для предотвращения репрессий нужно организовать суд народных заседателей в количестве десяти человек, которые выносили бы без судьи вердикт о виновности или невиновности.

Я распинался перед шефом, что, мол, скоро, очень скоро в нашем советском парламенте, как и в других цивилизованных странах, будут обсуждать каждый закон, будут спорить, будут сталкиваться мнения, будут взвешивать разные предложения, голосовать по большинству, а не единодушно, будут критиковать министров и пощипывать правительство, контролируя эффективность его расходов.

— Наивный ты человек, Федор. Не будет этого никогда,— говорил мне Мезенцев.— Верь моему слову: при нашей жизни не будет. Зря хлопочешь и надрываешься. Все законы и указы как готовились, так и будут готовиться в партийном аппарате, а Советы будут только оформлять это. Так было, и так будет. И против Лысенко ты зря написал. Конечно, он, может, и не такой образованный, но наш, природный, помяни мое слово, вернется, обязательно вернется, он ближе, понятнее.

А ведь и в этом оказался прав Мезенцев. Вернулся Лысенко во времена Хрущева.

Поистине Эразм Роттердамский был непревзойденным знатоком человеческой психологии: простой здравый смысл выше ума, увлеченного плодами собственного воображения. Если бы можно было сейчас встретиться с Мезенцевым, я бы искренне признался, как мало стоила книжная премудрость и как сказалась на моей биографии жажда перемен...

Вообще у партийных работников, выросших в сталинскую пору, вместе с отрицательными качествами была одновременно какая-то добротность и надежность. Не помню случая, чтобы кто-то из центрального партаппарата того времени мог открыто лгать тебе в глаза. Конечно, он мог скрыть, не сказать что-то, сослаться на то, что это не дозволено, извини, мол, пожалуйста, это да, но прямо врать — нет. Потом я нередко наблюдал резвых выходцев

из комсомольской среды. Встретит с распахнутой во весь рот обаятельной улыбкой: «Милый, да ты же знаешь, как я тебя люблю, да я мигом это дело твое проверну, выйду на нужных людей, считай — дело в шляпе». А не успеешь дверь закрыть в его кабинет, отзвонит начальству и скажет: «Гоните его в шею, тоже нашелся умник, впереди прогресса скакать хочет».

Скоро, однако, я перешел в другой отдел — международный. Приглашая меня к себе заместителем, руководитель этого отдела сказал: «Надо тебе уходить с внутренней тематики, а то ты очень быстро сломаешь себе шею...» Правда, мои публикации по международным проблемам тоже вызывали неизменно острые споры на редколлегии. Редактор философского отдела, который пришел на смену Каммари, обвинял меня открыто в ревизионизме и других смертных грехах. Я тоже не отличался терпением и однажды заявил: «Если эти нападки не прекратятся, мне придется в свою очередь критиковать своих оппонентов за приверженность к молотовскому догматизму».

Главный редактор журнала пытался «помирить» спорящих, видя в этом не столько столкновение позиций, сколько личный конфликт. Кстати сказать, судьба этого человека была трагической. Через его мягкую душу прокатились все волны политических борений 30—50-х годов. Еще в молодости своей он женился на революционной деятельнице, затем попал на рабфак и в партийную школу. В 1937 году его жена (они расстались до этого) была репрессирована.

Судьба тем временем поднимала его вверх и в конечном счете, вопреки его собственному желанию, сделала главным редактором теоретического журнала ЦК партии. Я точно знаю, что он неоднократно просил руководство освободить его от этой роли, поскольку плохо разбирался в теоретических вопросах. Ответ был обычный в ту пору: «Ты солдат партии и выполняй ее задание». Несчастный человек бесконечно маялся на своем посту.

Одно время пошли навстречу главному редактору, но довольно странным образом. После XIX съезда партии вместо узкого Политбюро был сформирован широкий Президиум ЦК КПСС. Как потом стало ясно, Сталин готовил таким путем новую смену кадров, замыслив обновить состав высшего руководства и отстранить, или, как прежде, «ликвидировать», своих засидевшихся соратников. В Президиум неожиданно вошел человек из научной среды Д. И. Чесноков.

Он был назначен главным редактором журнала «Коммунист», однако прежний редактор со своего поста смещен не был, так что какое-то время руководили журналом на равных два главных редактора. Мне рассказывали, что Чесноков приходил на заседания, как правило, с некоторым опозданием, когда вся редколлегия уже сидела за длинным столом. Он медленно и важно шел к председательскому месту, протянув два пальца только одному из членов редколлегии — своему коллеге философу, и садился в кресло. Процарствовал, впрочем, Чесноков недолго: сразу после смерти Сталина он лишился не только своего места в Президиуме ЦК партии, но и в журнале. А прежний главный так и остался дотягивать лямку.

Пока Сталин был жив, все было проще: можно сверить любое положение в статье с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и выправить в соответствии с ним. А после 1953 года, когда хлынули новые идеи, неожиданные и противоречивые, когда каждую неделю что-то происходило, что-то трещало, ломалось в идеологическом режиме, который складывался десятилетиями, многие старые работники чувствовали себя в полной растерянности, они метались, не находя себе места, не зная, как реагировать на острые, бескомпромиссные сшибки, которые происходили едва ли не на каждом заседании редколлегии журнала. Главному редактору приходилось трудно, ему хотелось уладить все чисто житейским образом. «Ну что вы так? — говаривал он обычно.— Ну разберитесь, поправьте где надо, чего спорить и задираться?» Но споры не утихали.

После реабилитации вернулась из дальних краев первая жена главного редактора. Он навестил ее в больнице, и несколько часов они говорили наедине. А вскоре его нашли мертвым в своей квартире. Он сидел в кресле на кухне, все краны газовой плиты были открыты, а окна и двери закрыты. Похоронили его по-тихому, изобразив все как несчастный случай. Честный человек этот не выдержал бремени, которое обрушила на его совесть оттепель.

4

Ясным морозным утром в январе 1958 года за мной в редакцию заехал на «ЗИЛе» помощник О. В. Куусинена Н. В. Матковский. Я впервые ехал в «ЗИЛе» и чувствовал себя не очень уютно рядом со

своим спутником на заднем сиденье, отгороженном довольно большим пространством от переднего сиденья, где находился шофер. Видимо, так чувствуешь себя в катафалке, только там поза другая, подумалось мне.

— Конечно, в такую погоду моряки предпочитают сидеть в каютах, а не на палубе,— пошутил Матковский, видимо желая помочь мне преодолеть смущение.— Тебя, надеюсь, не шокирует мой матросский жаргон? Но я, старый морской волк, так и не могу привыкнуть к дипломатии и всегда иду прямиком к цели. Ты не возражаешь, что я буду говорить тебе «ты»? Ведь я постарше тебя лет на десять,— продолжал он, доверительно положив мне на колено свою широкую, с короткими пальцами, заросшую рыжими волосами руку.

— Да нет, конечно. Это, кстати, отнюдь не привилегия моряков. Мой шеф в редакции всегда говорит мне «ты», хотя я, конечно, говорю ему «вы».

— Ну я могу говорить тебе «вы», но ты мало от этого выиграешь,— сверкнув серыми глазами с густыми белыми ресницами и осклабясь всем своим зубастым ртом, сказал Матковский. Видимо, его несколько насторожила моя реплика, и он раздумывал, как ее следует истолковать: заносится, что ли, этот черномазый паренек или просто так болтает?

— Да нет, Николай Васильевич, я просто хочу попросить позволения говорить вам при этом «вы». Мне как-то неловко, как-то не с руки...

— Как хочешь. Вы там, ученые и журналисты, конечно, лучше знаете ритуал человеческого общения. Так что вам виднее.

Впоследствии я понял, что сделал крупный промах, сохранив дистанцию между собой и этой «открытой морской душой», как сам себя рекомендовал Матковский. Георгий Арбатов, который, по-видимому, назвал мою фамилию Куусинену, поступил иначе. Он с готовностью перешел на «ты» с бывшим матросом, и сколько при этом выиграл.

Арбатова Отто Вильгельмович знал, надо думать, по совместной работе в журнале «Новое время», в котором довольно долго состоял членом редколлегии. И когда Куусинену поручили подготовить учебник по основам марксизма-ленинизма, он привлек к этому делу Арбатова, а тот помог ему сформировать новый авторский коллектив из молодых ученых и журналистов. Я говорю «новый», потому что Куусинену был предложен другой состав авторов, в котором он, однако, очень быстро разочаровался.

То были люди, неспособные сколько-нибудь по-новому, свежо и неординарно подойти к глубоко волновавшим его проблемам развития современного мира.

Об этом мне поведал Матковский, когда мы ехали через Москву и дальше, по Волоколамскому шоссе, до поселка Снегири, где жил на даче Куусинен.

— Это чудесный старик, ты увидишь сам,— сверкая своей зубастой улыбкой, говорил Матковский.— Да какой он старик, вру я, он моложе нас с тобой по духу, это безусловно. Новатор, самый настоящий новатор! Он не оставляет камня на камне от наших заскорузлых и застоявшихся, как вонючая лужа на палубе, представлений. Да и не только по духу. Ты увидишь, как он катается на лыжах, на коньках, подтягивается на перекладине. И это в свои семьдесят с лишним лет!

Немного парализованный бурным темпераментом матроса и продрогший в машине, которая плохо отапливалась, я сидел, забившись в угол, и чувствовал себя как невеста, которую везут к незнакомому, но очень придирчивому жениху. Конечно, ничего страшного не произойдет, если жених ее отвергнет, и неизвестно, понравится ли ей самой жених, но все же неприятно, когда тебя везут на смотрины.

— Ты не тушуйся, парень,— проницательно заметил мой разговорчивый спутник.— Старик у нас неторопливый. Он ничего не берет на веру и ничего не решает сразу. Ему понравилась твоя статья о том, что надо развивать советскую демократию. И он даст тебе шанс написать раздел о государстве, прежде чем примет решение, включать или не включать тебя в авторский коллектив. Так что у тебя будет время...

Желая развлечь меня во время долгого пути, Матковский стал рассказывать разные истории, связанные с Куусиненом в коминтерновский период его деятельности. Отто Вильгельмович, по его словам, всегда отличался необыкновенной трудоспособностью. В ту пору в Коминтерне было принято (да и не только там) засиживаться на заседаниях до поздней ночи.

— Строили проекты мировой революции,— говорил Матковский.— Высказывали предположения: где, когда может произойти взрыв. Во время этих ночных бдений каждый вел себя по-своему.

Один из деятелей Коминтерна, Гарри Поллит, имел слабость к армянскому коньяку и потягивал рюмку за рюмкой, не закусывая, а запивая боржомом. А Отто Вильгель-

мович держал в своем кабинете гимнастические кольца, подвешенные к потолку, используя каждый перерыв для того, чтобы подтягиваться на них и делать всяческие фигуры. Димитров заметил как-то: «Вот, товарищ Куусинен, где вы научились воспитывать свою тактическую гибкость». «Та, та, нам всегда не хватало гибкости в тактике. Но я никогда не забываю о нашей долгосрочной стратегии»,— отвечал Отто Вильгельмович.

Я слушал байки Матковского развесив уши, не зная, верить ему или нет.

Впрочем, вероятно, общий стиль отношений между деятелями Коминтерна характеризовался не только страстными теоретическими спорами, но и живым юмором, в котором постоянно все состязались. Слушая Матковского, я вспомнил, как у нас в журнале побывал в гостях Гарри Поллит. Он не стал произносить больших официальных речей, а рассказал нам просто и весело о не очень веселых делах Компартии Великобритании. Мне надолго запомнились несколько, как я потом понял, типичных коминтерновских шуток.

— Вся наша беда была в том, что мы поверили товарищу Варге Евгению Самуиловичу (очень известный в ту пору экономист-международник.— *Ф. Б.*), который каждый раз предсказывал глубокий экономический кризис на Западе,— говорил Гарри Поллит.— Мы верили, что вот-вот разразится кризис и маленькая Красная Шапочка (это наша партия) стремительно вырастет, обретет силу и съест капиталистического волка. Кризисы приходили и уходили, а мы все равно оставались маленькой Красной Шапочкой.

Помню, как были шокированы старые работники журнала этой шуткой. Но что уж совсем показалось непристойным, так это тост, который сказал Гарри Поллит во время обеда в ответ на наши хорошо подготовленные и продуманные здравицы в честь Компартии Великобритании, всех братских партий и за победу революции. Гарри Поллит предварительно налил себе до краев не рюмку, а большой фужер армянского коньяка и произнес: «Я горячо поддерживаю все, что было сказано. А теперь давайте выпьем беспартийный тост. Я хочу выпить за наших жен и за наших любовниц и за то, чтобы они никогда не встречались за одним столом!»

Наши старики чуть не попадали со своих стульев, а молодые были в восторге от этой озорной манеры, ломавшей стереотипное тостирование.

Когда же Гарри Поллит стал прохаживаться насчет «партийно-китайского сленга», на котором мы пишем свои статьи, наш ответственный секретарь не выдержал и прошептал так, что стало слышно всем за столом: «Так вот почему в Англии так и не произошла революция!» За это он схлопотал суровый взгляд другого ответственного товарища, сопровождавшего Поллита и при случае затем заметившего секретарю редакции: «Гарри Поллит стал выдающимся деятелем мирового коммунистического движения в то время, когда ты еще сидел счетоводом в колхозе».

Я вспомнил об этом, слушая веселые рассказы Матковского и поглядывая в коротких паузах в окошко лимузина.

Дорога шла между заснеженными полями, лесами, перелесками. Я люблю этот белый покров, эту серо-синюю дымку, из которой будто вырвано, выведено за горизонт солнце. Белый снег всегда так умиротворяет меня, примиряет с чем-то необъятным и необозримым, что разлито вокруг нас и от чего мы постоянно отвращаем свой взор, устремляя его на какую-то мелкую повседневную задачу, невидимую, как снежинка, затерявшаяся в бесконечных снежных покровах...

Однако я не сумел сосредоточиться на этой мысли, поскольку мы уже приехали. Машина мягко и как будто даже робко прошла через ворота и остановилась возле небольшого деревянного двухэтажного домика. Пока мы отряхивали снег в маленькой прихожей, вышла полная женщина в белом переднике и певуче сказала нам, что Отто Вильгельмович ждет нас у себя в кабинете на втором этаже. Мы поднялись по узенькой скрипучей лесенке и оказались на антресолях, где в углу против окна стоял небольшой стол, заваленный книгами и рукописями.

Бумаг было так много, что я с трудом разглядел за ними сидящего в кресле маленького, щуплого, очень пожилого человечка, укутанного клетчатым пледом и каким-то мехом. Его небольшая головка с сильными залысинами и лицо — кожа да кости — усиливали впечатление дряхлости. Но вот вы наталкивались на его глаза, на его взгляд, и это совершенно опрокидывало первое впечатление. Глаза — как льдинки, не очень большие, синие, притягивающие к себе, вбирающие в себя, в самую глубину все, что попадало в поле их обзора, глаза, которые существовали как-то отдельно от всего лица и его мимики. Они жили своей жизнью, сообщаясь напрямую с какими-то центрами

умственной деятельности, скрытыми в глубине черепной коробки. А голова чем-то напоминала голову Пикассо. Может быть, это мне показалось, когда я впервые увидел Отто Вильгельмовича, но и потом я не мог отделаться от этой ассоциации.

Худенький, маленький старичок показался мне удивительно значительным, и я испытывал отнюдь не свойственное мне чувство робости и желание непременно произвести на него благоприятное впечатление. А он молчал, этот старичок, остановив на мне спокойный, холодный, голубоватый взгляд, не выражающий ничего, кроме ожидания, как будто даже пустой, но на самом деле — и я смог в этом скоро убедиться — отражающий непрерывную, неутомимую, почти механическую работу мысли.

— Ну вот, Отто Вильгельмович, я и привез этого человека,— шумно начал Матковский.— Он, по-моему, хороший парень, хотя немного задается, не хочет переходить со мной на «ты». Но это я так, конечно, в шутку.— Матковский повернулся ко мне: — Отто Вильгельмович еще расскажет вам о своем замысле написать главу о государстве для нашего учебника. Это должна быть совсем необычная глава, быть может центральная в книге. Ну, я свою миссию выполнил и замолкаю.

— Та, та, именно, именно,— проскрипел пожилой джентльмен.— Я пригласил вас, чтобы попробовать... Попробовать по-новому подойти к этому вопросу. У вас правильно сказано в статье: надо развивать советскую демократию. Но что это значит? Как вы думаете?

Я начал было пересказывать основные положения своей статьи, но Куусинен остановил меня взглядом.

— Та, та, именно... А как вы думаете, нужно нам сохранять диктатуру пролетариата, когда мы уже построили социалистическое общество? Или нам нужен переход к какому-то новому этапу развития государства?

Вопрос этот, надо сказать, смутил меня. Не потому, что я не задумывался над этим, а потому, что ответ на такой вопрос, как говаривали в нашей редакции, чреват непредвиденными последствиями. Сказать вслух, что в общем-то диктатура уже не нужна, что она свои задачи уже решила — и в гражданскую войну, и в момент неслыханного напряжения сил в предвоенный период, и в Отечественную войну, когда нужна была строжайшая дисциплина, мобилизация фронта и тыла? Я хорошо знал, что стереотип «диктатура пролетариата» в 30-х годах был использован для обоснования массовых репрессий. Но можно ли

говорить об этом человеку, который представляет высшее руководство страны? Правда, в самой постановке им вопроса уже содержится намек на возможность какого-то нового суждения... Впрочем, я так и не додумал до конца мысль под внимательным, пытливым взглядом, который требовательно извлекал из меня не формальное, а самое искреннее мое мнение.

— Если говорить откровенно, Отто Вильгельмович, то мне кажется, что диктатура пролетариата не нужна в нашей стране. Она должна быть преобразована. Процесс этот, собственно, уже идет, и задача в том, чтобы его сознательно ускорить.

— Именно,— всколыхнулся плед, что, как я потом понял, означало крайнюю степень возбуждения.— Но вот вопрос: во что же она, эта диктатура, преобразуется?

— Я думаю, в государство народа, а не одного класса, в советскую демократию.

— Та, та, именно, но, может быть, общенародное государство? Маркс когда-то критиковал лозунг «народное государство». Но это было давно и, кроме того, относилось совсем к другому государству. Лассаль рассчитывал заменить юнкерскую буржуазную власть на государство народное. Это была иллюзия. Это был обман. Но совсем иное дело сейчас у нас, когда диктатура пролетариата свою историческую роль уже сыграла.

Здесь он сделал паузу, которая длилась довольно долго, так как я не знал, должен ли я что-то добавить к его рассуждениям. А он, по-видимому, продолжал обдумывать сказанное, как будто слово, отделившись от него, приобретало какое-то самостоятельное значение и звучание, так что следовало оценить его заново.

— Так в этом духе и нужно написать свою главу для учебника? — не выдержал я.

— Именно, именно, в этом духе. Надо обосновать это теоретически. Надо взять у Ленина: для чего и почему необходима диктатура пролетариата — и доказать, что сейчас она уже не нужна.

— Речь идет только о теории или также о практике? — спросил я.— Имеется ли в виду внести какие-либо крупные изменения в политическую систему?

— Та, та, именно,— отвечал Куусинен.— Вначале теория, а потом,— тут он сделал движение рукой куда-то вдаль,— а потом и практика...

Я понял, что это «потом» наступит не так скоро, но что сейчас надо добиться теоретического признания необходи-

мости каких-то важных преобразований государственных институтов.

— Может быть, пока приобщить Федора Михайловича к Записке? — вставил тут свое слово Матковский.

— Та, та, и к Записке тоже. Но главное, надо поднять все работы Ленина, надо восстановить истину, чтобы обосновать общенародное государство.

Приглашение меня в авторский коллектив, как и вовлечение других молодых теоретических работников, для Куусинена было актом нелегкой борьбы. Впрочем, кульминация конфликта была раньше, о чем мне рассказывали Арбатов и другие. Все авторы сидели как-то за круглым столом и обсуждали перераспределение ролей. Разделы, которые не получились у прежних авторов, вручались вновь привлеченным. Один из отвергнутых «стариков», желая уязвить Куусинена, сказал:

— Тут вот, Отто Вильгельмович, западная печать комментирует ваше избрание в Президиум ЦК.

— И что же они пишут? — спокойно спросил Отто Вильгельмович.

— Они пишут следующее, я цитирую: «Президиум ЦК КПСС избрал старого члена партии Куусинена, который известен своими неортодоксальными взглядами и своей борьбой с догматизмом».

В этот момент говоривший победоносно посмотрел по сторонам, ища поддержки у окружающих, но нашел ее только у двух-трех человек из числа аутсайдеров.

— Та, та, именно,— протянул Куусинен в своей обычной манере.— Только вот непонятно: они пишут о борьбе с догматизмом, но как они смогли узнать о наших с вами спорах?

Дружный смех был ответом на эту тонкую, «типично коминтерновскую» шутку...

В ту пору сложился такой стиль: освобождать от основной работы на какой-то период авторов подобных партийных учебников, собирать их где-то на даче, с тем чтобы они могли целиком сосредоточиться на одном общем деле. И нас тоже поместили на даче в Нагорном на Куркинском шоссе, представляющем собой ответвление от магистрали, идущей на Ленинград.

Это был небольшой двухэтажный деревянный домик, в котором каждый имел свою комнатку с письменным столом, кроватью, тумбочкой и персональным туалетом. Три раза в день мы гуртом ходили в соседнее здание на кормление, где встречались за общими столами с членами

другого авторского коллектива, работавшего над учебником по истории КПСС. Общее застолье, когда не было наших руководителей, нередко переходило в острую пикировку: позиции двух групп авторов расходились по очень многим вопросам.

Куусинен приезжал нечасто, и в его отсутствие фактически руководили два человека: Георгий Арбатов и Алексей Беляков. Один был, как я уже говорил, журналистом, а другой работал в международном отделе и впоследствии стал помощником Отто Вильгельмовича. Они хорошо дополняли друг друга. Арбатов отличался совершенно уникальной способностью: он писал быстро, как машина, сбрасывая листок за листком прямо на пол. Ему ничего не стоило в течение нескольких часов накатать таким образом пятнадцать — двадцать страниц. Он очень легко облекал в литературную форму мысли, высказанные Куусиненом или другими членами коллектива.

Что касается Белякова, то тот писал мало. Складывалось впечатление, что он даже как бы презирает это занятие. Зато он был необыкновенно хорош, выступая в устном жанре. Его суждения всегда отличались от общепринятых и нередко поражали своей новизной и нетривиальным подходом. А еще он был великий мастер составления схем. Ему не важен был объект: он с равным удовольствием сочинял и переделывал схему всего учебника, отдельных глав, изложения того или другого вопроса, методику исследования — словом, почти чего угодно...

Арбатов был уже в молодости мужчиной представительным, крупным, с массивной фигурой, с тяжелым, как мы шутили, брудастым лицом и внушительным лбом. В ту пору он увлекался йогой, и мы часто заставали его стоящим на голове в своей комнате. При этом его сильно разреженные космы сваливались прямо на пол, что вызывало неизменные шутки, нимало не трогавшие Арбатова. Ему была присуща какая-то идущая изнутри генетическая важность и значительность.

Беляков, напротив, выглядел букой. Он трудно сходился с людьми, но, приблизив к себе кого-то, был способен часами изливать на него свои философские размышления, мало заботясь о том, соглашаетесь вы с ним или нет. Он был строен, крепок телом, черноволос — в общем, хорош собой. Он неизменно пользовался вниманием наших машинисток, с которыми мог часами болтать в их комнате, невзирая на срочную работу.

Я был влюблен в Белякова без памяти, настолько, что даже назвал своего второго сына его именем. Он тоже относился ко мне хорошо, снисходительно позволяя любить себя, находя во мне слушателя, готового часами внимать его откровениям.

Вместе с другими членами нашего коллектива я участвовал в подготовке Записки для высшего руководства, предложенной Куусиненом. Называлась она, помнится, несколько вызывающе: «Об отмене диктатуры пролетариата и переходе к общенародному государству». Ее действие было подобно взорвавшейся бомбе. Подавляющее большинство руководителей не только отвергло эту идею, но пришло в страшное негодование. Куусинен же только посмеивался одними глазами: как опытный аппаратчик, он предварительно согласовал вопрос с Хрущевым и получил его надежную поддержку.

Мы присутствовали в кабинете Куусинена в тот момент, когда он выслушивал замечания некоторых руководителей по поводу Записки. Отто Вильгельмович держал трубку внутреннего телефона так, что мы могли слышать его собеседника.

— Отто Вильгельмович! — кричала трубка.— Как же так! Что вы тут написали! Зачем же так извращать! Ленин считал диктатуру пролетариата главным в марксизме. А вы тут нам подсовываете какие-то новые цитатки Ленина, о которых никто и не слышал...

— Та, та, именно, не слышали. Не слышали потому, что эти очень важные высказывания Ильича держались под спудом. Вы знаете, наверное, что и сейчас еще многие работы Ленина не опубликованы.

— Не знаю. Не слышал. Нас учили совсем другому марксизму,— пробасила трубка и легла на рычаг.

— Та, та, это верно,— заметил Отто Вильгельмович, обращаясь к нам,— его учили совсем другому. Боюсь, что даже преподаватели в торговом техникуме, который он кончил, могли не знать этих высказываний Ленина.

Тут снова зазвонил внутренний телефон.

— Я вас слушаю,— как обычно, вежливо произнес Куусинен.

Но трубка молчала еще какое-то время и наконец взорвалась женским криком. Потом выяснилось, что это была Фурцева, секретарь ЦК и будущий министр культуры.

— Как же вы могли, Отто Вильгельмович, покуситься на святая святых — на диктатуру пролетариата! Что же

будет с нашим государством, с нашей идеологией, если мы сами будем раскачивать их основы?!

— Думаю, государство и идеология станут еще крепче,— бодро отвечал наш старик.— В самом деле, если государство стало всенародным и сохранило при этом руководство рабочего класса, то от этого оно, конечно, только выиграло, а не проиграло, и при этом никто не сможет оправдывать расправу с вами, со всеми нами ссылкой на диктатуру пролетариата!

— Ну, знаете, это вы уж слишком! На кого вы намекаете? У нас сейчас коллективное руководство, и никто никого не собирается сажать!

— Вот именно, вот именно,— обрадовался Куусинен.— Коллективное руководство — это и есть прямой переход к социалистической демократии.

— Нет, Отто Вильгельмович. Меня вы не убедили! И никого не убедите. Так что я бы вам посоветовала отозвать свою Записку, пока еще не поздно. Пока еще не состоялось обсуждение.

— Не поздно,— промямлил Отто Вильгельмович с легкой издевкой.— Никогда не поздно восстановить истину. Что касается обсуждения, то я почему-то думаю, что к этому времени вы сами пересмотрите свою позицию...

— Никогда! Ни за что! Я эту диктатуру, можно сказать, всосала с молоком матери и буду стоять за нее насмерть!

— Ну зачем насмерть? Это же вопрос теории. Посмотрим, обсудим и коллективно решим.

Куусинен оказался прав. Ни один из его оппонентов даже не рискнул высказаться против Записки, когда происходило обсуждение. К этому времени все уже знали, что Первый — за и что он рекомендовал включить идею общенародного государства в Программу партии, что и было впоследствии поручено мне.

Мы говорили с Отто Вильгельмовичем о том, как в результате нового взгляда на наше государство будет изменена вся политическая система на принципах демократии. О том, что будут созданы прочные гарантии против режима личной власти, о том, что появятся новые политические институты общественного самоуправления.

Ведь со времени революции основы нашей политической системы существенно не менялись. Они сохранились в том же виде, как и во времена Ленина. Это не помешало коренному изменению политического и идеологического режима в сталинское время. В чем же здесь дело? Как убе-

речь страну от нового поворота к авторитарному режиму в будущем — это составляло предмет наших дискуссий и мучительных раздумий. Впоследствии я написал книгу «Государство и коммунизм», навеянную совместными обсуждениями с О. В. Куусиненом.

Мое пребывание в авторском коллективе закончилось, однако, не совсем так, как мне хотелось бы. Работу свою я выполнил неплохо, и все разделы, посвященные государству, вошли в учебник в том виде, в каком я их подготовил. Но я имел неосторожность высказать несколько иронических замечаний по поводу наших руководителей, и поэтому еще до завершения работы по общему редактированию они выхлопотали у Куусинена разрешение отправить часть коллектива по домам. В числе отправленных оказался и я.

— Жаль, что так произошло,— сказал мне на прощание Арбатов.— Я думал, что ты останешься в основном коллективе, но старик решил максимально сузить редакционную группу, чтобы люди не толклись и не мешали друг другу. Однако ты можешь быть уверен, что все написанные тобой разделы остаются за тобой. Мы к ним не прикоснемся.

Что ж, и на том спасибо. В конце концов, именно Арбатов привлек меня к этому делу. Может быть, я действительно не очень годился для работы на завершающем этапе, и уж во всяком случае не надо было смеяться над хорошими людьми.

Мое пребывание в авторском коллективе Куусинена не прошло бесследно. Дело в том, что он был хорошо знаком с Ю. В. Андроповым по совместной работе в Карельской республике.

Глава вторая
АНДРОПОВ

1

Моя встреча с этим человеком была столь неожиданной и непредуготованной, что в этом можно было усмотреть чистый случай либо — по вкусу — перст судьбы. Дело было так.

Я катался как-то со своим сыном на велосипеде на Куркинском шоссе в Подмосковье. Те, кто бывал в этих местах, вероятно, знают, что там проходит знаменитая и удивительная по красоте велосипедная трасса, на которой нередко устраиваются отечественные и международные состязания. Это место именуют советской Швейцарией.

Между домом отдыха Нагорное, который называется Верхним, и дачным поселком того же ведомства, который называется Нижним Нагорным, имеется спуск, извилистый и очень крутой. Редко когда обычный велосипедист рискует спускаться с него. Но мы с моим семилетним отпрыском лихие парни, мы скатывались оттуда вдвоем на одном полугоночном велосипеде. Вся штука заключалась в том, что, преодолев крутой спуск, надо было как можно выше взлететь на примерно такой же крутой подъем. Но доехать до самого верха нам практически никогда не удавалось. Приходилось соскакивать где-то на полпути.

В тот солнечный летний день нам тоже не удалось взлететь слишком высоко. Мы сошли с велосипеда и, придерживая его, медленно поднимались по крутогорью. Мысли мои были далеки от каких-либо деловых сюжетов. Сильная жара, обычная моя склонность к отвлеченным размышлениям и постоянная погруженность в семейные проблемы вызывали в моей душе какое-то подобие легкого протеста, окрашенного в юмористические тона. Ну чем я занимаюсь, думалось мне, чему я посвящаю лучшие годы своей жизни? Все-таки нет большего рабства, чем семейное рабство. Удивляюсь, как такая простая

мысль не пришла в голову до меня ни одному из мыслителей. «Человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах». Помню, как потрясла меня эта фраза из трактата Руссо «Об общественном договоре», когда я изучал историю политических учений. Он писал о социальном рабстве. Но это такой род рабства, где человек ничего не может поделать: не он определяет время, место своего рождения и свое общественное положение. Но есть другой, куда более тяжелый и к тому же добровольный род рабства. Мужчина рождается свободным и отдает себя в абсолютную власть женщине. Ты попадаешь под тотальный контроль другого человека, чуждого тебе по своей культуре, по своим привычкам и образу мыслей.

Но конечно, семейное рабство имеет и оборотную сторону. Что может сравниться с той невыразимой радостью, которую испытываешь, глядя, ощущая, впитывая в себя свою маленькую копию, этот странный комочек бытия, который постепенно обретает твой облик и до смешного повторяет твои жесты, движения, привычки. Если бы не брачное насилие, я никогда бы не познал этого чувства, чего-то нутряного, глубинного, подсознательного, захватывающего всего тебя целиком, без остатка.

Тем временем это маленькое воплощение моего «я», мой Сергуня вышагивал рядом быстрыми, немного семенящими, но живыми, энергичными шажками, сверкая черно-карими глазами, насыщенными какой-то весомой мыслью, озорством, какой-то притягивающей магнетической силой... Господи! Как давно это было!

Да, так вот, не успели мы еще преодолеть подъем, как в двух шагах от нас остановилась «Чайка», и из нее выскочил, чуть прихрамывая, мой старый знакомый Лев Николаевич Толкунов.

— Федор, что ты тут катаешься на велосипеде? Делать тебе нечего, да в такое время,— сказал он, улыбаясь своей широкой, слегка японской улыбкой.— Идем работать к нам, в наш отдел. Меня назначили замом, и освободилось мое место консультанта. Я рекомендую тебя.

— Как кататься на велосипеде, я понимаю, но что такое работать в отделе — для меня темный лес,— сказал я, несколько ошарашенный этим напором, хотя давно уже взял себе за правило не выражать удивления ни по какому поводу.

— Какой там велосипед! Впрочем, пожалуйста, ты сможешь и на велосипеде кататься в свободное время, если оно будет у тебя оставаться, конечно! — продолжал

загадочно улыбаться Толкунов.— Приходи завтра утром в третий подъезд. Я закажу тебе пропуск.

Ответить я не успел, да он и не ждал ответа. Шикарная «Чайка» исчезла за поворотом. Я работал с Толкуновым вместе, вернее в одном коридоре. Наш журнал «Коммунист» переехал в ту пору на третий этаж здания, принадлежавшего газете «Правда», где он тогда трудился. Собственно, мы даже не общались по-настоящему друг с другом, хотя часто играли на нашем же этаже в настольный теннис. Впрочем, раза два-три мы беседовали с ним на серьезные темы, прогуливаясь во дворе.

— Кто это такой, папочка? — спросил меня сын, который с детства отличался любознательностью и совал свой носик во все дела.— Куда он тебя приглашал? Что это такое — отдел?

Я ему не ответил. Что я мог сказать, когда сам смутно представлял, что значит работать в отделе? Как это я могу работать в отделе? Я и так с трудом переносил ту минимальную дисциплину, которую требовал журнал. А в отделе надо приходить ровно в девять на работу и сидеть до шести, а то и до семи, до восьми каждый день. По силам ли это мне? Да и что я понимаю в делах отдела? Я никогда никем и ничем не руководил и не испытывал к этому особого призвания. Я написал к тому времени две книги и почти в каждом номере журнала публиковал свои статьи, и больше всего мне хотелось писать, а если получится, то попробовать себя и в художественной литературе. И даже журнал, где было достаточно возможностей для письма, тяготил меня прикованностью к рабочему месту и к каждому очередному номеру. Что же говорить об отделе, где, наверное, ни одной минуты не принадлежишь самому себе!

Несмотря на скромное место, которое я занимал в журнале, я чувствовал себя активным участником бурного процесса политической жизни конца 50-х годов. Каждая моя публикация (а я напечатал несколько десятков статей в журнале) вызывала острые дискуссии в самом коллективе и за его пределами.

— Вы ходите по лезвию ножа, Федор Михайлович,— говорил мне один многоопытный и хитроумный работник редакции.— Смотрите, не обрежьте себе пальцы.

Но я меньше всего думал об этом. Мне часто говорили, что во мне вообще есть генетический недостаток — слабо развитое чувство самосохранения. И верно: я трижды ломал себе руку, один раз ногу и даже ухитрился повредить

позвоночник. Но дело, конечно, не в этом. Вступив в область политики после 1953 года, я глубоко верил, что нахожусь в русле самых прогрессивных течений в нашей стране. Быть может, немножко впереди, немножко забегая, но ведь кто-то должен брать на себя эту опасную и опрометчивую — с точки зрения личных интересов — миссию?

Такое же чувство испытывали тогда многие представители послесталинского поколения. Политический маятник качнулся так далеко в сторону авторитарного режима и тотального контроля, что он неизбежно должен был породить огромный импульс для противоположного движения. Я встречал все больше людей в политической среде, зараженных мессианским стремлением реформировать нашу идеологию и все общество. То был род какого-то тираноборства, тем более ожесточенного, что оно приходило в острейшее столкновение с настроениями большинства, которое по инерции продолжало думать и жить прежними представлениями.

Кроме того, меня мучило и другое чувство — какой-то вины перед старшим поколением наших школьных сверстников, большинство из которых погибло на фронте. Мы были первым поколением, которое не успело погибнуть на войне. Но, как написал потом В. Высоцкий, «ребятишкам хотелось под танки». Таким «танком» для нас стал сталинизм. Мы чувствовали неумолимую потребность к риску в борьбе с его наследниками...

Впрочем, рассказанный выше эпизод так мало занял мое внимание, что я даже не сообщил о нем жене, когда мы вернулись в нашу маленькую комнату на втором этаже двухэтажного барского дома в Нагорном. Я говорю «барского», хотя это неточно. Дом, собственно, был построен два десятилетия назад, но образцом — хотя, быть может, не лучшим — для него послужили старые барские дома средней руки.

Я упоминаю об этих житейских подробностях, чтобы читатель видел, что я ни в малейшей мере не был подготовлен к встрече с человеком, который стал политическим мифом в нашей стране и во многом определил мою судьбу на долгие годы.

Но первая моя встреча с Юрием Владимировичем Андроповым, или с Ю. В. (так его за глаза называли в отделе), прошла довольно обыденно. Был он тогда одним из заведующих в одном из многих отделов. И я почти ничего не слышал о нем прежде. В здании, где располагался

отдел, я бывал уже не раз. Буквально за несколько дней до этого визита я посетил тот же третий подъезд, тот же третий этаж по приглашению соседа Ю. В. по кабинету, который занимался проблемами международного коммунистического движения. Мне довелось редактировать его статью, и он пожелал встретиться со мной непосредственно, поскольку, как мне объяснили, предложенные мною поправки и замечания произвели на него благоприятное впечатление. Потом я узнал, что руководитель международного отдела тоже имел виды на меня, хотел ко мне присмотреться с той же целью, что и Ю. В.,— не подойду ли я для работы консультантом в его отделе.

Поэтому я зашел в кабинет Ю. В. без особого волнения, хотя, конечно, и не без острого любопытства: журналистская и академическая среда, в которой я пребывал до этого, мало воспитывала чинопочитание, не говоря уж о том, что с юных лет я был настроен довольно критически ко всяким авторитетам, пытаясь самостоятельно оценить достоинства и недостатки каждого и внутренне сопротивляясь любому внушению. Кроме того, мне было свойственно ощущение игры в любой ситуации. Как будто все, что происходило вокруг меня, делалось не очень всерьез, а по какому-то предварительному молчаливому сговору, когда каждый участник выступает в определенной роли, относясь к ней как к чему-то внешнему, неглавному, тогда как главное оставалось невысказанным и совершалось где-то в тайниках сознания или даже подсознания.

Это чувство, кстати говоря, часто спасало меня в острых ситуациях, когда другой, менее «игровой» человек испытывал страх за личную судьбу и порученное дело, что сковывало его, мешало активно участвовать в обсуждении проблемы или в действии. Мне казалось, что лучше в любом положении сохранять чуть отстраненное, ироничное отношение к происходящему. Но конечно же такое свойство характера имело и отрицательную сторону. Я нередко бывал неосторожен и опрометчив в своих высказываниях и, как говаривал мне впоследствии Ю. В., «подставлял бока».

Помнится, я не испытал робости, когда после обычного рукопожатия с выходом из-за стола Ю. В. вернулся на свое место, а мы с Толкуновым, который сопровождал меня в кабинет, уселись по обе стороны за маленький столик, стоящий перпендикулярно к столу хозяина кабинета. Бросив беглый взгляд вокруг себя, я обратил внимание прежде всего на два огромных, почти во всю стену, окна,

выходивших в сторону подъезда, портрет Ленина над головой хозяина кабинета, удлиненный стол слева от него, у которого находилось не менее десяти — двенадцати довольно массивных стульев, и кресло на председательском месте. Я не знал тогда еще, что мне придется сотни раз на протяжении многих часов сидеть за этим столом, как правило, на одном и том же месте, по левую руку от Ю. В., участвовать вместе с ним в трудном, нередко сумбурном, бесконечно утомительном и таком восхитительном процессе — совместном коллективном сочинении, редактировании и переписывании документов и речей руководителей страны. Но все это в будущем.

А пока я сидел, улыбаясь почему-то почти весело в ответ на мягкую улыбку Ю. В. Он уже тогда носил очки, но это не мешало разглядеть его большие, лучистые голубые глаза, которые проницательно и твердо смотрели на собеседника. Его огромный лоб, как будто бы специально освобожденный от волос по обе стороны от висков, его большой, внушительный нос, его толстые губы, его раздвоенный подбородок, наконец, руки, которые он любил держать на столе, поигрывая переплетенными пальцами,— словом, вся его большая и массивная фигура с первого взгляда внушала доверие и симпатию. Он как-то сразу расположил меня к себе, еще до того, как произнес первые слова.

— Вы работаете, как мне говорили, в международном отделе журнала? — раздался его благозвучный голос.

— Да, я заместитель редактора отдела.

— Ну и как вы отнеслись бы к тому, чтобы поработать здесь, у нас, вместе с нами? — неожиданно спросил он.

Этот вопрос — я хорошо помню — был задан в самом начале разговора и поэтому прозвучал для меня совершенно неожиданно. Я мог ждать такого вопроса где-то в конце разговора, после того как хозяин кабинета познакомится со мной. Только потом я узнал, что такой вопрос, в общем, ни к чему не обязывал Ю. В. Это еще не было предложение. Это был способ знакомства с собеседником. Не думаю, что такой способ выражал какую-то накатанную или заранее подготовленную модель общения или преследовал цель поставить человека в нелегкое положение и проанализировать его реакцию. Нет. Скорее это отражало одно из характерных качеств Ю. В.— необыкновенно развитую интуицию, которая редко обманывала его.

— Я не думал об этом,— сказал я совершенно искренне, удивленный таким оборотом дела и забыв употребить

общепринятую форму о том, как высоко я ценю оказанное мне доверие. И тут же продолжал: — Да и, откровенно говоря, я совершенно не уверен, что буду полезен в отделе. Я люблю писать, но не чувствую себя особенно пригодным для аппаратной работы.

— Ну, чего другого, а возможности писать у вас будет сверх головы. Мы, собственно, заинтересовались вами, поскольку нам не хватает людей, которые могли бы хорошо писать и теоретически мыслить. У нас здесь достаточно организаторов, и вам меньше всего придется заниматься чисто аппаратной работой. Консультанты у нас приобщены к важным политическим документам. Ваша работа в журнале и ваше образование — вы, кажется, кандидат юридических наук? — могут быть с большей пользой применимы у нас, на партийной работе.

— Я никогда не занимался проблемами социалистических стран...

— Но вы писали о советском опыте, о нашем государстве, о развитии демократии,— вставил свое слово Толкунов.— А это как раз хорошая база для того, чтобы освоить опыт других стран социализма.

— Ну так как же? — Ю. В. приветливо улыбнулся.— Я думаю, что мы понравились друг другу?

— Что касается меня, здесь нет сомнений.

— Ну вот и хорошо,—сказал Ю. В. и дружески пожал мне руку.

Не помню, как очутился в коридоре, поспевая за Толкуновым, который, несмотря на свое прихрамывание, быстрым, спортивным шагом шел к своему кабинету на четвертом этаже.

— Тебе будет интересно, Федор,— сказал Толкунов.— Ты увидишь, мы хорошо сработаемся.

Я не знал, что отвечать, и поэтому продолжал улыбаться все той же глупой улыбкой, которую вызвала у меня встреча с таким значительным и одновременно таким обаятельным человеком, каким мне показался руководитель этого важного отдела. Толкунов попрощался со мной на лестничной клетке, и я, спустившись пешком с третьего этажа и отдав свой пропуск у входа дежурному в звании лейтенанта, оказался на улице, где стояло у подъезда десятка два черных и белых машин «Волга», не так давно появившихся на улицах Москвы.

Я все еще переживал приятное чувство от только что состоявшегося разговора, но, право же, у меня в тот момент и в мыслях не было, что все это происходит всерьез,

что эта встреча перевернет всю мою жизнь, направит ее по какому-то новому пути, о котором я никогда не думал, полагая себя человеком, созданным для совершенно иной деятельности — литературной, научной, но никак не политической. Дальнейшие события показали, как глубоко я ошибался — и в своем представлении о себе, и в оценке своего призвания. Впрочем, возможно, как раз тогда-то я и был прав, а ошибся, полагая себя политическим человеком?..

2

Прошло десять дней, и я не то чтобы забыл — это было невозможно,— а как-то отодвинул воспоминание об этой встрече, хотя в глубине души она оставила непонятное мне самому ощущение удовлетворения. Мне показалось, что я понравился такому интересному человеку, и это было хорошо. Вдруг в середине дня звонок в редакцию. Толкунов:

— Федор! Завтра утром выходи на работу. Пропуск тебе заказан. Состоялось решение.

— Решение? Какое решение и что в нем?

— Как что? Ты назначен консультантом отдела. Подписал лично сам Первый. Так что не тяни волынку и завтра же приступай. Дел тут у нас по горло. Ну, будь здоров. (Слышу, у него зазвонил другой телефон, и так громко!) Меня вызывает Ю. В.

Я положил трубку с таким выражением лица, что мой коллега, сидевший напротив за своим столом, спросил:

— Что-нибудь случилось? Какой-то ляп в статье?

— Да нет, ничего плохого вроде не случилось, только мне придется, наверное, сегодня же сдать тебе все дела.

— Да ты что?! Так круто?

— Переводят на работу в отдел,— сказал я все еще как-то рассеянно.

— Так чего же ты киснешь, старина! С тебя причитается. Давай закатывай отвальную!

— Вместо отвальной я, пожалуй, оставлю тебе свою маленькую библиотеку. Она состоит из тринадцати томов произведений товарища Сталина на глянцевой бумаге и в роскошном переплете.

На другое утро я уже сидел за письменным столом у окна с видом на замкнутый внутренний дворик. Комната мне не понравилась: она была узкая, как пенал, и напоми-

нала первую в моей жизни жилую комнату в трехкомнатной квартире, которую я получил, работая в журнале. Это было такое же кишкообразное помещение, постоянно продуваемое сквозняком, поскольку дверь и окно были на одной линии. Кроме того, с той комнатой у меня были связаны тягостные воспоминания. Мы жили там вчетвером — я с женой, сыном и няней,— а затем впятером, когда приехала моя мама, вышедшая на пенсию.

Дня три я томился в своем «пенале», не зная, куда себя деть. Весь отдел был занят на Совещании представителей коммунистических и рабочих партий 1960 года, и до меня никому не было дела. На третий день к вечеру раздался знакомый, теперь почти уже родной голос Толкунова:

— Федор, ты сейчас не очень занят? Я хотел захватить тебя в одно место. Тебе будет интересно. Я уже на выходе.

Обрадованный, я быстро спустился с третьего этажа и добежал до подъезда, как раз когда показался прихрамывающий Толкунов. Мы сели в машину и через три минуты уже входили в Кремль. Предъявив удостоверение, Толкунов властно бросил: «Это со мной», и меня пропустили, разумеется предварительно тщательно сверив фотографию в моем удостоверении с моей физиономией (видимо, пропуск был заказан заранее).

Сердце мое забилось радостно: я впервые попал в Кремль. Я гордо вышагивал рядом с Толкуновым, успевая бросать взгляды вокруг и стараясь запечатлеть все — и старые величественные башни, и купола церквей, и широкую площадку на белесой мостовой с черными машинами, которые казались неуместными здесь, на фоне этих восхитительных древностей.

Мы поднялись на верхний этаж и, пройдя по широкой внутренней лестнице, оказались в огромном зале, где стояло множество столов, уставленных напитками и разнообразными закусками. Не менее двухсот человек толпились вокруг этих столов, чокались, произносили тосты, переходили с места на место и создавали такой шум и гам, в котором трудно было что-либо расслышать.

Тут внимание мое было привлечено громким разговором, который происходил в самом конце зала, где собрались наши руководители и лидеры других партий. Я стал пробираться поближе, чтобы услышать, о чем говорил Первый. Находясь от него шагах в десяти, я впервые вблизи рассмотрел его.

Старшее поколение, конечно, помнит эту характерную фигуру, а младшее, возможно, никогда не видело даже его портретов. В ту пору ему, наверное, минуло лет шестьдесят, но выглядел он очень крепким, подвижным и до озорства веселым. Чуть что, он всхохатывал во весь свой огромный рот с выдвинутыми вперед и плохо расставленными зубами, частью своими, а частью металлическими.

Его широкое лицо с двумя бородавками и огромный лысый череп, крупный курносый нос и сильно оттопыренные уши вполне могли принадлежать крестьянину из среднерусской деревни или подмосковному работяге, который пробирается мимо очереди к стойке с вином. Это впечатление, так сказать, простонародности особенно усиливалось плотной полноватой фигурой и казавшимися непомерно длинными руками, потому что он почти непрерывно жестикулировал. И только глазки, маленькие карие глазки, то насыщенные юмором, то гневные, излучавшие то доброту, то властность,— только, повторяю, эти глазки выдавали в нем человека сугубо политического, прошедшего огонь, воду и медные трубы и способного к самым крутым поворотам, будь то в беседе, в официальном выступлении или в государственных решениях.

В момент, когда я впервые увидел его, он стоял с рюмкой в руке, а все остальные, наши и не наши, сидели за несколькими столами, близко придвинутыми друг к другу. Он держал рюмку с коньяком, хотя она мешала ему говорить, размахивал ею в воздухе, выплескивая коньяк на белую скатерть, пугая соседей и не замечая всего этого. Только потом, когда он уже совсем вошел в раж и глаза его уже не сузились, а расширились от ужасавших его самого воспоминаний, он осторожно поставил рюмку на стол, освободив, таким образом, правую руку, совершенно необходимую для убедительности его слов. И здесь я впервые услышал от него рассказ, который он потом при мне повторял еще дважды в другой обстановке, более камерной, в присутствии всего нескольких человек. Но что удивительно — он повторял рассказ почти слово в слово.

— Когда Сталин умер, мы, члены Президиума, приехали на ближнюю дачу в Кунцево. Он лежал на диване, и врачей возле него не было. В последние месяцы своей жизни Сталин редко прибегал к помощи врачей, он их боялся. Берия его, что ли, напугал, или он сам поверил, что врачи плетут какие-то заговоры против него и других руководителей. Пользовал его тогда майор один из охраны, который был когда-то ветеринарным фельдшером.

Ему он доверял, он же и позвонил о кончине Сталина нам и вызвал врачей. Стоим мы возле мертвого тела, почти не разговариваем друг с другом, каждый о своем думает. Потом стали разъезжаться. В машину садились по двое. Первыми уехали Маленков с Берией, потом Молотов с Кагановичем. Тут Микоян и говорит мне: «Берия в Москву поехал власть брать». А я ему отвечаю: «Пока эта сволочь сидит, никто из нас не может чувствовать себя спокойно». И крепко мне тогда запало в сознание, что надо первым делом Берию убрать. А как начать разговор с другими руководителями? Тогда все подслушивалось, скажешь комунибудь, а он продаст. Несколько месяцев спустя стал я объезжать по одному всех членов Президиума. Опаснее всего было с Маленковым, друзья ведь были с Лаврентием. Ну, я приехал к нему, так и так, говорю. Надо Берию убирать. Пока он ходит между нами, гуляет на свободе и держит в своих руках органы безопасности, у всех нас руки связаны. Да и неизвестно, что он в любой момент выкинет, какой номер. Вот, говорю, специальные дивизии почему-то к Москве подтягиваются. И надо отдать должное Георгию — в этом вопросе он поддержал меня, переступил через личные отношения. Видимо, сам боялся своего друга. А Маленков тогда был Председателем Совмина и вел заседания Президиума ЦК. Словом, ему было что терять. Потом поехал я к Молотову. Тот долго думал, молчал, слушал, но в конце разговора сказал: «Да, верно, этого не избежать. Только надо сделать так, чтобы не получилось хуже». Я ему рассказал о своем плане. А план был такой: заменить охрану у входа, где проходило заседание Президиума, посадить там надежных офицеров и тут же, прямо на заседании, арестовать эту гадину. Потом поехал я к Ворошилову. Вот здесь сидит Клим Ефремович, он помнит. С ним пришлось говорить долго. Очень он беспокоился, чтобы не сорвалось все. Верно я говорю, Клим?

— Верно, верно,— громко подтвердил Климент Ефремович, весь красный то ли от рассказа, то ли от выпитого.— Только бы войны не было,— прибавил он почему-то не совсем кстати.

— Ну, насчет войны — это отдельный разговор,— продолжал Первый.— Значит, поехал я тогда к Кагановичу, выложил ему все, а он мне: «А на чьей стороне большинство? Кто за кого? Не будет ли его кто поддерживать?» Но когда я ему рассказал обо всех остальных, он тоже согласился. И вот пришел я на заседание. Сели все, а

Берии нет. Ну вот, думаю, наверное, дознался. Ведь не снести тогда головы. Где окажемся завтра, никто не знает. Но тут он пришел, и портфель у него в руках. Я сразу сообразил, что у него там, в портфеле! Да и у меня на этот случай,— тут рассказчик похлопал себя по правому карману широкого пиджака,— у меня, говорю, тоже было кое-что припасено... Сел Берия, развалился и спрашивает: «Ну, какой вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так неожиданно?» А я толкаю Маленкова ногой и шепчу: «Открывай заседание, давай мне слово». Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил сам и говорю: «На повестке дня один вопрос. Об антипартийной, раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение, говорю, вывести Берию из состава Президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать военному суду. Кто за?» И первый руку поднимаю. И тут все остальные подняли руки. Берия весь позеленел — и к портфелю. А я портфель рукой цап! И к себе! «Шутишь,— говорю,— ты это брось!» А сам нажимаю на кнопку. Тут вбегают офицеры из военного гарнизона Москаленко (я с ними договорился заранее). А я им приказываю: «Взять этого гада, изменника Родины, и отвести куда надо». Тут Берия стал что-то бормотать, весь позеленел, в штаны наложил! Такой герой был других за холку брать и к стенке ставить. Ну, остальное вы знаете: судили его и приговорили к расстрелу. Вот как это было. Так вот, я хочу выпить,—он снова взял в руки свою рюмку,— за то, чтобы такое нигде и никогда больше не повторилось. Мы сами смыли это вонючее, грязное пятно и сделали все, чтобы создать гарантии против подобных явлений в будущем. Я хочу вас заверить, товарищи, что мы такие гарантии создадим и все вместе пойдем вперед к вершинам коммунизма! За здоровье руководителей всех братских партий!

В этот момент я наконец оторвал глаза от рассказчика и, взглянув в сторону, увидел Ю. В. Он сидел молча, опустив голову и глядя в одну точку. Потом я узнал, что он вообще не любил пить, да и нельзя было ему из-за высокого кровяного давления. Но в тот момент мне показалось, что ему было неловко за рассказчика, что он считал изложение всей этой истории здесь, при таком большом стечении людей, неуместным. Может быть, я ошибался, хотя лицо его было очень выразительным и на нем отражалась смена настроений. (Впрочем, конечно, разгадывать его мысли вряд ли кому удавалось.)

Что касается меня, то я был поражен всем происходящим, всем услышанным и особенно тем, с какой легкостью я оказался приобщенным к самым сокровенным тайнам государства.

Впоследствии Хрущев многократно возвращался к своему рассказу об аресте Берии и вносил в него новые детали. Самые главные из них касаются реакции различных руководителей на предложение устранить этого палача. Колебался не только Ворошилов, долго приценивался Каганович, спрашивал настойчиво, кто за и кто против, и даже Микоян, с которым Хрущев, собственно, и начал первый разговор, считал вначале, что, быть может, Берия не безнадежен и еще сможет работать в коллективе. Несколько иначе выглядел и самый арест.

В 1960 году Хрущев умалчивал о роли Г. К. Жукова, поскольку он незадолго до этого добился его освобождения с руководящих постов. Позднее честность взяла верх над конъюнктурными соображениями. Хрущев признал, что главную роль в аресте сыграл Жуков вместе с Москаленко и другими военными. К слову, мне рассказывал интересный человек, В. Е. Лесничий, работник одного из подмосковных научно-исследовательских центров, о выступлении Г. К. Жукова перед их коллективом. Жуков вспоминал о Берии, которого ненавидел всей силой своей неукротимой души.

По словам Жукова, в одиннадцать часов в тот самый день, когда должны были взять Берию, раздался звонок. Хрущев говорит: «Георгий Константинович, прошу приехать ко мне, есть очень важное дело». Сажусь в машину, приезжаю. открываю кабинет, он встает из-за стола, подходит ко мне, берет меня за руки: «Георгий Константинович, сегодня надо арестовать подлеца Берию. Ни о чем не расспрашивайте, я потом расскажу». Я вздохнул, закрыл глаза и сказал: «Никита Сергеевич, я жандармом никогда не был, но эту жандармскую миссию выполню с большим удовольствием. Что надо делать?» Хрущев сказал: «Вы берете с собой генералов, проводите их через Боровицкие ворота, приходите в приемную, где будет заседание Президиума, ждете звонка, заходите, берете его и сидите до трех часов утра, пока не будет снят весь караул, затем придет майор, назовет пароль, вы сдадите Берию. Вот и все». Потом, продолжал Жуков, я посадил в машину на заднее сиденье Батицкого и Москаленко, накрыл их попоной, поскольку у них не было пропусков, и проехал через Боровицкие ворота в Кремль, зашли в приемпую. Никто

не знал, зачем приехали, кроме меня. Ждем. В час дня звонка нет, пять минут второго — нет. Я представил, что Берия арестовал всех и ищет меня. Состояние было очень тревожное. В час пятнадцать раздался звонок. Мы вытащили пистолеты, один остался у входа, вошли мы с Москаленко, слева сидел Берия. Я направился к нему, перед ним лежал портфель, мысль промелькнула, что, может быть, оружие, я толкнул портфель, схватил Берию за руки и закричал: «Берия арестован!» Он вскочил и крикнул: «Георгий Константинович, что случилось?!» В ответ я снова закричал: «Молчать!» Развернулся — и на выход с ним. Мне показалось, что не все члены Президиума знали об аресте и заподозрили, что я совершаю военный переворот. Вывели мы Берию, сняли пенсне, раздавили, отрезали пуговицы на штанах, ну и просидели там до трех часов утра, потом его увезли.

...Так рассказывал Жуков. Тогда кто-то из аудитории спросил его: «Какое событие вы считаете самым важным в вашей жизни?» И маршал без колебания ответил: «Арест Берии!» Вот оно как.

Эпизод с портфелем, о котором говорили и Хрущев и Жуков,— чистый фрейдизм. Один вроде толкнул, другой схватил портфель, полагая, что там оружие. Но оружия там не было, это впоследствии признавали оба, но они продолжали и продолжали рассказывать о портфеле, поскольку в их сознании он концентрировал в себе весь ужас возможного провала...

Вернемся, однако, в зал, где Хрущев еще не закончил свои откровения. Он как раз снова поднял рюмку с коньяком:

— Вот меня часто спрашивают, как это я вдруг вышел и сделал тот доклад на Двадцатом съезде. Столько лет мы верили этому человеку. Поднимали его. Создавали ему культ. И риск тоже был огромен. Как еще отнесутся к этому руководители партии, и зарубежные деятели, и вся наша страна? Так вот, я хочу рассказать вам историю, которая мне запомнилась с детства, еще когда обучался грамоте. Была такая книга «Чтец-декламатор». Там печаталось много очень интересных вещей. И прочел я в этой книге рассказ, автора не помню. Сидели как-то в тюрьме в царское время политзаключенные. Там были и эсеры, и меньшевики, и большевики. А среди них оказался старый сапожник Пиня, который попал в тюрьму случайно. Ну, стали выбирать старосту по камере. Каждая партия предлагает своего кандидата. Вышел большой спор. Как быть?

И вот кто-то предложил сапожника Пиню, человека безобидного, не входящего ни в одну из партий. Посмеялись все, а потом согласились. И стал Пиня старостой. Потом получилось так, что все они решили из тюрьмы бежать. Стали рыть подкоп. Долго ли рыли, неизвестно, только вырыли. Ну, и тут возник вопрос, кому идти первым в этот подкоп. Ведь, может, тюремное начальство уже дозналось о подкопе и ждут там с ружьями. Кто первым будет выходить, того первым и смерть настигнет. На эсеров-боевиков указывают, а те — на большевиков. Но в этот момент из угла поднимается старый сапожник Пиня и говорит: «Если вы меня избрали старостой, то мне таки и надо идти первым». Вот так и я на Двадцатом съезде. Уж поскольку меня избрали Первым, я должен, я обязан был, как тот сапожник Пиня, сказать правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал. Еще Ленин нас учил, что партия, которая не боится говорить правду, никогда не погибнет. Мы извлекли все уроки из прошлого, и мы хотели бы, чтобы такие уроки извлекли и другие наши братские партии, тогда наша общая победа будет обеспечена. Я хочу выпить за наше единство, за нашу верность заветам великого Ленина.

Все стали аплодировать, хотя, как я заметил, представители двух-трех партий воздержались от этого. Читатели легко догадаются, о ком я веду речь. У всех на памяти острая полемика, которая разгорелась после Совещания 1960 года, несмотря на то что в результате тяжелейшей борьбы удалось согласовать общий документ — Заявление. Это были представители китайской и албанской партий.

Тем временем тосты следовали один за другим, и шумное застолье завершилось только около полуночи. Меня представили многим известным людям, но я почти весь вечер чувствовал неловкость. Мне казалось, что я каким-то незаконным путем проник в это высокое собрание, услышал то, чего не должен был слышать. Все пришли в черных или синих костюмах, тогда так было принято. На работу надевали синий зимой, серый летом. А у меня не было ни черного, ни синего костюма. Я был одет в какой-то светло-коричневый костюмчик с вызывающими блестками и накладными плечами, сшитый по случаю у портного, который хотел сделать из меня «модного человека». Явившись на высокое совещание в этом затрапезном виде, я выглядел белой вороной. (Комплексы такого рода и связанная с ними некоторая робость скоро у меня прошли,

да и костюмы стал я шить по форме в специальном ателье: синий, серый и даже дипломатический — черный.)

Видимо, Толкунов знал, что делал: он сразу вознес меня на Олимп, предоставил мне возможность познакомиться с нашими основными «заказчиками», то есть с теми, для кого мы должны были сочинять речи, готовить справки и документы (в нашей среде почему-то принято было иронически произносить доку́менты).

Стремительность происшедшей со мной перемены поразила меня. Особенно я был удивлен тем, как быстро созрело мнение обо мне у руководителя отдела, который видел меня всего несколько минут. Только потом мне стало ясно, что он спрашивал обо мне у человека, авторитету и слову которого полностью доверял. Это был Отто Вильгельмович Куусинен, который незадолго до этих событий вошел в состав высшего руководства нашей партии и государства.

Глава третья

СТАЛИН И ХРУЩЕВ

1

Кто кого находит — история личность или личность историю? Я много размышлял и писал о многих политических фигурах XX века. Но до сих пор не могу с полной ясностью ответить самому себе на этот вопрос.

Михаил Булгаков, чье имя было восстановлено в хрущевское время, вопрошал в «Мастере и Маргарите» устами дьявола Воланда: могут ли люди допускать мысль о свободе воли, если жизнь их настолько ограничена, что они не в состоянии иметь план хотя бы на какую-нибудь тысячу лет? И другое: кирпич на голову человека случайно не падает — все предопределено.

Нам тоже в юности внушили веру в предопределение, правда оно называлось научно — закономерность. Быть может, это шло от Гегеля: все действительное разумно. Это значит, что было, то и должно было быть. И только с возрастом и опытом мы стали понимать многовариантность истории. В ней заложены разные возможности, в игре участвуют разные фигуры.

Пешка добегает до последней линии и превращается в ферзя. Или ферзь попадает в ловушку и становится жертвой пешки. Я не вхожу здесь в обсуждение проблемы «народ и личность». В конечном счете именно идущие от народа социальные и нравственные импульсы определяют лицо эпохи. Но в конкретный период огромный отпечаток на нее накладывает и крупная историческая личность. Как бы там ни было, очевидно одно: политический деятель, особенно руководитель страны, не только выступает как орудие истории, но и самым непосредственным образом влияет на события и судьбы.

Как могло случиться, что после Сталина к руководству страной пришел именно Хрущев? Казалось бы, Сталин

сделал все, чтобы «очистить» партию от любых своих противников — подлинных и мнимых, правых и «левых». В 50-х годах передавалась из уст в уста одна из его афористичных фраз: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». В результате в живых остались, казалось бы, самые верные, самые надежные. Как же Сталин не разглядел в Хрущеве могильщика своего культа?

В последние годы, незадолго до кончины, Сталин подверг опале Молотова и Микояна, готовя им, вероятно, такую же участь, какая постигла других руководителей, уничтоженных при их помощи и поддержке. Создание на XIX съезде Президиума ЦК КПСС, заменившего более узкое по своему составу Политбюро, было шагом к «отстрелу» следующей генерации засидевшихся соратников. Но Сталин — парадокс! — «не грешил» на Хрущева.

Старческое ослепление? Пожалуй, нет. Никколо Макиавелли, этот блистательный разоблачитель тирании, бросил некогда фразу: «Брут стал бы Цезарем, если бы притворился дураком». Думается, Хрущеву каким-то образом удалось притвориться человеком вполне ручным, без особых амбиций. Рассказывали, что во время длительных ночных посиделок на ближней даче в Кунцеве, где вождь жил последние тридцать лет, Хрущев отплясывал гопака. Ходил он в ту пору в украинской косоворотке, изображая «щирого казака», далекого от каких-либо претензий на власть, надежного исполнителя чужой воли. Но, видимо, уже тогда Хрущев глубоко затаил в себе протест, хотя до конца еще и не сознавал его глубины. И эти его чувства стали выплескиваться на другой день после кончины Сталина.

Что же представлял собой Хрущев — третий лидер Советской страны после революции? Почему именно он оказался на вершине власти после Сталина? Каков был его жизненный путь до этого стремительного взлета? Эти вопросы волновали всех, в том числе меня, когда мы наблюдали его первые шаги, а затем и всю его деятельность на протяжении «славного десятилетия». До этого мы мало что слышали о Хрущеве, поскольку в период нашего созревания он находился на Украине. Впервые по-настоящему о нем стало известно, когда он выступил с докладом об изменениях в Уставе партии на XIX съезде в 1952 году. Да и тогда никто не рассматривал его как возможного преемника Сталина. Его скромную фигуру заслоняли куда

более известные имена Молотова, Маленкова, Микояна, Берии, Булганина, Ворошилова.

С тем большим интересом мы искали уже в ту пору сведения о прежней деятельности Хрущева. В этом смысле уникальное значение имела его единственная прижизненная краткая биография. Собственно, даже не биография, а очерк, касавшийся главным образом его жизни и деятельности на Украине. Он назывался «Рассказ о почетном шахтере» (Н. С. Хрущев в Донбассе). Издана была эта книга небольшим тиражом и распространялась главным образом на Украине. Хрущев не был заинтересован, по крайней мере тогда, в публикации своего жизнеописания. У всех еще на памяти была его острая критика «Краткой биографии Сталина», где «вождь всех народов» изображался самым мудрым, самым гениальным, самым великим деятелем во все времена истории человечества.

Никита Сергеевич Хрущев родился 4-го по старому стилю, а по новому — 17 апреля 1894 года в Курской губернии, в селе Калиновка. Его родители были простыми крестьянами — отец Сергей Никанорович, мать Ксения Ивановна. Кроме Никиты у них была еще дочь Ирина.

Сам Хрущев на завтраке, устроенном в его честь на студии кинокомпании «Твептис Сенчури Фокс» в США 19 сентября 1959 года, рассказывал:

— Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До пятнадцати лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещика. Потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал в шахтах, принадлежавших французам. Работал на химических заводах, хозяевами которых были бельгийцы, и вот теперь — премьер-министр великого Советского государства.

В другой раз в другом месте, возвращаясь к событиям своего детства, он снова вспоминал свою пастушескую и рабочую юность.

— Помню, как я пас овец, только был не чабаном, а рангом ниже. Бывало, чабан меня посылает: а ну, Никита, беги заверни овец. И я бегал заворачивал их. В деревне я и телят пас... После работал на заводах, в сырых шахтах, частенько приходилось мокрым уходить из шахты и так идти домой за три километра. Никаких бань, никаких раздевалок для нас капиталисты не делали... Если Горький прошел школу «народных университетов», то я воспитывался в шахтерском «университете». Это был для

рабочего человека своего рода Кембридж, «университет» обездоленных людей России *.

Был Никита мальчиком любознательным. Зимой он посещал школу и довольно быстро научился читать и писать. Когда ему минуло четырнадцать лет — это было в 1908 году,— он вместе с семьей переехал на Успенский рудник, в Донбассе.

Вначале Никита работал по своей прежней «специальности» и пас коров, но вскоре стал учеником слесаря, а затем слесарем. Хрущев любил свою профессию и гордился ею. Впоследствии, рассказывая о жизненном уровне рабочих в Юзовке и откровенно сравнивая его с положением при Советской власти, Хрущев ссылался как раз на собственный опыт.

— Я женился в 1914 году двадцати лет от роду,— сообщал Никита Сергеевич.— Поскольку у меня была очень хорошая профессия, я смог сразу же снять квартиру. В моей квартире была гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме в гораздо лучших условиях, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Неудивительно, что некоторые говорят: «Что же это за свобода? Вы обещали нам рай... Может быть, мы попадем в рай после смерти, только хотелось бы пожить получше на земле. Мы ведь не предъявляем каких-то особенных требований. Дайте нам угол, куда приткнуться...» Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40—45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Сапоги хорошего качества, вот такие, как на мне сейчас, стоили 6 от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень сильно, цены также сильно поднялись...

Интересно, что, даже занимая высокие посты в 30-х годах, Хрущев психологически не порывал со своей изначальной профессией. Будучи первым секретарем Московского областного комитета партии и первым секретарем Московского городского партийного комитета, а также кандидатом в члены Политбюро, он не только радовался своему продвижению, но и постоянно боялся падения. Как

* См.: *Медведев Р.* Хрущев. Политическая биография. Нью-Йорк, издательство В. Чалидзе, 1986. С. 10; Дружба народов. 1989. № 7. С. 121.

он признавался, у него оставалось больше страха, чем торжества из-за огромной ответственности. И он долгое время возил и хранил личный инструмент: метромер, угольнички и другое имущество, необходимое для слесарного дела. На протяжении всего сталинского времени у него было такое чувство, что в любой момент его могут сбросить с занимаемых постов, и тогда он вернется к основной своей деятельности *.

Но, несмотря на известный достаток и хорошую профессию, молодой слесарь не чувствовал себя удовлетворенным. И дело было не только в тяжелой работе. Его возмущали отношения хозяев к рабочим. Местный пристав Яновский рапортовал в ту пору о Юзовке своему начальству: «Во вверенном мне поселке, а также при руднике «Ветка» у станции Юзово состоит жителей мужчин и женщин 54 717 человек, в поселке 1 церковь, 1 православный молитвенный дом, 1 магометанский, 1 англиканский. Казенных винных лавок 16, пивных 17...» ** Надо думать, что Никита Сергеевич заглядывал в эти пивные и винные лавки вместе со своими друзьями, поскольку на всю жизнь сохранил слабость к хорошим напиткам...

Здесь, в Юзовке, Хрущев получил первые уроки революционного сопротивления. В приземистой землянке рабочего Емельяна Косенко по вечерам собиралась молодежь, приглашали девушек, Никита играл на гармошке-двухрядке, и все вместе пели песни. Здесь же стали зарождаться в его сознании мысли о борьбе против хозяев шахты.

Никита сошелся с молодым шахтером Пантелеем Махиней, который приобщил его к чтению русской литературы, а потом и революционных книжек. Уже в зрелом возрасте, будучи руководителем страны, Хрущев вспоминал стихи из «Чтеца-декламатора»:

Люблю за книгою правдивой
Огни эмоций зажигать,
Чтоб в жизни нашей суетливой
Гореть, гореть и не сгорать...

Эти слова: «гореть, гореть и не сгорать» — особенно остро врезались в сознание молодого шахтера. Смелый и даже необузданный по характеру, он сделал это програм-

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Нью-Йорк, издательство В. Чалидзе, 1981. Кн. 2. С. 14. Здесь и далее автором использованы воспоминания Н. С. Хрущева по этому изданию.

** Рассказ о почетном шахтере. Сталино-Донбасс, 1961. С. 13.

мой всей своей жизни. Его активности, напору, беззаветной склонности к риску мог позавидовать любой рекордсмен мира по спорту или герой войны.

Здесь же, в каморке Пантелея Махини, впервые Хрущев услышал слова «Коммунистического манифеста», врезавшиеся в его сознание на всю жизнь: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Участники этих вечеров вспоминают слова Никиты:

— Думаю я, хлопцы, вот о чем. Настанет такое время, когда сорганизуется рабочий люд, раздавит царя и всю буржуйскую сволочь, сам на земле владыкой станет... Какая тогда жизнь будет!

Уже тогда Никита Сергеевич попал под подозрение. Сохранился любопытный документ — донесение агента охранки. В нем рассказывалось о забастовках и молодой Хрущев представлен как один из самых главных организаторов. Он был взят под негласный надзор полиции.

По требованию полиции вместе с другими рабочими — участниками забастовки был уволен и Хрущев. Однако его друзья помогли ему устроиться на другую шахту. Хрущев шутил по этому поводу:

— Поменял я, хлопцы, подданство. То на немца спину гнул, теперь к французу угодил...

Не отсюда ли пошла такая чувствительность Хрущева к любым формам зависимости от иностранного капитала? Эта чувствительность была характерна вообще для советских коммунистов, включая Сталина, Бухарина и многих других. Может быть, поэтому так остро в период нэпа обсуждался вопрос об иностранных концессиях. Несмотря на упорные настояния Ленина, подавляющее большинство функционеров относились к этой идее с величайшей настороженностью. Может быть, по аналогичным мотивам советские руководители с таким негодованием отвергли после второй мировой войны план Маршалла, как будто бы предлагавший экономическую помощь разоренной Советской стране. Может быть, поэтому и сам Хрущев испытывал двойственное чувство, видя технологические успехи за рубежом. С одной стороны, ему хотелось использовать лучшие достижения Запада. Он восхищался урожаями кукурузы американского фермера Гарста и пропагандировал с огромной экспрессией эту культуру и технологию ее выращивания в СССР. Но он опасался любых форм вторжения зарубежного предпринимательства в Советский Союз. Сложившиеся еще в юности комплексы мешали ему осознать новый факт взаимной перекрестной зависимости

национальных хозяйств между собой и необходимость участия в международном разделении труда.

Конечно, за этим стояли какие-то политические расчеты, но нельзя недооценивать и первые представления, которые складывались у Хрущева еще в дореволюционные годы.

2

В марте 1914 года в Донбассе стал издаваться «Шахтерский листок». Хрущев был одним из тех, кто распространял эту газету, как и ленинскую «Правду», и другую нелегальную литературу, среди рабочих.

На пресс-конференции для советских и иностранных корреспондентов 12 июня 1960 года в Москве Хрущев говорил о том, что его классовые чувства в отношении произвола капиталистов сложились еще в юности:

— Хочется сравнить этот произвол с тем, что было в свое время на многих предприятиях в дореволюционной России. Мне вспоминаются юношеские годы, когда я работал в Донбассе на руднике... Когда некоторые капиталисты деньги рабочим не платили, а выдавали им ордера, то есть как бы свои бумажные деньги. Был там торговец по фамилии Каракозов, который отпускал из своей лавки товары по таким ордерам. Рабочие, обращаясь друг к другу с просьбой занять ту или иную сумму, говорили: дай мне взаймы «каракозиков». «Рубль» этих «каракозиков» нередко продавали за 10 копеек. Ведь с этими каракозовскими деньгами никуда не пойдешь, кроме как к Каракозову, а тот продавал гнилое, паршивое, грабил трудовой народ.

В марте 1915 года мы видим Хрущева участником крупной забастовки в поселке Рудченковка. Он выступил на митинге с пламенной речью. Полицейские пытались арестовать его, но рабочие вступились за Никиту и изгнали жандармов с территории мастерских.

А с 1916 года шахты, как и весь Донбасс, стали ареной массовых забастовок и демонстраций рабочих. Во время одной из таких забастовок, в которой участвовал Хрущев, полиция открыла огонь по безоружным рабочим. Четыре человека было убито и два ранено, начались массовые аресты в Донбассе. Но они не смогли предотвратить приближавшуюся революцию.

Сам Хрущев рассказывал о том, как он вместе с рабочими Донбасса встретил весть о Февральской революции.

Его статья по этому поводу была напечатана в 1922 году к 5-й годовщине революции под названием «Воспоминания рудченковца».

— В день, когда пали цепи самодержавия, невольно вспоминается тяжелое время войны, дороговизна, низкая оплата труда и унижение народа, которым занимались все те, кто были нерабочими, кто имел хотя бы небольшую власть. И вдруг... настает этот день. В один вечер получили телеграммы. Телеграммы извещают о революции в Питере. Помню, с какой радостью читали мы за токарным станком эту телеграмму... У всех нас была уверенность — к старому возврата нет. Меня охватили какие-то чувства, хотелось плакать и смеяться, была какая-то уверенность в победе, и не страшили здесь же стоявшие городовые...

На рабочем собрании был избран временный исполнительный комитет, которому поручалось провести выборы Советов рабочих депутатов. В комитет вошел и Хрущев. А вскоре он стал членом рабочего Совета. Первым делом Совет арестовал полицейских чиновников, распустил полицию, а взамен ее создал рабочую милицейскую дружину. Через несколько месяцев, в августе 1917 года, шахтеры в Рудченковке создали свой военно-революционный комитет. Хрущев стал и его членом. Еще тогда он поддерживал линию партии большевиков. На митинге, организованном шахтерами, Никита Сергеевич высоко поднял красный флаг и провозгласил: «Долой гнилое правительство Керенского, да здравствуют большевики!»

После Октябрьской революции Хрущев возглавил Совет руднично-заводских комитетов профсоюза металлистов горнорудной промышленности. Этот Совет объединял профсоюзные организации восьми крупных шахт и других предприятий Юзовки.

Развернувшаяся вскоре гражданская война застала Хрущева в рядах боевых красногвардейцев. Он вошел в Первый донецкий пролетарский полк, который сражался против белой армии генерала Каледина. Однако, когда Рудченковку заняли немцы и войска Центральной рады (националистического украинского правительства), Хрущеву пришлось бежать из родных мест. Его спрятали в подземелье шахты, откуда он выбрался в степь, минуя вражеские заслоны, и скрылся с рудника.

После этого Хрущев вступил в Красную Армию, где вскоре стал комиссаром. Он участвовал во многих боевых операциях, в том числе в героической обороне Царицына,

переименованного впоследствии в Сталинград. Конечно, молодой красноармеец не мог и представить себе, что двадцать с лишним лет спустя придется снова в этих же местах участвовать в великой Сталинградской битве в качестве члена Военного совета...

Выступая на студии кинокомпании «Твентис Сенчури Фокс» в Лос-Анджелесе, Хрущев рассказывал о своем участии в гражданской войне:

— Мне вспоминаются некоторые эпизоды времен гражданской войны, мои встречи и беседы с представителями интеллигенции бывшей царской России. Когда мы разбили белогвардейцев и сбросили их в Черное море, тогда я был в рядах Красной Армии. Наша часть стояла на Кубани, и жил я в доме, принадлежащем одной интеллигентной семье. Хозяйка в свое время окончила институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. А от меня, видимо, тогда еще углем несло, когда я жил в ее доме. Там жили и другие интеллигенты — юрист, инженер, преподаватель, музыкант. Мы, красноармейцы, с ними общались... Когда они познакомились со мной, коммунистом, то увидели, что я не только не питаюсь мясом человека, но попросту голодаю. У меня иной раз даже хлеба нет, но я не только не отнимаю, но даже не прошу ничего... Представители старой интеллигенции все чаще убеждались, что коммунисты — честные люди, не имеющие личной корысти, что они заботятся об общем благе. Помню, мне хозяйка дома задавала такой вопрос: скажите, что вы понимаете в балете? Ведь вы простой шахтер... А я, признаться, тогда в балете ничего не понимал, потому что я не только балета тогда еще не видел, но и не встречал балерин. Как говорится, не знал, с чем его едят. Но я говорил, что обождите, все у нас будет, в том числе и балет. Говоря по правде, если бы меня тогда спросили, а что у вас будет, я, может быть, и не смог бы толком объяснить, я твердо верил, что впереди будет лучшая жизнь.

Очень типичный рассказ. Типичный для целого поколения молодых революционных деятелей. В отличие от «стариков» — так называли Ленина и многих его соратников, которые проделали огромный путь теоретического самовоспитания, были глубоко эрудированными и хорошо образованными профессиональными публицистами, литераторами,— хрущевское поколение пришло в революцию с простым багажом «классового инстинкта».

Этот инстинкт формировал сознание по простой схеме: мы рабочие, а они буржуи и помещики, а интелли-

генты, конечно, стоят ближе к богатым, чем к бедным. Наше дело — отнять власть у угнетателей рабочего класса, раздавить их сопротивление, подчинить их себе, а там... Конечно, мы устроим новую, невиданную еще на земле жизнь. Как пелось в «Интернационале»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем!»

Хрущеву, как и многим его сверстникам, простым людям, было ясно, что надо перевернуть пирамиду и вывести на самый верх самые низы. А какой будет порядок — там посмотрим... Странно сказать, но, даже пройдя огромную школу политической жизни, побывав во многих странах мира, в том числе во Франции, Англии, США, Хрущев, как мы увидим дальше, не избавился от черно-белой схемы, усвоенной им в период революционной юности. Капиталисты на одной стороне, коммунисты — на другой. Здесь рабочие, там — эксплуататоры. Здесь социалистический лагерь, там — капиталистический, и борьба между ними неизбежна, кто-то кого-то должен закопать...

Я бы сказал даже больше: Хрущев был типичен именно для определенной части рабочего класса — рабочих в первом поколении, тех, которые еще недавно пришли из деревни. Можно было бы назвать десятки имен потомственных квалифицированных рабочих, которые уже до революции и в первые годы Советской власти прошли большую политическую и теоретическую школу. Между тем как Хрущев воплощал в себе в юности и слесаря и недавнего пастуха. Он в равной мере ненавидел и капиталиста и помещика. Но он очень туманно представлял себе, чем же можно заменить прежнюю систему, какой должна стать новая...

В конце гражданской войны Хрущев вернулся в Рудченковку. В своей серой шинели он снова превратился в шахтера и молодого руководителя партийной ячейки. Он стал руководителем Рудченковского куста партийной организации. Тогда еще не окончилась эпоха так называемого «военного коммунизма», разруха была ужасающей. Инфляция достигла таких размеров, что кусок хлеба стоил миллион рублей. Все мужское население от восемнадцати до сорока шести лет, квалифицированные рабочие до пятидесяти лет, технические специалисты до шестидесяти пяти лет были обязаны выполнять трудовую повинность. За уклонение от нее нередко следовал расстрел или тюрьма. Местная газета под характерным названием «Диктатура

труда» писала в июне 1920 года: «Наша очередная задача — неуклонное проведение трудовой повинности. Это одна из сложных задач, разрешение которой приближает нас еще на шаг к коммунизму. Поголовная мобилизация всех нетрудовых элементов под лозунгом: «В трудовой республике нет места паразитам и бездельникам. Или их расстреливают, или перемалывают на великих жерновах труда».

Жестокое время! Как свидетельствуют сейчас историки, в период гражданской войны погибло четырнадцать — восемнадцать миллионов человек, из них только девятьсот тысяч было убито на фронтах. Остальные стали жертвами тифа, других болезней, а затем белого и красного террора. «Военный коммунизм» отчасти был вызван ужасами гражданской войны, отчасти заблуждениями целого поколения революционеров. Прямые изъятия продовольствия у крестьян без всякой компенсации, паек для рабочих — от полкило до двухсот пятидесяти граммов черного хлеба, принудительный труд, расстрелы и тюрьма за рыночные операции, огромная армия потерявших родителей беспризорных детей, голод, одичание во многих местах страны — такова была суровая плата за самую радикальную из всех революций, которые когда-либо потрясали народы земли.

В 1921 году начался новый период — нэп. Отказ от так называемой продовольственной разверстки, то есть прямого изъятия продуктов, производимых крестьянством, переход к политике обыкновенного налога. Началось возрождение крестьянской жизни в условиях семейного крестьянского двора. Были сделаны первые шаги по возрождению промышленности. И в этот момент как набатный колокол — ленинский призыв: «Учиться, учиться и учиться», адресованный рабочей молодежи, вчерашним красноармейцам. Учиться, чтобы суметь управлять государством. Ленин писал, что нэп вполне обеспечивает создание экономического и политического фундамента социализма, дело только в культурных силах пролетариата и его авангарда. В число первых молодых людей, которые откликнулись на этот призыв, попал и Хрущев.

В мае 1921 года он стал курсантом Донского техникума. Одновременно учился на рабочем факультете. За активный и неуемный характер, смелость и твердость его избрали секретарем партийной ячейки техникума. То был первый шаг на пути его восхождения к политическому руководству страной.

В середине 20-х годов этот техникум был преобразован в Индустриальный институт, в котором продолжал учиться Хрущев. А через некоторое время он стал секретарем районного комитета партии в Петрово-Маринском районе, в родных для него местах.

Впервые на общенациональном уровне он проявился в 1925 году. Хрущев был избран делегатом на XIV съезд партии. На съезде, как известно, произошло резкое столкновение между Сталиным и «новой оппозицией», руководимой Зиновьевым и Каменевым. Хрущев решительно взял сторону Сталина. Вернувшись к себе на родину, говорил в докладе на пленуме окружкома партии: «Наша линия — это линия большинства, то есть съезда партии и ЦК» *.

Пусть каждый определит свой рубеж, заявлял молодой партийный организатор. Как видим, он с самого начала свой рубеж определил. Он выступал вместе с большинством, а большинством дирижировал Сталин. Сейчас не так легко представить себе, как происходило размежевание сил в ту пору. Многие объясняют успехи Сталина в борьбе против других членов ленинского Политбюро исключительно его мастерством интриг и закулисных махинаций. Но дело обстояло сложнее.

В результате так называемого ленинского призыва в партию пришли сотни тысяч. Это были по преимуществу молодые люди, красноармейцы или работники низовых комсомольских ячеек. В отличие от «старой гвардии», которая состояла из интеллигентов или полуинтеллигентов, новое поколение коммунистов были выходцами из рабочей, а частично крестьянской среды. Они плохо или совсем не разбирались в сложных теоретических вопросах, составлявших предмет дискуссии на XIII, XIV и последующих съездах партии.

Такие люди, как Троцкий, Каменев, Зиновьев, а впоследствии даже Бухарин, мало импонировали им. Они были чужды этим рабочим, крестьянским парням, как «пустые спорщики», которые затуманивали ясные вопросы. А самый ясный вопрос заключался в том, что надо самим работать и мобилизовать рабочих, крестьян и специалистов. Кроме того, большинство новых молодых коммунистов выросло в период жестокой гражданской войны. Тогда все было просто: белые — красные, кто-то победит, кого-то поставят к стенке.

* Рассказ о почетном шахтере. С. 100.

Сталин в силу собственных своих качеств, как человек куда менее образованный и культурный, чем Троцкий, Зиновьев или Бухарин, был ближе к этой массе. Он никогда не усложнял дело, а выдвигал простые и понятные лозунги. Построить социализм в одной стране. Мобилизовать силы для ускоренной индустриализации. Взять средства для этого из деревни, больше неоткуда. Раздавить оппозицию, которая мешает работать. Противостоять мировому империализму, желающему задушить первую рабочую власть.

Поэтому я склонен думать, что Хрущев искренне брал сторону Сталина. Конечно, для него, вероятно, имело значение и то, что он поддерживает большинство. Это инстинктивная привычка каждого рабочего человека — чувствовать себя органической частью коллектива, не выбиваться из общих рядов, не изображать из себя одиночку, которая превосходит всех других. Можно было бы назвать это «стадным чувством», но такое определение неточно, не говоря уже о том, что оно оскорбительно. Скорее, это чувство локтя солдата во время сражения. Победить можно только сообща. А «умники» пускай подчиняются общей воле. Конечно, молодой Хрущев был потрясен тем превращением, которое произошло в его судьбе. Он был избран на XIV съезд партии, попал в состав украинской делегации с правом совещательного голоса. Это был его первый приезд в Москву.

Выйдя из гостиницы одним из первых, чтобы попасть в зал заседания, он, однако, не сразу мог найти Кремль...

Возможно, что он так бы и остался на всю жизнь руководителем среднего звена, если бы не благоприятный случай.

Генеральным секретарем ЦК Компартии Украины в 1928 году был избран С. В. Косиор, расстрелянный через десять лет по указанию Сталина. Как и принято было, каждый новый руководитель начинал свою работу с перестройки партийного аппарата, и в числе новых людей, приглашенных Косиором, оказался Хрущев. Он был назначен заместителем заведующего организационным отделом ЦК КП(б)У. А через год, когда в Москве открылась Промышленная академия, Хрущев стал одним из первых ее слушателей. Здесь он выступил как активный борец против сторонников Бухарина. В результате он возглавил партийное бюро академии.

Понимал ли Хрущев суть тех разногласий, которые разводили Бухарина со Сталиным, так называемую «пра-

вую оппозицию» — со сторонниками генеральной линии? Он сам признавался, что не понимал. Сторонники продолжения нэпа или его свертывания, «ситцевая индустриализация» или индустриализация за счет ограбления деревни, насильственная сплошная коллективизация или развитие многоукладности и добровольное кооперирование в деревне, сохранение новой партийной демократии или формирование культа личности — все эти вопросы были довольно далеки от хрущевского сознания.

Но что он понимал хорошо — это вопросы борьбы за власть и влияние. Он видел, как сторонники Бухарина в Промакадемии стремились «протащить» своих представителей на Бауманскую районную партконференцию. Тем самым отодвинуть его и других руководителей партбюро. И тут уже было не до теоретических споров. Стенка на стенку. Кто — кого. В этой борьбе Хрущев, конечно, чувствовал за спиной могучую опору, поскольку он поддерживал официальную сталинскую линию — линию подавляющего большинства, тогда как оппозиционеры имели весьма немногочисленных сторонников. Не последнюю роль играл культурный феномен, о котором уже упоминалось. Оппозиция — это «интеллигентики», сторонники Сталина — «рабочая косточка». Классовый инстинкт в самом первобытном виде в конечном счете имел решающее значение для хрущевского выбора.

3

Счастливым случаем оказалось не только то, что Хрущев попал в Промышленную академию, где сразу выдвинулся как партийный руководитель. В этой академии училась Надежда Сергеевна Аллилуева — жена Сталина. Она была избрана парторгом в одной из групп и поэтому часто общалась с Хрущевым. Хрущев полагал, что именно ей он обязан тем, что на него обратил внимание Сталин.

— Когда я стал секретарем Московского комитета и областного и со Сталиным часто встречался,— рассказывал позднее Хрущев,— бывал у Сталина на семейных обедах, когда была жива Надежда Сергеевна, то я уже понял, что жизнь в Промышленной академии и моя борьба за генеральную линию в академии сыграли свою роль. Она много рассказывала, видимо, Сталину, и Сталин мне потом много в разговорах напоминал об этом... Я сперва

даже не понимал, что уже забыл какой-то там эпизод, а потом я вспоминал — ах, видимо, Надежда Сергеевна рассказывала... Это, я считаю, и определило мою позицию. И, главное, отношение ко мне Сталина. Вот я и называю это лотерейным билетом, что я вытащил свой счастливый лотерейный билет. И поэтому я остался в живых, когда мои сверстники, мои однокашники, мои друзья, мои приятели, с которыми я вместе работал в партийных организациях, сложили голову как «враги народа» *.

Такую искренность, такое самоуничижение вряд ли мог позволить себе кто-либо, кроме Хрущева. Обычно каждый склонен искать причины своего успеха в своих личных достоинствах, умелых шагах и движениях, точном понимании ситуации, что особенно необходимо во время плавания по политическому морю, тем более такому бурному, как в 30-х годах. Хрущев не переоценивает своих способностей. В его сознании встреча с Надеждой Аллилуевой предопределила его дальнейшую судьбу. Но несомненно и то, что сам Хрущев не зевал, активно боролся за свое продвижение по политической лестнице.

Скорее всего, самыми первыми шагами к политической карьере он был обязан главному редактору «Правды» Л. З. Мехлису, которому, по-видимому, стало известно о его активной борьбе против «правой оппозиции» в Промакадемии. И он предложил Хрущеву выступить с провокационной статьей в «Правде», которая громила сторонников Бухарина.

Это было перед XVI съездом партии, то есть летом 1930 года. По собственному признанию Хрущева, как я уже говорил, представители «правой оппозиции» пытались выдвинуть на Бауманскую районную партийную конференцию делегацию, составленную из своих сторонников. Они отправили Хрущева в командировку в колхоз, подшефный Промакадемии, чтобы он не помешал им осуществить их замыслы. Когда Хрущев вернулся, партийная конференция уже заседала, и представлены на ней были главным образом «правые». И вот во время заседания его вдруг вызвали к телефону. Когда он взял трубку, то услышал: «Говорит Мехлис, редактор «Правды». Вы могли бы сейчас приехать ко мне, я пошлю за вами машину, есть срочное дело, по которому мне надо с вами поговорить».

* См.: Дружба народов. 1989. № 7. С. 124.

Через некоторое время к общежитию, в котором жил Хрущев, подкатила машина, и вот он уже в «Правде» у Мехлиса. Тот зачитал ему письмо, якобы полученное от Промакадемии. В письме разоблачались «махинации» в бюро партячейки, которое незаконными средствами провело на Бауманскую районную партконференцию «правых оппозиционеров».

— Вы согласны с содержанием письма? — спросил у Хрущева Мехлис.

— Полностью,— сказал Хрущев.

— Вы согласны подписать такое письмо?

— Но как же я могу его подписать? — удивился Хрущев.— Ведь я не писал этого письма. Я даже не знаю, кто его написал.

— Это неважно,— ответил Мехлис.— Я прошу подписать это письмо потому, что я вам доверяю. Я много слышал о вас и той роли, которую вы играете в Промакадемии. Ваша подпись даст мне уверенность в том, что письмо отражает подлинное положение в академии.

— Ну хорошо, я подпишу,— согласился Хрущев.

Он подписал письмо, его посадили в машину и отвезли в общежитие. На следующий день, 26 мая 1930 года, письмо появилось в «Правде». Оно грянуло будто гром с ясного неба. В академии занятия были приостановлены, начались заседания с требованием отозвать делегацию, посланную на Бауманскую районную партконференцию. Кстати говоря, по списку Промакадемии проходили также Сталин и Бухарин. Конечно, об отзыве Сталина не могло быть и речи, а что касается Бухарина, то его никто не отзывал, поскольку было получено указание сверху пока не трогать Бухарина. Кто же был отозван? Рыков, Угланов и другие, так называемые «правые уклонисты». Хрущев, конечно, председательствовал на этом собрании и был избран делегатом на партконференцию. Эти перемены были произведены с такой быстротой, что не оставалось времени отпечатать новые мандаты. Поэтому новоиспеченным делегатам были даны мандаты старых делегатов. Хрущева даже не хотели пустить на конференцию, так как на мандате стояло не его, а другое имя. Но он прорвался*.

Надо думать, что именно этот случай, а вероятно, и многие другие, подобные ему, сыграли решающую роль в стремительном продвижении Хрущева наверх. Эти поступки вряд ли делали честь молодому выдвиженцу.

* См.: *Коряков М.* Покаяние Хрущева. По страницам воспоминаний бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. С. 24—26. (Рукопись).

Немалую роль в карьере Хрущева сыграл Л. М. Каганович, который в ту пору был членом Политбюро, секретарем ЦК ВКП(б) и первым секретарем Московского обкома. Он был знаком с Хрущевым еще на Украине. И именно Кагановичу принадлежала инициатива в первых крупных назначениях Хрущева. Тот не доучился в Промакадемии, а по рекомендации Кагановича в 1931 году был избран первым секретарем Бауманского райкома партии. Но и здесь он не засиделся. Прошло всего несколько месяцев, и Хрущев стал секретарем Краснопресненского райкома, а уже в 1932 году — вторым секретарем МК и МГК партии.

XVII съезд ВКП(б), обернувшийся трагедией для двух третей его делегатов, которых Сталин уничтожил либо сгноил в тюрьмах, послужил площадкой для нового взлета Хрущева. Сразу после съезда он становится секретарем горкома и вторым секретарем Московского обкома партии (первым был Каганович).

А в 1935 году, едва достигнув сорока лет, Хрущев занимает пост первого секретаря МК и МГК. Это было крупное назначение, поскольку в Московскую область входили территории нынешней Тульской, Калужской, Рязанской и Калининской областей.

Самая мрачная, самая туманная страница в биографии Хрущева, которая остается не до конца выясненной до сих пор,— это степень его участия в массовых репрессиях в середине 30-х годов. Нет никаких сомнений в том, что он был молотом, а не наковальней, хотя и не играл той роли, которую играли более высокопоставленные вожди, такие, как Молотов, Микоян, Каганович, Андреев, Ворошилов. Тем не менее и на совести Хрущева тысячи невинно загубленных людей — и на Украине, и в Москве. Кроме того, сейчас, когда открываются архивы о чудовищных избиениях 30-х годов, на многих списках людей, подлежавших «ликвидации», рядом с подписями Сталина, увы, мы находим и подпись Хрущева.

Сталин имел обыкновение повязывать всех членов руководства круговой порукой. Они должны были разделить с ним ответственность за уничтожение своих бывших друзей и соратников.

— Когда заканчивали следственное дело,— вспоминал Хрущев,— и Сталин считал, чтобы другие его подписали, то он тут же на заседании подписывал сам... и сейчас же вкруговую давал, кто тут сидел, и те, не глядя, по информации, которую давал Сталин, как он характе-

ризовал это преступление, подписывали; тем самым вроде коллективный приговор был...

Вероятно, в архивах будут найдены все или почти все документы, и тогда можно будет точно установить, на каких списках стояла подпись Хрущева. Очевидно, что избежать общей круговой поруки участников массовых убийств Хрущев не смог.

Вот характерный рассказ самого Хрущева.

— Все кандидаты в члены Московского городского комитета партии, как и кандидаты в члены районных комитетов Москвы, должны были выбираться с одобрения НКВД. Именно НКВД принадлежало последнее слово — можно ли выбрать в райком или горком такого человека. Нам думалось, что так и надо, иначе враги пролезут в партийные органы. Вот что произошло на Московской партконференции в 1937 году. В Военной академии имени Фрунзе работал один военком, которого мы в районе считали хорошим товарищем. При выборах в горкоме мы выдвинули его кандидатуру, и когда в момент голосования было названо его имя, вся конференция долго и горячо аплодировала. Вдруг в этот самый момент принесли мне записку из НКВД: «Примите меры, чтобы этот человек не прошел в горком партии. Ему доверять нельзя, он связан с врагами народа и будет арестован». Мы послушали — и выступили против этого человека. На делегатов конференции это произвело тяжелое впечатление. Следующей ночью этот человек был арестован.

Хрущеву приходилось нередко изменять своему в общем-то честному и искреннему характеру. Тогда был установлен порядок, что партийные руководители, работая в тесном сотрудничестве с органами НКВД, должны были посещать тюрьмы. Хрущев рассказывал об одном из таких посещений, когда он встретил в тюрьме старого большевика Трейваса. В 20-е годы Трейвас был широко известен как комсомольский деятель.

— Сейчас,— вспоминал Хрущев,— когда прошло столько лет, должен сказать, что Трейвас работал очень хорошо, преданно, активно. Это был умный человек, и я был им очень доволен. Трейвас трагически кончил свою жизнь. Он был избран секретарем Калужского горкома партии и хорошо работал там. Гремел, если можно так сказать, Калужский горком. А когда началась эта вся мясорубка в 1937 году, то и он не избежал ее. Я встретился с Трейвасом, когда он сидел в тюрьме. Тогда Сталин выдвинул идею, что секретари обкомов должны ходить в тюрьмы

и проверять правильную деятельность чекистов, поэтому я тоже ходил...*

Конечно, Хрущев не предпринял никаких шагов, чтобы спасти Трейваса, да это было и невозможно. Выбор был простой: либо ты сажаешь в тюрьму, либо тебя сажают. Правда, многих участников тех страшных избиений постигла и та и другая участь. Вначале они сажали, потом сами стали жертвами репрессий. Мясорубка, о которой говорил Хрущев, работала безостановочно.

Надо думать, что именно в результате своего послушания Хрущев в январе 1938 года был избран депутатом Верховного Совета СССР и членом его Президиума. В то же самое время он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Он занял место П. П. Постышева, одного из старых коммунистов, прежнего руководителя Украинской партийной организации.

4

За год до этого, в тот страшный 1937 год, были уничтожены почти все члены ЦК партийной организации Украины. Только в том году в этой республике было арестовано около 150 тысяч коммунистов **. На Украину в качестве руководителя республиканской партийной организации был направлен Хрущев. Это произошло 29 января 1938 года. Хрущеву в известном смысле повезло, поскольку в его приезд на Украину основная волна репрессий уже спала. Однако, вероятно, он приложил руку и к их завершению.

Трудно сказать, спрашивали ли у него согласия на арест Постышева и Косиора, который произошел в 1938 году за пределами республики. Но в речи на XVIII съезде партии в 1939 году Хрущев счел необходимым сказать, что «украинский народ» с ненавистью относится к буржуазным националистам, ко всем этим подлым шпионам — любченкам, хвылям, затонским и прочей нечисти. Все это были бывшие украинские руководители, казненные Сталиным.

Хрущев тогда был стопроцентным сталинцем. Во многих местах мемуаров он с подкупающей откровенностью признается, что при жизни Сталина полностью находился

* См.: Дружба народов. 1989. № 7. С. 127.
** См. там же. С. 128.

под его влиянием. Странно звучат в его устах на закате дней высказывания о том, что он находился в плену «сталинского обаяния». Говоря о своих впечатлениях о драматическом XVII съезде партии, Хрущев замечает, что в течение всей его работы в Московском городском партийном комитете он довольно часто имел возможность общаться со Сталиным, слушать его и даже получать непосредственные указания по тем или иным вопросам. Он был «буквально очарован Сталиным», «его предупредительностью, его заботой». Все, что он видел и слышал от Сталина, производило на него «чарующее впечатление».

Эта «очарованность» Сталиным не была поколеблена и после убийства Кирова. Хрущев подробно рассказывает об этом трагическом событии, поскольку он, как руководитель Московской партийной организации, был вовлечен в него непосредственно. Вечером 1 декабря 1934 года, вспоминает Хрущев, ему позвонил Каганович и попросил срочно приехать.

Хрущев вызвал машину, въехал в Кремль, и первый, кого он встретил, был Каганович, который, по-видимому, ждал его. «Я видел по наружности, внешности, значит, страх... вид у него такой был, какой-то... настораживающий. Меня буквально огорошило, думаю, что случилось? Значит, он говорит, вы знаете, несчастье. Кирова убили в Ленинграде».

Каганович сообщил ему, что намечается делегация, поедут Сталин, Ворошилов, Молотов, а от Московской парторганизации и московских рабочих делегацию должен сформировать Хрущев. Он собрал такую делегацию и поехал тем же поездом, что и Сталин, Ворошилов, Молотов. Они занимали свои отдельные вагоны, поэтому Хрущев их в дороге не видел. Рассказывая о своих впечатлениях после встреч в Ленинграде, Хрущев сообщает, что не сомневался в выдвинутой тогда версии о том, что убийцей был Николаев, исключенный из партии якобы за участие в троцкистской оппозиции. Поэтому он считал, что это дело рук троцкистов, «по-видимому, они организовали убийство», и «это вызывало у всех нас искреннее возмущение и негодование».

Больше всего Хрущева поразило, как переживал убийство Кирова Каганович, который, по его словам, был очень напуган. Что касается Сталина, то он увидел его только когда тот стоял в карауле у гроба Кирова в Ленинграде. «Сталин умел себя держать, лицо его было непроницаемо».

Хрущев рассказывает, что после убийства Кирова в Москве началась чистка, направленная главным образом против уголовных элементов, поскольку «действительно Москва была засорена». Поэтому составлялись списки, подозрительных стали высылать. Хрущев участвовал в проведении этого дела. По его словам, это был первый этап чистки после убийства Кирова. На самом деле высылали, конечно, не только «уголовных», а больше всего политических. Какая судьба постигла этих людей и что это были за люди, которых выслали, Хрущев, по его утверждению, не знал *.

Подобно Понтию Пилату, Хрущев как бы умывает руки в связи с этой крупнейшей чисткой в Москве. Указания о ней он принимал как должное, списки, надо думать, с ним согласовывались. А если нет, то он «нездорового интереса» к тому, кого, за что и куда высылают, не проявлял.

Подробно сообщает в своих мемуарах Хрущев о репрессиях против военных. Он описывает каждого из деятелей, которых знал лично, прежде всего Якира, Тухачевского, Блюхера, Уборевича. Он болезненно вспоминает об их трагических судьбах. Но своей собственной вины за это не чувствует. Хрущев тогда уже находился на Украине и непосредственного участия в репрессиях против высшего и среднего командного состава армии не принимал. Такие списки, как известно по материалам XXII съезда КПСС, визировались кроме Сталина Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым. В такой же манере Хрущев рассказывает о расстрелах Кузнецова и Вознесенского в послевоенный период. Сам он в этом не участвовал, но в глубине души ощущал боль и страх в связи с происходящим, гнал от себя эти мысли и уж во всяком случае не ставил под сомнение правильность политики Сталина. Вероятно, так оно и было. Иначе такому человеку, как Хрущев, невозможно было бы скрыть свое отношение к тому, что творилось, и уцелеть в те жестокие годы. Единственный выход — уйти в себя, сосредоточиться на решении текущих проблем, гнать всякие сомнения и подозрения, не делиться ими ни с кем.

И все же роль Хрущева в массовых репрессиях, в сталинских чистках несравнима с ролью ближайших соратников Сталина. Отчасти это объясняется тем, что он почти двенадцать лет прожил вне Москвы. Сталин обычно

* См.: *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 18—19.

мало информировал Хрущева, как и других республиканских руководителей, о делах и решениях Политбюро, особенно закулисных, тайных, связанных с репрессиями или гонениями на тех или иных людей. И все же объяснение, почему именно Хрущев стал инициатором разоблачения Сталина после его смерти, связано не только с этим. Главное — личные качества Хрущева: человечность, доброта и искренность, которые он так и не мог выдавить из себя, несмотря на свое участие во многих ужасающих делах того времени.

Эту черту, кстати сказать, первым заметил в нем сам Сталин.

Известный английский биограф Хрущева Э. Кренкшоу пишет:

«Затем пришла война. Одетый теперь в военную форму, Хрущев, став политическим советником некоторых из наиболее способных генералов, впервые попал в мир, далекий от замкнутого кремлевского круга. Он оказался на стороне солдат против своих собратьев — партийных головорезов. Он непосредственно ощутил горькую ненависть к режиму, к тому режиму, с которым был связан и он сам; эту ненависть продемонстрировал простой народ Украины в самом начале войны. Наконец, Хрущев своими же глазами узрел страшные страдания, которые вынужден был испытывать народ, а также увидел, как этот народ, невзирая на свои страдания, встал против немцев, на которых сначала смотрел как на освободителей, и начал бороться с ними не на жизнь, а на смерть, возведя в полубоги Сталина, недостойного его доверия. Не было другого такого партийного вождя, за исключением А. А. Кузнецова, прошедшего осаду Ленинграда и вскоре после этого расстрелянного Сталиным, который бы столь же долго, как Хрущев, на себе испытывал и столь же ясно представлял по своему опыту подлинную жизнь в Советском Союзе при Сталине. Я полагаю, что это и изменило Хрущева» *.

Характерный случай произошел в 1946 году. На Украине был неурожай, и республику постиг страшнейший голод. Между тем из Москвы пришла установка сдать государству 400 миллионов пудов зерна. Это было во много раз больше того, что можно было собрать на полях Украины. Одним словом, украинский народ остался бы абсолютно без хлеба. Хрущев знал о подлинном положении на Украине. Ему докладывали о том, что многие люди умирают с голоду, что были даже случаи людоедства. Хрущеву сообщили, что нашли голову и ступни человеческих ног под мостиком в небольшом городке под Киевом. Труп пошел в пищу.

* Хрущев вспоминает (пер. с анг.). М., Прогресс, 1971, С. 15—16.

Секретарь Одесского обкома партии А. И. Кириченко рассказал Хрущеву о своем посещении одной из деревень области. Его пригласили зайти к какой-то колхознице, и застал он там ужасную картину. Эта женщина на столе разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки. И приговаривала: вот Манечку мы съели, а теперь Ванечку засолим, и нам хватит на какое-то время. Женщина сошла с ума. Много случаев людоедства было и среди нормальных людей. Эти факты потрясли Хрущева. И, несмотря на прямое указание Москвы, Хрущев решился написать записку Сталину о том, что Украина вообще не может выполнить никаких поставок зерна, а напротив, сама нуждается в помощи из государственных запасов. Записка вызвала взрыв негодования у Сталина. Он направил Хрущеву оскорбительную телеграмму, в которой обозвал его «сомнительным типом» и приказал приехать в Москву.

Сталин только что вернулся из отпуска в Сочи. Хрущев немедленно выехал в Москву. Он был готов ко всему, даже к тому, что его объявят «врагом народа» и тут же отправят на Лубянку. Тем не менее он решился сказать Сталину, что его докладная записка точно отражает положение на Украине. Хрущев настаивал на экономической помощи. Это только разжигало гнев Сталина.

— Ты мягкотелый! — сказал он Хрущеву.— Тебя обманывают, они играют на твоей сентиментальности. Они хотят, чтобы мы растратили государственные запасы.

Многие «накручивали» Сталина, подогревая его недоверие к Хрущеву. Чекисты распространяли слухи, что он поддался местному влиянию и превратился в украинского националиста. В том же 1946 году Хрущев еще раз посетил Сталина и рассказал ему о другом эпизоде, который он видел лично.

Приехал Хрущев в гости к двоюродной сестре, которая жила в деревне, у нее прежде было несколько яблоневых деревьев. Но они исчезли.

— А где же яблони?

— Я их вырубила!

— Как так «вырубила»? Зачем?

— Да на каждую яблоню надо налог платить...

Когда Хрущев рассказал этот случай Сталину, тот обвинил его в стремлении отменить налог и закричал: «Ты — народник! Вот кто ты!.. Народник!» *

* *Коряков М.* Покаяние Хрущева. С. 15, 16.

Многие исследователи на Западе делают вывод, что именно эта «народническая» идеология Хрущева и послужила причиной его крутого поворота в оценке Сталина на XX съезде партии. Я не очень согласен с этим. Само понятие «народничество в России» расходится с тем, что на Западе называют «популизмом». Традиционное представление о народниках, то есть течении 60—80-х годов прошлого века в России, отнюдь не всегда связано с подлинной защитой, да и с подлинным пониманием народных интересов. Народники, как известно, убили царя Александра II Освободителя. Они не гнушались методами террора. Их идеализация «народа вообще», «народного духа», народного превосходства над «бесхребетной, слабохарактерной, либеральной интеллигенцией» сыграла самую дурную роль в подготовке умонастроений в период революции в феврале и октябре 1917 года. Ненависть к помещикам и капиталистам в них нередко сливалась с отрицанием западной культуры и всякой цивилизованности. Что касается методов борьбы, то здесь они ничуть не уступали представителям чиновно-полицейской власти. Ответом на государственный террор, по их мнению, мог быть только террор снизу.

Не думаю, что и Сталин, бросая Хрущеву обвинение в народничестве, имел в виду его приверженность именно к этому исторически имеющему вполне определенные черты течению. Скорее, это была грубая, вульгарная оценка приверженности Хрущева к защите простого человека. Не зря Сталин ставил на одну доску народничество, мягкотелость и сентиментальность Хрущева.

Первозданный, можно сказать, генетический гуманизм, не растраченный Хрущевым, несмотря на все испытания той суровой эпохи,— вот, по моему мнению, главная причина, по которой именно Хрущев стал великим тираноборцем и сокрушителем культа Сталина и режима его власти. Самый нормальный человеческий страх удерживал его от защиты несправедливо казнимых людей в период сталинщины. Но тем сильнее накапливались в его душе боль, раскаяние, чувство вины и ответственности за все, что происходило.

В таком толковании психологических мотивов, побудивших Хрущева выступить с секретным докладом на XX съезде партии против Сталина, меня еще раз убеждают самый стиль, канва этого доклада. Здесь не так много общих рассуждений и оценок и даже цифр, характеризующих массовые репрессии. Больше всего и сильнее

всего здесь рассказывается об отдельных человеческих судьбах. Особенно о тех людях, которых Хрущев знал лично и с которыми не порывал внутренней связи даже тогда, когда их объявляли «врагами народа» и ставили к стенке. Эмоциональность Хрущева, заквашенная на человечности, и подвигнула его в первую очередь на этот смелый шаг.

...Итак, Хрущев пришел к власти не случайно и одновременно случайно. Сам Сталин, поднимая его с одной ступеньки на другую, невольно подготовил почву для возвышения Хрущева. Он не распознал в нем выразителя того направления в партии, которое в других условиях и, вероятно, по-иному было представлено такими несхожими деятелями, как Дзержинский, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это были сторонники развития нэпа, демократизации, противники насильственных мер в промышленности или в сельском хозяйстве, а тем более в культуре. Несмотря на жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В этом смысле приход Хрущева был закономерным.

Но, конечно, здесь был и большой элемент случайности. Если бы Маленков столковался с Берией, если бы «сталинская гвардия» сплотилась в 1953 году, а не в июне 1957 года, не быть бы Хрущеву лидером. Сама наша история могла пойти по несколько иному руслу. Нам трудно сделать это допущение, но на самом деле все висело на волоске.

И все же история сделала правильный выбор. То был ответ на реальные проблемы нашей жизни. Все более нищавшая и, по сути, полуразрушенная деревня, технически отсталая промышленность, острейший дефицит жилья, низкий жизненный уровень населения, миллионы заключенных в тюрьмах и лагерях, изолированность страны от внешнего мира — все это требовало новой политики, радикальных перемен. И Хрущев пришел — именно так! — как надежда народа, предтеча нового времени...

Глава четвертая

XX СЪЕЗД

1

Нас глубоко волновало все, что было связано с XX съездом КПСС. Как решился Хрущев выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство делегатов будет против разоблачения? Откуда он почерпнул такое мужество и такую уверенность в конечном успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда политический руководитель поставил на карту свою личную власть и даже жизнь во имя высших общественных целей. В составе послесталинского руководства не было ни одного деятеля, который решился бы выступить с подобным докладом о культе личности. Хрущев, и только Хрущев, на мой взгляд, мог сделать это — так смело, так эмоционально и во многих отношениях так необдуманно. Надо было обладать натурой Хрущева — отчаянностью до авантюризма, надо было пройти через испытания страданием, страхом, приспособленчеством, чтобы решиться на такой шаг. Бесспорно, интересна его собственная оценка момента, прозвучавшая во время встречи с зарубежными гостями.

Мне не довелось присутствовать на этом съезде в тот момент, когда Хрущев произнес свой доклад о Сталине. Вообще доклад был, как известно, сделан уже после того, как состоялись выборы в ЦК КПСС и сам Хрущев был избран Первым секретарем ЦК партии. Вероятно, он считал неосмотрительным выступление с докладом до выборов. И не случайно. Во время моих разговоров со многими партийными работниками в ту пору я имел возможность убедиться, насколько рискованной была акция, предпринятая Хрущевым.

Сам я впервые ощутил весь драматизм происходящего, когда встретился с редактором нашего отдела Сергеем Павловичем Мезенцевым, который был в редакционной

группе на XX съезде. Он пришел в редакцию прямо после заседания и уселся, не говоря ни слова, в свое кресло — весь белый, как снег, да что там — не белый, а серый, как земля под солончаком.

— Что произошло, Сергей Павлович? — спрашивал я.

А он молчит. Даже губы не шевелятся. Как будто бы язык застрял между зубов, не ворочается. Я дал ему выпить воды. Он сделал глоток, другой. Посидел немного. И опять ни звука.

— Не томите, Сергей Павлович! Что, сняли там кого-то или избрали не того? Или журнал наш решили прикрыть? — неуместно сострил я.

— Журнал... Не до журнала тут. Тут такое порассказали... Неведомо, что и думать. Куда идти... Что делать?

— Домой, вероятно, пора идти. Я и так задержался, чтобы услышать ваш рассказ.

— Не положено рассказывать. Специально оговаривалось, не должно просачиваться. Используют враги, чтобы сокрушить нас под корень!

— Как это сокрушить, Сергей Павлович? У нас самое могучее государство и армия такая, которой боится даже Америка. Не так давно взрывали, на этот раз не атомную, а водородную.

— Да не в этом дело,— поморщился Мезенцев,— бомбы разные бывают. Это тоже бомба, только замедленная. Когда взорвется, неизвестно, и что оставит после себя в нашей идеологии — тоже непонятно.

— Сергей Павлович, вы все загадками говорите. Рассказали бы все, что к чему и о чем речь.

— Не могу, пойми ты, не могу. Нет права. Погоди, может, пройдет время, и всех проинформируют. Официально. Потому что знать-то всем надо, кто в печати. Да и партийным работникам. Вопросов будет тысячи...

Так я и не дознался в тот вечер. Правда, уже через несколько дней всем нам, по крайней мере всем сотрудникам нашего журнала, стало известно, о чем говорилось в секретном докладе. А еще через небольшой срок об этом узнал весь мир. Доклад этот через какие-то каналы попал в руки зарубежных средств массовой информации и стал сенсацией дня.

Помню, как проходило чтение секретного доклада в редакции нашего журнала. Читали его по очереди три человека, и каждый вкладывал частицу своих чувств в произносимые слова. Молодой редактор отдела, человек

моего поколения, получивший образование в специальном привилегированном Институте международных отношений, читая, как будто даже радовался чему-то: то ли раскрытой наконец правде, то ли разоблачениям представителей старой генерации. А один из ее представителей, в свою очередь читая текст, спотыкался на каждой фразе, беря ее на зуб, как бы взвешивая достоверность информации и покачивая головой, всем видом своим показывая недоверие и неуместность происходящего.

Больше всего поразили факты о сталинских репрессиях. Никто из нас — решительно никто — не мог предположить масштабов злодеяний, хотя тогда и не была сказана вся правда обо всех пострадавших. Но и то, что стало известно, потрясло наши души.

Большинство работников журнала «Коммунист» реагировало отрицательно, многие высказывали сомнения. Сталин еще слишком живо ассоциировался с победой в тяжелейшей войне, ему приписывали и достижения первого периода восстановления народного хозяйства, и уж, конечно, с его именем была связана вся идеологическая жизнь в стране. Было ясно: страна должна отвергнуть старый путь. Неясно только было, каким будет новый путь, как быстро дадут эффект новые решения. Всем хотелось плыть дальше и скорее, но многие опасались, что поиск новых путей и ломка традиций могут дестабилизировать обстановку и раскачать лодку. В их числе был, конечно, Мезенцев. Впрочем, его сознание было маленькой частицей умонастроений, охвативших многих партработников в 50-х годах. Они были против секретного доклада, предстояла острая борьба вокруг наследия прошлого и в особенности вокруг новых решений, обращенных в будущее.

Позднее мне рассказывал о впечатлении от доклада Хрущева Игорь Сергеевич Черноуцан — консультант, а затем заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС. Он почти 30 лет проработал в аппарате ЦК, сохранив честное и, быть может, немного наивное восприятие всего, что происходило во взаимоотношениях власти и литературы. Вот его рассказ о XX съезде, написанный им самим уже в конце 80-х годов.

«...Мне хотелось бы рассказать о докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС и о некоторых последующих событиях. Конечно, это лишь тридцатилетней давности воспоминания — неполные и, может быть, в чем-то не вполне точные. Но мне хотелось хотя бы конспективно и, может быть, сугубо приблизительно передать

общее впечатление от доклада, рассказать о том, что осталось в памяти.

Мои беглые записи, по-видимому, утеряны, да и не до записей тут было. А число тех, кто слушал тогда Хрущева, сократилось катастрофически.

До сих пор с глубоким волнением вспоминаю я этот доклад, который состоялся на другой день (почему-то за последнее время все «вспоминают» о ночном заседании, которого просто не было) после официального закрытия съезда, в обстановке полусекретной, когда уже ушли все иностранные гости, в том числе руководители братских коммунистических партий, и были приглашены сотрудники идеологических отделов ЦК КПСС.

К началу доклада (с небольшим опозданием) вышли Хрущев и все члены Президиума ЦК с красными возбужденными лицами. Продолжался доклад более трех часов с перерывом. Я сидел в первом ряду балкона, рядом с К. Симоновым, и вел почти стенографическую запись доклада, который запальчиво и захлебываясь читал Хрущев. Много в этом докладе было ошибок супротив грамматики и орфоэпии, много запальчивых отступлений, не вошедших в распространенный впоследствии и прочитанный комсомольцам и школьникам текст.

Доклад произвел на нас потрясающее впечатление. Это был и рассказ о гибели выдающихся полководцев и руководителей партии (названы были лишь некоторые имена), и сообщение о самоубийстве любимца партии С. Орджоникидзе, затравленного Сталиным. Об убийстве Кирова было сказано сдержанно и глухо, хотя чувствовалось, что Никита хотел рассказать всю правду до конца.

Замечу, что после съезда была создана специальная комиссия по расследованию кировского дела, одним из руководителей которой был мой друг, заместитель заведующего Административным отделом ЦК В. Лапутин. Он говорил мне, что все материалы с непреложностью уличали прямое участие Сталина в этом преступлении, но прямых доказательств было недостаточно, так как все свидетели (сразу же после убийства в Ленинграде, куда срочно выезжал Сталин, и позднее на Колыме) были уничтожены. Последний свидетель погиб при загадочных обстоятельствах на Колыме буквально на другой день после XX съезда.

С особой ненавистью и ожесточением говорил Хрущев о Сталине. Он объявил его, впавшего в состояние глубокой депрессии, прямым и главным виновником поражения на фронтах в первый период войны, провала Киевской операции, в результате которого миллионы наших солдат, оказавшиеся в «мешке» и не получившие по прямой вине Сталина, вопреки настояниям Жукова, своевременного приказа об отступлении, попали в гитлеровский плен. Никита говорил, что он неоднократно по ВЧ пытался предупредить Сталина о нависшей опасности, но Маленков, находившийся в Москве, отказался позвать Сталина к телефону. Явное раздражение и обида за прошлые унижения прорывались, когда Никита с яростью кричал: «Он трус и паникер. Он ни разу за всю войну не выехал на фронты». С озлобленностью и презрением говорил он, обращаясь к Ворошилову: «Ты, Клим, откажись наконец от своего вранья об обороне Царицына. Сталин прос... Царицын, как и польский фронт, а потом силой и шантажом навязал Царицыну свое имя (об этом, кстати, позднее подробно рассказывал мне сын Степана Шаумяна Лев — честнейший человек, который был

в 20-х годах секретарем райкома в Царицыне и видел, какая расправа была учинена над всеми противниками переименования города)».

«Неужели у тебя, старого и дряхлого человека,— обращался Никита к Ворошилову, лысина которого побагровела от стыда,— не найдется мужества и совести, чтобы рассказать правду, которую ты сам видел и которую нагло исказил в подлой книжонке «Сталин и Красная Армия»?

Движение проходило по переполненному залу, когда раздавались подобные обращения. Потрясенные и взбудораженные, стояли мы с Симоновым и курили во время перерыва. Мы уже многое знали и раньше, но слишком неожиданной была обрушившаяся на нас правда. Да и все ли здесь правда? И как отделить действительную трагедию народа от тех обвинений, которые с необузданным раздражением были гневно и запальчиво высказаны докладчиком? Молча, обмениваясь незначительными репликами, расходились участники съезда.

А в номерах кремлевских гостиниц сидели лидеры братских компартий, которым еще не скоро и из чужих рук предстояло узнать текст этого доклада, отзвуки которого в течение многих лет будут потрясать мир.

Судя по всему, Никита Сергеевич в эйфорическом возбуждении сам не отдавал себе до конца отчета в том, какой резонанс будет иметь его доклад внутри страны и за рубежом. Во всяком случае, в написанном П. Поспеловым в июне постановлении ЦК «О преодолении культа личности и его последствий» все было смазано и приглажено. Вскоре, после событий в потрясенной Венгрии, Хрущев решил дать отбой и включил тормоза. В присутствии Мао Цзэдуна снова начал воздавать хвалу Сталину...»

Как я уже говорил, мне не раз приходилось слушать воспоминания Хрущева о Сталине. Это были пространные, нередко многочасовые размышления-монологи, как будто разговор с самим собой, со своей совестью. Хрущев был глубоко ранен сталинизмом. Здесь перемешалось все: и мистический страх перед Сталиным, способным за один неверный шаг, жест, взгляд уничтожить любого человека, и ужас из-за невинно проливаемой крови. Здесь было и чувство личной ответственности за погубленные жизни, и накопленный десятилетиями протест, который рвался наружу, как пар из котла...

Хрущев отмечает в своих воспоминаниях, что после смерти Сталина и вплоть до ареста Берии сталинские принципы управления страной продолжали действовать. Все оставалось, как было. Никто и не думал о том, чтобы реабилитировать людей, которые погибли и были заклеймены как «враги народа», или освободить из лагерей заключенных.

— В течение трех лет,— повествует Хрущев,— мы оказывались не в состоянии порвать с прошлым, не в состоянии найти мужество и решимость приподнять занавес и

взглянуть на то, что за этим занавесом скрывается,— аресты, судебные процессы, произвол, расстрелы и все остальное, что происходило в стране в период диктатуры Сталина. Казалось, что мы оставались скованными рамками своей собственной деятельности под властью Сталина, не могли освободиться из-под его контроля и после его смерти. Вплоть до 1956 года мы были не в состоянии психологически избавиться от представления о «врагах народа». Мы упорно продолжали верить в то, что, по мысли Сталина, мы окружены врагами, с которыми надо бороться, пользуясь методами, оправданными теоретически и проводимыми в жизнь Сталиным. Мы ведем жесткую классовую борьбу и укрепляем базу нашей революции. Мы не могли себе представить, что все эти казни и процессы были с юридической точки зрения сами по себе преступными. И тем не менее так оно и было. Сталиным были совершены действия, которые считались бы преступными в любой стране, за исключением фашистских государств Гитлера и Муссолини.

Когда же возникли у Хрущева сомнения в «сталинском гении»?

Первый психологический перелом он испытал после ареста и разоблачения Берии. Как человека эмоционального, Хрущева всегда потрясали отдельные факты и судьбы конкретных людей. Но даже те факты, которые выплеснулись во время процесса над Берией, не произвели переворота в его сознании. Он продолжал во всем обвинять лично Берию. «Мы делали все возможное, чтобы выгородить Сталина, не отдавая себе полного отчета в том, что защищаем преступника, убийцу, виновного в массовом истреблении людей. Повторяю, только в 1956 году мы освободились от своей приверженности к Сталину».

Это не совсем точно. К. Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» пишет о конфликте, который произошел у него с Хрущевым. Через несколько дней после смерти Сталина Симонов опубликовал в «Литературной газете» статью, в которой провозглашал главной задачей писателей отразить великую историческую роль величайшего гения — Сталина. Хрущев был крайне раздражен этой статьей. Он позвонил в Союз писателей и потребовал смещения Симонова с поста главного редактора «Литературной газеты». Этого ему добиться не удалось, но очевидно, что уже тогда у Хрущева возникло новое отношение к Сталину.

2

Обратимся непосредственно к докладу Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 24—25 февраля 1956 года. Не буду подробно пересказывать его содержание, меня больше интересуют оценки Хрущевым Сталина, то, за что он его критиковал и за что не критиковал, а даже продолжал возносить *.

Главное содержание доклада составляет рассказ о чудовищных сталинских избиениях людей. Как раз это больше всего потрясло не только участников съезда, но и всех коммунистов в ту пору. Как говорил Хрущев, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде, 98 человек, то есть 70 процентов, были арестованы и расстреляны (большинство — в 1937—1938 годах). Из 1966 делегатов этого съезда с правом решающего или совещательного голоса 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях — также подавляющее большинство. Число арестов и обвинений в контрреволюционных преступлениях возросло в 1937 году по сравнению с предыдущим годом больше чем в 10 раз.

Приведя и другие данные о чудовищных массовых репрессиях, Хрущев подробно остановился на подозрительных обстоятельствах убийства Кирова. В частности, сообщил, что после этого убийства руководящим работникам Ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, а в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. Он подробно рассказал о трагической судьбе Постышева, Эйхе, Рудзутака и многих других деятелей. Я. Э. Рудзутак, кандидат в члены Политбюро, член партии с 1905 года, проведший десять лет на царской каторге, категорически отказался на суде от вынужденных признаний, «выбитых» из него в ходе следствия.

В протоколе сессии Военной коллегии Верховного суда есть следующее заявление Рудзутака:

«...Единственная просьба к суду — это довести до сведения ЦК ВКП(б) о том, что в органах НКВД имеется еще не выкорчеванный гнойник, который искусственно создает дела, принуждая ни в чем не повинных людей признавать себя виновными... Методы следствия таковы,

* Здесь и далее в этом разделе материалы даются по: Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.

что заставляют выдумывать и оговаривать ни в чем не повинных людей, не говоря уже о самом подследственном». Это заявление было оставлено без внимания. В течение двадцати минут был вынесен приговор, и Рудзутака расстреляли.

Когда в 1939 году волна массовых арестов стала спадать, когда руководители партийных органов с периферии стали обвинять работников НКВД в том, что к арестованным применялись меры физического воздействия, Сталин 10 января 1939 года отправил шифрованную телеграмму секретарям областных и краевых комитетов, ЦК компартий республик, народным комиссарам внутренних дел и руководителям органов НКВД. В этой телеграмме говорилось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)». Это «правильный и целесообразный метод».

Конечно, Хрущев тогда не сказал, да и не мог сказать всей правды о сталинских репрессиях. Сейчас называют цифру в 40 миллионов пострадавших, включая мнимых «кулаков» в 30-х годах и репрессированные народы во время Отечественной войны.

Но в докладе Хрущев выплеснул все свое накопившееся глубокое негодование, протест и отвержение варварских методов допросов, избиения, уничтожения честных и ни в чем не повинных людей.

Однако уже в тот момент в нашем сознании возник вопрос: кто же из живущих понесет ответственность за эти преступления и каковы гарантии, что они не повторятся? Хрущев поставил первый вопрос, но не коснулся второго. «Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его установкам»,— говорилось в докладе.

Анализируя причины массовых репрессий, Хрущев видел их в том, что Сталин настолько возвысил себя над партией и народом, что перестал считаться и с Центральным Комитетом, и с партией.

Если до XVII съезда он еще прислушивался к коллективу, то после полной политической ликвидации троцки-

стов, зиновьевцев и бухаринцев, когда в партии в результате этой борьбы и социалистических побед было достигнуто полное единство, Сталин начал все больше и больше пренебрегать мнением членов ЦК и даже членов Политбюро. Сталин думал, что теперь может решать все один и все, кто еще ему был нужен,— это статисты; со всеми другими он обходился так, что им только оставалось слушаться и восхвалять его.

Итак, Хрущев видел главную причину репрессий в совершенно неумеренном и беспрецедентном насаждении Сталиным своего культа личности. Хрущев привел материалы из «Краткой биографии» Сталина и «Истории ВКП(б). Краткий курс», написанных группой авторов. Сталин сделал свои вставки в эти книги. Вот что он писал о себе: «Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования». В первоначальном тексте биографии была следующая фраза: «Сталин — это Ленин сегодня». Но Сталину это предложение показалось слишком слабым, поэтому он изменил его так: «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня». И еще: «Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении. С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их».

Хрущев рассказал о том, что книга «История ВКП(б). Краткий курс» была написана группой авторов. Но Сталин отсек всех авторов и так написал об этом в «Краткой биографии»: «В 1938 году вышла в свет книга «История ВКП(б). Краткий курс», написанная товарищем Сталиным и одобренная Комиссией ЦК ВКП(б)». И наконец, даже цари, по словам Хрущева, не создавали премий, которые они называли своими именами. Апофеозом превозношения Сталина стал текст Государственного гимна СССР, одобренного им самим. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»,— говорилось в гимне.

Напомню, что в секретном докладе было впервые сказано о политическом завещании Ленина, в котором Владимир Ильич предлагал переместить Сталина с поста Генсека. Здесь же говорилось о его полном пренебрежении принципами коллективного руководства, установленными Лениным.

На протяжении тринадцати лет не созывались съезды партии. Пленарные заседания ЦК почти совсем не проводились. В течение войны не было ни одного пленума ЦК. Правда, как отмечает Хрущев, была попытка созвать пленум в октябре 1941 года, все члены ЦК приехали тогда со всей страны в Москву. Они ждали два дня открытия пленума, но напрасно. Сталин испугался и даже не пожелал встретиться и поговорить с членами ЦК.

Хрущев противопоставляет ленинское отношение к оппозиции сталинскому. Он ссылается на пример выступления Каменева и Зиновьева против ленинского плана вооруженного восстания накануне Октябрьской революции. Тогда Ленин поставил перед ЦК вопрос об их исключении из партии, однако после революции Зиновьеву и Каменеву были предоставлены руководящие должности. То же самое относится и к Троцкому.

Хрущев отмечает, что Ленин не останавливался перед красным террором и применял самые суровые меры подавления врагов, однако делал это только в исключительных случаях. Он приводит слова из доклада Ленина на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года, в котором Владимир Ильич объявил об отмене смертной казни: «Террор был нам навязан терроризмом Антанты... Как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали. Мы говорим, что применение насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов; когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся. Мы доказали это на деле».

В противоположность этому Сталин осуществлял методы административного насилия, репрессий и террора. Массовые аресты, высылки многих тысяч людей, расстрелы без суда и нормального следствия создали обстановку страха, даже ужаса. Осуждая это, Хрущев подчеркивает, что чрезвычайные методы следовало применять лишь против тех, кто в действительности совершит преступление против советской системы.

...Помню, мне уже тогда показались недостаточными или даже наивными объяснения Хрущевым причин сталинского массового террора. Он искал эти причины прежде всего в личных качествах самого Сталина и даже впоследствии в своих мемуарах снова возвращался именно к этому истолкованию, в сущности, иррациональных массо-

вых избиений. В одном месте он говорит «о деспотизме Сталина». В другом — о том, что Сталин был «очень недоверчивым человеком; он был болезненно подозрительным».

— Он мог посмотреть на кого-нибудь, — рассказывал Хрущев,— и сказать: «Почему ты сегодня не смотришь прямо?» Или: «Почему ты сегодня отворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза?» Такая болезненная подозрительность создала в нем общее недоверие к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел «врагов», «лицемеров» и «шпионов».

Описывая послевоенное «ленинградское дело», Хрущев снова отмечает именно это:

— Нужно сказать, что после войны положение еще больше осложнилось. Сталин стал еще более капризным, раздражительным, грубым, особенно возросла его подозрительность. Его мания преследования стала принимать невероятные размеры. Многие работники становились в его глазах врагами.

То же самое Хрущев констатирует в связи с так называемым «делом врачей». По сообщению Хрущева, Сталин вызвал бывшего министра государственной безопасности С. Д. Игнатьева и заявил ему: «Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова». А вызвав следователя, дал ему указания: «Бить, бить и бить». Его подозрительность, умноженная на личный произвол, развила чувство неограниченной самодержавной власти.

Хрущев рассказывает, как на одной из встреч Сталин сообщил ему о конфликте с Югославией и Тито. Сталин спросил его, показывая какой-то документ: «Вы это читали?» — и, не ожидая ответа, сказал: «Стоит мне пошевелить мизинцем — и Тито больше не будет. Он слетит...» «Такое заявление,— замечает Хрущев,— отражало манию величия Сталина, ведь он так и действовал: шевельну мизинцем — и нет Косиора, еще раз мизинцем — и нет уже Постышева, Чубаря. Шевельну опять мизинцем — и исчезают Вознесенский, Кузнецов и многие другие».

Нельзя сказать, что Хрущев полностью сводил объяснения деспотизма Сталина к его личным качествам. Но приходится констатировать, что он проделал только часть пути от критики Сталина к критике сталинизма как режима, не говоря уже о критике системы в целом. Это можно видеть из заключительных выводов доклада на XX съезде партии.

Хрущев — не думаю, что только в угоду функционерам, а достаточно искренне — отмечает, что у Сталина были несомненные заслуги перед партией, рабочим классом, перед международным рабочим движением. По его мнению, Сталин был убежден, что все, что он делал, нужно для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. «Нельзя сказать,— говорил Хрущев,— что это действия самодура. Он считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний революции. В этом истинная трагедия!»

Далее Хрущев призывал сделать все, чтобы навсегда покончить с культом личности как чуждым марксизму-ленинизму явлением, вернуться к тщательному осуществлению на практике ленинских принципов партийного руководства и, наконец, восстановить полностью социалистическую демократию, выраженную в Конституции СССР, бороться против отдельных лиц, злоупотребляющих своей властью.

Невозможно, однако, не видеть и всей ограниченности критики Хрущева. Он все еще разделял генеральную линию Сталина по коллективизации, индустриализации, в борьбе против оппозиции.

И не он один. Вспомним, что большинство деятелей, приговоренных к смерти Сталиным, продолжали верить в него. Многие из них перед расстрелом выкрикивали: «Да здравствует товарищ Сталин!» Так кричал Ягода — сталинский палач, уничтоженный той же безжалостной машиной. Даже те, кто был сослан, пребывали на каторге в Соловках или Воркуте, продолжали ожесточенно спорить с бухаринцами, троцкистами, зиновьевцами, не говоря уже об эсерах и меньшевиках.

Кстати, сам Хрущев на XX съезде в своем докладе говорил: «Партия провела большую борьбу против троцкистов, правых, буржуазных националистов, идейно разгромила всех врагов ленинизма. Эта идейная борьба была проведена успешно, в ходе ее партия еще более окрепла и закалилась. И здесь Сталин сыграл свою положительную роль... Представим себе на минуту, что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928—1929 годах победила политическая линия правого уклона, ставка на «ситцевую индустриализацию», ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы тогда мощной тяжелой индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы обезоруженными и бессильными перед капиталистическим окружением».

Благодаря этой борьбе Сталина, по мнению Хрущева, подавляющее большинство поддержало генеральную линию и партия смогла организовать трудящиеся массы на проведение ленинского курса построения социализма. Ошибку Сталина Хрущев видит в деформации ленинской политики. Не в самом подходе к ней, а лишь в деформации методов, а именно в применении суровых репрессивных мер, что было нетерпимо, когда социализм, как считал Хрущев, был в основном построен и эксплуататорские классы ликвидированы. Итак, цели правильные, методы — ложные, вредные, варварские. Такова основная концепция Хрущева в докладе на XX съезде партии. Странно сказать, но до сих пор мы слышим те же доводы противников радикальной структурной перестройки существующей в нашем обществе системы...

Было бы антиисторично говорить об этих выводах Хрущева с позиции сегодняшнего дня. Тридцать с лишним лет прошло с момента XX съезда, накоплен огромный опыт — в чем-то позитивный, в чем-то негативный. И сейчас мы видим главное — величие подвига, совершенного Хрущевым в тот драматический момент. К массовым репрессиям не было возврата, хотя преследование инакомыслия все еще продолжалось. Культ личности при Брежневе возродить не удалось, несмотря на усилия брежневских клевретов, сочинивших девять томов его «произведений», позабытых на второй же день после его кончины.

Но сейчас, с позиции нового политического опыта, мы видим всю недостаточность анализа и выводов, сделанных Хрущевым на XX съезде партии. Он осудил тиранию, но не затронул авторитарной власти. Он отверг культ личности, но в значительной степени сохранил систему, которая его породила. Что касается сетований на личные качества Сталина, тиранический его характер, то это поистине детский уровень политических размышлений. Разве можно объяснять жестокость Нерона или Калигулы, Гитлера или Муссолини только их личными качествами?

Конечно, для деспотизма нужен деспот. Вопрос в том, почему проявляется деспотизм, который приводит этого деспота к власти, и почему народ, или, по крайней мере, его большинство, преклоняется перед деспотом? Приходится признать, что Хрущев, осудив чудовищные крайности сталинского режима, в своем докладе на XX съезде партии все еще оставался в плену многих сталинских представлений о социализме.

3

Начались брожения. Наиболее горячие головы стали требовать дальнейшей десталинизации, но это натолкнулось на самое жесткое противодействие партийного и государственного аппарата. Всю Москву обошло сообщение о том, как была распущена одна из партийных организаций в академическом институте в связи с требованиями, прозвучавшими при обсуждении секретного доклада,— привлечь к ответственности всех виновных в массовых репрессиях. Эта акция, предпринятая, как говорили, по указанию М. А. Суслова, показала те лимиты, которые устанавливало партийное руководство в критике сталинизма. Не будем забывать, что в него входили тогда еще такие соратники и откровенные последователи Сталина, как Молотов, Маленков, Каганович и другие.

Однако остановить поток они уже были не в силах, особенно потому, что доклад вскоре перестал быть секретом для мирового общественного мнения. Есть все основания полагать, что именно Хрущев позаботился об этом. У меня нет сомнений, что лично от него исходила инициатива познакомить с содержанием доклада представителей коммунистических и рабочих партий, приехавших на XX съезд КПСС.

Вначале с докладом были ознакомлены главы делегаций компартий — Б. Берут, В. Червенков, М. Ракоши, В. Ульбрихт, М. Торез, П. Тольятти, Д. Ибаррури, Й. Коплениг. В конце февраля 1956 года текстом доклада располагал уже Иосип Броз Тито, прочитавший его членам Исполкома Союза коммунистов Югославии.

14 марта Тольятти, докладывая Центральному Комитету своей партии о XX съезде КПСС, подверг критике собственные политические действия в прошлом. 16 марта «Нью-Йорк таймс» помещает статью своего московского корреспондента о закрытом докладе Хрущева. На другой день его основное содержание пересказало агентство Рейтер. 19—21 марта весьма смягченное резюме доклада напечатала газета «Юманите», орган Французской компартии. 20 марта изложение доклада публикует югославский еженедельник «Коммунист».

Копии доклада стали быстро распространяться и вскоре продавались на черном рынке в Варшаве, где одна из них и была куплена неким американцем за 300 долларов. Шеф ЦРУ Аллен Даллес передает ее своему брату, госу-

дарственному секретарю Джону Фостеру Даллесу, а тот воспроизводит доклад Хрущева 4 июня на страницах «Нью-Йорк таймс», а 6 июня — «Монд» *.

Таким образом, Хрущев впервые за всю историю Советской власти пустил в ход прием — апеллировать к международной общественности при решении проблем внутрипартийной борьбы. Он укреплял свои позиции в партии и стране, опираясь на поддержку и сочувствие прогрессивных сил в комдвижении и даже буржуазного общественного мнения.

Проблема, однако, была в том, что сам Хрущев не преодолел колебаний в отношении сталинизма. Это можно проследить, если обратиться к его мемуарам. Несомненно, его настроения и взгляды в период написания мемуаров значительно отличались от того, что он думал и говорил, когда находился у власти. Кстати, ничего неожиданного в этом нет. Достаточно обратиться к мемуарам американских президентов Д. Эйзенхауэра и Дж. Картера, чтобы увидеть, какая дистанция отделяет высказывания того же человека в период, когда он стоит на вершине политической пирамиды и когда он уходит на покой, тем более в опалу, с двусмысленным званием персонального пенсионера.

При всей независимости и самобытности его характера, интеллектуальный мир Хрущева не только формировался, а и кристаллизовался на базе сталинских идей. И по мере того как исчезали из окружения Сталина крупные теоретики — Троцкий, Зиновьев, Бухарин, да и деятели второго эшелона — Рыков, Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и многие другие,— Сталин возвышался в сознании окружающих его людей как единственный человек, способный формулировать теоретические и политические идеи.

Хрущев на протяжении двух томов своих воспоминаний, как, собственно, и всей своей деятельности на посту руководителя страны, всеми силами пытается разорвать путы сталинизма, вырваться из плена, в который прочно попал в начале своей жизни. О каком бы событии он ни вспоминал, какой бы вопрос ни анализировал, он снова и снова возвращается к «вождю всех народов», пытается противостоять его посмертному влиянию, но нередко опускает руки.

* См.: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. М., 1989. С. 36, 37.

Что говорить о Хрущеве, а разве мы до сих пор не живем под этой чудовищной тенью? Почти сорок лет его нет в живых. Перенесенное из величественного склепа, его тело покоится рядом с теми, кто был его предшественниками, соратниками, преемниками. Свердлов, Фрунзе, Калинин, Ворошилов, Буденный, Брежнев, Косыгин, Андропов — по странной иронии судьбы рядом нет только Хрущева. Как нет и ленинских соратников — Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева... Но ни о ком другом столько не говорят и не пишут, особенно сейчас, в период гласности, как о Сталине.

Даже о Ленине пишут в десятки раз меньше, не говоря уж о Хрущеве или об Андропове. Неужели самый глубокий, быть может, неизгладимый след в душах, во всем образе жизни советских людей оставил именно этот невзрачного вида тиран? Неужели на аукционе истории злодейство ценится выше гения?

Сам я тоже грешен: с марта 1953 года больше всего думал и писал о Сталине, о его наследии. И даже тогда, когда это было запрещено, писал по-эзоповски, косвенно, на примерах Мао Цзэдуна, Гитлера, Франко. Правда, в годы, когда реанимация антисталинизма стала достигать своего апогея, я практически почти бросил заниматься Сталиным и перекочевал в последующие эпохи, особенно в эпоху брежневщины, которая и сейчас держит за горло наши реформаторские начинания.

Мемуары Хрущева против моей воли снова столкнули меня назад, к анализу сталинизма. Ибо, перечитывая его потрясающие свидетельства раздвоенности человеческого сознания, особенно чувствуешь, что со Сталиным не покончено. Сталин все еще с нами, он все еще в нас. И надо выдавить из себя по каплям до конца сталинизм как приверженность к такой теории, системе и практике, которая до сих пор облыжно называется социализмом...

Но вернемся к Никите Сергеевичу, ибо он больше других приложил усилий, чтобы разорвать оболочку, в которой родился, и выскочить на свет божий. Быть может, поэтому он громче других сказал свое Слово против Сталина. Против Сталина — да, но против сталинизма? — скорее нет.

Конечно, сейчас легко критически оценивать позиции Хрущева по вопросам демократии, поскольку в новое время поставлены и сформулированы такие крупнейшие идеи, как советский плюрализм, правовое государство, коренная реформа политической системы. Было был неисторич-

но требовать даже от столь незаурядного деятеля, как Хрущев, чтобы он на второй день после низвержения культа Сталина совершил такой скачок в своем сознании и политической практике. Но есть другой критерий, который вполне уместен и приложим для объективного анализа достижений и провалов хрущевской оттепели. Это — предшествовавший Сталину ленинский опыт.

Мы вправе были ожидать уже в тот период полного и безусловного ленинского ренессанса. Но этого не произошло. Ни в отношении норм партийной жизни, ни в области советской демократии, ни в деятельности общественных организаций, ни в социальной и экономической политике. Хотя некоторые шаги в таком направлении были, несомненно, сделаны.

Что же помешало Хрущеву, по крайней мере в теории, более последовательно идти этим путем? Не будем говорить о практике — конечно, она определялась реальным соотношением сил в руководстве партией, настроениями и взглядами функционеров. Но в теории — в теории он, увы, оставался вечным сталинским пленником. Хотя в мемуарах у Хрущева были свободны руки, тем не менее и здесь — быть может, в особенности здесь — мы видим отчетливо теоретические основы ограниченности его взглядов, догматические лимиты «их не перейдеши».

4

Особый интерес в мемуарах Хрущева представляют его размышления о партийных традициях, сложившихся во времена Сталина, о том, как это отразилось после его смерти. Он вспоминает, что инициатива созыва XIX съезда исходила лично от Сталина. Хотя со времени XVIII съезда прошло тринадцать лет, никто из членов руководства и заикнуться не мог о новом съезде. Раньше такая пауза могла мотивироваться войной, но и после войны прошло семь лет, пока был созван очередной съезд партии.

Хрущев повествует о том, как совершенно неожиданно однажды Сталин сказал о том, что надо собрать съезд. К тому времени Центральный Комитет фактически перестал функционировать как орган коллективного руководства. Все делалось от имени ЦК, но решения принимались единолично Сталиным. Он даже не спрашивал членов Политбюро, а сам диктовал решения. Сталин какое-то

время держал в неведении своих соратников относительно повестки дня будущего съезда и о том, кто будет выступать с докладами. Другие члены руководства обсуждали между собой, гадали, возьмет ли он сам на себя Отчетный доклад, и полагали, что вряд ли, поскольку он физически был слаб и не смог выстоять так долго на трибуне. Потом Сталин определил регламент, повестку дня, докладчиков: Маленкова — с Отчетным докладом, Сабурова — по пятилетке и Хрущева — по Уставу партии. Это поручение, как свидетельствует Хрущев, не очень его обрадовало, поскольку трудно было подготовить доклад по этому вопросу, в особенности утвердить его, под жестким контролем Берии и Маленкова. Они в конечном счете резко сократили доклад, так что он занял всего лишь что-то около часа.

Члены руководства тайно обсуждали между собой, почему Отчетный доклад не был поручен Молотову или Микояну? Как говорил Хрущев, люди довоенного руководства рассматривали Молотова как будущего вождя, который заменит Сталина, когда Сталин уйдет из жизни.

Однако в тот период не могло быть и речи об этих двух деятелях, поскольку они находились в опале. Да и жизнь их подвергалась опасности. Хрущев описывает, как готовились так называемые «выборы» на съезд. Все делегаты, по его утверждению, были подобраны аппаратом ЦК партии, который определил, сколько должно быть рабочих, сколько интеллигентов, сколько колхозников. Одним словом, вся структура участников съезда и весь состав Центрального Комитета были заранее отработаны и предопределены. «Не выбирали на съезд людей,— замечает Хрущев,— как когда-то это было, а уж говорили — что вот такого-то надо провести на съезд, что он имеется в виду, этот человек, чтобы его выбрать в состав Центрального Комитета — членом или кандидатом, или членом Ревизионной комиссии» *.

Оценивая такую практику с позиций персонального пенсионера, Хрущев выражает сожаление и даже возмущение:

— Ну, можете себе представить. А, к сожалению, такая практика — она, собственно, осталась и сейчас, также проходили выборы и на Двадцатый съезд. Это такая урод-

---

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Избранные отрывки. Нью-Йорк, издательство В. Чалидзе, 1979. С. 92 и след.

ливая демократия. Эти методы неправильные, нетерпимые. Я постарался искать новые методы, пытался внести коррективы в новый Устав партии. Но очень робко мы это делали. Почему робко? Потому что мы продукты, мы сами, люди, руководители, мы продукт революции. Мы воспитаны были на примерах Сталина. А Сталин для нас был тогда величиной, не знаю, какого значения. Что нам, так сказать, не выдумывать, а подражать.

Поэтому, считает Хрущев, руководители его поколения не смогли психологически освободиться от такого состояния, чтобы искать какое-то кардинальное решение и вернуть партию на ленинские рельсы партийной демократии.

Как видим, Хрущев сам определил причины живучести авторитарных нравов, согласно которым все делалось сверху, аппаратом, а в конечном счете — верховным руководителем партии. Человек искренний, как всегда, он нашел в себе силы, чтобы осудить собственную деятельность. Три съезда, проведенные при руководящем участии Хрущева, мало отличались от сталинских с точки зрения методов и моделей.

Принцип выборности, сменяемости и подотчетности всех руководителей, который декларировался в ленинские времена, был давно заменен принципом подбора и расстановки кадров.

Примером полного торжества этого принципа Хрущев считал XIX съезд партии. Здесь было выдвинуто ровно столько кандидатов, сколько необходимо было избрать. И все шло автоматически, без сучка, без задоринки.

Правда, на XIX съезде произошел небольшой, но характерный казус. В результате технической ошибки при перепечатке пропустили несколько фамилий, в том числе генерала Говорова. Спохватились уже после съезда. Сталин решил эту проблему просто — включил в список ЦК пропущенных людей, и дело с концом — кто мог возражать?

Но самая большая неожиданность ждала Хрущева и других членов руководства на первом пленуме после XIX съезда. Сталин открыл его сам и внес предложение включить в состав Президиума ЦК 25 человек.

Уже сам этот факт вызвал удивленные переглядывания между соратниками вождя, потому что они полагали, что такое большое количество людей не сможет принимать оперативные решения. Но еще большее удивление вызвали у них многие имена членов руководства — здесь

появились совершенно неожиданные фамилии. Некоторые попали в состав Президиума, не будучи до этого членами ЦК. Хрущев потом спрашивал у Маленкова, Берии, кто подсунул Сталину эти фамилии? Все отрицали свое участие. Так никто не мог разгадать, откуда появились новые имена.

И самая большая неожиданность произошла, когда Сталин предложил состав Бюро Президиума ЦК. В него вошли: Сталин, Булганин, Берия, Маленков, Каганович, Сабуров, Первухин, Ворошилов, Хрущев. Особенно удивило Хрущева даже не то, что не вошли Молотов и Микоян, а то, что был включен Ворошилов, к которому Сталин в последние годы относился со все большим подозрением.

Всего в Бюро вошли девять человек, однако Сталин, как повествует Хрущев, «по своему благоволению» избрал более узкую «пятерку». Об этом официально нигде не сообщалось. Но скоро так сложилось, что чаще всего Сталин собирал у себя именно этот состав: Берия, Булганин, Хрущев, Маленков. Иногда приглашали также Кагановича, но никогда не звали ни Молотова, ни Микояна, и редко на таких закрытых заседаниях Бюро появлялся Ворошилов. Собственно, по свидетельству Хрущева, никаких изменений в стиле руководства после съезда не произошло. Как и прежде, начиная с 1938 года Сталин все решения принимал один. И все, так сказать, склонялись перед его единоличным управлением, ибо знали, что в противном случае — опала, тюрьма, расстрел. Это висело как дамоклов меч над каждым.

Хрущев подробно рассказывает в мемуарах об опале Молотова и Микояна, выражает удивление и сожаление по этому поводу. Что касается Микояна, то это еще можно понять, поскольку тот стал ближайшим сподвижником Хрущева в послесталинский период. Но Молотов был самым последовательным противником Хрущева. Тем не менее и на старости лет персональный пенсионер осуждает Сталина за необоснованную, с его точки зрения, опалу Молотова. За то, что того изображали чуть ли не агентом империализма.

Он рассказывает, что члены «пятерки» тайно информировали время от времени Молотова и Микояна о вызовах Сталина на ближнюю дачу, и они приезжали, что вызывало недовольство Хозяина, который однажды устроил «большой разнос» прежде всего Маленкову, который вел подобные «игры» с опальными.

О патриархальных представлениях об абсолютном характере власти, сохранившихся у Хрущева до самой кончины, я уже говорил. Он так и не преодолел этих взглядов даже тогда, когда писал об «уродливой демократии».

Тем не менее Хрущев проделал большой путь от персонализации критики Сталина на XX съезде партии к борьбе против сталинского режима власти. Важными вехами на этом пути стали встречи с Тито в 1955 году, трагические события в Венгрии 1956 года, июньский Пленум 1957 года, когда Хрущева пытались свергнуть сталинисты, наконец, XXII съезд КПСС, завершившийся выносом тела Сталина из Мавзолея.

Глава пятая
ТИТО И КАДАР

1

Начну с Югославии, так как это был первый прорыв от сталинского догматизма и великодержавия к новому взгляду на социализм. Ограниченность, порожденная каменной изолированностью советского общества от внешней среды, стала уступать место новому подходу ко всему современному миру.

Свой рассказ в мемуарах Хрущев начинает с того, что при Сталине сложилось представление о Югославии, которое сохранялось и в первые годы после его смерти. Считалось, что югославская экономика находится в полном подчинении у американского монополистического капитала, что там восстановлены частные банки, частная собственность в промышленности, не говоря уже об индивидуальном сельском хозяйстве. Хрущев верил в это, поскольку, как он сам говорит, «мы оторвались и ничего не знали».

С присущим ему юмором Никита Сергеевич вспоминает по этому поводу анекдот. Шел по деревне мулла, и его спросили, откуда идет. А он в шутку ответил, мол, иду с другого конца деревни, а там плов дают бесплатно. Ну, люди услышали это, побежали туда — и снова встретились с муллой, который спросил: «Куда вы бежите?» Ему сказали: бежим туда, где плов бесплатно дают. В конце концов мулла тоже повернулся, подобрал свое платье и побежал вместе с толпой. Хрущев видел в этом аналогию с небылицами, которые рассказывали о Югославии. «Сами выдумали и сами в это поверили».

Хрущев вспоминает о несостоявшихся угрозах Сталина («Пошевелю мизинцем — и нет Тито»). Шевелили не только пальцем — но вся машина давления и пропаганды всего коммунистического движения ничего не смогла поделать с Тито. По инициативе Хрущева была создана комиссия для изучения югославского вопроса. В нее вошли

и партийные работники, и ученые. Перед ними была поставлена задача дать анализ политической и социально-экономической системы этой страны, чтобы определить, относится ли она к социалистическому или капиталистическому типу. В комиссию входил Д. Т. Шепилов, который по тем временам отличался передовыми взглядами. Шепилов возглавлял газету «Правда», считался образованным экономистом (он имел звание члена-корреспондента Академии наук СССР) и впоследствии при покровительстве Хрущева сделал стремительную карьеру, которая, однако, печально закончилась в июне 1957 года. Но об этом после.

Комиссия Шепилова (назовем ее так условно) пришла к выводу, что Югославия — страна социалистического типа. Тем самым, по мнению Хрущева, как карточный домик, рушилась основа для советско-югославского конфликта. Только после этого было решено установить контакт с Югославией и восстановить с ней отношения — и по государственной и по партийной линиям. С таким подходом согласились представители других коммунистических и рабочих партий.

Как Первый секретарь ЦК Хрущев возглавил делегацию, которая направилась в Югославию в 1955 году. Уже на аэровокзале в Белграде Хрущев сделал сенсационное заявление, в котором принес извинения Югославии, лично Тито за несправедливые обвинения. Правда, тут же произошел маленький инцидент. Тито после этого заявления сказал, что переводить с русского не нужно, потому что в Югославии все его и так знают. Это вызвало настороженную реакцию Хрущева, уверенного, что далеко не все югославы владеют русским языком. Хрущев был обеспокоен и даже разочарован началом визита, поскольку опасался, что, если сближение пройдет плохо, это может активизировать те силы в СССР, которые выступали против восстановления отношений с Югославией.

Во время первой беседы произошел еще один инцидент. Хрущев пытался свалить ответственность за массовые репрессии в нашей стране, за ошибки в отношениях с Югославией, со всеми иностранными коммунистами на Берию. Это вызвало только иронические улыбки Тито и других югославских коммунистов. Между тем Хрущев еще не был готов к тому, чтобы в полной мере оценить роль Сталина как инициатора этих преступлений. Югославы особенно настойчиво говорили о личной ответственности Сталина за разрыв отношений с их страной.

Но, по утверждению Хрущева, мы были еще внутренне не подготовленными, еще полностью не освободились от рабской зависимости, в которой находились у Сталина.

И еще один характерный эпизод для психологии Хрущева. Он познакомился с Вукмановичем, который вначале довольно резко выступил против него. Когда Хрущев сказал ему, что для обострения отношений лучшего кандидата, чем Вукманович, не подобрать, тот рассмеялся такому откровенному заявлению. Потом как раз с Вукмановичем Хрущев особенно близко сошелся. Он ценил в нем то, что было присуще ему самому,— это «грубоватость такая», которая объясняется трудными условиями борьбы за победу рабочего класса.

Хрущеву пришлось согласиться с настоятельными требованиями Тито полного невмешательства СССР во внутренние дела других стран социализма и признания за каждой партией и народом права осуществлять социалистическое строительство по своему выбору. Правда, Хрущев тут же оговаривался, что в принципиальных вопросах марксизма-ленинизма, в вопросах теории и политики никаких уступок быть не может.

И все же тогда была составлена Декларация, которая пробила первую брешь не только в сознании Хрущева, но и в принципах отношений между СССР и странами Восточной Европы. Все члены советского руководства согласились с решением о восстановлении отношений с Югославией. Однако, как рассказывает Хрущев, в письмах, разосланных иностранным компартиям, была оставлена «какая-то лазейка страховочного порядка» на тот случай, если не выйдет подлинного улучшения отношений. К этому можно добавить и продолжавшиеся в советской печати высказывания о том, что Югославия не может быть признана вполне социалистической страной не только из-за индивидуального сельского хозяйства, но в особенности из-за своей позиции по международным вопросам.

Все это стало известно Тито, что снова бросило тень на советско-югославские отношения. Хрущев традиционно видел в таких перепадах «происки» империализма, прежде всего США, которые всеми средствами добиваются разъединения социалистических стран. Больше всего он грешил на директора ЦРУ А. Даллеса, который добивался того, чтобы отбросить социализм обратно к границам СССР. Тем не менее отношения с Югославией стали развиваться на нормальной основе.

Новое обострение произошло в период венгерских событий 1956 года. Я расскажу об этом в другом месте. Сейчас же интересно проследить, как менялись взгляды Хрущева на внутреннее развитие Югославии, как постепенно он продвигался к пониманию возможности существования разнообразных социалистических моделей.

После первой встречи состоялось еще несколько — в Румынии, в Москве, в Крыму. Рассказывая об этих встречах, Хрущев одновременно отмечал то, что его больше всего беспокоило. Он откровенно говорил о том, что политика неприсоединения не всегда импонировала советскому руководству, но в особенности его возмущало то, что Югославия отказывалась войти в Варшавский Договор, хотя прямо ей и не предлагали этого. В сознании Хрущева это связывалось с экономической заинтересованностью Югославии в отношениях с Западом, прежде всего с США, Великобританией и другими странами. Эта позиция выглядела особой прежде всего потому, что США в ту пору фактически запрещали вести торговлю с СССР и другими восточноевропейскими странами и делали исключение только для Югославии. Упрощая дело, Хрущев утверждал, что «империализм за прекрасные глазки подарков никогда не делает». Отсюда следовал прямой вывод, что Югославия помогает «империалистическим силам» «расщеплять» социалистический лагерь. Конечно, если бы США торговали с СССР так же, как с Югославией, то, по мнению Хрущева, никаких оснований для недовольства с нашей стороны не было бы.

Желая сблизиться с Тито, Хрущев пригласил его в Крым на отдых и охоту. По его мнению, это традиционный способ для обсуждения вопросов, бесед и сближения.

Но особое значение имела поездка в Югославию летом 1962 года, в которой мне довелось участвовать. Хрущева интересовало югославское самоуправление и формы руководства экономикой, прежде всего рабочие советы. В ту пору советская печать, разумеется, с официального благословения, резко критиковала эти формы. Хрущев же с большим интересом расспрашивал югославов об этом, посещая заводы и фабрики, государственные фермы. Его живой и любознательный ум никогда не смирялся с трафаретами. Хотя он и продолжал твердить во время бесед с югославами, что все равно их самоуправление не более чем буферные прикрытия, поскольку все главное устанавливает правительство — оно планирует производство и контролирует его выполнение. Тем не менее

он прислушивался к их высказываниям, что это особая форма, более демократичная, чем в Советском Союзе. Не оставалась без ответа и югославская критика советских форм управления как бюрократических. По мнению Хрущева, эта «критика» в какой-то степени заслуживала внимания, «потому что у нас, кроме производственных совещаний на предприятиях, ничего не было». Поэтому он считал, что «какое-то зерно полезное в этих формах Югославии — оно существовало, и поэтому отрицать его не следовало бы... Хотя мы публично этого не заявляли» *.

Но в чем Хрущев остался совершенно непоколебимым — это во взглядах на роль планирования и товарно-денежных отношений. По его мнению, без Госплана, центральных статистических и планирующих учреждений социалистическое государство невозможно. Потому что если уничтожены рыночные отношения, которые существуют в капиталистическом мире, то должен быть какой-то орган, который бы заменял эту стихию. Это и есть Госплан. Хрущев считал это абсолютно необходимой и правильной ленинской идеей, подтвержденной всем опытом СССР. Ему решительно не импонировал выход югославских предприятий на внутренний и особенно зарубежный рынок. И он критиковал такую позицию. Если верить Хрущеву, Тито впоследствии будто бы частично признавал правильность такой критики, полагая, что Югославия испытывает трудности как раз из-за чрезмерного влияния рыночных отношений.

В мемуарах Хрущев более взвешенно оценивает полемику того времени. Он говорит, что нельзя было отрицать все, чего добились югославы на своем пути, что невозможно ограничиваться взаимными обвинениями и упреками, что никто не может претендовать на истину, характеризуя чужой опыт как оппортунизм или заимствование капитализма. Кроме проблем самоуправления Хрущева занимал также вопрос о передовых технологиях, в частности, в области химии, которые югославы закупили за рубежом. И в особенности ему был интересен опыт развития туризма — в ту пору Югославия получала около 70 миллионов долларов в этой отрасли. Это произвело сильное впечатление на Хрущева, который подробно описывает свои посещения гостиниц, ресторанов, блиставших чистотой, хорошим сервисом и вкусом.

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 188—189.

Хрущев поинтересовался у Тито, как решаются вопросы контроля за разнородной массой туристов, приезжающих с Запада нередко в автомобилях, пожаловался на то, что советский бюрократический аппарат ставит такие рогатки, которые никому не захочется преодолевать. При этом Хрущев традиционно ссылался на проблемы шпионажа. Тито ему резонно заметил, что шпионы далеко не всегда ездят в машинах через границу, они попадают другими путями, чаще всего прилетают с комфортом на самолетах. Поэтому борьба должна вестись другими средствами, ну а в отношении туризма должен быть установлен свободный режим.

Хрущеву очень понравилась эта идея. Вернувшись в СССР, он докладывал о югославском опыте и предложил подумать о расширении советской программы туризма. Был принят довольно обширный план строительства гостиниц, который, однако, из-за падения Хрущева не получил большого развития. Между тем Хрущев мечтал о широком туризме — и в Крыму, и в Сибири, и в Средней Азии. Он даже просил Тито принять наших представителей, которые позаимствовали бы югославский опыт. Особое значение Хрущев придавал туризму на Кавказе. Сам он был влюблен в Пицунду — этот прелестный маленький полуостров на Черноморском побережье Кавказа. Хрущев нередко отдыхал там, и там же, собственно, и закончилась его политическая биография: отсюда его вызвали на заседание Президиума ЦК КПСС в октябре 1964 года — на суд и расправу...

Занимала Хрущева и проблема создания более гибких структур в легкой промышленности. Он видел в Югославии, как быстро приспосабливаются предприятия легкой промышленности к меняющимся требованиям моды. И, вернувшись домой, настоятельно рекомендовал изучать этот опыт, «шевелить мозгами», чтобы предвидеть изменения запросов потребителя.

Но в одном вопросе Тито так и не удалось поколебать Хрущева. Речь идет об индивидуальных и кооперативных формах в сельском хозяйстве. Впрочем, судя по всему, Никита Сергеевич не очень понял проблемы сельского хозяйства в Югославии.

Тито говорил ему, что там отказались от идеи колхозов и сплошной коллективизации. Уже одно это, наверное, слегка кольнуло Хрущева, потому что он никогда так и не пересмотрел сталинскую политику сплошной и насильственной коллективизации в деревне. Но что он

запомнил из разговора с Тито — это создание госхозов, как будто бы по типу наших совхозов, если верить Хрущеву. На самом деле это не совсем так, но это отдельный вопрос. Хрущев подчеркивает, что этот путь он тоже считает социалистическим путем, который не противоречит «нашему пониманию о социалистическом строительстве» *.

Хрущев ссылается при этом на Ленина, и ссылается неточно. Он утверждает, что когда Владимир Ильич ставил вопрос о кооперировании, то рассматривал госхозы как высшую ступень в развитии сельского хозяйства, которые должны быть примером для коллективного хозяйства, они должны производить семенной материал, племенной скот и обеспечивать запросы колхозников.

Хрущев даже пересматривает с этой точки зрения опыт целины. Он рассказывает, что вначале на целине пытались по шаблону создавать колхозы, но для переселенцев это была искусственная организация и, кроме того, стоила очень дорого. А в результате колхозы оказались нерентабельными. Поэтому по инициативе Хрущева па целинных землях стали насаждать совхозы, которые будто бы производили самый дешевый хлеб. Хрущев сравнивает советский и югославский опыт с польским, где создавались главным образом сельскохозяйственные кружки, то есть товарищества как первичные кооперативы. Хрущев полагал, что это неплохо и по политическим, и по экономическим соображениям. По политическим — потому что крестьяне идут за рабочей партией Польши, а по экономическим — поскольку сельское хозяйство в этой стране на хорошем уровне. Но и здесь, оценивая опыт Польши, Хрущев снова подчеркивает значение государственных хозяйств. У нас еще будет случай вернуться к этим его идеям, когда мы будем рассматривать его аграрную политику.

И все же, завершая свои размышления о югославском опыте, Хрущев снова повторяет идею, в которую верил безусловно: социализм — это единое централизованное плановое хозяйство, что служит и основой сельского хозяйства. Больше того, по Хрущеву, обращение к рынку, к отношениям спроса и предложения — это «элементы капиталистические». Правда, наученный горьким опытом прямолинейных суждений о том, что делалось в странах Восточной Европы, Хрущев тут же оговаривается, что есть много возможностей для разнообразия строительства

---

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 204.

социализма, что не следует создавать какой-то единый шаблон, единую модель для всех стран мира и с этих позиций осуждать как несоциалистическое то, что под этот шаблон не подходит. Он призывает проявлять бо́льшую терпимость и предоставить каждой стране возможность выбирать свой путь, исходя из местных условий — исторических, экономических, этнических и прочих.

Но при всем том средства производства и банки должны принадлежать народу — это основное, и это главное, а государство должно опираться на диктатуру пролетариата. Такова, по его мнению, основа марксистского понимания переходного периода от капитализма к социализму.

Мы видим, как трудно преодолевал в себе Хрущев представления о социализме, сложившиеся под влиянием сталинских идей. По соображениям политическим, а также и эмоциональным он все время тянулся к идее разнообразия, плюрализма, но догмат веры в превосходство государственной формы так и не был поколеблен в его представлениях о социализме.

2

Ничто так не потрясло сознания Хрущева, ничто не вызвало больших сомнений и даже деформаций в становлении его антисталинизма и поиске эффективной модели социализма, чем венгерские события 1956 года. Быть может, этими событиями объясняются и многие его ошибки в осуществлении нового курса внутри и вне нашей страны, и, несомненно, именно сюда восходят его чудовищные эскапады против той самой части советской интеллигенции, которая радостно приветствовала и развивала идеи XX съезда партии.

Мне довелось несколько раз побывать в Венгрии в ту пору. Уже в 60-х годах я снова посетил эту страну в составе партийной делегации во главе с Ю. В. Андроповым. В делегацию входили секретари Московской и Ленинградской партийных организаций Н. Г. Егорычев и В. С. Толстиков. Во время этой поездки мы встречались со многими партийными и государственными руководителями Венгрии. Нас принял и Янош Кадар. Интересно было наблюдать его встречу с Андроповым.

Дело в том, что Андропов в качестве советского посла в Венгрии сыграл особую роль в период трагических

событий 1956 года. Мне об этом было известно, в частности, по рассказам людей, работавших вместе с ним в посольстве, а впоследствии оказавшихся со мной в отделе, который он возглавлял.

Андропов уже во время этих событий обнаружил себя человеком редкой проницательности и политической интуиции. Еще за несколько месяцев до военного столкновения на улицах Будапешта он информировал Хрущева и все советское руководство о возможности восстания. Андропов предлагал тогда содействовать естественной и плавной замене руководства Венгрии, которое запятнало себя вместе с Ракоши репрессиями против Райка, Кадара и других венгерских деятелей, а также крупными ошибками во внутренней политике. Андропов выражал сомнение в том, что преемник Ракоши Гере, а впоследствии Имре Надь способны справиться с ситуацией. Что касается первого, то он явно тяготел к прежним авторитарным методам, что касается второго, то, по мнению Андропова, он потакал настроениям толпы и даже сторонникам возврата Венгрии к дореволюционному режиму, ее выходу из Варшавского Договора.

В ответ на это Хрущев направил в Венгрию А. И. Микояна и М. А. Суслова, для того чтобы на месте разобраться в ситуации. Однако венгерские руководители заявили им, что «советский посол нервничает», хотя оснований для этого нет — они-де в состоянии контролировать ситуацию и справиться с ней.

Это была первая крупная ошибка, допущенная не только венгерским, но и советским руководством. Вторая ошибка была еще более драматичной. В самый разгар событий в Венгрии было принято решение о выводе войск из Будапешта — они сосредоточились в основном на аэровокзале и в окрестностях. Тем самым город был отдан во власть улицы. Я не верю, что это было сделано в провокационных целях. Нет, скорее всего, советское руководство откликнулось на предложение венгров, рассчитывая, что в такой обстановке те сами могут справиться с повстанцами. Насколько мне известно, Андропов возражал и против этого решения. Вполне возможно, если бы войска не были бы выведены из Будапешта, удалось бы избежать ужасного кровопролития, потому что именно после вывода советских войск антиправительственные силы сумели захватить оружие, включая артиллерию, увлечь на свою сторону многих офицеров и солдат, сформировать организованные отряды для восстания.

Кстати говоря, во время венгерской поездки нас повезли на гору Геллерт, где расположены были дачи для приезжающих гостей. В одной из этих дач происходило «отречение» Ракоши от власти. Работник ЦК ВСРП отвел нам маленькую комнатку, обставленную в стиле рококо. Он показал место, где стояло в момент этого акта небольшое кресло Ракоши, а Микоян сидел на диванчике с гнутой спинкой, обитом светлым цветастым материалом. «Вот здесь,— сказал мне со смехом сопровождавший меня венгерский друг,— Микоян и произнес свою историческую фразу с характерным для него акцентом. Звучала она так: «Пыши (через «ы»), пыши заявление по собственному желанию!» Не знаю, так ли это происходило на самом деле, но среди венгров, может быть, как анекдот сохранился именно этот рассказ.

Мне довелось присутствовать при встрече Андропова с Кадаром. То была не совсем обычная беседа двух руководителей. Чувствовалась одновременно какая-то глубокая взаимная личная симпатия и острая напряженность, даже неловкость — слишком многое связывало этих двух людей. И воспоминания о днях конфликта, когда толпа возбужденных людей осаждала посольство, где находился Андропов; и о том, что Кадар был освобожден из тюрьмы, чему содействовал Андропов; и первых днях прихода Кадара к власти, когда, по словам венгров, Андропов повсюду, словно тень, следовал за ним, присутствуя почти на всех заседаниях венгерского руководства. И многое, многое другое.

Сам я до этого несколько раз встречался с Яношем Кадаром, разумеется по неофициальным поводам. Мы дважды отдыхали в Мисхоре на берегу Крыма: он — на государственной даче, а я в обычном санатории, расположенных на одной территории. Кадар — тогда еще сравнительно не старый человек — любил приходить на нашу сторону, поиграть в волейбол, в шахматы. Играл он азартно, всегда стремился выигрывать и как-то по-мальчишески очень огорчался проигрышам. Мы нередко меряли свои силы за шахматной доской — то он выигрывал, то я. Помнится, позвонил мне как-то из Москвы из аппарата ЦК мой товарищ, который занимался нашими отношениями с Венгрией, и сказал: «Ты что там обыгрываешь товарища Кадара? Он переживает. Кончай куражиться, портить нам отношения с Венгрией». Эта шутка вспомнилась мне и при встрече в Будапеште. Я рискнул рассказать об этом Яношу Кадару. Он долго и весело смеялся.

Но, конечно, не это составляло основной предмет размышлений нашей делегации во время визита в Венгрию. Мы посетили многие предприятия и кооперативы. И что нас особенно занимало — кроме, разумеется, перелома в настроении людей спустя восемь лет после пережитой драмы — это начавшаяся тогда экономическая реформа в Венгрии. Венгры искали и находили свои решения — и в методах партийного руководства, и в развитии товарно-денежных, рыночных отношений в промышленности и в сельском хозяйстве. Кстати говоря, вопреки тому, что многие у нас полагали, венгры никогда не проводили коллхозизации. Их кооперативы с самого начала стояли ближе к ленинскому замыслу и были основаны на подлинных интересах крестьян. Не случайно поэтому они оказались куда более продуктивными, чем советские колхозы. Не случайно и то, что в период событий 1956 года венгерское крестьянство оказалось едва ли не самым лояльно относящимся к власти классом. Даже какая-то часть рабочих, особенно молодых, была вовлечена в антисоветское движение, тогда как крестьяне не оказывали восставшим ни малейшей поддержки — ни материальной, ни моральной.

Но больше всего все наши разговоры с венграми вертелись вокруг событий 1956 года и уроков, которые надлежит из них извлечь. Рассказы об этих событиях мне довелось слушать и во время пребывания партийно-правительственной делегации во главе с Хрущевым на VII съезде Венгерской социалистической рабочей партии. Этот съезд поразил меня своей демократичностью. Выступления делегатов не походили на то, что мне приходилось видеть на наших съездах. Здесь не было самоотчетов. Делегаты участвовали в обсуждении политики и конкретных решений, критиковали те или иные аспекты принятых законов, вносили свои предложения.

Особенно интересно выступал Янош Кадар. Я имел в виду не только его основной доклад, в котором было чрезвычайно много нового. Я имею в виду в особенности его заключительное слово. Он не читал его. Он вышел на трибуну буквально с одной-двумя страничками текста в руках. И произнес речь, которая длилась не менее часа. Кадар не оставил без внимания ни одного сколько-нибудь существенного вопроса, затронутого на съезде. Он согласился с большей частью замечаний и объяснил, как руководство собирается на них реагировать. Он поставил и новые вопросы, опираясь на высказанные предложения. Он держал себя свободно, раскованно, необычайно демо-

кратично и дружественно, без тени амбиций и самолюбования — просто как товарищ среди товарищей.

Этот стиль находился в резком контрасте даже со стилем самого Хрущева, а также Тито, Гомулки и многих других восточноевропейских деятелей, которых мне доводилось слушать и наблюдать. И еще одна черта этого стиля запала мне в сознание: какая-то усталость, что ли, или горечь, или отрешенность— даже трудно схватить в словах выражение лица и тональность его выступлений.

Было ли это результатом пережитого в тюрьме или не совсем обычного прихода к власти в трудный период истории венгерского народа? Было ли это свойством души, проявлением характера Яноша Кадара, его скромности, непретенциозности? Отражало ли это огромное чувство личной ответственности? Не берусь судить. Но такая черта кадаровского стиля вызывала особую симпатию у меня.

Это можно сопоставить с впечатлением от двух противоположных стилей у хороших певцов. Один любуется своим голосом, а другой жаждет донести до слушателя свое чувство. Это последнее как раз и было свойственно стилю Кадара и отличало его в лучшую сторону, повторяю, от многих политических певцов того времени.

Мне приходилось слышать — и во время упомянутого съезда, и в другой обстановке — о том, как Хрущев оценивал Кадара, и в особенности его рассказы о событиях 1956 года.

3

Потрясение, которое пережил Хрущев во время венгерских событий, может быть сравнимо с арестом Берии, с карибским кризисом, который наступил позднее. Поэтому события 1956 года занимают такое большое место в его мемуарах.

В Будапеште, по словам Хрущева, развернулась настоящая кровавая бойня. Он полагал, что в ней участвовала в основном молодежь, создавшая вооруженные отряды, захватившая артиллерию и другое оружие. Но рабочий класс и крестьянство, которое Хрущев называет колхозным, стояли в стороне. Повстанцы предъявили требования вывести советские войска. Однако, по мнению Хрущева, эти требования были незаконными, поскольку противоречили нормам, установленным Варшавским Договором. И хотя венгерский парламент собирался несколько раз, такие требования в глазах Хрущева законной

силы не имели. Его особенно возмущало то, что толпа стала охотиться за партийным активом и прежде всего за «чекистами». Между прочим, Хрущев все время непроизвольно пользуется советской терминологией, рассказывая о венгерских событиях, как и о других событиях в восточноевропейских странах. Это характерно: как человек откровенный и довольно искренний, он полагал ненужным валять дурака. Это была не только терминологическая аберрация. Это была подсознательная вера, что социалистические формы, в сущности, одинаковы повсюду.

Как виделась Хрущеву угроза венгерских событий? Он рассказывает о том, что через Вену вернулась венгерская эмиграция, которая делала все, чтобы разжечь гражданскую войну, свергнуть революционное правительство, инсценировать волнения и повернуть Венгрию на капиталистические рельсы. Хрущев был убежден, что именно в этом состояла цель стран Запада. «Но это неудивительно,— замечает он,— потому что наша цель — это поддержать прогрессивное движение и переход от капитализма к социализму рабочего класса, и трудового крестьянства, и трудовой интеллигенции, а у врагов социализма цель противоположная: там, где слабые социалистические порядки, ликвидировать их, с тем чтобы отбросить рабочий класс... и укрепить капиталистические элементы и капитализм» *.

Как раз во время этих событий и прошла свое первое испытание политика Хрущева, получившая название «интернациональной помощи». Как многократно подчеркивал Хрущев, Советский Союз не преследовал каких-либо национальных целей, а цели были только интернациональные — братский пролетарский интернационализм. Именно поэтому особое значение придавалось консультациям и достижению согласия с другими социалистическими странами, в первую очередь с Китаем. Хрущев обратился к Мао Цзэдуну, чтобы он прислал авторитетного человека для обсуждения этого вопроса. Внешне такое предпочтение Китаю выглядит нелогичным, поскольку он не входил в Варшавский Договор. Но об этом Хрущев даже и не задумывался, полагая, что речь идет об оказании «интернациональной помощи», а не акции Варшавского Договора. Стало быть, мнение Китайской компартии особенно важно.

---

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 218, 219.

По просьбе Хрущева в Москву прилетел Лю Шаоци. Как известно, это был один из наиболее авторитетных и уважаемых в СССР китайских руководителей. По странной иронии судьбы заседание происходило на бывшей сталинской даче. Дух Сталина витал в воздухе. Просидели всю ночь, взвешивая «за» и «против» применения вооруженной силы в Венгрии. Стороны при этом попеременно занимали разные позиции: то Лю Шаоци доказывал, что нужно выжидать — быть может, рабочий класс Венгрии сам сумеет справиться с ситуацией, и тогда советские руководители соглашались; то сам Лю Шаоци предлагал уже сейчас предпринять решительные шаги. Он многократно звонил Мао Цзэдуну, который, как и Сталин, работал по ночам. Хрущев называл его «ночной птицей». Ночное заседание завершилось все же решением не применять вооруженной силы. Вернувшись к себе, Хрущев не мог спать — слишком сильно его занимал этот вопрос. Он давал себе отчет, что это исторический момент, когда надо сделать ясный выбор — и то и другое решение представляло собой опасность, но в особенности волновала победа контрреволюции и «внедрение НАТО в расположение социалистических стран», что поставило бы в тяжелые условия и Югославию, и Чехословакию, и Румынию.

На следующее утро собрался Президиум ЦК КПСС. Здесь Хрущев доложил результаты обсуждения с китайской делегацией. Он рассказал, что на советско-китайских переговорах было принято решение не применять воинской силы, однако высказал и свои сомнения. Президиум совещался долго, и в конечном итоге было принято другое решение — использовать войска для «помощи рабочему классу Венгрии». Хрущев пригласил маршала Конева, который тогда командовал войсками стран Варшавского Договора, и спросил его: «Сколько потребуется времени, чтобы навести порядок в Венгрии и разгромить контрреволюционные силы?» Конев подумал и ответил: «Примерно трое суток». Тогда все члены руководства пришли к выводу: «Надо закончить это дело, и как можно скорее». А когда выступать — будет сообщено Коневу дополнительно.

Хрущев поспешил проинформировать китайскую делегацию о решении Президиума ЦК КПСС. Но поскольку Лю Шаоци уже собирался уезжать, весь состав Президиума явился на Внуковский аэродром. Здесь было устроено заседание, на котором Лю Шаоци сказали о советском

решении. Тот ответил, что не может в данный момент переговорить с Мао Цзэдуном, но полагает, что тот согласится, и незамедлительно после его прилета в Пекин будет сообщена китайская точка зрения. «Считайте, что мы согласны»,— заявил Лю Шаоци членам советского руководства.

После этого начался тур согласований и консультаций с руководителями восточноевропейских стран социализма. Произошла встреча, в которой участвовали с советской стороны Хрущев, Молотов, Маленков, а с польской — Гомулка и Циранкевич. Интересно заметить, что Хрущев как истинный мастер политической игры пригласил с собой на эту встречу наиболее консервативных советских деятелей, чтобы опереться на их твердую поддержку. Договорились о том, чтобы в тот же день организовать встречу в Бухаресте, в которой примут участие и чехословацкая, и болгарская, и румынская делегации. Вопрос о том, что необходимо военное вмешательство, не вызвал сомнений ни у кого. Больше того, румынский и болгарский представители поставили вопрос об участии их войск. Однако Хрущев не принял этого предложения. Он сослался на то, что в Венгрии находятся войска по Потсдамскому соглашению и их вполне достаточно для подавления контрреволюции, возглавляемой Имре Надем. Хрущев даже позволил себе шутку в своем духе: он сказал, что румыны рвутся в бой сейчас, потому что в свое время участвовали в разгроме революции, которую возглавлял Бела Кун в 1919 году.

Веселый все же парень был этот донбасский шахтер — не правда ли? Позволить себе такую аналогию, которая бросала мрачную тень на всю военную акцию СССР,— это мог только Хрущев.

Самые трудные переговоры ожидались с Югославией. Вылетел Хрущев туда ночью в отвратительную погоду. В горах над Югославией шумел ураган, сверкали молнии. Это был самый трудный его перелет за всю жизнь, включая даже полеты во время войны. Связь была потеряна, а посадка предстояла на маленьком острове Брионы. Необходимого оборудования для посадки вслепую не было. Маленков хуже всех переносил перелеты. Несмотря на то что ему довелось участвовать в приговорах к расстрелу тысяч людей, он был слаб и его укачивало даже при поездке в автомобиле.

Когда делегация прибыла на остров Брионы, на пристани ее уже ждал Тито. Вопреки сомнениям, поскольку

отношения в период венгерских событий были натянутыми, он встретил Хрущева прекрасно. Даже расцеловался на русский манер, хотя раньше, кажется, не очень любил эту советскую привычку — целоваться с мужчинами.

Хрущев готовился встретить жесткую атаку Тито, но был приятно поражен: тот высказался за немедленное использование войск для разгрома контрреволюции в Венгрии. Он только спросил: «На какое время намечено выступление советских войск?» Однако Хрущев в обычной своей манере слукавил, сказав, что это состоится в ближайшее время, но когда — еще неизвестно. Как выяснилось, он никому из руководителей восточноевропейских стран так и не сообщил эту дату, хотя уже перед отъездом дал маршалу Коневу все указания.

Хрущев высказал Тито свои опасения по поводу его нахождения на Брионах, поскольку в то время шла война в Египте. Он сказал, что самолет может случайно или не случайно обронить бомбу — и не будет ни Тито, ни народной власти в Югославии. Тито тоже был встревожен таким положением, и в особенности судьбой Насера. Всю ночь просидели за обсуждением различных международных и других проблем. Так и вторую ночь Хрущев практически провел без сна. А когда прилетели в Москву, в аэровокзале уже ожидали члены Президиума, и все прямо оттуда поехали в Кремль.

Чрезвычайно любопытно, что в своих мемуарах как раз в связи с Венгрией Хрущев многократно возвращается к вопросу о методах классовой борьбы на международной арене. Он рассматривает его то с одной, то с другой стороны, как бы заново взвешивая на весах идеологии и истории. Ему хотелось еще и еще раз убедить самого себя в том, что тогда, в 1956 году, было принято единственно правильное решение. Но соображения, которые он использовал для мотивировки этого решения, фактически не выходили за рамки традиционных сталинских стереотипов. Можно было понять, если бы он говорил о балансе сил в Европе, который способен разрушить выход Венгрии из Варшавского Договора. Однако трудно принять его общие соображения, связанные с «интернациональным долгом», неизбежность использования военных методов обеими сторонами — как капиталистическими, так и социалистическими странами.

— Так же и противники действуют против нас, — заметил Хрущев, — пользуются всяким нашим упущением, где только есть возможность, чтобы отбросить нас

и закрепить капиталистическое влияние. И вообще, идет борьба — кто кого: победит ли рабочий класс или буржуазия. И поэтому-де коммунисты, марксисты, уверенные в том, что владыкой мира будет труд, понимают, что победа сама по себе не придет, что ее нужно добиваться в борьбе. И поэтому мирное сосуществование различных государственных систем возможно, но мирное сосуществование в идеологии было бы предательством со стороны марксистско-ленинской партии.

Он вспоминал в этой связи свое выражение в отношении Америки о том, что «мы закопаем врагов революции». Хрущев отвергает то толкование, которое этому было дано в американской печати, будто бы советские люди хотят закопать народ США. Он не раз объяснял свою позицию на пресс-конференциях в этой стране, что закапывать буржуазию будет сам рабочий класс США — это внутренний вопрос каждой страны.

Но вот что удивительно: от этих общих идеологических сентенций Хрущев прямо и непосредственно делает скачок к венгерским событиям. «Вот, собственно... мы решили вопросы о том, что нужно двинуть наши войска... И мы эти войска двинули» *.

Маршал Конев сдержал свое обещание. Действительно, ему потребовалось три дня. Во время пребывания в Будапеште спустя восемь лет я видел сотни зданий, на которых остались следы пуль, осколков и даже снарядов. Самой спорной и сомнительной оказалась акция в отношении Имре Надя. Во время подавления восставших он скрылся в посольстве Югославии. Новое венгерское руководство потребовало передать его в их руки для привлечения к ответственности. Югославы воспротивились этому, но в конце концов были вынуждены выдать Надя, которого доставили на квартиру и тут же арестовали. Янош Кадар позвонил Хрущеву и просил вывезти Имре Надя, поскольку его присутствие в Будапеште мешало. Поэтому его на самолете доставили в Бухарест. Через два года Имре Надь был расстрелян. По чьему распоряжению? Хрущев об этом не сообщает, хотя можно догадываться, что без его согласия этого никто не мог сделать.

Тайный расстрел Имре Надя был последним актом венгерской драмы. Никколо Макиавелли писал о необходимой жестокости государей. Например, если кто-то претендует занять твое место как вождя или государя, ты

---

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 230, 235.

неизбежно должен устранить его. Убийство Надя не было продиктовано даже такой жестокой политической необходимостью. Это было избыточное варварство в типично сталинском духе. Никакой политической целесообразности в этом не было. Никто не смог бы сделать Имре Надя знаменем борьбы против Кадара и советского присутствия. Хрущев имел возможность поступить с ним так же, как с Ракоши,— направить в один из отдаленных городов России на вечное поселение. Но он не сделал этого. Почему?

Здесь мы подходим к пониманию важной черты хрущевского характера. Он был добрым человеком в обычных отношениях с людьми. Но в политике не признавал доброты, особенно когда ему казалось, что задеты «классовые интересы» нашего государства. Здесь в его сердце стучался пепел повергнутого им Сталина. Он расстрелял Надя, чтобы преподать урок всем другим лидерам в социалистических странах. В этот момент он думал и о Гомулке, и о Кадаре, а возможно, о Тито и Мао Цзэдуне. Политическая целесообразность в его глазах была выше требований морали. Человечность уступала место безопасности.

Хрущев, быть может, не сознавая этого, тем самым стрелял в потенциальных реформаторов — и в Будапеште, и в Праге, и в Советском Союзе. Он подал худший пример своим преемникам. Брежнев опирался на этот пример, когда дал приказ о вводе войск в Чехословакию и оказании «интернациональной помощи» Афганистану...

По приглашению Кадара Хрущев приехал в Будапешт. До этого он знал его мало, но во время бесед сумел убедиться, что Кадар — тот руководитель, который сможет вывести страну из состояния кризиса и обеспечить ее нормальное и успешное развитие. Во время выступления на митинге перед широкой публикой Хрущев специально подчеркнул, что события в Венгрии порождены злоупотреблением Сталина властью. Такие злоупотребления были допущены и в Советском Союзе, и в Венгрии, и в других странах. Правда, он тут же объяснил, что это был результат болезненного характера Сталина, о котором Ленин еще говорил в своем завещании. После окончания митинга по предложению Хрущева они вместе с Кадаром спустились с трибуны и пошли в толпу. Это был смелый шаг в духе Хрущева, и он по достоинству был оценен и публикой, и журналистами, в том числе зарубежными.

Здесь, в Венгрии, и впоследствии в мемуарах Хрущев еще и еще раз обращался к объяснению предпринятой военной акции. Его основной довод состоял в том, что Запад

поддерживал венгерскую эмиграцию и экспортировал контрреволюцию. Это потребовало вмешательства. Но в принципе, подчеркивал он, раз нет экспорта контрреволюции, не может быть экспорта революции. Он особенно настойчиво отгораживался от аналогий 1956 и 1849 годов. Нет, возражал он, здесь речь шла о подавлении контрреволюции, тогда как Николай I подавил революцию и восстановил власть австрийской монархии, что было позором для России. Поэтому, по его мнению, советская миссия была прогрессивной, тогда как акция Николая I была реакционной.

Надо сказать, что во время этой встречи с Кадаром произошел знаменательный обмен мнениями по поводу нахождения советских войск в Венгрии. Хрущев поставил вопрос о необходимости пребывания этих войск, говорил, ссылаясь на мнения других членов советского руководства, что, возможно, следует вывести войска из Венгрии. Кадар посмотрел на него и сказал: «Товарищ Хрущев, решайте сами. Я только вам одно хочу сказать, что разговоров у нас сейчас в отношении пребывания ваших войск, настроений, которые негативно складывались в результате пребывания войск на территории Венгрии, абсолютно никаких нет. Венгров беспокоит одно: чтобы не вернулся Ракоши». Хрущеву понравился ответ Кадара, и он еще раз подчеркнул свою симпатию к этому деятелю и его дружеское расположение и доверие к Советскому Союзу.

Хрущева, однако, не оставляла мысль о мотивах, по которым советские войска должны находиться в восточноевропейских странах. У него не вызывало сомнений их размещение в ГДР, поскольку это вытекало из заключенных с Западом договоров во время победы.Что касается Польши, где укрепилась своя сильная армия, то этот вопрос он рассматривал, хотя и не пришел к какому-то выводу.

В то же время Хрущев подчеркивал, что дело вовсе не в армии, потому что главная движущая сила для народов этих стран — не страх перед вооруженным вмешательством Советского Союза. Страхом, по его мнению, «нельзя рай построить или гнать в рай». И другие народы пойдут по этому пути, хотя он и не простой, но это правильный путь.

Его беспокоило также, что пребывание советских войск на территории социалистических стран обходится нашему народу в два раза дороже, чем если бы они были на своей территории. Поэтому Хрущев задумывался о возможности

вывода войск из Польши и Венгрии. Как известно, при его руководстве это решение так и не было принято. А в последующие времена родилась так называемая «доктрина Брежнева», которая обосновывала не только нахождение советских войск в той или иной восточноевропейской стране, но и возможность совместного военного вмешательства стран Варшавского Договора в дела других стран, когда возникает угроза общей безопасности. Так мотивировался ввод войск в Чехословакию в 1968 году. Очевидно, что эта доктрина была крупным шагом назад в сравнении с позицией Хрущева, хотя и тот постоянно колебался, размышляя о допустимости так называемой «интернациональной помощи» посредством использования военной силы.

События в Венгрии подтолкнули назревавший взрыв страстей среди советского руководства. Сторонники Сталина, накопившие большой счет претензий к Хрущеву по поводу его новаций во внутренней и внешней политике, решили дать бой и отстранить его от руководства партией. Это произошло на заседании Президиума ЦК КПСС 18 июня 1957 года. Три дня длилось беспрецедентное заседание, где схватились две стороны — Хрущев и поддержавшее его меньшинство и Молотов, Маленков, Каганович, располагавшие большинством в Президиуме ЦК. Это большинство приняло решение о смещении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Однако они не рассчитали своих сил. Хрущева поддерживала значительная часть аппарата ЦК партии, так как он успел к тому времени заменить многих его работников, а главное — поддерживала армия, которую возглавлял Г. К. Жуков, активный антисталинист, и КГБ, председателем которого был близкий Хрущеву человек — И. А. Серов. С их помощью Хрущев сумел в течение нескольких дней созвать Пленум ЦК КПСС. И вот впервые за многие десятилетия Пленум выступил в роли решающей инстанции. После жаркой дискуссии Молотов, Маленков, Каганович и «примкнувший к ним» Шепилов были объявлены «антипартийной группой», выдворены из состава высшего руководства партии. Хрущев одержал одну из самых крупных побед в своей бурной политической жизни.

Однако он не стал по-сталински расправляться со своими врагами. Ему хотелось и в этом отношении заложить новую традицию.

Постановление Пленума и краткая информация о его работе были опубликованы лишь 4 июля 1957 года. В решениях Пленума говорилось об «антипартийной группе

Маленкова, Кагановича, Молотова» и умалчивалось об участии в ней Ворошилова, Булганина и других. И Ворошилов, и Булганин сохранили свои посты. Из состава Президиума и из ЦК были выведены Молотов, Маленков, Каганович, Шепилов. Сабуров потерял пост члена Президиума ЦК, Первухин стал лишь кандидатом в члены Президиума ЦК. Июньский Пленум увеличил численность Президиума ЦК до 15 человек, в его состав вошли недавние кандидаты — Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева, Ф. Р. Козлов, Н. М. Шверник, Г. К. Жуков. Членами Президиума стали также А. Б. Аристов, Н. И. Беляев и О. В. Куусинен.

Никто из противников Хрущева не был тогда исключен из партии, все они получили назначения вне Москвы. Молотов направлялся послом СССР в Монголию. Каганович стал директором Уральского горно-обогатительного комбината в городе Асбесте, Маленков — директором Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше. Шепилов получил профессорскую должность в Средней Азии *.

Политическая драма внутри советского руководства, как и венгерские события, показала Хрущеву, какие мощные подземные движения он вызвал наружу своим докладом о Сталине на XX съезде. Этим объясняются, вероятно, его попытки манипулирования вокруг проблемы десталинизации, которая характерна для последующих лет вплоть до XXII съезда партии (1961 г.), когда снова вздыбилась антисталинская волна.

Уже тогда мне довелось столкнуться с тем, как отражалось это манипулирование на человеческих судьбах. Однажды, году в 1957-м, главный редактор журнала «Коммунист» А. М. Румянцев — человек добрый, с необычными по тем временам либеральными убеждениями — обратился ко мне с неожиданной просьбой. Как депутат Верховного Совета СССР он получил письмо из тюремного лагеря от бывшего преподавателя философии одного из сибирских университетов Эрика Юдина. Тот просил помочь ему и вытащить его из лагеря. Он был осужден по пресловутой статье 58—10 за антисоветскую пропаганду и агитацию. Все его «преступление» состояло в том, что он критически отозвался о нашей акции в Венгрии в 1956 году и настаивал на праве стран социализма строить жизнь по-своему. В качестве доказательства его «преступления» приводилось письмо, написанное им сестре, где он

* См.: *Медведев Р.* Хрущев. С. 117.

выражал свои взгляды. Оно было перехвачено и легло в основу приговора — шесть лет заключения.

Румянцев был весьма неординарной личностью с неординарной судьбой. Человек глубоко интеллигентный, мягкий и даже сентиментальный, он замечен был впервые — страшно сказать — Сталиным. Было это на рубеже 40—50-х годов, во время знаменитой тогда дискуссии об экономических проблемах социализма. Насколько я сейчас понимаю, дискуссия была вызвана спорами в Политбюро, начатыми по инициативе казненного вскоре председателя Госплана Н. А. Вознесенского. Он даже тогда прокламировал переход к более свободной экономике, которая во время войны целиком перестроилась на военный лад: приказ — исполнение, за неисполнение — тюрьма или расстрел.

Сталин созвал совещание экономистов со всей страны, приехал и Румянцев из Харькова. Дискуссия внешне касалась довольно абстрактного вопроса: действует ли закон стоимости при социализме? А суть дела заключалась в том, может ли власть по своему усмотрению и произволу командовать всем — ресурсами, ценами, людьми, определять пропорции в хозяйстве, уровень и образ жизни и т. д., или есть какие-то объективные лимиты, исходящие из требований эффективности экономики. Тогда-то Румянцев и придумал компромиссную форму: закон стоимости сохраняется, но действует «в преобразованном виде». И волки сыты, и овцы целы. Надо считаться с экономическими законами, но политика сохраняет свое господство над экономикой.

Сталину понравилось выступление Румянцева, его идею, он, конечно, приписал себе, обнародовав ее в книге (вероятно, написанной не без помощи других людей) «Экономические проблемы социализма в СССР». А Румянцев был назначен заведующим Отделом науки ЦК КПСС. Отсюда он и перешел потом в журнал «Коммунист».

Это был очень хороший человек. То, что во времена Сталина встречались такие люди, меня наводило на простую мысль: человеческая природа, в сущности, почти не меняется. Есть добрые люди, есть злые, а большинство несут в себе и те и другие качества. Руссо был не прав, полагая, что система формирует человека. Она может только деформировать его, вытягивая из его природы лучшие либо худшие качества. Поэтому наши люди всегда были лучше нашей системы — во все времена.

Но вернемся к Юдину. Письмо его потрясло меня. Хрущев не раз заявлял, что у нас нет политических заключенных. Кроме того, я вполне разделял взгляды Юдина. Помнится, я пришел домой, захватив это письмо, поставил бутылку водки и, включив песни Окуджавы, горько плакал по поводу нового тура жестокостей.

Юдина удалось тогда освободить, и многое для этого сделала его мать. По странному совпадению позднее он был назначен редактором моей книги. Мы встречались с ним дома, и я слушал, мучаясь от сострадания, как он пел заунывные лагерные песни. Умер Эрик совсем молодым, не выдержав жестокого испытания, которое обрушила на него оттепель с ее перепадами политической погоды.

Что меня особенно возмутило тогда — ложь Хрущева. На самом деле уже после венгерских событий начались посадки «крамольников», которые не желали оставаться в отведенных нам рамках критики. Мне очень больно думать об этом, но уже тогда появилась эта чудовищная практика — направлять в «психушки» особенно настырных критиков и борцов за правду. Вообще это одна из самых неприятных черт российской политической культуры: соврет — недорого возьмет. Больше того, в отношениях с политическими противниками наши деятели считали обман нормальным и даже необходимым, будучи уверенными, что другая сторона делает то же самое.

Уже позднее я узнал, что при Хрущеве за так называемые политические преступления, то есть за выражение несогласия с его политикой, пострадали многие сотни людей. Брежнев внес в эту практику масштабность и еще большую фальшь, но началась она — это следует признать — при Хрущеве.

Глава шестая
ХОДЖА И СНОВА ТИТО

1

Надолго мне запомнилась поездка в Албанию, где я приобрел первый опыт реальной политической борьбы. Это было вскоре после Совещания коммунистических и рабочих партий 1960 года. Нам уже было известно, что Энвер Ходжа и его ближайший соратник Мехмет Шеху отрицательно отнеслись к последнему съезду нашей партии и фактически не приняли идей Заявления. Поэтому поездка предстояла тяжелая, и подготовка к ней требовалась особенно тщательная. Заранее составлялись проекты речей, которые будут произнесены на съезде Албанской партии труда, а также, если появится такая возможность, на массовом митинге в Тиране.

Как-то утром в мой кабинет заглянул Толкунов (в отличие от других замзавов, он не считался с чинами) и сказал, что Ю. В. ждет нас. Мы застали Андропова в крайне раздраженном состоянии. Он только что познакомился с представленными материалами и пришел в негодование:

— Люди копошились над этим почти полгода и подготовили такой материал, который годится только для того, чтобы его выбросить в корзину,— сказал Ю. В. без всякого перехода. Видно, он еще не совсем остыл от той взбучки, которую задал накануне нашего прихода другим работникам.— Надо срочно поправить дело,— он обращался больше к Толкунову, чем ко мне. Моих возможностей он еще не знал и, естественно, больше рассчитывал на своего заместителя.

— Вы не беспокойтесь,— заверил Толкунов.— Федор возьмется за это дело и быстро все перепишет.

— Не обязательно быстро. У нас есть еще не меньше десяти дней до того, как надо будет отправлять материалы. Главное, чтобы получилось хорошо. Чтобы точно были расставлены все акценты. Эта поездка необычная.

Обстановка будет тяжелая,— сказал Ю. В., глядя на меня сквозь очки.

Затем он в нескольких четких, коротких предложениях обрисовал ситуацию и примерное направление выступлений.

— Все остальное,— закончил он,— дело вашей фантазии.

Легко сказать — фантазии, подумал я, садясь у стола в своем кабинете. Тут специалисты работали. А я не знаю ни страны, ни партии, ни обстановки. Я прочел текст речей, удивляясь более всего тому, каким языком они были написаны. Кроме того, в них практически не было никаких сюжетов, связанных с только что закончившимся Совещанием, хотя мне было очевидно, что мы должны в какой-то форме разъяснять и пропагандировать свою позицию.

И тут меня осенило: я решил совершенно заново продиктовать всю речь так, как будто мне предстояло произносить ее самому. А потом уже редактировать ее, убирая острые углы. Я вызвал стенографистку и начал диктовать. До этого у меня было мало опыта в работе со стенографисткой. Диссертацию свою я писал от руки, но писал довольно быстро, выполняя ежедневно за десять часов работы заданный самому себе урок — двенадцать — пятнадцать страниц текста. Но я только писал, а не диктовал, хотя два-три раза уже пробовал диктовать передовые для журнала. Вначале меня очень смущало присутствие постороннего человека при моих муках творчества, особенно во время пауз, когда во мне что-то заклинивалось и никак не сдвигалось с места.

Однако, как это ни странно, мой первый опыт прошел весьма удачно: я надиктовал страниц двадцать. В тот же день отредактировал текст и наутро принес его Ю. В., который был скорее удивлен, чем обрадован. Он внимательно прочел текст и даже полистал его вторично.

— У вас были заготовки? Что-то уж очень быстро вы это сделали.

— Нет, у меня не было никаких заготовок, я просто продиктовал стенографистке,— произнес я не без некоторой внутренней гордости первого ученика.

— Что же, это получше, чем было, но, я думаю, вы сами понимаете, что надо еще поработать.

Потом он позвонил Толкунову (а тот передал мне): «Ты посмотри материал. Федор наговорил что-то, и стало лучше. Но до завершения работы еще далеко».

Я ушел несколько обескураженный. Не потому, что считал свой текст шедевром. Я хорошо понимал, что официальная речь не может и не должна быть шедевром. Мне было предложено доработать текст. А что это значит? Я хотел получить ясные установки о том, что годится, что не годится, какие абзацы убрать, какие мысли добавить, что и как редактировать. Так всегда делалось в журнале. Никто из нас не терпел общих замечаний и пожеланий, и принятая форма обсуждения исключала их.

Я еще не знал, что стиль подготовки документов прямо противоположен этому. Задание здесь принято предлагать в самой общей форме, например: нужна речь по такому-то поводу; нужно заявление ТАСС; нужна редакционная статья в газету; надо высечь нашего противника за то-то. Исполнение, поиск и творчество оставляются исполнителю — пусть поломает голову, а мы потом посмотрим, что получится.

Я не знал и другого: весь этот процесс представлял собой нечто многосложное, многократное и страшно мучительное для всех участников. Такой стиль отчасти объяснялся коллективным принципом подготовки документов и коллективным рассмотрением их. Во многом это определялось тем, что заказчик еще сам до конца не продумал конкретное содержание документа, довольствуясь на начальном этапе характеристикой общей цели, глобального (так стали говорить позднее) замысла.

Что касается Ю. В., то с ним дело обстояло еще сложнее (а может быть, проще в каком-то отношении). Я очень быстро убедился, что какой бы ты ни принес текст, он все равно будет переписывать его с начала и до конца собственной рукой, пропуская каждое слово через себя. Все, что ему требовалось,— это добротный первичный материал, содержащий набор всех необходимых компонентов, как смысловых, так и словесных. После этого он вызывал несколько человек к себе в кабинет, сажал нас за удлиненный стол, снимал пиджак, садился сам на председательское место и брал стило в руки. Он читал документ вслух, пробуя на зуб каждое слово, приглашая каждого из нас участвовать в редактировании, а точнее, в переписывании текста. Делалось это коллективно и довольно хаотично, как на аукционе. Каждый мог предложить свое слово, новую фразу или мысль. Ю. В. принимал или отвергал предложенное. Шла ли речь о стратегических документах, определявших политику страны, или о самом ничтожном организационном вопросе, Ю. В. подходил к ним

с одинаковой въедливостью, стараясь все взвесить, ничего не упустить.

Но была еще одна причина, и это я понял позднее. Ю. В. любил интеллектуальную политическую работу. Ему просто нравилось участвовать самолично в писании речей и руководить процессом созревания политической мысли и слова. Кроме того, это были очень веселые «застолья», хотя подавали там только традиционный чай с сушками или бутербродами (это после девяти вечера). Раскрепощенные «аристократы духа» (как называл нас Ю. В.) к концу вечерних бдений часто отвлекались на посторонние сюжеты: перебрасывались шутками, стихотворными эпиграммами, рисовали карикатуры. Ю. В. разрешал все это, но только до определенного предела. Когда это мешало ему, он обычно восклицал: «Работай сюда!» — и показывал на текст, переписываемый его большими, округлыми и отчетливыми буквами.

Подготовка албанской поездки стала для меня первым уроком. Я понял, что имею дело с человеком острого и цепкого ума, который значительно превосходит окружающих не только бесконечно ответственным отношением к делу, но и каким-то прирожденным, интуитивным ощущением веса и значимости политического слова и действия. Приучив себя с юности критически относиться к любому авторитету, здесь я был покорен и даже восхищен. Впрочем, мне было свойственно влюбляться в мужской интеллект и обаяние. Я глубоко восхищался композитором Алексеем Козловским в свои студенческие годы. Я был по-настоящему влюблен в Белякова во время работы над учебником. А тут жизнь меня столкнула с личностью какого-то иного порядка. Он знал и умел то, что я при всей своей самонадеянности не рассчитывал знать и уметь даже в будущем. Он был деятелем, человеком, созданным для того, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Он был чуток и, видимо, очень скоро заметил мое отношение к нему; и надо сказать, платил мне взаимностью.

Но вот наши вечерние посиделки над документами остались позади, и мы летим на маленьком специальном самолете в Тирану. Самолет был внутри оборудован как салон: всего несколько кресел, стол, большой диван вокруг стола и пуфики, покрытые бархатом, в стиле ампир.

Нас было человек пять-шесть — члены делегации и сопровождающие лица: специалист по Албании, скромный молодой парень Павел Лаптев; заведующий сектором

обслуживания С. Суетухин; спичрайтер (составитель речей), писака, как презрительно называли нас за глаза подлинные работники аппарата,— это я. Каждый убивал время, как мог, в течение семичасового полета. Я перечитывал речи, Суетухин просматривал список подарков, которые предстояло раздать, Ю. В. большую часть дороги листал какие-то бумаги и тихо разговаривал с руководителем делегации П. Н. Поспеловым.

Петр Николаевич, человек небольшого роста, выглядел еще меньше, когда стоял рядом с очень высоким Ю. В. Но во всем чувствовалась важность руководителя делегации и лица, стоящего выше на целую ступеньку. Для человека такого роста у него был необычайно сильный голос, баритональный бас, немного глуховатый и даже не совсем внятный при произнесении речей, но очень выразительный при исполнении волжских песен, в чем мне пришлось убедиться во время этой поездки. Он не совсем четко представлял себе обстановку на съезде в Албании и больше всего был озабочен тем, чтобы оснастить речь несколькими свежими цитатами. Просматривая текст речи, который ему предстояло произнести на съезде, он быстро указал мне на место, куда следовало вставить подходящую цитату. Я тут же предложил ему соответствующую, написав ее на кусочке бумаги.

— Вы уверены, что это действительно правильная цитата? — недоверчиво спросил он меня.

— Абсолютно уверен, Петр Николаевич.

— Может быть, вы даже можете указать источник? — продолжал он с легкой иронией.

— Могу,— ответил я. И назвал не только том, но и страницу произведения Ленина.

Когда мы прилетели в Тирану и приехали в здание посольства, одно из первых дел, которое, по-видимому, сделал Петр Николаевич,— проверил правильность источника цитаты, чтобы проучить самоуверенного мальчишку. Каково же было его удивление, когда все совпало. Тут он пришел в необыкновенный восторг, радостно улыбался, разводил руками и даже побегал по кабинету посла.

— Ну,— сказал он,— Федор Михайлович! Я сам неплохо знаю Ленина. Изучал его всю жизнь, стоял во главе ИМЭЛа. Но чтобы так, наизусть, выбирать нужную цитату — это я встречаю впервые!

Мне было очень неловко. Я жалел, что сразу не признался в случайном характере своего успеха. Как раз накануне албанской поездки я подписал в печать свою книжку,

и тут обнаружилась неточность ссылки на источник именно этой цитаты. Мы промучились с редактором два дня, пока нашли сноску. Ну, после этого я мог повторять злополучную цитату даже во сне.

Со своей стороны я с любопытством присматривался к этому человеку, к его малоподвижному лицу, оловянным глазам, странной манере с большой важностью произносить банальнейшие слова. Как случилось, что именно Поспелов, один из основных авторов книги «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», стал одной из главных фигур при подготовке известного постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (30 июня 1956 года)? И не он ли вписал в это постановление оценку Сталина как выдающегося теоретика, который возглавил разгром оппозиции и победу социализма? В разговорах с нами он часто повторял: «покрепче об успехах», «не упускать преемственность», «не муссировать недостатки» и сакраментальное «марксизм-ленинизм учит». А чему учит опыт? Опыт — что ж опыт, он подтверждает... Куда ему деться?

Обстановка на съезде Албанской партии труда была, по выражению Ю. В., паршивой. Ее руководители твердо взяли курс на раскол с нами. Доклад Энвера Ходжи был хуже, чем можно было ожидать. В нем почти неприкрыто подвергалось критике все, что сделала наша партия за последние годы. Правда, произнося обидные для нас слова и сентенции, Энвер Ходжа — статный и красивый мужчина с военной выправкой — не выдержал резкого тона и даже прослезился. Но это не помешало ему довести свою речь до конца. И конечно, почти каждый ее абзац прерывался аплодисментами, то и дело переходящими в бурную овацию и скандирование.

Тут произошел первый инцидент. Во время одного из особенно грубых намеков, направленных против XX съезда, наша делегация воздержалась от аплодисментов. Мы сидели в одной из боковых лож зала, где проходило заседание, на виду у всех делегатов. Они обратили внимание на то, что мы не аплодируем, когда весь зал скандирует барабанными голосами: «Энвер Ходжа! Энвер Ходжа!» Что здесь началось! Все повскакали с мест. Стали еще громче выкрикивать здравицу в честь своего вождя, еще неистовее аплодировать, глядя в нашу сторону. Некоторые начали стучать подвижными сиденьями стульев.

Надо было видеть Ю. В. в этот момент. Его большая фигура, неподвижно и прямо сидящая в кресле, его глу-

бокие голубые глаза, хорошо видные через очки, мне кажется, производили сильное впечатление на делегатов съезда. Бросив взгляд в зал, я заметил отдельные группы, прежде всего военных, которые практически не участвовали в вакханалии. Их хлопки были формальными, и они со смущением оглядывались вокруг, посматривали на Ю. В. и на всех нас. Постепенно буря начала стихать. Все уселись на свои места. Докладчик выпил воды — было слышно даже, как она булькала, переливаясь из стакана в его горло,— и продолжил чтение.

Но я был до глубины души потрясен неистовством, которое светилось в глазах сотен людей, собравшихся в зале. Подумать только: еще вчера, несколько недель назад, они демонстрировали и, я уверен, испытывали любовь или по крайней мере признательность к нашей стране, к нашему народу! Как могло все так быстро перевернуться? Неужели достаточно взмаха дирижерской палочки руководителя, чтобы то, что вчера было светлым, белым, сегодня стало грязным и черным? Откуда такая власть над человеческими душами? Неужто это просто страх за свое место, боязнь оказаться аутсайдером, выпасть из политической тележки? Не может быть. Здесь сидят люди, которые без страха шли под фашистские пули, вынесли тюрьмы и застенки. Люди, у которых дружеские чувства к нам неразрывно переплелись с представлением о независимости их родины, о ее будущем. Какой же магической силой обладает власть! Какие токи пронизывают людей, когда они собираются вместе и образуют толпу! Не трожьте нашего бога!

Да и с богами не все ясно. Ну не понравились им те или иные наши решения. Ну затрагивает это в какой-то мере сложившийся режим в их партии и стране. Но ведь они не могут не понимать, что изоляция от нашей страны и от других стран, соседствующих с ними, гибельна для Албании, что их борьба против подавляющего большинства коммунистических и рабочих партий бесполезна и даже смешна. Это не более чем поза. Разве можно жертвовать интересами своей страны ради позы, какой бы красивой она ни казалась ее руководителям?

Во время перерыва я вышел из здания, где проходил съезд, и направился в скверик, чтобы глотнуть свежего воздуха. Оглянулся, вижу, что какой-то албанец следует за мной.

Я сел на скамейку. Он устроился на противоположной. Я раскрыл газету, и он вытащил свою. Тогда

я пересел на соседнюю скамейку. Он, как автомат, повторил то же. Я снова поднялся и сел рядом с ним.

— Ну что,— говорю ему,— брат? Что пишут в твоей газете?

— Не понимай по-русски,— замахал он головой и руками.

— Давно,— говорю я ему,— не понимай по-русски?

— Тавно, сопсем тавно,— заулыбался мой собеседник.

— А я,— говорю ему,— не понимай по-албански. И наверное, теперь мне бесполезно изучать этот язык. Он вряд ли скоро пригодится.

Албанец продолжал кивать головой, то ли соглашаясь со мной, то ли действительно не понимая, на что я намекал.

Я вернулся в холл, где во время перерыва прогуливались албанские руководители и иностранные гости. Неожиданно услышал знакомый и уже такой близкий мне громкий и властный голос Ю. В. Глядя твердо в глаза Энверу Ходже, он чеканил:

— Товарищ Энвер Ходжа! — Слово «товарищ» он выговаривал особенно напористо и жестко, раскатывал «р».— От имени коммунистических партий социалистических стран я выражаю решительный протест против ваших самоуправных действий. Вы изгнали со съезда без всяких мотивов и оснований представителя Греческой коммунистической партии. Мы полностью отметаем как вздорные и беспочвенные обвинения, которые вы высказали в его адрес и в адрес всей его партии. Мы требуем немедленно исправить дело и вернуть греческого представителя на съезд.

Гул в холле мгновенно затих, а Энвер Ходжа, бледный и возбужденный, стал выкрикивать:

— Мы отвергаем диктат! Мы никого не боимся! Это агент Караманлиса и других греческих монархо-фашистов. Мы не позволим никому командовать на нашем съезде!

Тогда Ю. В., выпрямившись во весь рост, сказал ему:

— Мы оставляем за собой право сделать все необходимые выводы из этого неслыханного в практике отношений между братскими партиями инцидента.

Съезд продолжался, а мы уже чувствовали себя как в осажденной крепости. Кто-то спросил: «А не попробуют ли они и нас завтра выдворить со съезда?» Кто-то пошутил: «Да нет! Скорее они подложат бомбу под посольство или спрячут ее в нашем самолете». Ю. В. решитель-

по пресек эти разговорчики и потребовал от всех быть предельно внимательными и собранными. Ни одного лишнего слова или жеста, подающего повод для провокаций.

В последний день съезда и после его закрытия нам была предоставлена возможность немножко осмотреть Тирану и окрестности, разумеется в сопровождении албанского сотрудника органов безопасности. Мы ходили по побережью Адриатики и вспоминали о том, как Хрущев высказал предложение, чтобы для представителей всех социалистических стран албанцы организовали место отдыха на прекрасном побережье. Это предложение глубоко уязвило гордого Энвера Ходжу, который мечтал превратить Албанию в высокоразвитую индустриальную державу, а не привлекать капитал в страну с помощью такого унизительного в его глазах средства, как туризм.

От той поездки у меня сохранилась фотография, на которой запечатлены Поспелов, Андропов и я. Ю. В. в длинном черном пальто и в черном костюме. Помнится, когда он появился в таком виде, я неловко пошутил: «О! Юрий Владимирович! В этом костюме вы — типичный пастор!» Потом страшно жалел о своей бестактности. Но выдержка Ю. В. была поразительная. Он не сказал ни слова, но посмотрел так, что я понял: моя шутка его сильно задела.

Не знаю, чем это объяснить, но за все годы работы он ни разу не сделал мне замечания. Его вежливый приветливый тон представлял разительный контраст со стилем других руководителей. Впрочем, это, кажется, было привилегией только консультантов. Ю. В. не имел возможности пройти весь обычный курс образования и фактически всегда учился, находясь на практической работе. Быть может, этим объяснялось его несколько преувеличенное мнение об эрудиции тех, кого он называл «аристократами духа». Он дорожил теми элементами знания и культуры, которые мы могли привнести в работу. Что касается референтов и других работников отраслевых секторов, то им нередко сильно доставалось от него. Он совершенно не терпел нераспорядительности, необязательности, безрукости и реагировал на все это очень жестко.

Летели мы назад из Тираны тем же самолетиком. Но для разрядки решили сделать остановку в Венгрии. Здесь я особенно почувствовал, что значила Венгрия для Ю. В. и что он значил для венгерских руководителей. Прошло всего несколько лет с той трагической

поры 1956 года, когда Ю. В. сыграл столь исключительную для посла роль в конструктивном решении острейшей проблемы. (Об этом я расскажу позднее, когда речь пойдет о специальной поездке делегации во главе с Ю. В. в эту страну, в которой мне довелось участвовать.) Я видел, с какой теплотой и искренностью встречали Ю. В. венгерские руководители, слышал, как он говорил им что-то по-венгерски и как радостно они откликались на родную речь в его устах.

Вечером советские представители собрались за столом, все расслабились после длительного напряжения в Албании. И тут Поспелов блеснул своим неожиданно мощным басом, выводя сложные рулады волжских песен. А Ю. В.— бывший матрос на Волге — вторил ему сильным, чистым и густым баритоном...

Полет из Будапешта длился долго. Делать было нечего. Петр Николаевич предложил партию в домино. Партнеров не хватало, и меня усадили четвертым, хотя я терпеть не мог этой игры и почти никогда не играл.

Но к тому времени я уже познал немаловажную истину, что домино тогда считалось таким же обязательным ритуалом, как ношение синего костюма зимой, а серого летом.

Незадолго до албанской поездки я отдыхал с женой в Варне, на прекрасном болгарском побережье Черного моря. Были мы в составе маленькой группы, в которую входил известный тогда крупный хозяйственный деятель М. А. Лесечко. Это был человек большого роста и очень представительного вида. Кажется, химик по образованию, он прекрасно разбирался во многих вопросах экономики. Во время наших посещений болгарских заводов он обычно оттеснял сопровождавшего нас директора и начинал рассказывать нам толково и интересно о предприятии, о его возможностях и проблемах так, как будто бы он его сам строил и руководил им.

Но были у него две слабости — домино и рыбалка. Уже в первое солнечное утро, когда мы вышли на берег теплого, манящего к себе моря, Лесечко уселся за столик под тентом, усадил рядом двух других товарищей из нашей группы и требовательно позвал меня, поскольку нужен был четвертый для партии в домино. Я вежливо отказался, ссылаясь на то, что собираюсь заняться подводной охотой. Для убедительности показал ему маску с трубкой и ружье, специально купленные для этой цели накануне поездки. «Это ты брось! — внушительно сказал

Лесечко.— Интеллигента из себя строишь. Можно подумать, что ты один учился в университете». («Г» он произносил, как было принято тогда, глухо, с придыханием и ударением, так что звучало это слово презрительно: интелли-хэ-нт.) Но я так и не сел за стол: в конце концов, что мне чужое начальство...

Окончательно испортило мою репутацию в глазах Лесечко то, что случилось на рыбалке. Это произошло рано утром на озере в дурную погоду. Дул очень сильный ветер, волны вокруг лодок поднимались на полметра. Мы с товарищем находились в одной лодке, а Лесечко с матросом в другой. Вся штука заключалась в том, чтобы придать лодке какую-то устойчивость, иначе бесполезно было забрасывать спиннинг. У нас был груз — большой камень на веревке, который мы собирались сбросить в воду. Но тут подплывает лодка с Лесечко, и он говорит, обращаясь к моему товарищу: «Давай сюда камень». Я встреваю — буря, что ли, настроила меня на веселый тон или прежние стычки. «Не берите у нас камень, дяденька,— говорю,— у вас же есть матрос, он и будет удерживать лодку».— «Давай, говорю, камень!» —взбеленился именитый рыболов. Он перегнулся через борт лодки, могучими лапищами своими схватил камень и перетащил к себе.

Эти маленькие шуточки обошлись мне впоследствии очень дорого. Лесечко «накапал» на меня Первому в присутствии Ю. В. во время какого-то приема. Сказал, будто я приударял на отдыхе за какой-то итальянкой. А отдыхал я с женой, да и итальянка была страшна, как смертный грех. Ю. В. ничего мне не сказал об этом, но передал все Толкунову, который с обычной для себя улыбкой сделал мне небольшое дружеское вливание. А все началось с моего отказа забивать козла!

Донос. Какую великую силу он имеет в аппаратной жизни! Размышляя над причиной этого явления, я часто думал: может быть, такова особенность русского политического человека? Я наблюдал у многих наших руководителей, в том числе весьма умных и проницательных, две одинаковые слабости. Первая — любовь к грубой лести. Наверное, все руководители во все времена любили лесть. Но наши в 60-х годах почему-то предпочитали именно прямую, неприкрытую, явно преувеличенную лесть. Лесть, так сказать, культовской пробы. Быть может, привлекало не столько содержание, то есть то, что о них говорили, сколько приятное чувство видеть

унижение человека, вынужденного так прямолинейно извиняться перед ними.

Другая слабость — неистребимая склонность к выслушиванию доносов. Им хотелось знать о человеке что-то очень личное, интимное, спрятанное, и они придавали этому большее значение, чем его открытым и явным высказываниям и выступлениям, действиям. Ты можешь написать десяток книг в защиту политической линии, а потом кто-то передаст твоему руководителю одну фразу, сказанную где-то за столом друзьям или подругам. И одна эта фраза, если она задевает самолюбие руководителя, переворачивает все его представление о тебе, все, что ты для него лично сделал до этого, теряет всякую цену... Да и фраза-то, быть может, была сказана не так, извращена, деформирована в процессе своего продвижения по лесенке доносительства, но она крепко западает в сознание. Возможно, это явление чисто физиологическое: дурное слово, особенно сказанное впопад, задевает так сильно, что уже не хочется верить ни в какие опровержения. Не случайно, наверное, когда-то убивали черных вестников, хотя они-то ни в чем не были виноваты. В мое время тихие нашептывания сломали не одну политическую биографию...

Наученный этим горьким опытом, я не стал фордыбачить и покорно сел за стол играть в домино по приглашению Поспелова. Но выдвинул условие: выигравший обязан выпить рюмку коньяка. Мы везли с собой ящик этого напитка, который предназначался для приемов в Албании, а они не состоялись, и весь коньяк уцелел. Однако выдвинутое мной условие оказалось бумерангом. Мне, как новичку, неслыханно везло — я выигрывал партию за партией. И хотя Ю. В. не одобрял выпивку, тут он вместе со всеми потешался, глядя на меня. В конце концов я так наклюкался (как принято сейчас говорить, по самой старой схеме), что буквально вывалился на руки удивленных родственников после приземления в Москве.

Поездка в Албанию сблизила меня с Ю. В., что вызвало острую ревность некоторых работников отдела. Особенно негодовал Суетухин. «Тоже мне писаки,— говорил он о нас презрительно.— Что они понимают в реальных делах».

Я имел неосторожность превратить его в течение всей поездки в объект шуток, казавшихся мне безобидными. Он удивительно соответствовал своей фамилии. Вечно

бегал вприпрыжку, старался попасть на глаза руководству, спрашивал указаний по любому мелкому вопросу, жаждал только одного — погреться в лучах начальственного взгляда. Ну а я, конечно, не упускал случая вытащить на свет эти качества, что, кажется, не нравилось ни Суетухину, ни самому Ю. В.

Не только Суетухин, но некоторые другие доброхоты выходили на Ю. В. с «капежом» на меня, но безрезультатно. Я до сих пор так и не понимаю, чему был обязан такой удивительной привилегии. Многие говорили, что он попросту был лично расположен ко мне.

2

Я не был раньше близко знаком с Хрущевым, но часто наблюдал и слушал его, находясь где-то рядом. Шесть раз сопровождал его за границу в социалистические страны Европы, но это были преимущественно официальные поездки, насыщенные парадностью, праздничностью, помпезностью, что мешало по-настоящему увидеть и оценить деловые проблемы, которые решались во время таких поездок, а проблемы эти нередко были очень острыми и крупными.

Непосредственное знакомство с Первым состоялось во время поездки в Болгарию. Сейчас мне нелегко представить себе волнение, которое я испытал,— молодой человек академического склада, неожиданно для себя попавший на политический Олимп. Но я хорошо помню, что не спал практически всю ночь накануне вылета спецсамолета, на котором находилась делегация и сопровождавшие ее лица. Я старался уснуть во время полета, но безуспешно — изрядно болтало над горами, особенно перед посадкой в Софии.

Это был один из первых туполевских реактивных скоростных самолетов, которые еще предстояло долго и упорно совершенствовать. Машина, рассчитанная примерно на сто пятьдесят — двести человек, была набита до отказа: кроме охраны в ней находились журналисты, а также большая группа партийных и государственных работников, обслуживавших делегацию. Помощников и консультантов усадили во втором салоне, так что мы могли если не слышать, то по крайней мере видеть то, что происходило в первом, где находилась делегация. Из нашего салона то и дело запрашивались бумаги или вызывались

люди, которые быстро отправлялись в первый салон, неся на всякий случай под мышкой папки с документами. Мне эта суета казалась немножко искусственной и даже смешной, поскольку речи и документы были подготовлены заранее, много раз просматривались и были официально утверждены. Иной раз видимость активности исходила из второго салона — от помощников или других сопровождавших лиц, которые брали на себя риск вторжения в первый салон. Все это мешало мне вздремнуть, и я боялся, что если не сделаю этого, то окажусь не на высоте, когда возникнет необходимость оперативно дополнить или отредактировать куски для печати, произнесенные экспромтом. В этом была моя нехитрая функция, которой, однако, сам Первый придавал большое значение. Он очень любил отступать от текста во время своих выступлений, говорил при этом, совершенно не следя за формой, стремясь любыми средствами донести до слушателей свою главную мысль и поэтому неоднократно возвращаясь к ней, что создавало, конечно, нелегкие ребусы для редакторов.

Я был знаком с его стилем еще до болгарской поездки и знал, что надо в любой момент иметь ясную голову и хорошо отточенное перо. Кроме того, нам нередко вручали его так называемые задиктовки — то, что он наговаривал стенографистке для очередной речи. Обработка такой задиктовки представляла собой особенно трудное дело: надо было сохранить смысл, а для этого его требовалось прежде всего обнаружить, вычленить из большого вороха второстепенных слов, затем отшлифовать, а нередко просто переписать заново весь материал, но так, чтобы автор легко находил свои мысли и выражения — то, чем он дорожил и ради чего производил эту задиктовку. Обычно я сам заново передиктовывал все, предварительно пройдясь по тексту и подчеркнув самые важные места.

Легко поэтому понять мое волнение в момент первой поездки. Здесь моя работа не должна была проходить через фильтр Ю. В., привычный и гарантирующий точное попадание в десятку. Я должен был сам брать на себя ответственность за окончательную обработку текста. Подготовленный мной текст потом просматривался помощниками Первого, которые в смысле грамотности и литературной обработки больше полагались на других.

Самолет приземлился, и я впервые попал в атмосферу, присущую зарубежной поездке высшего руководства.

Огромные толпы с цветами в руках, люди, восторженно размахивающие флажками, громкие крики «ура» и здравицы. Кортеж черных машин (их было не менее двадцати пяти — тридцати), пробиравшийся через эту толпу, яркое летнее солнце — все это было чрезвычайно празднично, красочно. Я ехал, кажется, в четвертой машине с одним из помощников Первого и тут обнаружил какую-то странную реакцию публики на свою скромную особу: как только они видели меня, крики и аплодисменты вспыхивали с особой силой. Я с недоумением обернулся к сопровождавшему нас товарищу, и тот со смехом объяснил, что они принимают меня за своего, за болгарина. Я упоминаю об этом потому, что вечером произошло аналогичное недоразумение, но на этот раз не с болгарами.

Во время ужина, организованного болгарами в честь делегации, консультантов и помощников посадили за тот же стол, что и наших руководителей, но по другую сторону. Случайно я оказался прямо напротив Первого. И вот он, как обычно, поднялся произносить тост за советско-болгарскую дружбу и — тоже как обычно,— отвлекшись от тоста, начал вспоминать прошлое. Здесь я снова услышал историю, которую он уже рассказывал на приеме после завершения Совещания компартий в 1960 году: о том, как умер Сталин, как брали Берию, о нравах, царивших среди высших руководителей при Сталине, о 1937 годе и о многих других политических событиях. Говорил он не меньше двух часов, а я сидел застывший и завороженный, слушая эту исповедь. Я не в силах был оторвать глаз от рассказчика, а он, видя мое такое необычное внимание, все чаще обращался в разговоре лично ко мне, жестикулировал, объяснял, доказывал и еще более углублялся в волновавшие его воспоминания. Все остальные сидели тихо, молча, терпеливо ожидая окончания его речи. И, наверное, каждый про себя думал о своем. Меня потрясли эти откровения, эти грозные страсти на политическом Олимпе, эти мучительные переживания — удел деятелей из окружения высшего руководства. «Ближе к царю — ближе к смерти,— думалось мне в этот момент.— Как эта близость выворачивает наизнанку всего человека... Вот она, плата за власть».

Не помню, чем закончился тот вечер, но хорошо помню, что я долго не мог уснуть, перелистывая в своем возбужденном мозгу страницу за страницей мрачной исповеди участника и жертвы минувших времен... Наутро

меня неожиданно пригласил помощник Первого. Оказывается, тот пожелал познакомиться с «интересным молодым болгарином», который так внимательно его слушал. Каково же было удивление Хрущева, когда он узнал, кто я и где работаю. Он задал мне два-три формальных вопроса, долго жал мне руку и смеялся над своей ошибкой. Потом во время встреч в Болгарии, в частности в Евстеноградском дворце царя Бориса в Варне, он кивал мне и, весело улыбаясь, покачивал головой: вот, мол, какого дурака свалял.

Вообще он был прост и предупредителен в общении с «интеллектуальной обслугой». Особенно выделял и ценил «речеписцев», поскольку сам чувствовал недостаток образования и культуры, чтобы довести до конца и обработать для печати свои выступления. Многие пользовались этой его слабостью в личных целях. Особенно это развилось при его преемниках, когда составители речей унижались до того, чтобы выпрашивать плату за свои услуги, и плату немалую — академические звания, лауреатские значки, премии или высокие должности. Ю. В. учил нас скромности, честному и чистому служению государственным интересам. И те, кто оставался верным этому принципу нравственности, заложенному им в нас, никогда не гонялись ни за премиями, ни за званиями, для чего требовалась скорее ловкость, чем выдающиеся результаты деятельности в науке или публицистике.

Впрочем, Первый нередко произносил свои речи и без всякой подготовки. Иногда они бывали сумбурные, особенно если он был чем-то сильно возбужден и заведен. Но вот в Болгарии мне довелось слышать речь, которую он произносил явно экспромтом в клубе шахтерского поселка. Вернувшись после спуска в шахту, не сняв каски и специального шахтерского одеяния, он, выйдя на сцену, произнес речь, которая длилась минут сорок. Ничего ему не мешало, и никто не торопил. И это была на редкость складная речь с простыми, но четкими мыслями и суждениями, в ясной и грамотной форме. Она вызвала прекрасный отклик аудитории и не составила никакого труда для редакторов при подготовке ее к печати.

Я замечал эту особенность и у некоторых других наших политических руководителей. Прикованные к бумажке, они читали текст, написанный чужой рукой, занудными, нередко заунывными голосами. Но, попадая в необычную обстановку, которая требовала импровизации, они вдруг стряхивали с себя оцепенение и произносили хоро-

шую, четкую и грамотную речь. Я тогда еще понял, как мучительна была сложившаяся традиция читать речи, как обедняла она личность и низводила даже яркого человека до уровня простого статиста. Ведь произносить чужой текст, не прошедший через твое сознание и твою душу,— вещь, в сущности, невыносимая. Все время чувствуешь себя как бы отчужденным от этого текста, искусственно пришитым к нему, понимаешь, что почему-то так надо, что опасно бросать вызов традиции, но испытываешь постоянную неловкость, неприязненное чувство то ли к этой традиции, то ли к чужому тексту, то ли к самому себе. Я встречал очень немногих деятелей, которые умели хорошо произносить написанную кем-то речь, не тарабаня, как солдат, и не подвывая, как пономарь. Чаще всего это было тогда, когда докладчик своей рукой переписывал весь текст.

Надо сказать, что Первому все это не грозило. Это был человек, глубоко уверенный в себе, раскованный и даже озорной. Когда он начинал говорить, никто, даже он сам, не знал, чем кончит.

Отчасти это было свойством его натуры, но отчасти он пользовался этим для политической игры. Он демонстрировал возмущение и произносил слова, которые в виде печатного текста наверняка вызвали бы взрыв негодования у собеседника, партнера или оппонента. Но ему это сходило с рук, поскольку списывалось на счет эмоций. Мне иногда казалось, что он заговаривается, настолько бурно и необузданно текла его речь в иные минуты, но потом он постепенно успокаивался и, нащупав дно, возвращался к предмету своего разговора, остро следя своими маленькими, озорными, веселыми глазками за выражением лиц слушателей. «Ну и актер! — думал я, глядя на эти перевоплощения.— Вот кого не хватает Олегу Ефремову в «Современнике» для полного комплекта».

Во время митинга на площади Димитрова в Софии докладчик не раз отвлекался от текста. Я сидел на стуле за трибуной, с которой он выступал, и помечал места, пытаясь записать новый текст. В этот момент его жена Нина Петровна, женщина с добрым, славным крестьянским лицом, сказала мне: «Оратор не учитывает, что люди стоят под солнцем на жаре, и напрасно расширяет свою речь. Ее и так можно было сократить».

Я впервые слышал от нее критическое замечание о муже и подумал про себя, что, он, вероятно, нередко советуется с ней, а может быть, и проверяет свои речи на ней

как на слушательнице. Впоследствии я имел случай убедиться, что это так и было. Жена Первого долгое время работала заведующей парткабинетом и неплохо ориентировалась в лекционной работе.

Забавный эпизод произошел во время приема в советском посольстве по случаю пребывания делегации. Когда Первый вошел в большой зал приема, он, не пройдя и нескольких шагов, остановился как вкопанный. В зале были расставлены столы, которые буквально ломились от изобилия напитков и яств. В центре каждого стола расположился гигантский осетр размером метра в два, весь обложенный креветками, овощами и еще невесть чем. И тут Первый разыграл сцену, к которой, я думаю, давно готовился. «Это вы думаете, что мы уже достигли коммунизьма? Кто распорядился? Кто вас финансирует?» — накинулся он на посла, который стоял ни жив ни мертв. Посол стал было что-то бормотать насчет дополнительных средств, спущенных Совмином для этого приема, о доставленных в натуральном виде самолетом продуктах, но Первый и слушать не стал. Он повернулся к Тодору Живкову, который согласно кивал головой. Но делать было нечего, и после небольшой заминки все приступили к разрезанию и поеданию этих невиданных рыбин.

Замечу попутно, что я так и не понял, почему он с таким упорством произносил «коммунизм» с мягким «з». Свое горловое «г», вероятно, он действительно не мог исправить, хотя не исключаю, что и здесь была игра. Что же касается «коммунизьма», то я на сто процентов убежден, что он так произносил умышленно, создавая некий эталон, которому должны были следовать все посвященные, как авгуры. И один за другим окружавшие его люди, в том числе получившие образование в университете или МГИМО, склонялись к подобному произношению. Этот сленг как бы открывал дорогу наверх, в узкий круг людей, тесно связанных между собой не только деятельностью, но и общим уровнем культуры.

Во время пребывания в Варне нас поместили в Евстепоградском дворце царя Бориса. Я никогда не пользовался такой роскошью: бассейн посреди огромной комнаты. Признаться, я испытывал странное чувство: зачем все это новым руководителям, выходцам из простого народа? Наверное, это просто объяснялось желанием сохранить обстановку, которая представляла собой историческую ценность. Но в других случаях и в других странах объяснений не было. Была какая-то необъяснимая тяга у

людей, выросших в бедных семьях — чаще крестьянских, чем рабочих,— к роскоши, причем не современной, а архаичной.

Чем объяснялся такой вкус у нормальных и не очень образованных мужиков? Где они подсмотрели эти банкетки и козетки, трудно сказать. Но ампир прочно вошел в политический быт и надолго загородил дороги современному стилю. Кажется, одним из первых прорывов стал Дворец съездов внутри Кремля. А потом постепенно этот стиль — менее пышный, более экономный, использующий стекло, бетон, пластик и искусственные ковры,— стал вытеснять неизвестно откуда просочившийся в «пролетарский» быт дворцовый стиль.

Меня это шокировало, но я был нетипичен. Я был молод и, кроме того, пришел из бедной академической среды, где даже приличный письменный стол считался большой редкостью. В Институте государства и права Академии наук СССР я работал за маленьким столиком в читальном зале. Ну а жили мы с моей семьей долгое время в общих квартирах и комнатухах, которые снимали у хозяев. Может быть, поэтому я испытывал смущение от самых простых услуг, которые мне оказывали в силу моей должности. Когда меня возили в машине в «Сосны» и в другие места, где готовились документы, я все время чувствовал себя каким-то «эксплуататором» чужого труда и, пытаясь как-то компенсировать услуги водителя, рассказывал ему в пути занимательные истории.

А во дворцах, в которых мы останавливались за границей, в пышных покоях, которые я вообще получал не по чину, а в качестве, так сказать, дворового человека, я испытывал такое чувство, будто присваиваю себе что-то чужое, доставшееся мне по ошибке и за что меня могут в любой момент схватить за руку.

3

Особенно остро я это чувствовал в Югославии. Ю. В. входил в состав делегации, возглавляемой Первым, а я находился «при», но на достаточно близкой дистанции. Настолько близкой, что останавливался обычно в тех же помещениях, где они, и кормился вместе с ними. Впрочем, помещениями их назвать можно только в шутку. Это были королевские дворцы, которые, соответственно традиции, занимал Иосип Броз Тито.

Я бывал в Югославии еще до этого в составе журналистской группы. Мы объездили практически всю страну, все ее республики, более развитые Сербию, Хорватию, Словению и менее развитые Черногорию, Боснию, Герцеговину, Македонию. Это была первая страна на Адриатике, которую я посетил, и восхищению моему не было предела.

Я побывал во время той журналистской поездки на полутора десятках предприятий и госхозов, в научных, медицинских учреждениях и творческих союзах. Мне глубоко импонировали экономические реформы в Югославии, прежде всего децентрализация, отказ от жесткого планирования, концентрация предприятий на рынке внутри страны, свободный выход на внешний рынок. Мне нравились и рабочие советы, хотя я и видел, что носят они во многом формальный характер. Продовольственные товары в магазинах мало отличались от западных, а промышленные уже тогда приближались к мировому уровню. Мне нравилось и то, что югославы не стали копировать наш этап коллективизации — жестокий и неэффективный. В духовной жизни страны царил «модерн» — стремление ко всему новому, современному. Словом, то был, вероятно, лучший период в развитии страны, и я полагал своим долгом написать правду о Югославии. Приехав в Москву, я подготовил большую статью для журнала «Коммунист», ее набрали и готовились напечатать. Но тут произошло неожиданное.

Один из моих друзей по журналу (мы с ним вместе играли в волейбол и настольный теннис) случайно оказался в лифте с Ю. В. и за короткий срок совместного подъема успел сообщить ему, что я написал какую-то «крамольную» вещь о Югославии. Ю. В. затребовал статью и не поленился прочесть ее в больнице, куда он ненадолго попал на обследование. И тут я единственный раз в жизни получил изрядную встряску от Ю. В. Он прислал мне большую записку на нескольких страницах, написанную характерным для него крупным почерком, четким и ясным. В записке Ю. В. просил не публиковать статью в таком виде, учитывая характер отношений с Югославией в тот период и оценку, которая была дана деятельности Союза коммунистов Югославии Совещанием компартий в 1960 году. Он не оспаривал, по существу, того, что я изложил в своей статье, но указал на политическую нецелесообразность ее публикации. Поскольку эта записка имеет важное значение для понимания взглядов Андропова, привожу ее с сокращениями.

Уважаемый Федор Михайлович!

Статью Вашу прочел. По-моему, в нынешних условиях статья о Югославии должна давать ответ, по крайней мере, на два вопроса: во-первых, что сейчас происходит в Югославии, т. е. как там идет строительство социализма, и, во-вторых, объяснять нашу политику в отношении этой страны и Партии, с обязательным учетом того, что мы говорили и писали о ней (стране и партии) на XXI, XXII съездах КПСС, в Заявлении 1960 года, на съезде БКП (речь Н. С. Хрущева) и др.

Если на первый вопрос в статье дается ряд ответов, то со вторым — дело обстоит хуже. Вам неизбежно надо объяснить (показать, а может быть, дать понять) читателю (прямо или косвенно), что наши оценки ревизионистской деятельности руководства СКЮ не пересматриваются, они остаются в силе, их полностью подтвердила жизнь. Не менее важно показать, что наши шаги по улучшению отношений с Югославией — это последовательное проведение линии нашего ЦК, начиная с 1955 года, что они вполне увязываются и укладываются в плане известного положения Заявления и других документов.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы писать все это ввиду каких-то политических отступлений (специально). Но все рассуждения Ваших заметок должны, по крайней мере, вести к этому, исходить из этого, сводить концы с концами. Иначе Вас (а вместе с Вами и всех нас) будут ловить на этом «все те, кому улучшение отношений с Югославией не по нутру». Нельзя им подставлять бока.

На стр. 3, например, Вы приводите цифры, «почерпнутые из справочной литературы, обильно представленной нам югославскими товарищами». После этих цифр следует Ваш вывод. «Приведенные цифры говорят и о довольно быстром развитии экономики на протяжении ряда прошлых лет, и о довольно резком замедлении темпов роста производства в 1961-м и текущем годах». Больше от Вас — ни слова. Вы с этим не согласны? Но дальше, цитируя Тодоровича, Вы вроде бы продолжаете линию «об успехах». Если же Вы теперь беретесь вместе с Тодоровичем и «справочной литературой» доказывать, что имел место «довольно быстрый рост югославской экономики за последние годы», то тогда читатель вправе Вас спросить: «Позвольте, но в Заявлении сказано, что «социалистические завоевания поставлены под угрозу», на XXI съезде сказано, что Югославия «не идет, а вихляет по пути к социализму», на болгарском съезде (в речи главы нашей делегации) сказано, что «ревизионистская линия руководства СКЮ привела к провалам в экономическом развитии». Я уже не говорю о том, что «некие» Пономарев, Андропов и Константинов в том же самом журнале «Коммунист» приводили (если я не ошибаюсь) те же самые цифры и на основании их, как дважды два — четыре, доказывали, что на протяжении прошлых лет экономика Югославии резко отстает. Теперь в том же журнале в Вашей статье доказывается (или, по крайней мере, показывается) обратное и не делается даже попытки вспомнить, объяснить то, что было сказано. Так, по-моему, нельзя.

На стр. 4 говорится, что «1950 год был периодом, когда югославская экономика в силу ряда причин (и особенно в связи с разрывом экономических связей между ФНРЮ и другими соц. странами) находилась в тяжелом состоянии. Видимо, в связи

с необходимостью вывести экономику из застоя и родилась идея (?!) перестройки управления производством».

Далее рассказывается о том, как югославы ликвидировали централизованное планирование, открыли дорогу для стихии рыночных отношений, насадили у себя местничество — словом, осуществили действия, которые коммунистическая пресса (и в том числе журнал «Коммунист») в прошлом не раз квалифицировала не иначе как ревизионистские. Теперь же Вы, словно забыв обо всем этом, пишете: «Видимо, в связи с необходимостью вывести экономику из застоя и родилась идея «перестройки» (?!) управления производством». Вот уж, что называется: обелять так обелять! Ведь это как раз то, о чем югославы твердили с самого 1949 года в ответ на наши обвинения их в ревизионизме. Они рассуждали как раз в духе той логики, которая проводится в Вашей статье: социалистические страны «блокировали» Югославию, а мы — югославы, чтобы выжить, должны были пойти на «реформы»...

Не стану дальше разбирать статью с этой стороны, но заверяю Вас, что примеров мог бы, в случае нужды, привести еще и еще. Например, на стр. 10 говорится: «Ввиду массового разорения мелких крестьян, в деревне имеется избыточная рабочая сила, которую город еще не в состоянии полностью использовать». Далее сказано, что Беловец об этом говорил спокойно, и от автора делается риторический вопрос — не слишком ли дорогой ценой решается проблема перенаселенности деревни?

Но ведь все знают, что руководство СКЮ в этом вопросе встало на антиленинский путь разорения крестьян-бедняков, что эта мера совсем не похожа на ленинскую идею сельскохозяйственного кооперирования, которая исходит прежде всего из интересов крестьянских масс, и конечно раньше всего их бедняцкой части. Об этом мы еще совсем недавно прямо говорили югославам, а теперь вдруг задаем стыдливо-кокетливые вопросы...

Повторяю, разбор примеров можно было бы продолжить, но думаю, что и из сказанного видно, что статья в том виде, как она есть сейчас, не явилась бы полезной. Она могла бы породить неверное понимание в нашей партии, в братских партиях, посеять иллюзии в СКЮ, дать повод для наскоков на линию нашего ЦК — линию укрепления отношения с СКЮ на марксистско-ленинской основе.

Понятно, что статья о Югославии должна исходить сегодня из задачи укрепления отношений с ней, должна соответствовать курсу развития дружбы с югославским народом. Понятно, что сегодня критиковать линию руководства СКЮ, как это мы делали 2—3 года назад, было бы глупым, неправильным делом. Но это уже вопросы тактики, а она все-таки должна быть в умном подчинении у главной цели: отстоять Югославию и СКЮ не вообще, а на марксистско-ленинской основе. Только так я всегда и понимал все сказанное по этому вопросу Н. С. Хрущевым, и только так он этот вопрос и ставит...

Мы не кокетничаем с югославскими руководителями, а прямо, честно, по-ленински указывая им на их ошибки, и зовем их на правильный путь. Теперь И. Б. Тито сам признает то, о чем говорил им Никита Сергеевич еще в 1955 году. Я, разумеется, не думаю, что для дружбы нашей было бы полезным «тыкать им в нос» их самокритикой. Но для меня является бесспорным, что

сейчас, игнорируя то, что мы писали все последние годы, делать вид, что руководство СКЮ беспорочно,— тоже вряд ли полезно. Вот и все...

Ю. Андропов.

Что вызвало такую резкую отповедь Андропова? Описание живого опыта самоуправления на предприятиях со всеми его особенностями, достижениями и трудностями? Децентрализация, рабочие советы, культурный плюрализм? Конечно, я посчитался с указанием Ю. В., затребовал статью обратно из журнала и засунул ее в ящик — навечно.

Я не был согласен с ним, но полагал, что в отличие от нас, молодых советников, пришедших из научной или журналистской среды, Ю. В. понимал политику как искусство возможного. Он знал не только то, что нужно сделать, но и как этого добиться в конкретных условиях. Иными словами, может быть, как никто другой среди тогдашних руководителей, он чувствовал и сознавал жесткие политические лимиты на пути назревших преобразований.

Прошло некоторое время, отношения с Югославией улучшились, и я снова предпринял попытку повлиять на изменение оценок позиции СКЮ нашим руководством. Я подготовил специальную записку «О политике в отношении Югославии», которую передал Андропову. Вот некоторые выдержки из нее.

О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЮГОСЛАВИИ

Факты говорят о том, что сейчас складываются благоприятные условия для значительного улучшения отношений с ФНРЮ. Югославия занимает в целом благоприятную позицию по вопросам внешней политики, оказывает активную поддержку СССР и другим странам социализма в борьбе за мир и ослабление международной напряженности. Она пользуется значительным влиянием среди нейтральных государств Африки и отчасти Азии и Латинской Америки, и есть возможность использовать это влияние в интересах социалистических стран.

Вместе с тем нужно принимать во внимание, что Югославия, добиваясь развития отношений с СССР и другими странами социализма, будет по-прежнему стремиться по возможности сохранить те выгоды, которые она получает от своих экономических связей с капиталистическими государствами, и особенно свое политическое влияние на нейтральные страны и выгодные для нее экономические связи с ними. Поэтому необходимо исходить из реально сложившегося положения и стремиться максимально использовать его в интересах социалистических стран.

Исходя из этих соображений, было бы целесообразно:

1. По-прежнему всемерно укреплять и улучшать отношения СССР с ФНРЮ по государственной линии. Практика полностью

подтвердила правильность такой тактики, когда, несмотря на идеологические разногласия, государственные отношения укрепляются. Это оказало благотворное влияние не только на внешнюю политику ФНРЮ, но и на ее определенную эволюцию в идеологических вопросах.

2. Идти навстречу желаниям руководства ФНРЮ развивать экономические отношения с СССР, особенно широко в области торговли и кооперирования производства, что теснее связывает Югославию с нашей страной.

3. Поощрять развитие экономических связей ФНРЮ с другими соц. странами, с тем чтобы подготовить почву для ее вхождения в СЭВ в качестве наблюдателя, а впоследствии, возможно, и в качестве члена.

4. Развивая контакты с ФНРЮ по государственной линии, вместе с тем развивать и отношения по линии общественных организаций — профсоюзов, комсомола, творческих союзов, научных учреждений, ИМЛ, Академии общественных наук, добиваясь усиления нашего идеологического влияния в ФНРЮ. В перспективе, если отношения между нами будут развиваться и углубляться, а также при благоприятных международных условиях, постепенно восстанавливать контакты и по партийной линии.

5. Нужно добиваться более активных выступлений Югославии в поддержку политики СССР, всех стран социализма, против империализма и войны. Вместе с тем едва ли было бы целесообразно в нынешних условиях ставить вопрос об отказе Югославии от экономической помощи и экономических связей с капиталистическими странами, т. к. это возложило бы на СССР дополнительные экономические обязательства.

6. Шире освещать в нашей печати на взаимной основе внешнюю политику, а также внутреннее развитие Югославии. При этом делать упор на положительных фактах, на том, что сближает позицию ФНРЮ и других стран социализма. Вместе с тем нельзя полностью отказываться и от доброжелательной научной аргументированной критики тех или иных отрицательных сторон в жизни Югославии, разумеется без наклеивания ярлыков и крикливости. Иначе наша прежняя, как, впрочем, и нынешняя, позиция может выглядеть конъюнктурной не только в глазах других компартий, но и в глазах югославов.

Установка: либо только ругать, либо только хвалить и замалчивать важнейшие стороны жизни стран — не дает никаких гарантий против перехода от одной крайности в другую. Напротив, доброжелательное и вместе с тем разумное критическое отношение к опыту друг друга служит залогом подлинно равноправных и устойчивых отношений, не подверженных никаким колебаниям. Это будет правильно понято и оценено в Югославии. В свою очередь, и нам, давая отпор враждебным выпадам в наш адрес, если они будут иметь место, не следует вместе с тем болезненно реагировать на те или иные доброжелательные критические замечания в печати Югославии.

Если брать более широко, то такой подход мог бы содействовать установлению правильного стиля во взаимоотношениях с другими соц. странами, послужить примером, как следует обмениваться опытом, сопоставлять его, совместно находить лучшие методы и критиковать то, что мешает развитию социалистических стран...

20 августа 1962 года.

Андропов подчеркнул несколько мест в моей записке, высказав сомнение в целесообразности каких-то новых активных действий по улучшению отношений с Югославией. Он все еще рассматривал эту страну через призму идеологических стереотипов и опасался того влияния, которое может оказать ее пример на другие страны Восточной Европы. Записку он руководству нашей партии не направил, правда и меня за нее особенно не критиковал. Вообще он всегда демонстрировал терпимость и понимание, когда речь шла о поиске новых подходов и новых идей в политике. Как это уживалось с его крайне осторожной и даже настороженной реальной политикой в отношении стран социализма — трудно понять. Но это факт.

О политической осторожности Ю. В. может дать представление еще один эпизод, о котором мне рассказывали люди, работавшие с ним в Венгрии в 1956 году. Я уже упоминал о том, что за несколько месяцев до этих событий Андропов настоятельно предупреждал Н. С. Хрущева о том, что назревает взрыв, и предлагал эффективные меры, которые могли бы его предотвратить. Кстати, именно поэтому после венгерских событий он был назначен руководителем Отдела в ЦК КПСС. Однако с 1956 годом связан и определенный «венгерский комплекс» Андропова. Он всегда с большой настороженностью, даже подозрительностью относился к таким явлениям в социалистических странах, которые не укладывались в советский образец.

4

Во время визита в Югославию в 1963 году делегация во главе с Хрущевым посетила одно из предприятий в Белграде. Гостей познакомили с особенностями югославской системы самоуправления. Нам подробно рассказали о работе администрации, о конкурсной системе замещения должностей, о деятельности рабочих советов, о сложностях и трениях, которые возникают в их взаимоотношениях с руководством предприятий, а еще чаще — об их неспособности в силу малой компетентности существенно повлиять на процесс производства.

Потом взял слово Первый. Его сенсационное заявление обошло все югославские газеты и попало в буржуазную печать, но, кажется, никогда не было опубликовано у нас. Он сказал: «Мне показался интересным опыт югославского самоуправления. Каждая страна выбирает свой путь,

в соответствии со своими традициями, со своей культурой. В рабочих советах нет ничего плохого, но в нашей стране мы идем другим путем, расширяя права профсоюзов и трудовых коллективов». Это заявление было встречено бурей аплодисментов, особенно присутствовавших здесь югославских руководителей.

Я взглянул на Ю. В., желая видеть его реакцию. Он продолжал что-то добросовестно записывать, опустив глаза в тетрадь. Я так и не знаю, согласовал ли Первый с ним это заявление или сделал его экспромтом. Учитывая свой опыт со статьей о Югославии, я считал неудобным говорить на эту тему с Ю. В.

Красивейшее место Брионы, остров, превращенный целиком в резиденцию президента Тито. Стояли ясные солнечные летние дни. Вся делегация и мы, грешные, сопровождавшие их лица, купались в море каждый день, а потом, сидя на берегу вместе с югославскими руководителями, попивали кока-колу, швепсы, поставляемые уже тогда в Югославию из западных стран, или просто гоняли чай из самовара, специально припасенного заботливыми хозяевами.

Оказался я за одним столиком с Эдвардом Карделем — членом руководства СКЮ, вдохновителем экономической реформы в Югославии, которого у нас тогда обвиняли в приверженности к австромарксизму. Я затеял с ним разговор о недавно вышедшей его книге «Социализм и война». Я спросил, действительно ли он полагает, что возможны войны между странами социализма? И, получив утвердительный ответ, продолжал: «Между какими странами социализма вы считаете войну наиболее вероятной?» Он ответил мне, что, быть может, не война, но серьезное военное столкновение между Советским Союзом и Китаем. Он ссылался при этом на Энгельса, который предупреждал, что нужно учитывать влияние великодержавия и национализма. «В какой же перспективе возможна такая война?» Кардель сказал, что трудно точно указать срок, но в течение десяти лет мы станем ее свидетелями.

Все тогда были очень обеспокоены китайской проблемой, многие ждали обострения конфликта и даже поговаривали о возможности вооруженного столкновения, что выглядело тогда вполне реальным. Мне пришлось заниматься этой проблемой, писать статьи и даже книги о Китае. Тем не менее я никогда не придерживался столь пессимистического взгляда, как Кардель, и пытался высказать ему свои доводы.

Несколько лет спустя, когда Кардель посетил Москву, на приеме в югославском посольстве я напомнил ему о нашем разговоре на Брионах. Вспомнив с трудом об этом, он утверждал, что во всем прав. (Это был момент обострения советско-китайских отношений во время «культурной революции» в КНР.) Но я продолжал доказывать ему, что войны не будет.

Прошла почти четверть века после того спора на Брионах, и, к счастью, по волновавшему всех вопросу о возможности войны правы оказались мы. Я говорю «мы», потому что я тогда передал Ю. В. наш разговор с Карделем. Он долго молчал, думал, а потом сказал: «Кардель не прав. Не думаю, что может дойти дело до войны. Мы эту войну никогда не начнем. А Китай слишком слаб, чтобы решиться на авантюру, да и никаких серьезных мотивов для войны у него нет».

Андропов, которому впоследствии приписывали экстремизм в китайском вопросе, не верил в возможность серьезного столкновения с Китаем, хотя отвергал его политику подталкивания СССР к конфликту с Соединенными Штатами.

Но вернемся к поездке в Югославию. Итак, резиденция маршала Тито на Брионах — это сравнительно небольшое трехэтажное белое здание с плоской крышей, напоминающее греческие постройки. На небольшой террасе, выложенной мрамором, стояла статуя обнаженной женщины в эротической позе. Во время переговоров нашей делегации с югославами Тито как-то вышел на террасу, где мы находились. Подойдя к фигуре, Тито ласково хлопнул ее по мягкому месту, и статуя медленно и призывно завертелась. «Хороша штучка?» — спросил он у нас. Потом он рассказал, что присмотрел Брионы в качестве будущей резиденции еще тогда, когда партизанил недалеко от этих мест. Мое лицо, по-видимому, выразило какое-то сильное чувство. Меня удивило — о чем думал верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией в период войны. Тито, по-видимому, не так истолковал мой взгляд и сказал: «Да, да, молодой человек. Я ни минуты не сомневался в нашей победе и в том, что именно мне доведется стать во главе страны».

Лежа ночью в пышной постели на антресолях небольшого домика (кажется, охотничьего, где располагались «сопровождающие лица»), я долго ворочался, пережевывая только что услышанную фразу. Что же, действительно существует предопределенность?

Впоследствии я написал книгу о Мао Цзэдуне с тайной мыслью ответить на этот вопрос. Но судьба Тито, наверное, представляла куда более интересный и разительный пример, дающий богатую пищу для размышлений о роли личности в истории.

Кто кого ищет? Человек — историю или история — человека? Этот элементарный, но неясный вопрос неизбежно встает, когда думаешь о тех людях, которые делали или, по крайней мере, полагали, что делают политическую историю нашего века. Особенно поражает то ощущение предначертанности, которое эти люди испытывали сами и потому так успешно внушали окружавшим. Что это — магия личности? Или магия власти? Или массовый гипноз?

Я не находил ответа, хотя встречался со многими, в том числе выдающимися, лидерами современного мира. Древние давали на это однозначный ответ: нужна фортуна и нужна доблесть человека, который использует данный фортуной шанс и возвышается над толпой, запечатляя себя в истории. Ну а мы? Какой ответ даем мы?

Разве появление Ленина было случайным? Разве можно представить себе, что кто-либо другой мог заменить его в качестве вождя революции и основателя нашего государства? Разве кто-то другой мог так точно определить день восстания (24-го — рано; 26-го — поздно; 25-е — вот единственный день, когда партия большевиков могла возглавить захват власти)?

Нет, что бы мы ни говорили, для исторического процесса нужны личности, нужна могучая политическая воля, нужна способность магического воздействия на массы людей. Тогда, и только тогда, обеспечен успех.

На Брионах во время переговоров произошел забавный казус. Мы находились в зале первого этажа. Неожиданно по лестнице спустился обеспокоенный Ю. В. «Прокол, товарищи, сильный прокол! Кто у нас отвечает за печать, кроме тебя, Федор?» — спросил он у меня. Я назвал работника МИД и сообщил, что от наших друзей за это отвечает бывший посол в СССР. «Пригласи всех быстро сюда»,— сказал Ю. В.

Когда мы собрались, он поинтересовался, отправлена ли информация о переговорах, а если отправлена, то как там указан состав участников с советской стороны. Югославский посол сказал, что информация уже отправлена и что состав указан в соответствии с теми, кто на деле принимал участие.

— Указали ли вы в числе участников сына Хрущева? — спросил Ю. В. Получив утвердительный ответ, он попросил исправить информацию. Но оказалось, что уже поздно — она передана по телеграфу и неизбежно попадет в югославские и другие зарубежные газеты.— Надо любой ценой задержать информацию на Советский Союз, чтобы изъять оттуда упоминание о сыне и о помощнике Хрущева,— приказал Ю. В.— Я получил на этот счет самые твердые указания от Первого. Он дважды выходил с переговоров и повторял мне это.

Представитель МИД сказал, что уже передал информацию корреспонденту ТАСС и там были упомянуты не только члены делегаций, но и эти два человека, поскольку они сидели за столом переговоров.

— Это ошибка. Это грубейшая ошибка, непозволительная для работника МИД. Они же не входят в состав делегации! — воскликнул Ю. В.— Немедленно разыщите представителя ТАСС и исправьте ошибку!

И тут начались поиски корреспондента ТАСС. Остров Брионы очень небольшой, его можно объехать на велосипеде за полчаса. И хотя на поиски были отправлены работники разведок двух стран, прошло больше часа, пока тассовец предстал перед глазами начальства. Он был весь в соломе — его с трудом извлекли из стога, где он спал. Я до сих пор помню этого корреспондента: огромного роста, с красным с перепоя лицом, в расхристанной одежде, он стоял, раскачиваясь, перед высоким начальством, не в состоянии взять в толк, что происходит.

— Вы отправили телеграмму о переговорах? — жестко спросил Ю. В.

— Отпра-авил. Как положено. Сразу же отправил, как только получил от него,— тассовец указал на представителя МИД, отчего тот отшатнулся.

— А какой текст вы передали?

— Какой мне дали, тот и передал.

— Какой же состав участников советской стороны вы перечислили? — спросил Ю. В.

— Как — какой, какой есть. Весь состав делегации.

— А две последние фамилии?

— Две последние? Я их вымарал. Они же не входят в состав делегации.

Как тут отлегло у всех от сердца! Холодный и величественный протоколист из МИД, я видел, готов был расцеловать пьяную рожу корреспондента.

Ю. В. тоже облегченно вздохнул, улыбнулся и сказал:
— Ну ладно, идите досыпайте, и чтоб больше это не повторялось!
— А что случилось? — спросил у меня корреспондент, когда мы отошли в сторону.
— Да ничего особенного,— отвечал я ему,— только ты упустил редкую для себя возможность потерять партийный билет.
Корреспондент несколько струхнул, несмотря на свое подогретое состояние, но потом, когда я все рассказал ему, он успокоился и даже повеселел, восхищаясь своей интуицией.
Для Ю. В. не было мелочей. Любая работа, которую он делал, должна была быть безукоризненной, доведенной до конца и по возможности блестящей. Ю. В. не терпел полуфабрикатов, ненавидел небрежность и органически не выносил любое проявление безответственности. В этих случаях он мог быть безжалостным. Не смог — это понятно. Но не постарался — такое он не прощал никогда. И надо сказать, что все вокруг него действительно очень старались, не столько за страх, сколько за совесть. Как говорится, каков поп, таков и приход. За малым исключением Ю. В. подбирал вокруг себя такой «приход», который был способен отвечать высокому уровню его требований.
Еще один любопытный штрих бросился мне в глаза. Югославские руководители пригласили нас в ночной бар. В баре была музыка, и самые молодые из нас танцевали с юной красавицей, женой пожилого посла Югославии в Советском Союзе. Кто-то из югославов стал подтрунивать над послом. Тот ответил шуткой: «У нас в Черногории говорят, что лучше есть молодого цыпленка вдвоем, чем глодать старую курицу в одиночку». В следующем отделении предполагался стриптиз. Ю. В. тут же встал и, сославшись на дела, заявил, что уезжает. Югославы пытались уговорить его, но он был совершенно неумолим, однако разрешил остаться тем из нас, кто пожелает. Ну, я остался и впервые в жизни посмотрел стриптиз, выполненный, кстати говоря, не югославкой, а австриячкой — полноватой, белотелой, большеглазой, в общем, очень красивой женщиной.
Для первого раза это было, конечно, очень пикантное угощение. И когда я встретился на следующее утро с Ю. В., попытался рассказать ему об этом. Однако он твердо перевел разговор на другую тему. Вообще он был пури-

танином, даже по строгим нормам, принятым тогда в партийной среде. Он практически не пил, никто не слышал, чтобы он когда-нибудь сделал комплимент женщине (по крайней мере, на работе). Фильмы с сексуальными сценами он не терпел, хотя, конечно, не навязывал никому своих вкусов. Все знали, что при нем надо держаться строже и ни в какие разговоры вольного характера пускаться не следует. Я сам наблюдал, как ему было нелегко иной раз в присутствии Первого, любившего опрокинуть рюмашку-другую коньяка. К тому же Первый обожал рассказывать двусмысленные анекдоты, любил их слушать от других и охотно прибегал к сочному непечатному слову. Я часто видел, как Ю. В. передергивало от подобного стиля, но — опытный дипломат — он сдерживался и скрывал свои чувства.

Что касается Первого, то ему только дай повод, чтобы похохотать.

Его бородавка около носа — эта мета избранника судьбы, по китайским поверьям,— как будто все время подрагивала от желания посмеяться и вызвать смех у других. Помнится, на обратном пути с острова Брионы мы как-то обедали в кают-компании принадлежащего Тито парусника. Парусник, да еще с мотором, на почти плоской глади теплого Адриатического моря — все это настраивало Первого на праздничный лад. Он непрерывно шутил за обедом и хохотал раньше других, будучи не в силах сдержаться. Справа от него сидел Тито в белоснежной адмиральской форме и тоже вежливо посмеивался. Тут на десерт подали апельсины. Увлеченный своим очередным рассказом, Первый даже не заметил изящного ножика, который положили рядом, и стал разламывать апельсин руками, продолжая при этом азартно рассказывать какую-то смачную историю. Но вот капельки раздавленного апельсина разбрызгались в разные стороны. Несколько капель, к несчастью, упали на адмиральский китель президента. Как быть? И китель жалко, и Первого обидеть нельзя. Тогда Тито незаметно вытащил платочек и стал легкими движениями вытирать свой белоснежный китель...

Вообще в Хрущеве было много детского. Я наблюдал, как, например, во время послеобеденных прогулок в парке он держал на груди маленький приемничек, подаренный ему где-то, кажется в Америке. Говорят, что руководители нашего радио и телевидения передавали в это время специально для него деревенские мелодии, которые любил Первый.

Это радостное изумление перед современной техникой мне приходилось не раз наблюдать на лице Первого. Военные рассказывали, какой восторг у него вызывали новые боевые «игрушки»...

Не таков был Ю. В. Еще с юности, матросом, он привык иметь дело с техникой и уделял ей то внимание, которого она заслуживала. Кроме того, он поглощал гигантскую информацию о техническом и военном прогрессе и постоянно следил за новинками, особенно зарубежными. Что же касается технических «игрушек», он проявлял к ним полное равнодушие. Все в отделе знали, что он и его семья отличались поразительной скромностью — никто из его детей не разъезжал в «фордах» или «мерседесах», не гонялся за заграничными магнитофонами, телевизорами и джинсами. На вкус многих в нашем окружении такой пуританизм был даже чрезмерным, но у всех он вызывал глубокое уважение. Мы-то знали и другие факты, которые касались детей Сталина, да и последующих руководителей. Я думал: «Поистине дети — это отмщение политическим лидерам». Тогда я еще не мог знать, до какой степени пророческой оказалась эта догадка...

Если албанская поездка показывала, как опасно любое проявление нетерпимости и амбициозности в отношениях руководителей разных стран, то югославская, напротив, обнаружила, сколь многого можно добиться, проявляя необходимую широту подхода, понимание разнообразия исторических условий, несходства характеров и индивидуальных человеческих судеб. «Культура — это терпимость»,— сказал кто-то. Это абсолютно точно, если, конечно, не жертвовать нравственными принципами, составляющими основу твоей личности и общества, к которому ты принадлежишь.

Глава седьмая

РЕФОРМАТОР

1

В начале 1960 года я был надолго откомандирован в группу подготовки проекта Программы партии, в распоряжение руководителя этой группы, в ту пору заведующего Международным отделом ЦК Б. Н. Пономарева.

Я и раньше встречался с руководителем рабочей группы по разным поводам, хотя и редко. А тут мне представилась возможность больше года видеть его каждый день. Все члены группы вместе с ним участвовали в обсуждениях, редактировании и других видах работ. Сотрудник Коминтерна, начальник Совинформбюро при Совете Министров СССР, заместитель, а потом заведующий Международным отделом, руководитель авторского коллектива учебника истории КПСС, он вызывал чувство почтения у окружающих. Говорил Пономарев неторопливо, взвешивая каждое слово, работал над текстом основательно, оставляя на полях свои замечания, написанные большими острыми буквами. Любил гулять с нами в окрестностях нашей резиденции в «Соснах» — лучшем месте, которое я встречал в Подмосковье. «Сосны» представляют собой расположенный в уникальной сосновой роще санаторий, филиал которого — небольшой двухэтажный домик с балкончиками и террасами — занимала наша группа. Гуляя вдоль Москвы-реки, Борис Николаевич обычно рассказывал интересные истории о годах работы в Коминтерне. Видимо, для него в ту пору это было самое дорогое воспоминание.

Самой колоритной фигурой в нашем коллективе был Елизар Ильич Кусков, который работал тогда консультантом в соседнем отделе. Несмотря на свой вид типичного деревенского мужика, да еще из старой дореволюционной

России, на массивное, почти квадратное лицо с крупным мясистым носом, раздвоенной заячьей губой и большими редкими зубами, несмотря на свое незаконченное высшее образование, он с полным на то основанием выступал в роли не только организационного, но и интеллектуального центра. Это был природный русский ум — основательный и неторопливый, смекалистый и хитроватый, бесконечно доброжелательный и склонный к подначке. Это была какая-то народная глыба, не обтесанная цивилизацией, но цивилизованная по самой своей природе. Я не встречал человека большей доброты и отзывчивости. Никто из нас не умел тоньше чувствовать политическое слово. И никто не знал более веселых и пакостных деревенских частушек, чем Елизар. Ну и, конечно, что там говорить, не дурак был выпить. И эта слабость в конце концов загнала его в гроб намного раньше положенного срока. По стечению обстоятельств я не попал на его похороны и до сих пор казню себя, потому что были мы с ним, несмотря на противоположность наших натур и воспитания, самыми близкими друзьями, «незаконно» перебрасывая мостик между двумя отделами, немного конкурировавшими между собой.

Елизар был начальником штаба, он регулировал весь процесс подготовки документа, бесконечные передвижения участников, непрерывно курсировавших на новеньких черных «Волгах» между Москвой и «Соснами». Он назначал заседания, поддерживал связь с руководителем группы, а при случае пользовался выходом и в более высокие сферы. Кроме Елизара работал там еще постоянно уже знакомый читателю Беляков. Он выступал в обычной своей роли: хорошо и много говорил и отличался редкой способностью подмечать алогизмы и огрехи в любом тексте. Я в ту пору уже несколько поостыл к Белякову, сосредоточив свои чувства на Елизаре, который восхищал своей полной непохожестью на сложившиеся у меня представления о теоретике и пропагандисте и вообще размышляющем и пишущем человеке. Вовсе не надо кончать университетов, быть кандидатом или доктором наук, думалось мне, чтобы глубоко мыслить и хорошо писать,— поистине природный ум и интуиция стоят большего.

А ученых мужей там пребывало немало, и польза от них была относительная...

Мне было поручено работать над разделом о государстве. Задача состояла в том, чтобы обосновать переход от государства диктатуры пролетариата к государству обще-

народному и сделать отсюда необходимые выводы для развития партийной и советской демократии. Эта задача, в общем, была нетрудной для меня, поскольку в ту пору уже вышел в свет учебник «Основы марксизма-ленинизма», в котором содержалась вся необходимая аргументация. Кроме того, в моем распоряжении была Записка, подготовленная в свое время под руководством О. В. Куусинена. А затем Елизар, хитроумный, как лис, «перебросил» меня в другой раздел — о развитии стран социалистического содружества, потом приобщил к процессу общего редактирования всего международного раздела. Я должен был отразить в разделе о социалистическом лагере наши позиции, зафиксированные в Заявлении, и в то же время не включать формулировки, которые другие страны могли бы расценить как диктат «старшего брата».

Но тут я столкнулся с человеком, который был настроен совсем иначе. Владимира Владимировича Красильщикова я впервые встретил лет за десять до этого в одной компании научных работников и журналистов. Мы сидели в разных концах стола, и оба очень скучали, пока он не обронил какую-то цитату из «Золотого теленка». Я продолжил эту цитату, и между нами началась игра, которой хватило на весь вечер. Мы прошлись не только по «Золотому теленку» и «Двенадцати стульям», но также прихватили фельетоны и записные книжки Ильфа и развлекались, страшно довольные друг другом, не считаясь с протестами других гостей. Вышли мы оттуда, конечно, вместе, крепко подружившимися. Когда я встретил Красильщикова много лет спустя у нас в отделе, а потом в «Соснах», мы легко восстановили дружеские отношения.

Но очень скоро я убедился, что Красильщиков представляет собой совершенно исключительный феномен человека, сочетающего в себе глубокую, природную интеллигентность с махровым консерватизмом, умноженным на непробиваемое упрямство. Он глубоко и искренне любил Сталина и особенно ценил его роль в формировании социалистического лагеря. В подготовленном первом варианте раздела о социалистической системе две трети занимала критика Союза коммунистов Югославии, который незадолго до этого выступил со своей программой. Остальная треть была написана так коряво и беспомощно, что тоже совершенно не годилась.

Будучи в большом затруднении, я отправился к нашему Елизару, и он мне сказал: «Ты не обращай внимания на то, что он начирикал, пиши себе свой текст спокойно,

а мы посмотрим». Я сделал набросок и пошел к Красильщикову, чтобы попытаться, по ходовому выражению того же Елизара, «поженить» наши два текста. Красильщиков впал в неистовое негодование, близкое к состоянию шока. Он дрался за каждую строку, отстаивая каждую запятую в своем материале, как будто это было священное писание. Как тут быть? Я снова обратился к Елизару, и тот, прихватив с собой бутылку белой, решил примирить стороны. Но не тут-то было. Красильщиков грубо отверг совместную выпивку, хотя до этого аккуратнейшим образом пил со всеми на равных, и, возбудившись до крайнего предела, громовым голосом потребовал, чтобы мы покинули его комнату. Видавший всякие виды, Елизар развел руками и сказал с юмором: «Нас здесь не понимают, Федор, пойдем-ка мы в другое место». Красильщиков на следующее утро уехал и больше не появлялся в нашем коллективе. Это был единственный инцидент такого рода, хотя, конечно, все мы испытывали на себе давление нервного пресса: материалы многократно переписывались, передактировались, установки, приходившие сверху, часто бывали неопределенными, отражавшими к тому же глухую подспудную борьбу вокруг острых проблем развития страны.

Впоследствии Красильщиков сыграл большую роль в событиях в Чехословакии в 1968 году. Работая в нашем посольстве в этой стране, он больше других настаивал на вводе советских войск и «сокрушении ревизионистов». По странному совпадению в это время чехословацкими делами занимался и Суетухин, специалист по хозяйственным вопросам, который не знал ни языка, ни страны. Они вдвоем, объединившись, давали однозначную информацию о чешских событиях руководству и выступали против политического решения проблемы.

Самой экзотической фигурой среди приезжавших в «Сосны» был, пожалуй, известный уже нам Александр Иванович Соболев. К этому времени он перешел из журнала «Коммунист» на работу в международный журнал «Проблемы мира и социализма», издававшийся в Праге. Соболев отличался удивительно острым деструктивным умом: ему ничего не стоило разрушить любой текст, отыскать в нем противоречия, неточности, неясности. Но вот конструктивная работа давалась ему с большим трудом. В каждый свой заезд он пытался опрокинуть все построенное здание, доказывая, что текст должен быть целиком переписан.

— Так уж целиком? — не без ехидства спрашивал Елизар.— А в каком направлении?

— Вот это как раз и должно стать предметом серьезной дискуссии,— ответствовал Соболев.

Он вообще демонстрировал повадки инфанта, которому все позволено: бегал голышом под дождем вокруг дома, пытался ворваться в спальню машинисток ночью, да еще без всякого предупреждения, уходил, ни слова не говоря, с заседаний. Что до проекта Программы, то он исчеркивал его вдоль и поперек. Борис Николаевич питал к нему какую-то непонятную слабость, твердо веря в его незаурядные теоретические способности, и требовал, чтобы прислушивались к его замечаниям. Кусков не любил эти наезды Соболева, потому что после них в сознании руководства оставалось ощущение, что материал еще очень сырой, недоделанный, что работа идет кое-как и надо срочно подтягивать дисциплину. К счастью для нас, Соболев снова надолго исчезал, оставляя после себя гору разрушений и разочарований.

Антиподом Соболева выступал академик П. Н. Федосеев. Его нередко приглашали на этапе общей проходки, перед тем как в очередной раз вручать текст руководителю рабочей группы. Он привносил во все чувство стабильности, хотя практически любой текст стремился упростить, выпрямить, привести в соответствие с уже принятыми документами, убрать острые углы или какие-то формулировки, забегающие то ли в сторону, то ли вперед. У него был зоркий взгляд на такие вещи, и проскочить через это сито было очень нелегко.

Петр Николаевич иной раз привозил с собой двух-трех философов для вставок, иными словами, отдельных предложений в соответствии с их профессиональной ориентацией. Один из таких философов, армянин по национальности, женатый на русской, замучил нас вставками по поводу развития национальных отношений в стране путем поощрения межнациональных браков. Ему представлялось это главным средством сближения или даже слияния наций. Он настойчиво пытался пропихнуть за общим редакционным столом свои вставки и изрядно надоел всем, даже уравновешенному и спокойному Петру Николаевичу. Тот как-то попросил меня взять предлагаемые страницы и, отредактировав их, вернуть за общий стол. А я, вместо того чтобы заниматься текстом, который считал совершенно непригодным, решил ограничиться шуткой и к сакраментальной формулировке автора «лучшим путем

для сближения наций является развитие брачных отношений» добавил: «и иных форм половых отношений между представителями различных наций». Когда эта формула была зачитана за общим столом, она вызвала гомерический хохот, и Петр Николаевич, невзирая на горячие протесты, выбросил весь текст целиком без всякой жалости.

Я рассказываю об этих частностях, чтобы показать, что обстановка была самая непринужденная и в общем-то очень творческая. Никому не приходило в голову обвинять друг друга в каких-то уклонениях или «измах», что еще совсем недавно практиковалось в теоретической работе. Но главные проблемы были, конечно, связаны с содержанием Программы, ее новыми идеями, выводами, формулировками.

Одно из центральных мест при подготовке проекта Программы партии занимал вопрос о мирном сосуществовании, дружественных отношениях и сотрудничестве со всеми государствами и народами. Здесь должна была найти отражение новая стратегия, вырабатываемая странами социализма в их взаимоотношениях с Западом,— ориентация на длительное мирное экономическое соревнование, в ходе которого выявятся все преимущества социализма. Само по себе именно это должно стать примером для рабочего и демократического движения во всем мире. Речь шла и о том, чтобы сделать выводы из новой ситуации, созданной термоядерным оружием: о новом характере войны и ее катастрофических последствиях для всех народов и государств, о мире как единственной альтернативе взаимному уничтожению, о прекращении «холодной войны» и конфронтации, о радикальном улучшении всего международного климата.

Подобный подход вызывал сильное сопротивление в нашей научной среде, представители которой полагали, что это противоречит установкам на мировую революцию. В подготовленных ими записках, а также статьях сторонники такой позиции жонглировали цитатами из произведений Ленина, написанных в годы революции и гражданской войны, совершенно игнорируя его абсолютно четкие и недвусмысленные указания и идеи 20-х годов, когда страна вступила в пору мирного строительства и стала налаживать дипломатические, экономические и иные отношения с капиталистическими государствами.

Парадоксально, но понадобилась целая историческая эпоха, чтобы эти ленинские идеи в очищенном от наслое-

ний виде, конкретизированные и развитые применительно к современности, нашли отражение в программных документах партии.

Немало дискуссий вызывал вопрос о формах перехода к социализму в капиталистическом мире. Собственно, если говорить точнее, о возможности мирного, ненасильственного перехода с использованием парламента. Этот вопрос, как известно, ставился еще Лениным, а в наше время впервые был широко и аргументированно изложен в программном документе английских коммунистов «Путь Британии к социализму», в редактировании которого по их просьбе принимал участие Сталин. Потом эта проблема формулировалась в документах французской, итальянской и многих других западноевропейских партий. В таком виде она вошла в документы КПСС, потому что, естественно, в этом вопросе мы должны были ориентироваться прежде всего на мнения компартий капиталистических стран.

Помню, находились мы как-то в теплый летний день на террасе второго этажа нашего маленького домика. Анушаван Агафонович Арзуманян, в ту пору директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР — человек небольшого (сталинского) роста с прелестным цветом лица, теплыми навыкате глазами и с вечной доброжелательной улыбкой, сидел на окне, помахивая своими маленькими ножками. Он рассуждал вслух:

— Ты, Федор, счастливый: ты доживешь до того времени, когда социализм победит во всей Европе.

— И когда же это произойдет по вашему предположению, Анушаван Агафонович? — спрашивал я не без ехидства.

— Не позднее, чем через пятнадцать — двадцать лет.

— А каким путем? Революции, что ли, произойдут в странах Западной Европы, или социалисты и коммунисты объединятся в парламентах, или еще как-нибудь?

— Я не знаю, каким путем,— отвечал маленький человек.— Но твердо знаю, что социализм — дело одного-двух десятилетий.

Арзуманян говорил так уверенно, как будто бы он владел какой-то тайной, неведомой всем нам. Он был родственником Микояна, но я не знаю, в какой степени выражал настроения и взгляды последнего. Сам Арзуманян, несмотря на то что подвергался гонениям в конце 30-х годов и, кажется, какое-то время сидел в тюрьме, сохранил

совершенно детскую веру в грядущее и недалекое торжество коммунизма на всем земном шаре. Откуда шла эта вера у представителей старшего поколения? Были они как будто бы нормальными людьми, часто ездили за границу, не могли не видеть разницу в техническом развитии, уровне и образе жизни двух систем. Тем не менее заряд бодрости, полученный ими где-то в 20-х годах, насквозь пронизывал все их существо. Мой скептицизм казался им результатом недостаточной зрелости, а зрелость приходила, по их мнению, не столько на основе изучения какого-то практического опыта, сколько из добросовестного перечитывания трудов Маркса и других классиков. Арзуманяну, как впоследствии увидит читатель, довелось сыграть некоторую роль во время заговора и освобождения от работы Хрущева.

И конечно, вопрос о гарантиях против повторения культа лучности и о его отрицательных последствиях занял большое место при подготовке Программы партии. В частности, уже тогда начался процесс обновления советского законодательства, всех кодексов и основных законов, а также подготовки новой Конституции СССР. Этот вопрос оставался актуальным для многих компартий социалистических стран, а для некоторых не только актуальным, но и чрезвычайно болезненным. В Китае, Албании и некоторых других странах любую критику культа личности рассматривали как прямой выпад против порядка в своих партиях и странах и даже как покушение на авторитет и роль тех или иных лидеров. Да и среди наших теоретических кадров и политических деятелей этот вопрос вызывал немало споров, нередко чрезвычайно ожесточенных. Поэтому на протяжении работы над материалами Программы мы выслушали множество самых противоположных и разнообразных рекомендаций. В конечном счете восторжествовала точка зрения, которую не раз в личных беседах высказывал Ю. В. Он говорил, что нет проблемы, способной в большей мере расколоть коммунистическое движение, чем вопрос о Сталине, поэтому рекомендовал ограничиться краткими формулировками, взятыми почти дословно из известного постановления «О преодолении культа личности и его последствий». После длительного перетягивания каната восторжествовала именно эта позиция.

Один из практических выводов из опыта прошлого был связан с более последовательным осуществлением принципа сменяемости кадров. Этот тезис, если мне не изменя-

ет память, вызвал бурные споры. Идея ротации кадров, которая исходила непосредственно от Хрущева, претерпела ряд видоизменений. Было проработано не менее десяти вариантов формулировок, которые дали бы ей адекватное воплощение. Первый хотел создать какие-то гарантии против чрезмерного сосредоточения власти в одних руках, засиживания руководителей и старения кадров на всех уровнях. В отношении первичной организации это не вызвало особых споров. Но относительно ротации в верхних эшелонах мнения разошлись кардинальным образом. В этом пункте даже Хрущеву с его авторитетом, упорством и настойчивостью пришлось отступить.

В первоначальном проекте фиксировались принципы, согласно которым можно находиться в составе высшего руководства не больше двух сроков. Это вызвало бурные протесты более молодой части руководителей. Им казалось крайне несправедливым, что представители старшего поколения, которые уже насиделись, пытаются ограничить их возможности и активность. В следующем проекте два срока были заменены на три, но и эта формулировка была отвергнута. В окончательном тексте весь замысел — создать совершенно новую процедуру сменяемости кадров — оказался препарированным до неузнаваемости. А то, что осталось, относилось почти исключительно к низовым структурам и вскоре выявило свою практическую непригодность. Трудно сказать, с чем была связана эта неудача. То ли с тем, что не были найдены наиболее разумные и приемлемые формы ротации кадров, или с сопротивлением заинтересованных людей, но остается фактом, что идеи, направленные против чрезмерной концентрации власти в одних руках, воплотить в программном документе не удалось.

Самые большие споры вызвало предложение включить в Программу цифровые материалы об экономическом развитии страны и ходе экономического соревнования на мировой арене. С этим предложением на одно из заседаний приехал крупный хозяйственник А. Ф. Засядько. Насколько я припоминаю, члены рабочей группы — экономисты и не экономисты, в том числе и я,— решительно выступили против этого предложения. Доклад, который сделал Засядько в рамках рабочей группы, показался нашему руководителю и всем нам легкомысленным и ненаучным. Выкладки о темпах развития нашей экономики и экономики США фактически были взяты с потолка: они выражали желаемое, а не действительное.

Однако сам Засядько легко положил конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу книжки в синем переплете с машинописным текстом примерно на восьмидесяти страницах и показал надпись: «Включить в Программу» — и знакомую подпись Первого. Так в Программу партии, вопреки мнению подавляющего большинства участников — и не только в рамках рабочей группы, но и на политическом уровне,— были включены цифровые выкладки о том, как мы в 80-х годах догоним и перегоним Соединенные Штаты. Порывы были высокие, но, как говорилось в аппарате, кроме амбиций нужна еще и амуниция.

Правда, надежды на ускоренное экономическое развитие связывались с осуществлением хозяйственной и управленческой реформ, которые не состоялись. Кроме того, в ту пору даже крупные специалисты-экономисты не могли по-настоящему предвидеть бурного развития научно-технической революции.

Надо, впрочем, попытаться представить себе и общий дух того времени. Хотя мало кто верил в цифры Засядько, но энтузиазмом и оптимизмом были охвачены все. И базировались эти чувства вовсе не на пустом месте: мы были убеждены, что принимаемая Программа открывает этап крупных структурных преобразований и сдвигов, иначе зачем надо было бы принимать и утверждать новую Программу?

На самом деле замысел состоял в том, чтобы найти формы, средства, методы, механизмы для того, чтобы достичь нового индустриального уровня и догнать ушедшие вперед более индустриально развитые страны, чтобы коренным образом улучшить сельское хозяйство и обеспечить население продуктами питания и высококачественными товарами, создать уровень жизни, достойный нашего многострадального народа.

К тому времени сколько-нибудь мыслящим теоретическим работникам стало ясно, что достигнуть этого невозможно посредством простого наращивания количественных изменений — больше газа, стали, угля, нефти, электроэнергии, машин, одежды. Такое развитие не сулило никаких качественных перемен и обрекало страну на прогрессирующее отставание в области новой техники и технологии. Нет, речь шла об изменении структуры производства и управления.

К несчастью, Первый был окружен советниками, которые сводили на нет многие разумные, назревшие преобра-

зования или заменяли их чисто организационными решениями, нередко невзвешенными, непроверенными, непродуманными.

Поэтому система новых экономических взаимоотношений так и не была определена. Все было сделано наспех, при большом сопротивлении многих работников хозяйственного аппарата, не понимавших целей этих преобразований, необходимости ломки традиций и озабоченных переменами в своей судьбе, поскольку им нередко приходилось оставлять насиженные кабинеты в Москве и отправляться в отдаленные районы. Еще хуже обстояло дело с преобразованиями в области государственного управления и структуры партийного руководства.

У нас говорили о слабости, присущей Первому: «Он привык ходить в стоптанных тапочках». Такая слава шла за ним, когда он еще работал на Украине, потом в Москве. Это значит, что Хрущев предпочитал работать с тем аппаратом, который доставался ему от предшественников, и редко менял людей в своем окружении. И поэтому он часто оказывался в плену исходящей от них информации, а также их предложений и рекомендаций. Насыщенный до предела жаждой преобразований, как взрывчаткой, он, однако, нередко становился жертвой своей собственной невысокой культуры и в особенности некомпетентности или предрассудков непосредственно окружавших его лиц.

Неспособность Хрущева разбираться в кадрах была замечена уже в период его работы в Киеве, а затем и в Москве. Он был всегда склонен скорее полагаться на льстецов, чем на подлинных сторонников его реформаторских преобразований. Поэтому окружал себя такими людьми, как, например, Н. Подгорный, которые в рот ему глядели и готовы были взяться за любое его поручение. Поэтому же ему мало импонировали самостоятельные, крупные личности, независимые характеры. Хрущев был слишком уверен в себе, чтобы искать опору в других. И это стало одной из причин его падения. Люди, которые в глубине души не разделяли его реформаторских взглядов, считали их проявлением некомпетентности или даже чудачеством, при первом же удобном случае избавились от него...

Правда, одно время Хрущев тянулся к более интеллигентным кадрам в партийном аппарате. Достаточно напомнить его отношение к Д. Т. Шепилову, которого он выдвинул на посты секретаря ЦК, министра иностранных

дел. Однако поведение Шепилова в ходе июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС навсегда отвратило Хрущева от «интеллигентиков».

Образовавшаяся при Хрущеве пресловутая пресс-группа оказывала огромное влияние на принимаемые решения и часто толкала его из одной крайности в другую, используя его эмоциональность, торопливость и вспыльчивость. Ю. В. прекрасно знал обо всем этом. Он не стремился ни войти в эту пресс-группу, ни включить в нее кого-нибудь из своих сотрудников. Он имел самостоятельные «выходы» на Первого и предпочитал подготовляемые нами документы передавать непосредственно ему или другим членам высшего руководства.

Кроме работы над проектом Программы на группу была еще возложена подготовка доклада о ней на съезде партии. Вначале предполагалось, что не будет самостоятельного доклада, а вопрос о Программе займет свое место в Отчетном докладе. Потом была спущена другая установка, хотя времени до съезда оставалось немного, и группа лихорадочно занялась проектом нового доклада. В этом участвовала значительная часть группы, но на последнем этапе оставили только двоих — Елизара и меня. Перед нами поставили задачу оживить текст, придать ему более разговорную форму и дополнить сугубо теоретическое изложение какими-то яркими политическими и даже литературными отступлениями. Помню, как мы с Елизаром сидели в жаркие летние дни в беседке возле нашей резиденции и наперебой, соревнуясь, диктовали стенографистке.

Завершающий этап работы над Программой партии наступил уже во время XXII съезда КПСС. Обсуждение проекта в партийных организациях, в печати и на самом съезде потребовало внесения не менее двадцати редакционных и принципиальных поправок. К сожалению, однако, не были учтены пожелания, высказанные в некоторых письмах, о том, чтобы изъять из Программы цифровой материал об экономическом соревновании двух мировых систем. Поколебать позицию докладчика в этом вопросе не удалось. Тем не менее новая Программа КПСС была встречена с энтузиазмом во всей партии и в народе, с надеждой и верой в то, что в короткие исторические сроки удастся добиться крупнейших результатов в экономическом и социальном развитии страны, радикально поднять уровень народного благосостояния. В этом были уверены, кажется, все.

2

Пожалуй, именно в хрущевскую пору сложилась эта странная традиция: считать, что авторитет лидера определяется количеством произносимых им слов. При Ленине такого быть не могло, поскольку наряду с ним с докладами, замечаниями, статьями, а нередко и с книгами постоянно выступали и другие члены руководства. Что касается Сталина, то он предпочитал выступать редко и весомо, в соответствии с известной ремаркой из «Бориса Годунова»: глас царский должен вещать либо великий праздник, либо бедствие народа.

Хрущев вообще был большой любитель поговорить и даже поболтать. Неоднократно мне приходилось присутствовать при его встречах с зарубежными лидерами, во время которых он буквально не давал никому вымолвить слова. Воспоминания, шутки, политические замечания, зарисовки тех или иных деятелей, нередко проницательные и острые, анекдоты, подчас довольно вульгарные,— все это создавало, как говорят сейчас, «имидж» человека непосредственного, живого, раскованного, не очень серьезно и ответственно относящегося к своему слову. Прошло почти тридцать лет, и до сих пор мне приходилось слышать о его неловкой шутке в США: «У нас с вами только один спор — по земельному вопросу, кто кого закопает». Точно так же и в Китае все еще вспоминают, как он, разбушевавшись в одной из бесед с китайским представителем, кричал о том, что направит «гроб с телом Сталина прямо в Пекин». На XXII съезде все его участники, как и вся партия и народ, стали свидетелями странного зрелища. Хрущев вначале зачитал четырехчасовой Отчетный доклад, а затем, после перерыва, снова взобрался на трибуну и еще часа три зачитывал проект Программы партии...

На XXII съезде КПСС (1961 г.) по инициативе и под огромным давлением Хрущева был сделан следующий крупный шаг в критике сталинизма, в разоблачении и осуждении культа личности Сталина. Как известно, Хрущев добился решения президиума ЦК КПСС, чтобы каждый член руководства выступил по этому вопросу. И даже М. А. Суслов вынужден был сделать это. Можно отметить ряд направлений, по которым произошло дальнейшее продвижение вперед в анализе сталинского режима.

Прежде всего, была полностью раскрыта роль группировки, сплотившейся вокруг Сталина после смерти Ленина, в которую входили Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, а впоследствии Маленков, Берия и другие. Тем самым был вскрыт и показан механизм внутрипартийной борьбы. В условиях формального запрета фракций и объединений в партии стали возникать группировки, боровшиеся за власть и влияние. И та группировка, которая объединилась вокруг Сталина и которую поддерживала новая партийная бюрократия, не могла не взять верх. Хрущев рассказал о том, как сопротивлялись члены этой группировки разоблачению культа личности на XX съезде, как они противостояли реабилитации невинно осужденных и казненных людей, как они стремились посредством очередного дворцового заговора повернуть дело вспять к неосталинизму.

Когда на Президиуме ЦК обсуждался вопрос о реабилитации Тухачевского, Якира, Уборевича, Хрущев спросил Молотова, Кагановича и Ворошилова:

— Вы за то, чтобы их реабилитировать?

— Да, мы за это,— ответили они.

— Но вы же и казнили этих людей,— сказал Хрущев с возмущением.— Так когда же вы действовали по совести: тогда или сейчас? *

Но они не дали ответа на этот вопрос.

Затем было принято решение о выносе тела Сталина из Мавзолея и об увековечении памяти видных деятелей партии и государства, ставших жертвами необоснованных репрессий в период культа личности.

И наконец, Хрущев впервые поставил вопрос о том, как относиться к инакомыслящим в партии, поставил, правда, довольно робко и не очень отчетливо. Он говорил в Заключительном слове на съезде:

— Возможно ли появление различных мнений внутри партии в отдельные периоды ее деятельности, особенно на переломных этапах? Возможно. Как же быть с теми, кто высказывает свое, отличное от других мнение? Мы стоим за то, чтобы в таких случаях применялись не репрессии, а ленинские методы убеждения и разъяснения **.

Он снова сослался на пример отношения Ленина к Зиновьеву и Каменеву после их известного выступления против вооруженного восстания в октябре 1917 года.

* XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3 т. М., 1962. Т. 2. С. 586.

** Там же. С. 582.

В годы, последующие за смертью Ленина, подчеркивал Хрущев, ленинские нормы партийной жизни были грубо извращены в обстановке культа личности Сталина. Сталин возвел в норму ограничение внутрипартийной и советской демократии. Он бесцеремонно попирал ленинский принцип коллективного руководства, допускал произвол и злоупотребление властью.

Сама постановка вопроса об инакомыслии в партии представляла собой крупный шаг вперед в конкретных условиях партийной жизни в послесталинский период. Но нельзя не видеть и всей ущербности подхода Хрущева к этому вопросу. В сущности, он сводил дело больше к терпимости, лояльности, мягкости к людям, которые выступают в тот или иной период со своим, отличным мнением. В конечном счете такие люди должны подчиниться мнению большинства и под влиянием критики исправить свои взгляды. Но ведь точно так же ставился вопрос в борьбе против Троцкого, затем Каменева, Зиновьева, Бухарина. Именно в ту пору сложилась практика, при которой от «уклониста» требовали саморазоблачения и осуждения своих взглядов. Это считалось главным условием не только сохранения за ними тех или иных постов, но и самого их пребывания в партии. И в конечном счете еще до разгула репрессий «уклонисты» один за другим становились на колени, били поклоны, бичевали свои ошибки, обещали исправиться. Так поступали почти все. Бухарин под жестоким прессом внутрипартийной критики и наказаний многократно выступал с покаянными заявлениями.

Хрущев как будто даже не допускал мысли, что меньшинство может оказаться правым и большинству придется признать свою неправоту. И безусловно, ему не приходило в голову, что может быть разнообразие и столкновение различных мнений, предложений, альтернатив, касающихся существенных вопросов внутренней и внешней политики. Поэтому, хотя по инициативе Хрущева был нанесен могучий удар по режиму тиранической власти и связанных с ним массовых репрессий, идеологическая основа авторитарного режима, по сути дела, затронута не была.

Хрущев считал естественным и нормальным, что небольшая группа руководителей, прежде всего Первый секретарь ЦК партии, располагает монополией для решений всех вопросов жизни общества. Он и они в конечном счете решают, как распределять финансовые ресурсы, в каком направлении развивать колхозы, совхозы, заводы, фабрики,

как и кому присуждать Государственные премии, награды в области литературы, изобразительного творчества, театрального дела, науки. Хрущев даже не задумывался над тем, почему это право принадлежит ему лично и еще десятку других людей, которые его окружают и которых он сам подобрал. В силу каких природных качеств самих руководителей, в силу мандата — от кого, от партии, от народа? И как такой режим сказывается на жизни народа? В голове Хрущева и всего прежнего поколения руководителей сидела традиционная модель патриархального крестьянского двора. Есть патриарх, то есть старейшина либо семьи, либо рода, никем не избираемый. Он имеет право распоряжаться судьбами каждого члена семьи или рода, мотивируя это защитой каких-то общих интересов. Это типичное проявление авторитарно-патриархальной политической культуры, по-видимому, так и не было преодолено ее самым демократичным и, быть может, самым свободомыслящим представителем — Хрущевым.

Патернализм, вмешательство в любые дела и отношения, непогрешимость патриарха, нетерпимость к другим мнениям — все это составляло типичный набор вековых представлений о власти в России.

Проблема гарантий против режима личной власти натолкнулась на непреодолимое препятствие — ограниченность политической культуры самого Хрущева и тогдашней генерации руководителей. В этом отношении показательны события, последовавшие за июньским Пленумом 1957 года. Я уже отмечал, что выдающуюся роль в разгроме сталинистов сыграл маршал Г. К. Жуков. Как рассказывали тогда, во время заседания Президиума ЦК КПСС, когда в результате голосования было принято решение об освобождении Хрущева с поста Первого секретаря, Жуков бросил историческую фразу: «Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». Эта фраза в конечном счете стоила ему политической карьеры.

Вскоре после июньского Пленума Хрущев добился освобождения Жукова с постов члена Президиума ЦК КПСС и министра обороны СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе — в момент, когда маршал находился в зарубежной командировке. Ему не было предоставлено минимальной возможности объясниться, точно так же, как не было дано необходимого разъяснения партии и народу о причинах изгнания с политической арены самого выдающегося полководца Великой Оте-

чественной войны. И причина изгнания была опять-таки традиционная — страх перед сильным человеком...

Хрущев мечтал изменить облик нашей политической системы. Облик, но не самую систему. По его поручению мне довелось вместе с работниками Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС возглавлять рабочую группу по подготовке проекта новой Конституции СССР. Мы собрали специалистов и в итоге направили записку с принципиальными предложениями Хрущеву. Среди них были идеи стабильного работающего Верховного Совета СССР — их Хрущев одобрил. Но по поводу идеи введения института президента, избираемого всем народом, он, как нам передали, сказал с присущим ему юмором: «Тут какие-то мальчики хотят снять меня с поста Председателя Совмина, но это надо еще посмотреть».

Уже в период перестройки я вернулся к идеям той поры. Накануне XIX партконференции в статье «Советский парламентаризм» (Литературная газета. 1988. № 24) были внесены предложения о прямых выборах всем народом советского парламента, президента, о создании конституционного суда, включении в новую Конституцию «Декларации прав человека». Так хрущевское время проникало в ткань новой эпохи.

3

В 1963 году состоялась моя первая встреча с М. А. Сусловым. Во время работы в отделе я многократно слышал от Ю. В. о тех замечаниях, которые высказывал Суслов по поводу готовящихся материалов. И были они, эти замечания, очень последовательны, что быстро сформировало в моем сознании довольно четкое представление о Михаиле Андреевиче. Скажем, пишем мы в документе о возможности мирного перехода к социализму в других странах, а он указывает: мол, надо сказать также о вооруженном восстании; пишем о том, что нет фатальной неизбежности мировой войны, а он отмечает: мол, надо сказать, что нет и фатальности мира; подчеркиваем значение демократии, а он рекомендует упомянуть о дисциплине; отмечаем ошибки периода культа личности, а он советует подчеркнуть, что периода такого не было, поскольку партия всегда стояла на ленинских позициях; намекаем на то, что не все было благополучно во время коллективизации, а от

него исходит: надо-де отметить историческое значение великого перелома. В общем, стоял он на страже всестороннего подхода, чтобы, так сказать, не выплеснуть ребенка вместе с водой, хотя бы ребеночек тот был весь в сталинских пятнышках.

Особенно нашу группу консультантов распотешило его замечание по такому поводу, как писать: марксизм-ленинизм и пролетарский интернационализм либо марксизм-ленинизм тире пролетарский интернационализм? Каждый раз, когда мы писали «и», Михаил Андреевич аккуратным тоненьким почерком вычеркивал «и» и ставил тире, поскольку нельзя-де противопоставить одно другому: марксизм-ленинизм это и есть пролетарский интернационализм. Надо сказать, что наш отдел проявил некоторое упорство в этом вопросе. Продолжал вставлять неположенное «и», в то время как братский международный отдел целиком принимал формулу Суслова и послушно вставлял, куда надобно, тирешку.

В соавторстве с А. С. Беляковым мы опубликовали в 1959 году в журнале «Коммунист» статью по теории революции. В ней доказывалось, что в цивилизованных капиталистических странах невозможен насильственный переворот такого типа, который произошел у нас в отсталой России. Социализм в каком-то ином демократическом варианте здесь может утвердиться исключительно мирным, парламентским путем. Ибо сам народ отвергнет любую партию или группу лиц, которые попытаются разрушить традиционные демократические структуры.

После публикации меня пригласил редактор отдела и сказал, что в журнал позвонил лично Суслов и высказал недовольство нашей статьей. По мнению Суслова, в ней сделан большой перекос в сторону мирного, парламентского перехода. Он утверждал, что не следует исключать такую возможность, которая представилась нашей партии, то есть быстрого насильственного захвата власти.

Редактор отдела сильно нервничал. Он суетливо бегал вокруг стола и все время повторял: «Вот какая история. Неизвестно еще, чем она кончится. Как вы думаете, Федор Михайлович?» Я ему ответил, что полагаю, что ничем не кончится, по крайней мере в ближайшее время, потому что что-то не видно, чтобы какая-либо партия в капиталистических странах имела реальную возможность взять власть, будь то парламентским или непарламентским путем. «Да не в этом дело,— досадливо сказал мне редактор.— Разве это наша забота? Я говорю о Михаиле Анд-

реевиче. Теперь он будет следить за каждой нашей и особенно вашей публикацией. Вот в чем проблема-то!» — «Да забудет он завтра об этом»,— успокаивал я его. «Нет, тут вы ошибаетесь в корне. Он никогда ничего не забывает». Впоследствии я сам получил возможность убедиться в этом. Память у Суслова была цепкая на лица и выступления, особенно такие, что шли вразрез с его пониманием...

Андропова Суслов не любил и опасался, подозревая, что тот метит на его место, тогда как руководителя другого международного отдела все время приближал к себе. Правда, и его держал на необходимом расстоянии, противодействуя включению в состав высшего руководства. Так тот и остался вечным кандидатом в члены Политбюро.

Впервые встретился я с Михаилом Андреевичем во время переговоров с китайской делегацией в 1963 году. Кстати говоря, присутствуя в качестве советника на этих переговорах, я имел возможность познакомиться довольно близко с руководителями Компартии Китая. Наибольшее впечатление произвели на меня аристократичный Чжоу Эньлай и живой, раскованный, веселый Дэн Сяопин.

Так вот, во время этих переговоров, которые проходили в Доме приемов на Ленинских горах, воспользовавшись перерывом, Суслов (он возглавлял нашу делегацию) вместе с другими советскими руководителями пригласил нас на совещание. Он сказал, что нужно срочно, буквально в течение одного дня, подготовить документ, в котором была бы выражена позиция КПСС в споре с китайскими руководителями. Он очертил примерный круг проблем — о культе личности, о мире и мирном сосуществовании, о формах перехода к социализму. Тут же решено было назвать это «Открытым письмом».

Что привлекло мое особое внимание — это выражение лица Михаила Андреевича, когда он сказал: «Надо нанести неожиданный удар, пока они не ждут и не готовы». И при этом залился смешком, сладким-сладким и тихим-тихим... Мы просидели ночь и написали этот документ, который был одобрен и тут же опубликован. Все в нем было правильно, но одно только вызывало сомнение: надо ли это было делать в момент, когда еще не закончились переговоры? Потом я понял, что таков был стиль, присущий лично Суслову, в то время как Хрущев всегда был более склонен к открытым, импульсивным и не очень обдуманным движениям и шагам.

Мне было поручено общее руководство подготовкой письма. Кроме того, я написал раздел о борьбе с культом личности Сталина. Привожу отрывок из этого письма:

«...Серьезные разногласия существуют у КПК с КПСС и другими марксистско-ленинскими партиями по вопросу о борьбе против последствий культа личности Сталина.

Руководители КПК взяли на себя роль защитников культа личности, разносчиков ошибочных идей Сталина. Они пытаются навязать другим партиям те порядки, ту идеологию и мораль, те формы и методы руководства, которые процветали в период культа личности. Скажем прямо, незавидна эта роль, не принесет она ни чести, ни славы. Не удастся никому склонить марксистов-ленинцев, прогрессивных людей на путь защиты культа личности!

Советский народ, мировое коммунистическое движение по достоинству оценили смелость, мужество и подлинно ленинскую принципиальность, проявленные нашей партией, ее Центральным Комитетом во главе с товарищем Н. С. Хрущевым в борьбе против последствий культа личности.

Все знают, что наша партия сделала это во имя того, чтобы снять тяжкий гнет, сковывавший могучие силы трудящихся, и тем самым ускорить развитие советского общества. Наша партия сделала это, чтобы очистить завещанные нам великим Лениным идеалы социализма от пятнавших эти идеалы злоупотреблений личной властью и произволом. Наша партия сделала это во имя того, чтобы никогда не повторялись трагические события, сопутствующие культу личности, чтобы все, кто борется за социализм, извлекли уроки из нашего опыта.

Известно, что практика есть лучший критерий истины.

Именно практика убедительно свидетельствует, к каким замечательным результатам в жизни нашей страны привело осуществление линии XX, XXI, XXII съездов КПСС.

Навсегда ушла в прошлое атмосфера страха, подозрительности, неуверенности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Невозможно отрицать тот факт, что советский человек стал жить лучше, пользоваться благами социализма. Спросите у рабочего, получившего новую квартиру (а таких миллионы!), у пенсионера, обеспеченного в старости, у колхозника, обретшего достаток, спросите у тысяч и тысяч людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий в период культа личности и которым возвращены свобода и доброе имя,— и вы узнаете, что означает на деле для советского человека победа ленинского курса XX съезда КПСС.

Спросите у людей, отцы и матери которых стали жертвами репрессий в период культа личности, что для них значит получить признание, что их отцы, матери и братья были честными людьми и что сами они являются не отщепенцами в нашем обществе, а достойными, полноправными сынами и дочерьми Советской Родины...» *

Отношения между Хрущевым и Сусловым оставались для нас всегда загадкой. Почему Хрущев так долго тер-

* Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Партийным организациям, всем коммунистам Советского Союза. М., 1963. С. 33—36.

пел в своем руководстве Суслова, в то время как убрал очень многих оппонентов? Трудно сказать — то ли он хотел сохранить преемственность со сталинским руководством, то ли испытывал странное почтение к мнимой марксистско-ленинской учености Михаила Андреевича, но любить он его не любил. Я присутствовал на одном заседании, на котором Хрущев обрушился с резкими и даже неприличными нападками на Суслова. «Вот пишут за рубежом, сидит у меня за спиной старый сталинист и догматик Суслов и только ждет момента сковырнуть меня. Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишут?» А Суслов сидел, опустив худое, аскетическое, болезненное, бледно-желтое лицо, не шевелясь, не произнося ни слова и не поднимая глаз.

На февральском Пленуме ЦК 1964 года Хрущев обязал Суслова выступить с речью о культе личности Сталина. Это поручение было передано мне и тому же Белякову. Речь надо было подготовить в течение одной ночи. Просидели мы в кабинете у Белякова безвылазно часов двенадцать. Вначале пытались диктовать стенографисткам, но ничего не получалось. А не получалось потому, что не знали, как писать для Суслова. Позиция его была известна — осторожненькая такая позиция, взвешенная, всесторонненькая, сбалансированная, лишенная крайностей и резких красок. А поручение Хрущева было недвусмысленное: решительно осудить устами Суслова культ личности. Вот и метались мы в этом кругу полночи. Потом отправили стенографисток домой и засели сами. Беляков взял перо, а я диктовал под его подбадривание: «Ну, давай, давай, ну, полилось, давай, давай!»

К утру речь была готова, аккуратно перепечатана в трех экземплярах, и мы отправились к Михаилу Андреевичу. Посадил он нас за длинный стол, сам сел на председательское место, поближе к нему Беляков, подальше я. И стал он читать свою речь вслух, сильно окая по-горьковски и приговаривая: «Хорошо, здесь хорошо сказано. И здесь опять же хорошо. Хорошо отразили». А в одном месте остановился и говорит: «Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку». Ну я, осоловевший от бессонной ночи, заверил: цитатку, мол, мы найдем, хорошую цитатку, цитатка для нас не проблема. Тут он бросил на меня первый взглядец, быстрый такой, остренький, и сказал: «Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил ящичек, которые обычно в библиотеках стоят,

поставил его на стол и стал длинными, худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит — нет, не та, другую начнет читать про себя — опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится». Зачитал, и впрямь хорошая цитатка была. В этот момент я и сделал главную ошибку в своей жизни — видимо, сказалась бессонная ночь да и неуместная склонность к шуткам. Не выдержал я и всхохотнул, видя, как крупнейший идеолог страны перебирает цитатки, как бисер, или как в былые времена монахи четки перебирали. Надо думать, рожа у меня при этом была самая непартийная, потому что бросил на меня второй взглядец Михаил Андреевич, маленькие серые глазки его сверкнули и снова опустились к каталогу. Подумал я еще в тот момент: «Ох, достанет он тебя, Федя. Раньше или позже достанет!» И верно, именно он-то и достал меня. Случилось это в следующую эпоху. Он имел непосредственное отношение к расправе со мной в газете «Правда», учиненной за одну из моих публикаций. Но об этом я расскажу позднее...

А тогда Суслов дочитал текст, сказал спасибо, ручки нам пожал. И на Пленуме доклад в том же виде зачитал. Зачитал с выражением, заслужив полное одобрение Первого. Но нам-то, исполнителям, он не простил того, что мы участвовали в учиненном над ним идеологическом насилии. Пришлось ему сказать против Сталина то, о чем не думал и во что сам не верил.

Суслов сыграл самую мрачную роль в деформации отношений Хрущева с интеллигенцией. Хрущев долгое время полагался на него как на самый крупный авторитет в области идеологии. Чувствуя себя слабым и даже беззащитным в вопросах теории, он долгое время прибегал к рекомендациям Суслова, когда шла речь о науке, литературе, искусстве. Кроме того, Суслов опирался на команду молодых руководителей, выходцев из комсомольской среды — А. Шелепина, В. Семичастного, к которым примыкал помощник Хрущева В. Лебедев, а нередко и его зять А. Аджубей. Этот последний был хорошим руководителем газеты «Комсомольская правда», а затем «Известий», однако группа молодых «вождей» во главе с Шелепиным смогла втянуть его в свою борьбу против либеральной интеллигенции, в том числе внутри партии.

Сам Хрущев тянулся к этой части интеллигенции, с которой его сближала критика сталинизма. В этом отношении показательны события, разыгравшиеся вокруг по-

вести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Хорошо помню, как Андропов дал мне прочесть эту повесть, набранную для публикации в «Новом мире». Спросил о моем мнении, и я, конечно, энергично высказался за публикацию. Эта повесть была талантливым дополнением к секретному докладу Хрущева о Сталине. Мне рассказали тут же, что единственным человеком, кто с самого начала выступил за публикацию повести, был Хрущев. Только благодаря его мужественной и бескомпромиссной позиции «Один день Ивана Денисовича» появился в «Новом мире», и эффект от этого был подобен взрыву идеологической бомбы.

Крупные бои вокруг повести развернулись после ее публикации. По настоянию прогрессивной части литераторов, прежде всего поэта А. Т. Твардовского, главного редактора «Нового мира», повесть была выдвинута на Ленинскую премию. Вот тут-то и сказалось давление «комсомольцев» на Хрущева. Об этих событиях с непревзойденной наивностью поведал в одной из статей бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов, который, как выяснилось, до сих пор гордится своей борьбой против либеральной интеллигенции в те времена.

Павлов сообщает, что, как первый секретарь ЦК комсомола, он входил в Комитет по Ленинским премиям. Ему «показалась нелепой» сама мысль присудить эту премию за книгу, в которой рассказывалось «о подробностях лагерного быта» (!). Он и выступил с таким заявлением на заседании комитета. После этого ему позвонил Семичастный, который к тому времени стал председателем КГБ, и сказал:

— Завтра тебе будет еще труднее: защитники Солженицына готовятся к атаке. Я пришлю тебе его следственное дело тех лет.

И прислал, надо думать. Кандидатуру Солженицына, хотя до этого были опубликованы положительные рецензии в «Правде» и «Известиях», сняли с обсуждения. «Хрущев,— повествует Павлов,— все это понял, принял и, по-моему, не обиделся...» *

Сыграли свою роль в отношениях Хрущева с интеллигенцией и торопливость, стремление вмешаться в любой вопрос и быстро его решить. Тут он нередко оказывался под большим влиянием небескорыстных советчиков,

* Цит. по: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 205—206.

а то и скрытых противников, готовивших его падение. Хорошо помню, что посещение им художественной выставки в Манеже было спровоцировано специально подготовленной справкой. В ней мало говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные высказывания литераторов, художников о Хрущеве, где его называли «Иваном-дураком на троне», «кукурузником», «болтуном». Заведенный до предела, Хрущев и отправился в Манеж, чтобы устроить разнос художникам. Таким же приемом тайные противники Хрущева втравили его в историю с Б. Пастернаком, добились через него отстранения с поста президента АН СССР А. Несмеянова в угоду Лысенко, рассорили со многими представителями литературы, искусства, науки.

Я был только на некоторых встречах Хрущева с деятелями искусства. Поэтому позволю себе сослаться на их свидетельства. Начну с известного режиссера, автора фильма «Обыкновенный фашизм» — Михаила Ромма. Тем более что он сам рассказывал мне многое о встречах с Хрущевым (а также и со Сталиным), поскольку предложил мне написать сценарий о Мао Цзэдуне. Вот что повествует М. Ромм:

«До декабря 1962 г. мне не приходилось лично видеть и слышать Н. С. Хрущева... Надо сказать, что я до этого времени принадлежал к числу его поклонников. Меня даже называли «хрущевцем». Я был очень вдохновлен его выступлением на XX съезде, мне нравилась его человечность. Я старался ему прощать все... В области культуры дела шли хорошо, дышалось свободно, искусство двигалось вперед, и мы продолжали время от времени говорить друг другу: «Он, правда, не красавчик, но душенька, душенька».

Так шло до декабря шестьдесят второго года... до его знаменитого посещения Манежа, где Хрущев, как мне рассказывали, топал ногами, обрушился на левое искусство, а заодно на всю культуру, на молодых поэтов.

В декабре шестьдесят второго года я получил пригласительный билет на прием в Дом приемов на Ленинских горах...

Запомнилось несколько выступлений. В одном назвали меня провокатором, политическим недоумком, клеветником, а заодно разносили Щипачева... Суть другого выступления сводилась к тому, что коменданты лагерей были прекрасные коммунисты...

А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо.

Вот когда фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня. Вначале он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия, вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы все вместе тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил — круглый, бритый. И движения круглые. И первые реплики его были благостные.

А потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, ну ничего решительно. И так он старается объяснить, что такое красиво и что такое некрасиво; что такое понятно для народа и непонятно для народа. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите».

Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая,— художников, скульпторов да писателей некоторых...

Или вот еще другое:

— Письмо тут подписали. И в этом письме между прочим пишут, просят за молодых этих левых художников, и пишут: пусть работают и те и другие, пусть-де, мол, в изобразительном вашем искусстве будет мирное сосуществование. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии.

Эренбург ему с места:

— Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было.

— Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так!..

Вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душою, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. И мне пришлось довольно лихо...» *

Так рассказывал Михаил Ромм. А вот что пишет сейчас один из главных героев тех встреч с Хрущевым — А. Вознесенский.

«Поэты, заявившие о себе в 60-х годах, пожалуй, лучшие свои вещи написали в 70-х и 80-х. В стихах сказалась боль от крушения иллюзий. Деление на поколения в поэзии механистично. В те годы я написал о поколениях — «горизонтальном» (по возрасту) и «вертикальном» (по совести и таланту). Эти слова о «вертикальном» поколении, доносительски исказив, процитировали, чтобы вывести из себя Н. С. Хрущева на злополучной встрече с интеллигенцией в Кремле. Он потребовал меня на трибуну.

Свердловский голубой купольный зал был заполнен парадными костюмами, белыми нейлоновыми сорочками, входившими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции.

---

* Цит. по: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 136—141.

Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума. Почти впритык к столу, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Козлов и Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Хрущев был нашей надеждой, я хотел рассказать ему, как на духу, о положении в литературе, считая, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как кто-то из-за спины стал меня прерывать. Я продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я просил не прерывать. «Господин Вознесенский,— взревело,— вон из нашей страны, вон!»

По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам зала я ощутил, что за спиной моей происходит нечто страшное. Я обернулся. В нескольких метрах от меня вопило искаженное злобой лицо Хрущева... Глава державы вскочил, потрясая над головой кулаками. «Господин Вознесенский! Вон! Товарищ Шелепин выпишет вам паспорт». Дальше шел совершенно чудовищный поток.

За что?! Или он рехнулся?.. «Это конец»,— понял я. Только привычка ко всякому во время выступления удержала меня в рассудке.

Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, это купеческое самодурство...» *

Так это было. Из песни слов не выкинешь.

Я как-то спросил недавно у Андрея Вознесенского, что же он сейчас думает о Никите Сергеевиче. И вот его ответ: «Для меня Хрущев всегда был важен тем, что он освободил людей из сталинских лагерей, что без него не было бы демократизации. Он был воспитан сталинской структурой — тем весомее его подвиг и риск на XX съезде. Без этого не было бы и перестройки».

Что касается Евгения Евтушенко, то он во все времена высоко ставил антисталинизм Хрущева и в пору опалы Никиты Сергеевича имел мужество навещать его. Известный французский актер и певец Ив Монтан рассказывал о своей шестичасовой беседе с Хрущевым на подмосковной даче, о том, как он пытался объяснить ему ошибочность гонений на Пастернака и других. И все же в итоге Хрущев сумел обаять Монтана, хотя, конечно, и не переубедил его.

В отношении к людям искусства более всего сказалась некультурность, необразованность Хрущева — органическая часть патриархального феномена власти. Он полагал, что как живое воплощение мудрости народной (шахтер, из крестьян) именно его восприятие служит критерием для суждения об искусстве: оно творится для народа и

* Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 128—130.

принадлежит народу. Кроме того — разнузданность авторитарного вождя и обыкновенное хамство.

Рассказ Михаила Ромма и Андрея Вознесенского интересно дополнить воспоминаниями Игоря Черноуцана, которого я уже упоминал.

«Во второй половине 50-х и начале 60-х годов, когда кончилась первая после XX съезда оттепель, вновь вошла в силу мрачная цензура, а Хрущев произносил бессвязные речи, в которых то поносил, то восхвалял Сталина, состоялось несколько встреч его с художественной интеллигенцией.

Поводом для первой встречи был выпуск группой московских писателей двухтомника «Литературная Москва», где было опубликовано лучшее из того, что написано было московскими писателями в области прозы, поэзии, драматургии, публицистики и критики. Сборник этот и поныне является гордостью московской литературы. По злобному и лживому доносу «аппаратчиков» первым «на правеж» был вызван председатель Московского отделения писателей К. А. Федин. Я присутствовал на этой встрече, состоявшейся в узком кругу. К. Федин пытался защитить сборник, доказать, что это полезное и нужное издание. «Но ведь это же грязная и вредная брошюра»,— внушал ему Хрущев, говоря о сборнике, насчитывающем более семидесяти печатных листов, которого он, как было совершенно очевидно, ни разу не брал в руки.

— Полноте, Никита Сергеевич, ведь вот опубликован, например, честный, правдивый рассказ А. Яшина «Рычаги» или талантливая статья молодого критика М. Щеглова,— и ничего не случилось, небо не упало.

— Ну как вы не понимаете, товарищ Федин, это же гнусный, пасквильный сборник, составленный и выпущенный враждебно настроенными к партии московскими сочинителями.

— Да, я, очевидно, чего-то не понимаю, Никита Сергеевич, и прошу освободить меня от обязанностей председателя Московского союза.

— Нет, товарищ Федин, я вас знаю, партия вам доверяет, идите работайте и боритесь со всякой гнилью и нечистью.

Сразу же после Секретариата ко мне зашел Н. Ф. Погодин, с которым мы подружились при подготовке во МХАТе пьесы «Третья патетическая», и, застав меня удрученным и обескураженным, спросил: «Ну что ты приуныл и раскис? Ведь это же все Сашко — его почерк и его штучки».— «Какой Сашко?» — удивился я. «Да какой Сашко — Корнейчук, конечно. Ведь вы же не похвалили в своей «Москве» его «Крылья», а в статье М. Щеглова блистательно приложили ее как произведение, по существу, бесконфликтное и поверхностно-лакировочное. Таких вещей он никому и никогда не прощал. Только забыл он сказать, подзуживая Хрущева, что брошюрка-то в семьдесят листов, и никто его не поправил».

А через полчаса меня вызвал Хрущев и несколько озадаченно спросил: «Что, обиделся старик, как ты думаешь?»

— Конечно, обиделся,— сказал я.— К тому же брошюрка-то семьдесят листов — две огромные книги.

— Разве? — удивился Хрущев.— Что же мне не сказали? Впрочем, это все пустяковина, а вот давай подумаем, как подбодрить и приласкать старика и московских литераторов. Вот давай соберем в следующее воскресенье у меня на даче всех московских

писателей. Пускай погуляют, рыбку половят, а потом угостим на славу под ясным солнышком. Передай соответствующие указания.

На следующий день я уехал в Железноводск и не был на «пресловутой встрече» и на последующем после этого разгроме «антипартийной группы». А когда приехал, много рассказывали мне о том, как захмелевший на «ярком солнышке» Хрущев вызвал к своему столу и поносил последними словами и старушку М. Шагинян, посмевшую усомниться на писательском пленуме в мудрости его хозяйственного руководства (об этом ему, по-видимому, донес Шепилов), и М. Алигер, которая, по мнению Хрущева, что-то и где-то не так сказала об изучении писателями жизни (тут уж, конечно, не обошлось без Корнейчука и Грибачева — хрущевских консультантов по эстетике). Соболев, которого одобрительно похлопывал по плечу Никита, всячески пресмыкался перед ним, предавая и продавая собратьев по перу и выпрашивая себе орденок к очередному юбилею.

Вышло вскоре после этого под редакцией Поликарпова и при тесном «участии» Аджубея и Грибачева (получивших Ленинскую премию за позорно знаменитую холуйскую книжку «Лицом к лицу с Америкой») сочинение Н. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», где были воспроизведены все благоглупости, высказанные им во время «дружеской» встречи.

Человек сильного, но необузданного темперамента, не подчиненного интеллекту, Хрущев легко поддавался наветам и наговорам, и тут уж ни в чем нельзя было его переубедить. Роковую роль в этой ситуации играло его ближайшее окружение — талантливый, но циничный Аджубей, приспособленец Грибачев, тупой и невежественный Сатюков, не злой, но слабовольный и малообразованный В. Лебедев, который, будучи официально первым помощником Никиты, «регулировал» чтение Первого секретаря и иногда даже оказывал услуги А. Твардовскому и «Новому миру», считал своим другом Евтушенко, приглашая меня вместе с ним к себе в кабинет — поднять бокал за встречу Нового года.

Эстетическая глухота и полная неискушенность Хрущева были поразительны. На одном из международных кинофестивалей в Москве был представлен фильм Феллини «Восемь с половиной». Советская группа жюри фестиваля, в которую входили Герасимов, Караганов и другие, недооценили этот фильм. Да, признаться, и я, просмотревший вместе с Б. Ярустовским эту картину еще до фестиваля, не придал ей особого значения, посчитал более слабой, чем «Сладкая жизнь», не имеющей особых шансов на первое место. Однако, когда в конце фестиваля этот фильм был показан международному жюри, обстановка резко изменилась. Зарубежные члены жюри художественных фильмов, в том числе и из стран социалистического содружества, почти единодушно высказались за «Восемь с половиной» и твердо стояли на своем. Старания и усилия членов советской группы, которых неоднократно вызывали для «накачки» к А. В. Романову, не дали никаких результатов. Противопоставить картине было нечего, и в весьма драматической обстановке она получила первый приз фестиваля. Может быть, на этом все бы и кончилось. Но на беду кто-то из «аппаратчиков» подсунул Хрущеву тассовский обзор, в котором было сказано, что в Москве был удостоен главного приза модернистский фильм Феллини. Что такое «модернистский», Никита, конечно, понятия не имел, но раз похвалили там, значит, наверняка антисоветский и контрреволюционный. Разразился грандиозный скандал.

Хрущев вызвал председателя Госкино Романова, накричал па него, обвинил его в том, что он «торпедировал» последний идеологический пленум и что его следует вышвырнуть с работы и из партии. «Убирайтесь,— в заключение сказал он,— а картину пришлите мне, я сам ее посмотрю, если уж вы в этом ничего не понимаете».

Романова вызвали к Ермашу, который стал орать на него (хотя до этого поддерживал фильм), предчувствуя скорую и легкую победу и воцарение на пост председателя комитета.

Между тем «наверху» происходило следующее. Через пять минут после начала просмотра картины Хрущев стал издавать какое-то подозрительное присвистывание, которое вскоре перешло в настоящий храп. Будить его, разумеется, не решились. Прошло порядочно времени после того, как пленка была прокручена и Никите деликатно сообщили, что просмотр окончен. Он еще всхрапнул, нехотя поднялся и заявил, что раз от такого дерьма советских людей в сон шибает, никакого вреда оно не принесет и нечего панику поднимать. Так кончилась эта трагикомическая история. Романов отделался легким испугом, Ермаш оказался в дураках, а картина, оставшаяся в нашей стране, вышла на экраны и была показана с огромным зрительским успехом почти через двадцать лет...»

Что и говорить: ужасают и смешат эти нравы деревенского двора, где патриарх все решает по произволу или капризу...

4

Как видим, Первый был окружен советниками, которые сводили на нет его же разумные идеи. Это особенно болезненно сказалось на культуре, поскольку многие комсомольские лидеры, считавшие себя «знатоками» в этой сфере, постоянно подзуживали легко возбудимого Никиту Сергеевича.

Но не менее болезненно это сказывалось на государственном управлении. Многие назревшие преобразования заменялись чисто организационными решениями, подчас невзвешенными, непроверенными, непродуманными.

В своих мемуарах Хрущев осудил Сталина за единовластие, за то, что тот принимал единоличные решения, не советуясь и не спрашивая мнения членов Политбюро или Бюро Президиума ЦК. Он противопоставил этому ленинские методы коллективного руководства. Больше того, Хрущев объявил «уродливой демократией» практику подбора делегатов на съезды партии и в высшие партийные органы. Хрущев пытался включить, как известно, в Устав партии принцип ротации кадров, но не преуспел в этом. Однако он не задумывался о том, почему небольшая

группа руководителей, назначенных или в какой-то форме избранных внутри самой партии, имеет право руководить государством, всем народом.

Это типично авторитарная традиция. Так сложилось при Сталине. Генеральный секретарь ЦК фактически выступал как глава государства. В 30-е годы, когда Сталин не только установил свое единоличное правление, но и безжалостно расправлялся с любым подлинным или мнимым противником, он не занимал никакого государственного поста. Тем не менее все его распоряжения выполнялись органами госбезопасности, Наркоматом внутренних дел, армией, Советом Народных Комиссаров, всеми ведомствами. Хрущев даже не ставит вопрос о том, что надо получить какой-то мандат у народа. Пускай формально. Нет, так же как Сталин, он убежден, что такой мандат был выдан один раз и навсегда — в Октябре 1917 года, когда партия взяла власть в свои руки. Значит, естественно, она через своих представителей и распоряжается страной.

Кроме того, Хрущев, подобно Сталину, исходил из представления об абсолютном характере власти. Именно ей принадлежит право принимать экономические планы, регулировать жизненный уровень, определять характер образования, деятельность культурных учреждений, осуществлять внешнюю политику. Ни разу на протяжении двух томов своих мемуаров Хрущев не ставил под сомнение этот стереотип.

На Западе в течение веков складывались представления о разделении власти и создании противовесов, которые препятствовали бы чрезмерной концентрации ее в руках одного органа, тем более — одного человека. Еще Монтескье в XVIII веке обосновал идею разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. А весь опыт XIX века привел к формированию не только сбалансированных между собой государственных институтов, но и многопартийных систем, где каждая партия контролирует другую.

Наряду с этим развивалась либеральная тенденция. Она шла от первых биллей и деклараций о правах, принятых столетия назад в Англии, Франции и США. Такая традиция обосновала автономию личности внутри государства, которое не вправе отнять ее естественные гражданские и политические права. Россия практически не знала ни этого опыта, ни этих традиций. Во времена Сталина она вернулась ко многим механизмам власти, суще-

ствовавшим еще при Иване Грозном и Петре I: единовластию, опиравшемуся прямо и непосредственно на беспощадный механизм репрессий.

Хрущев отверг этот механизм и осудил единовластие, однако сохранил авторитарную форму правления, став первым советским руководителем, который играл роль непререкаемого лидера, не прибегая к массовым репрессиям. Но он и не задумывался ни о разделении властей, ни о распределении функций между партией и государством, ни тем более о таких социальных, экономических, гражданских и политических правах личности, на которые не могла покуситься политическая власть.

Хрущев воспринял и другую сталинскую традицию, которая тоже уходила корнями в глубину российской истории,— соединения светской и духовной власти. Таким подходом определялись энергичные и безапелляционные вторжения Хрущева в сферу науки, литературы, кино, изобразительного творчества.

Даже в период господства тиранических, или авторитарных, режимов на Западе власть только в исключительных случаях вмешивалась в научную, литературную, театральную деятельность. Можно ли представить себе, чтобы, скажем, Александр Македонский «выправлял» выводы Аристотеля о правильных формах государственной власти — монархии, аристократии, демократии,— высказанные им в «Политике»? Или чтобы Людовик XIV выговаривал Вольтеру по поводу того, что тот выбрал героем Кандида, такого безнравственного человека? Или — Елизавета, довольно суровая монархиня, поучала бы Шекспира, как оценивать историческое место ее предков — прежних королей Англии? Конечно, и на Западе бывали примеры вторжения властей в сферу культуры, но в общем-то традиция была иной, чем у нас. Быть может, только церковь вмешивалась в науку, литературу, философию и искусство, да и то не так уж часто, а лишь когда видела в них прямое посягательство на священное писание.

Мы узнали из мемуаров Хрущева, что до печально известного скандала с публикацией «Доктора Живаго» он никогда не читал Пастернака. Он сам рассказывал о том, что плохо разбирался в искусстве, тем более в современных его направлениях.

Основная проблема Хрущева заключалась в том, как мы ее понимаем, что этому чрезвычайно мужественному и активному политическому деятелю не хватало ни мужества, ни образования, ни знаний для того, чтобы стать

еще и политическим мыслителем. Вообще говоря, этим вторым родом мужества среди общественных деятелей обладали очень немногие. Способность пересмотреть свои взгляды, признать в чем-то их ошибочность и найти новые ответы и решения — редчайшее дело даже среди ученых, не говоря о руководителях.

Хрущев так и не преодолел слепой веры в государство, вернее, в государственный социализм. Он, как и Сталин, был убежден, что именно государство, централизм, спущенный сверху план, приказ, указание — это и есть главные преимущества социализма перед капитализмом и главный стимул развития страны. Он был «государственником» в не меньшей степени, чем Сталин, и несравненно в большей, чем Маркс и Ленин.

Вспомним, что Маркс выступал за отмирание государства и полагал, что первый акт его — экспроприация собственности у капиталистов — и будет, в сущности, его последним актом, который положит начало постепенной ликвидации всех государственных институтов. Ленин в большей мере верил в государство, особенно когда стал во главе первого советского правительства. Хотя он до революции выступал против постоянной армии, но после Октября, в ходе гражданской войны, он и Троцкий создали одну из самых могучих армий в мире, которая в 1927 году насчитывала 586 тысяч человек. Ленин создал и достаточно мощный партийный и государственный аппарат, хотя и не отказывался от идеи отмирания государства в будущем.

Надо ли говорить, в какой степени усугубил эту традицию Сталин. Он довел дело до обожествления государства и государственных интересов, перед которыми должны пасть ниц все люди — маленькие винтики в государственной машине. В 1948 году, через три года после окончания войны, Советская Армия насчитывала 2874 тысячи человек, а ко времени смерти Сталина — более 5 миллионов.

Хрущев активно выступил против милитаризации государства. По его инициативе армия была сокращена до 2423 тысяч человек *. Но он не покусился на основы государственного социализма.

Даже самые крутые его реформы — создание совнархозов, ликвидация многих министерств и ведомств — но-

* См.: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 326.

сили верхушечный характер. Они исходили из того, чтобы сделать управление более рациональным, приблизить его к объектам — предприятиям, колхозам, совхозам, научным учреждениям. Но они, эти реформы, не затрагивали сути производственных отношений, не претендовали на то, чтобы поставить самого производителя — рабочего, крестьянина, интеллигента — в новые условия труда: предоставить ему инициативу, самостоятельность, выбор, возможность прямой связи с потребителем. И тем самым раскрепостить экономику, ослабить, а затем и полностью снять удушающий ее пресс государственной опеки. Это особенно легко проследить на примере аграрной политики Хрущева, как раз там, где он считал себя компетентным специалистом. В области сельского хозяйства Хрущев выступал даже бо́льшим «государственником», чем Сталин.

Незадолго до кончины Сталина в партийных организациях зачитывалось письмо с критикой идеи Хрущева об агрогородах. Он тогда выступил энтузиастом совхозизации колхозов, то есть окончательного их огосударствления. Хрущеву казалось, что надо более последовательно переносить в деревни опыт фабричного труда. Он верил, что таким путем может быть достигнута и бо́льшая специализация производства, и более высокий уровень профессионализма и применения современной техники. Одновременно это откроет возможности для социального переустройства быта деревни на городских принципах.

Как ни странно, именно Сталин выступил инициатором критики этой идеи. Я думаю, что у него вызывал протест не сам принцип огосударствления колхозов. Фактически это уже произошло в период сплошной коллективизации. Земля, как известно, была полностью передана в собственность государства, то есть изъята у крестьян и закреплена за колхозами. В самом колхозе никто не имел права потребовать обратно землю и свою часть внесенного или наработанного вклада. Появилось понятие так называемых «неделимых фондов», ну а затем колхозники и вовсе были намертво закреплены за колхозами посредством паспортного режима. Им попросту не выдавали паспортов, и они не вправе были покидать деревню.

По всему этому можно видеть, что Сталин разделял концепцию огосударствления колхозов. Более того, такой подход нашел отражение в официально распространяемой тогда концепции о двух видах собственности: низшая, кооперативная, обречена постепенно преобразоваться в высшую — государственную; значит, колхозы — в совхозы.

Однако Сталин считал «совхозизацию» колхозов делом преждевременным. Он понимал, что в этом случае совхозам, а стало быть, государственному бюджету придется взять на себя колоссальное бремя выплаты заработной платы труженикам села, а колхозы такого обязательства не имели. Никаких средств у государства для оплаты труда жителей деревни, которые составляли в ту пору более 60 процентов, не было. Что касается Хрущева, то, вероятно, именно таким путем он хотел спасти колхозников от бедности, нищеты и голода.

В своих мемуарах Хрущев с болью рассказывает об ужасных условиях, в которых жили после войны крестьяне в руководимой им Украинской республике.

Он вспоминает о своих неоднократных обращениях к Сталину в 1946-м и в последующие годы. 1946 год был очень засушливым, и сельское хозяйство Украины сильно пострадало. Урожай был, по словам Хрущева, «ужасно плохим», тем не менее из Центра был спущен огромный нереальный план поставок зерна и других продуктов. Заготовители выгребли у колхозов и колхозников все подчистую. Хрущев приводит душераздирающие письма от председателей колхозов. Один из них писал ему: «...ну, товарищ Хрущев, и год сдали, выполнили свой план хлебозаготовок полностью. Отдали все. У нас ничего не осталось. Мы уверены, что держава и партия о нас не забудет, но что она нам придет на помощь...»

— Я, когда читал,— вспоминал Хрущев,— я чувствовал, что он считает, что зависит от меня. А я был тогда председателем Совета Народных Комиссаров Украины и первым секретарем ЦК. Я сам должен просить власть и умолять, чтобы дали какое-то количество, в котором мы нуждались...

Многочисленные обращения Хрущева к Сталину и другим членам Политбюро успеха не имели.

— Сталин очень резко реагировал на это. Он считал, что все благоденствуют. Шевченко сказал: «От молдаванина до финна все мовчить, бо благоденствует». И там — тоже вроде того периода. Только тот писал о периоде Николая I, а это — Сталин I.

По сообщению Хрущева, Сталин тогда высказал мысль, что надо собрать специальный пленум по сельскому хозяйству, однако такой пленум собран не был. И тогда Хрущев выступил со своей идеей агрогородов, которая казалась ему спасительной для крестьянства.

Получился довольно странный парадокс. Намерения у Хрущева были самые благие — спасти крестьянство от голода, обеспечить ему минимальное благосостояние, твердую зарплату в совхозе. Но средства были контрпродуктивными. И предыдущий и последующий опыт достаточно показал, что выварить крестьянина в фабричном котле не удастся. Его дальнейшее закрепощение могло только привести к снижению продуктивности сельскохозяйственного производства. А Сталин, по словам Хрущева, выступил опять в роли верховного судьи, осудил перегибы и хрущевскую идею агрогородов, хотя палец о палец не ударил для спасения крестьян от голода, а сельского хозяйства — от разорения.

Сразу же после смерти Сталина по инициативе Хрущева был созван Пленум ЦК партии по сельскохозяйственному вопросу. Это был поистине исторический пленум. С одной стороны, резко уменьшались налоги на сельскохозяйственное производство, в особенности с приусадебных участков, с другой — повышались закупочные цены государства. Затем МТС были переданы — правда, за дорогую цену — колхозам. И наконец, был сделан крупный шаг в ослаблении опеки местных и центральных органов власти над колхозами и совхозами.

Тем не менее идея совхозизации продолжала тревожить душу Хрущева. По всему видно, что он внутренне был убежден в том, что индивидуальное хозяйство, тем более на приусадебном участке, и колхозное хозяйство куда менее эффективны, чем совхозы. Ему мнилось, что государственное предприятие в деревне сможет работать так же хорошо, как и в городе. Как мы уже видели, эта идея сыграла не последнюю роль, когда принималось решение об освоении целинных земель. Наши экономисты до сих пор не дали объективных оценок — кто был прав в споре о путях подъема сельского хозяйства в тот период: Хрущев, который выступал за целину, или Молотов и другие, предлагавшие вложить те же средства в производство в черноземной и нечерноземной областях. Конечно, целина позволила на время ослабить остроту хлебной проблемы. Но никто не проанализировал возможностей альтернативной программы.

Интересно заметить, что личное знакомство Хрущева с опытом американских фермеров не только не поколебало, а даже укрепило его веру в превосходство коллективных государственных форм. Он привез из своего посещения Америки много плодотворных технологических идей.

Несомненно, одной из них было внедрение кукурузы как главного средства откормки скота, независимо от крайностей в применении этой идеи впоследствии. В Америке он увидел и индустриализацию птицеводства, производства яиц, забоя скота, соединение сельскохозяйственного производства с переработкой продукции. Ослепленный концепцией государственного социализма, Хрущев стремился перенести западную технологию на базу централизованного хозяйства. Сколько было произнесено речей о кукурузе, о квадратно-гнездовом способе посева зерна, об удобрении, химизации, о поливных землях! Но догма государственного управления аграрным сектором не только оставалась незыблемой, но даже укреплялась.

С этим связано было его чудовищно опрометчивое решение в 60-х годах о запрете держать скот в индивидуальном хозяйстве, что привело к постоянному дефициту мясных и молочных продуктов, от которого мы не избавились до сих пор. Ему казалось логичным (вопреки всем фактам), что скот куда выгодней выращивать на крупных фермах, а не в каждой крестьянской семье. Жизнь была принесена в жертву доктрине, а сама доктрина позаимствована не у кого иного, как у Сталина.

Замечу, что то же самое можно сказать и о его взглядах на роль государства в промышленном секторе. Хрущев даже на склоне лет в своих мемуарах продолжал критиковать Бухарина и других «правых» за попытку осуществить «ситцевую индустриализацию» и сохранить многоукладную экономику, за идею кооперации. Между тем Ленин как раз в статье «О кооперации» сделал знаменательное заявление: мы пересматриваем всю точку зрения нашу на социализм. После Сталина подобная задача стояла еще более остро. Чтобы вернуться к Ленину и преодолеть сталинизм и в политической, и в экономической системах, нужно было поставить в центр всей внутренней политики интересы простого труженика. Нужно также было принять во внимание опыт других социалистических стран, а также реалистически оценить соревнование с капиталистическим миром в эпоху технологической революции.

А Хрущев тем временем вынашивал совершенно утопические планы «догнать и перегнать Америку» в условиях государственного социализма, его больше всего волновал вопрос о «принципах коммунизма». Принципы — вещь необходимая, и человеку, как говорил Ленин, нужен идеал, но человеческий...

Как реалистический политик, Хрущев опасался раскачивания лодки, опасался такой свободы, которая неизбежно сопровождается эмоциональными крайностями, деструктивными всплесками, нецивилизованной полемикой. Но в политике — о чем было известно еще с самых древних времен — не бывает только положительных или абсолютно отрицательных явлений. Всегда приходится делать выбор в пользу решений, которые дают предпочтительные результаты. И могут ли быть сомнения, когда сопоставляются два метода — вскрывать проблемы или скрывать проблемы? Гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны.

5

Серьезные политики понимают, что скрыть проблему — значит загнать ее внутрь, дать ей разрастись до таких размеров, когда уже невозможно будет с ней справиться. А вскрыть проблему — значит начать решать ее. Что бы ни происходило во времена культа личности — падали самолеты, сталкивались поезда, вспыхивали национальные конфликты,— все это сопровождалось молчанием, как на кладбище. Воюя против своих же сторонников в литературе, в науке, печати, Хрущев не дал развиться гласности. Между тем это зеркало народа, и он его не боится, поскольку издревле придумал поговорку: нечего на зеркало пенять... Да, нужно менять облик самого общества, чтобы не было оснований жаловаться на зеркало.

Хрущев уже на XXII съезде стал отставать от общественных потребностей. Он продолжал думать, что главной темой борьбы остается вопрос о месте Сталина в истории нашей страны. Но это было неверно! Подобный вопрос был основным объектом борьбы во времена XX съезда партии. В сущности, уже тогда Хрущев дал на него прямой ответ, хотя и с некоторыми оговорками. Главным же в период XXII съезда уже становилось другое — система управления, сложившаяся в сталинскую эпоху.

В. Н. Новиков, который работал председателем Госплана СССР и заместителем Председателя Совмина СССР, отмечает, что «стремление к реорганизациям у Хрущева проявилось почти с самого начала его деятельности. Он верно подметил, что новая экономика не влезает в старые организационные рамки, что нужен уже иной механизм руководства. Зато не совсем оправдал себя работавший параллельно с Госпланом Госэкономсовет во главе с А. Ф. За-

сядько. Этому же органу принадлежали идеи в экономической части Программы КПСС 1961 г., согласно которой мы в кратчайший срок намеревались дойти почти до коммунизма. Увы, практика и предыдущих, и последующих лет показала, что нереально отрывать годовые планы от пятилетних и перспективных».

Новиков видит одну из причин ошибок Хрущева в том, что он все более подпадал под влияние подхалимов. «Как и Сталин, он не выдержал испытания властью, хотя, конечно, до сталинских извращений ленинизма все же не дошел. Достаточно было посмотреть на сияющее лицо Хрущева, когда подхалимы, выступая на заседаниях Президиума ЦК, восхваляли каждый шаг и каждое движение вождя в ходе его поездок по зарубежным странам. Мне лично трудно забыть «соловьиные песни» Аджубея (зятя Хрущева) и Сатюкова (редактора газеты «Правда»), когда они описывали его поездку, например, во Францию: как он в нужную минуту становился то строгим, то мягким, то выразительным в жестах и т. п.; как он неожиданно для хозяев попросил поменять маршрут; как тепло его приветствовали; какую умную фразу он вдруг сказал, направляя разговор в нужное русло. Все и перечислить невозможно! Меня и в 30-е, 40-е, в 50-е и в 60-е годы от этих восхвалений всегда подташнивало, о ком бы ни шла речь».

Особенно неприглядно выглядело отношение Хрущева к научной интеллигенции. Стремление утвердить абсолютный контроль над всеми сферами жизни распространилось и на Академию наук СССР. Новиков повествует о двух историях. Одна касается Академии наук СССР, где провалили двух кандидатов, баллотировавшихся на выборах в академики, за которых выступал Хрущев. И вот на одном из очередных пленумов ЦК партии вне повестки дня выступил Хрущев с предложением: надо подумать, нужна ли в таком виде Академия наук СССР? Может быть, ее деятельность следует приблизить к производству и институты академии раздать по соответствующим министерствам, а академию в прежнем виде закрыть? На пленуме воцарилось молчание. Хрущев, кажется, понял, что «шагнул не совсем туда», и закончил речь фразой: надо над этим подумать. В дальнейшем Академия наук сохранилась, но нужные Хрущеву люди на очередных выборах все же прошли в академики.

На одном из заседаний Президиума ЦК, рассказывает Новиков, он вдруг сказал: «Знаете, товарищи, я уже пять-шесть раз поручал подумать, куда из Москвы перевести Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Получается так, что науку сельского хозяйства мы должны знать по тому, что вырастят наши ученые на тротуарах и московских улицах. Даже новое поколение руководителей и ученых по сельскому хозяйству думает, вероятно, получить за счет использования московских дорог и тротуаров. Ведь каждому ясно, что этой академии не место в Москве. А предложений все нет и нет. Может быть, поручим комиссии во главе с В. Н. Новиковым как председателем Госплана подумать? Пусть он даст нам предложение, человек он нейтральный, под дудку сельскохозяйственников плясать не будет». Новиков при помощи других работников постарался спустить и этот вопрос на тормозах, и Тимирязевская академия так и осталась на месте.

Главный довод, который решил дело,— что перемещение академии обойдется примерно в четыре миллиарда рублей. Надо было строить и учебные корпуса, и лаборатории, и жилье для ученых, потребовалась бы организация показательных сельскохозяйственных полей.

Когда Хрущеву доложили эти цифры, он задумался. «Неужели вся эта затея обойдется в четыре миллиарда? Ну ее к черту, эту академию, пускай пока остается па месте, а дальше видно будет».

«Плохо, что Хрущев был иногда податливым человеком, шел навстречу сомнительным предложениям некоторых своих советников, среди которых попадались и не очень-то добросовестные люди,— пишет Новиков.— Некоторые деятели предыдущей эпохи и теперь сумели «пригреться»: в эту «плеяду» попали и такие личности, как А. Ф. Засядько (алкоголизм которого, как мне кажется, привел его к наушничеству и подхалимству), и такие, как И. И. Кузьмип (очень энергичный человек, но иногда тянувший Председателя Совмина в ненужную сторону), и просто случайные люди (как В. П. Мыларщиков). Полагаю, что зять Хрущева Аджубей, сильно влиявший на тональность нашей печати, тоже мог бы вести себя посдержаннее и поумнее. Конечно, он выступал как журналист, любил яркий образ, броскую фразу. Но ведь к нему поневоле все прислушивались. Получался ненужный резонанс».

Дело доходило до смешных вещей, когда произвол и капризы Хрущева приобретали какие-то детские формы. Новиков рассказывает, как в одну из очередных встреч Хрущев пригласил присутствующих вместе с ним пострелять по летящим тарелочкам. Выразили желание человека четыре. Хрущев: «Ну, кто начнет? Новиков, начинайте». «Я сбил подряд четыре первые же вылетевшие пластмассовые тарелки. Вставляю пятый и шестой патроны. Чувствую, сзади меня за пиджак кто-то усиленно дергает. Глянул мельком — Ф. Р. Козлов. Я сразу сообразил, что рекорд мне ставить нельзя. Начал «мазать», но для порядка сбил еще тарелочку. Хрущев сбил семь тарелочек, гордо сказал мне: «Вот как надо стрелять!» Все были довольны, я — тоже. Так общая атмосфера действовала и на меня».

...Но это были, так сказать, «мелочи жизни». Куда более серьезные просчеты допускал Хрущев в хозяйственной политике. Так, он еще в 1946—1947 годах, будучи первым секретарем ЦК КП Украины, из Киева послал письмо Сталипу о том, что крестьяне слишком охотно обзаводятся в личном хозяйстве скотом и птицей, а это отвлекает их от развития общественного хозяйства. «В письме в самых мрачных красках рисовалась обстановка на селе в связи с развитием личных хозяйств. О содержании письма мне подробно рассказывал мой товарищ по охоте В. В. Мацкевич, который прежде был министром сельского хозяйства на Украине, а при Хрущеве как главе страны стал министром сельского хозяйства СССР. Так как в ведении Мацкевича находились почти все охотничьи угодья, включая Подмосковье, а он был, как и я, страстным охотником, то мы сблизились. Постепенно он начал доверять мне.

На письмо Хрущева Сталин ответил в том духе, что вопрос в принципе поставлен правильно, но сейчас заниматься им несвоевременно. Осуществить свою идею Хрущеву удалось в конце 50 — начале 60-х годов. Личный скот, главным образом коровы, в течение трех лет был частично сдан в стада колхозов и совхозов, в основном же крестьяне его прирезали. Были уничтожены миллионы голов скота. Ни колхозы, ни совхозы не могли принять такую массу скота из-за скверного состояния кормовой базы, помещений и невыгодных для крестьян условий сдачи скота. Крестьянам было выгоднее прирезать скот и использовать мясо для себя или сбыть на рынке».

Многие руководящие работники на местах считали решение Хрущева ошибочным. Но несогласные быстро попадали в опалу. «В разгар этой кампании,— отмечает Новиков,— я был в Белоруссии. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии К. Т. Мазуров прихворнул и находился дома. Ходили слухи, что он сопротивляется выполнению указания, и готовился якобы вопрос о выводе его из состава Президиума. Когда мы встретились у него на квартире, Кирилл Трофимович выглядел неважно. Я как бы мельком задал ему вопрос о ликвидации личного скота в деревне. Мазуров поморщился и тему развивать не стал. Однако скажу, что уничтожение скота в Белоруссии в широких масштабах развернуто все же не было» *.

Мы до сих пор расплачиваемся за эту чудовищную ошибку Хрущева, которая привела на многие десятилетия к острому дефициту мяса в стране.

Сенека говорил: тяжелая ошибка часто приобретает значение преступления. Очевидные преступления Сталина были уже вскрыты и разоблачены. А ошибки, так глубоко вошедшие в советскую систему управления, продолжали жить и мешать стране двигаться вперед и во времена Хрущева. Уже тогда мало кто открыто защищал репрессии 1937 года. Но все еще было очень много таких, кто разделял ошибочные идеи Сталина. Увы, Хрущев был среди них. Поэтому тогда так и не была дана научная критика сталинских концепций, которые оправдывали государственный социализм и тотальный контроль над обществом и личностью.

Под влиянием сталинских взглядов советский опыт 30—50-х годов сделали эталоном для суждений о социализме. Все непохожее на эту модель, например, в странах Восточной Европы, рассматривалось как отступление от социализма. Больше того, каждый раз, когда в жизни этих стран — Югославии, Венгрии, Польши — возникала новая форма эффективного развития общества, люди, окружавшие Хрущева, становились в этакую позу «защитников чистоты» и заявляли: «Это не социализм. Это противоречит его коренным принципам». Скатывание на позицию «капитализма» — самое малое обвинение. «Враги народа» — уже по максимальному счету. Хрущев несет свою долю ответственности за то, что у нас на протяжении двадцати лет с таким подозрением относились к югославским и венгерским реформам, к дискуссиям о социализме в Чехословакии и других странах Восточной Европы.

* См.: Вопросы истории. 1989. № 2. С. 105—111.

Глава восьмая
ЭЙЗЕНХАУЭР И КЕННЕДИ

1

В сущности, уже через несколько месяцев после смерти Сталина до нас стали доходить сигналы с политического Олимпа, которые свидетельствовали о стремлении к новому подходу во внешней политике. В 1953 году по советской инициативе закончилась война в Корее. Через два года был подписан мирный договор с Австрией. Доходили слухи о различных предложениях по существенным изменениям отношений с Западом, которые вносились членами высшего руководства.

Самое странное сообщение мы получили после ареста и казни Берии. В закрытом письме ЦК утверждалось, что именно Берия из провокационных соображений внес ряд радикальных предложений, направленных на международную разрядку. В их числе будто бы объединение и нейтрализация Германии. Иными словами, ликвидация Германской Демократической Республики в уплату за мирное сосуществование и, возможно, экономическую помощь западных стран. Это было одно из многочисленных предложений, которые в каком-то лихорадочном возбуждении вносил Берия в Президиуме ЦК КПСС, видимо пытаясь разрушить представление о себе как о самом злобном и ревностном продолжателе сталинского курса. Это политиканство и тогда, до ареста Берии, никого не могло ввести в заблуждение. Но то, что ему приходилось играть на этот раз, хотя и краплеными картами, в пользу разрядки международной напряженности, было показательно. Среди интеллигенции, да и партийного аппарата, росло недовольство «холодной войной», понимание совершенно новой угрозы, которую несет атомная бомба. Кто готовил материалы Хрущеву к основному докладу на XX съезде? Называли Шепилова, который также участвовал в подготовке доклада о советской внешней политике. Справедливости ради надо заметить, что уже в первых выступле-

ниях Г. М. Маленкова прозвучали примирительные ноты, адресованные капиталистическим странам. Говорилось о нашем стремлении к улучшению отношений с ними, к экономическому сотрудничеству.

На XX съезде партии была предпринята первая крупная попытка пробить брешь в железной стене «холодной войны». До этого и мы, и американцы, и восточные и западные европейцы, в сущности, исходили из предпосылки о неизбежности военного столкновения. И уж во всяком случае — непреодолимости военной конфронтации и военного состязания. Каждая из сторон имела совершенно ложное представление о целях своих оппонентов. Сталин, а вместе с ним и Хрущев были убеждены, что империализм стремится любой ценой разрушить нашу систему: как минимум — вернуть страны Восточной Европы на путь капитализма, как максимум — добиться его реставрации и в Советском Союзе. В свою очередь, Запад был убежден в том, что Советский Союз, страны Варшавского Договора готовят агрессию против Западной Европы и в подходящий момент протянут руку «братской интернациональной помощи» западноевропейским коммунистам.

И вот впервые на XX съезде партии Хрущев предпринял попытку разрушить этот стереотип. Он заявил о том, что мировая война — не фатальная неизбежность. Он предложил принцип мирного сосуществования как основу взаимоотношений между Западом и Востоком. Он перебросил мостик отсюда к не отвергнутой еще концепции солидарности и братства стран социализма со всеми народами, борющимися за его торжество в современном мире. Этим мостиком стала идея мирного, парламентского перехода к новому обществу в странах Запада.

Нельзя сказать, что это были совершенно новые идеи. Интересно, что уже на XIX съезде КПСС Сталин выступил с короткой речью, адресованной коммунистическому и рабочему движению. Он предложил компартиям поднять знамя буржуазной демократии и буржуазных свобод, якобы выброшенных за борт империализмом. Как известно, уже тогда в программных документах компартий Италии, Великобритании, Франции и некоторых других содержались идеи о возможности мирного, парламентского перехода к социализму.

Тем не менее то, что было заявлено Хрущевым на XX съезде, прозвучало как сенсация. Быть может, это произвело меньшее впечатление на политических руководителей западных стран, которые не очень полагаются на

словесные заявления, а верят в реальные, практические шаги. Но у нас в стране, особенно среди партийных работников и гуманитарных ученых, хрущевские идеи были восприняты как бомба замедленного действия.

В то же время в материалах XX съезда обращали на себя внимание и сохранившиеся от сталинской эпохи стереотипы. Прежде всего — широкое толкование тезиса о неизбежности идеологической борьбы, которая должна содействовать не только сохранению социалистической системы в тех странах, где она восторжествовала, но и к победе социализма во всемирном масштабе. С этим было связано и довольно неясное истолкование форм, методов поддержки освободительного движения. Впоследствии это широко использовалось как основание для вмешательства в дела той или иной страны в порядке «интернациональной помощи». Когда, на каких условиях может осуществляться такая помощь, съезд не разъяснял. Все оставлялось на усмотрение руководителей и их оценку сложившейся ситуации. Впрочем, одно важное, принципиальное ограничение было декларировано уже на XX съезде и в особенности в Заявлении коммунистических и рабочих партий 1960 года — о недопустимости «экспорта революции», как и «экспорта контрреволюции».

Я помню, как в журнале «Коммунист», где я работал в ту пору, разгорелась ожесточенная борьба вокруг истолкования принципов мирного сосуществования и мирного перехода к социализму. Подавляющее большинство ученых и партфункционеров, по сути дела, встретили эти идеи в штыки. И каждая публикация, которая ломала старые представления, давалась с боем.

Руководство идеологией по-прежнему находилось в руках М. А. Суслова и П. Н. Поспелова. Это были глубоко консервативные люди, не знавшие другого марксизма, чем тот, который они усвоили из произведений Сталина. Назначение Л. Ф. Ильичева секретарем ЦК по идеологии мало изменило дело, отчасти потому, что решающее влияние на теоретическую работу оказывал Суслов, а отчасти потому, что и сам Ильичев на несколько порядков отставал от хрущевских теоретико-политических новаций.

Но идеология и политика силового противостояния двух систем оставалась. «Холодная война», быть может, уже не существовала абсолютно в тех формах, как во времена Сталина. Но оттепель, характерная для внутренней политики страны, в международных делах еще не наступила.

Правда, решительно стал меняться дипломатический стиль. Сталин, как известно, не любил и боялся выезжать за границу. За все время своего руководства страной он побывал только в Тегеране, и пережитые там страхи, вероятно, навсегда отбили у него охоту подвергаться риску. Он не ездил даже в страны Восточной Европы. Вероятно, главной причиной была шпиономания, страх перед террористическим актом против себя. Но кроме того, это было органической частью психологии «железного занавеса». Раз страна изолирована от всего внешнего мира, значит, и ее вождь не должен подавать дурной пример другим руководителям, а тем более простым гражданам.

Потсдамская встреча составляла исключение. Сталин принял в ней участие, потому что не было другого выхода и потому, что она должна была стать кульминацией его триумфа во второй мировой войне.

Хрущев же не просто любил, а обожал ездить за границу. Не зря его соратники шепотом распространялись о том, что он не сидит в Москве, а все «мотается» за рубежом и по самой стране. Редкий месяц, особенно после 1960 года, проходил без выезда Хрущева за границу. Он многократно побывал в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии. Несколько раз посетил Китай, дважды — Соединенные Штаты Америки, побывал в Индии, Австрии, Франции, Англии. Словом, объездил значительную часть мира. Всего он выезжал за границу около сорока раз.

Это был первый шаг к открытости нашего общества. Запад получил возможность непосредственно увидеть советского лидера, и многие там вздохнули с облегчением. «Коммунистический дьявол» оказался не таким страшным. Хрущев охотно давал интервью, общался с журналистами, говорил откровенно, много шутил, рассказывал анекдоты, просто реагировал на острые вопросы. Мрачная, монументальная, как памятник на кладбище, фигура Сталина, которая в глазах западных людей олицетворяла коммунистический режим, сменилась живой, раскованной, озорной, лукавой, простоватой фигурой Хрущева.

Вообще хрущевский стиль отношений с западными лидерами, как ни странно, импонировал им. На Западе не ценят людей, застегнутых на все пуговицы, и потому не очень жаловали многих наших дипломатов. Другое дело Хрущев — без прикрас, натура, как она есть. Мне расска-

зывал бывший австрийский посол в СССР о первой встрече Хрущева с Юлиусом Раабом — федеральным канцлером Австрии — у трапа самолета в 1955 году, когда готовился договор между нашими странами. Рааб еще не успел спуститься по ступенькам, как Хрущев закричал: «Рааб, вы маленький капиталист». Он имел в виду принадлежность канцлера к буржуазной Австрийской народной партии. «А вы — самый большой коммунист в мире»,— нашелся Рааб. Оба посмеялись и прониклись симпатией друг к другу.

Прежде чем перейти к описанию событий внешней политики, хочу заметить, что именно в этой области больше всего сказывалась приверженность Хрущева к стереотипам, усвоенным им еще в сталинские времена. Отчасти это объясняется тем, что Хрущев на протяжении всего сталинского периода, в сущности, стоял совершенно в стороне от решения или обсуждения международных вопросов. Его просто информировали, и то задним числом, не по всем проблемам и, конечно, не по всем аспектам каждой проблемы.

Хрущев сам вспоминал в мемуарах, что каждый должен был знать то, что ему «положено». Сам он никогда не проявлял любопытства к внешнеполитическим секретам, которые считались заповедной областью Сталина, Молотова, может быть, Берии, но отнюдь не всех членов партийного и государственного руководства. Хрущев очень мало что знал о причинах войны с Финляндией, о пакте с Гитлером, тайном протоколе по Прибалтике, о корейской войне.

Точно так же он практически не был приобщен к информации о создании советского ядерного и ракетного оружия, достигнутом уровне в состязании с американцами, о характере этого оружия и возможной ядерной войне. Он слепо принимал на веру любую версию, которая ему преподносилась. И на протяжении «славного десятилетия» Хрущев практически не пересмотрел ни одного крупного сталинского внешнеполитического шага. Вывод наших войск из Австрии и прекращение корейской войны, быть может, составляли исключение. Но эти решения созревали уже во времена Сталина.

С тем большей страстью взялся Хрущев за внешнеполитическую деятельность, оказавшись на вершине власти. На первых порах его роль не была значительной, поскольку внешней политикой занимался Молотов, который считался главным авторитетом в этой области. За два года —

с 1953-го по 1955-й — было осуществлено несколько важных советских инициатив примирительного характера по отношению к Западу. Трудно сказать, какую роль играл в этом Хрущев, но, несомненно, он принимал участие в решении проблем. В последующей полемике Хрущев обвинял Молотова в задержке договора с Австрией, а также в том, что тот противодействовал восстановлению советско-югославских отношений. Отсюда можно сделать вывод, что Хрущев с самого начала добивался пересмотра отношений между Востоком и Западом.

С 1955 года началась эра активных встреч Хрущева с западными руководителями. В том году он встречался в Женеве с президентом Д. Эйзенхауэром. Главной проблемой, которая тогда обсуждалась, был германский вопрос. Хотя соглашения достигнуть не удалось, тем не менее обе стороны молчаливо исходили из реальности существования двух Германий. Ни Соединенные Штаты, ни страны Западной и Восточной Европы не были заинтересованы в воссоединении ФРГ и ГДР, поскольку это означало бы восстановление мощной Германии с непредсказуемой в будущем политикой.

В 1956 году Хрущев вместе с Булганиным посетил Англию. Но первая его по-настоящему крупная ознакомительная поездка по странам Запада состоялась в 1959 году. По приглашению Д. Эйзенхауэра он вместе с большой делегацией побывал в США. Эта поездка произвела огромное впечатление на Хрущева. Его поразили прежде всего технологические и экономические успехи США. Особый интерес вызвали фермерские хозяйства. Однако, как ни странно, здесь он обращал внимание больше всего на методы ведения хозяйства, чем на производственные отношения. Отсюда пошло увлечение Хрущевым кукурузой. Здесь он почерпнул многие сведения об эффективном семенном фонде. Здесь увидел высокоэффективный скот. Здесь познакомился с бойнями и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции. Он стал энтузиастом внедрения этих методов в Советском Союзе. Однако американское фермерство ни в малейшей степени не заинтересовало Хрущева. Он продолжал оставаться убежденным сторонником колхозного и даже совхозного хозяйства, которые казались ему потенциально куда более продуктивными в силу своего индустриального характера.

2

Особое место во время этой и других поездок в США занимали встречи Хрущева с представителями прессы. Журналисты обожали эти встречи. Уже по утрам возле резиденции Хрущева собиралась стайка газетчиков, которые ждали его выхода на балкон, откуда он проводил свои импровизированные пресс-конференции. Его откровенность, грубоватая манера шутить, эмоциональность очень нравились американцам, которые старались превратить эти встречи в своеобразные политические шоу.

Во время моего последнего пребывания в США один американский журналист и ученый вручил мне запись пресс-конференции Хрущева в Америке в 1959 году. Вот ее сокращенное (и неотредактированное) изложение:

ОТВЕТЫ Н. С. ХРУЩЕВА НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРЕСС-КЛУБЕ В ВАШИНГТОНЕ 16 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА

Вопрос. Что Вы можете сказать по вопросу о положении евреев в Советском Союзе?

Ответ. Положение еврейского населения у нас характеризуется хотя бы следующим. В числе тех, кто создавал условия для запуска ракеты на Луну, достойное место занимают и евреи. Вообще у нас национального вопроса не существует. У нас не спрашивают, какого вероисповедания человек придерживается. Это дело совести каждого человека. Мы прежде смотрим на человека как на такового. Поэтому евреи и русские, украинцы, туркмены, узбеки, казахи, белорусы, грузины, армяне, калмыки... знаете, если я начну так пересчитывать, понимаете, перечислять все национальности в Советском Союзе, то, знаете, у нас не хватит времени, отведенного для пресс-конференции. И все эти люди живут у нас в мире и в согласии. Поэтому вопрос национальный, это, знаете, Советский Союз, мы гордимся этим вопросом. Что такое многонациональное государство, каким является Советский Союз, так крепко держится и так взаимно доверяют люди друг другу и к общей цели идут в общей шеренге.

Вопрос. Часто ссылаются на то, что на одном дипломатическом приеме Вы якобы сказали, что Вы нас закопаете в землю. Если Вы этого не говорили, то Вы, может быть, это опровергнете. А если говорили, то, может быть, объясните, что Вы имеете в виду.

Ответ. Знаете, здесь вот есть маленькая частица американцев, да, знаете, всей моей жизни бы не хватило, если бы я взялся всех вас закапывать. Я действительно такое выражение допустил. Я вам объясню, как это было. И что это значит. Собственно, мое высказывание извратили. И сознательно извратили, потому что вопрос стоит не о том, что кто-то будет закапывать кого-то физически, а вопрос исторического развития общества. Каждому грамотному человеку известно, что строй, существующий сейчас в мире... во-первых, в настоящее время не один господствует строй,

а разный строй в разных государствах и у разных народов. И он меняется. Был феодализм, его заменил капитализм, почему? Потому, что капитализм был более прогрессивен, чем феодализм. Капитализм в сравнении с феодализмом создавал лучшие условия для развития производительных сил страны.

Сейчас капитализм настолько развился, что породил противоречия. Каждый строй, изживая себя, порождает своих наследников. Мы считаем, что на смену капитализма — это доказали научно Маркс, Энгельс и Ленин — придет коммунизм. Поэтому я и сказал, что в историческом развитии и в историческом понимании коммунизм придет на смену капитализму, то есть капитализм будет похоронен и вырастет коммунизм. Вы скажете, что этого не может быть. Вы со мной не согласны, следовательно. Что нам делать? Давайте жить — живите вы при капитализме, а мы будем строить коммунизм.

Вопрос. В Соединенных Штатах известна история, возможно, вымышленная. Заключается она в следующем. Когда Хрущев выступал на съезде партии, обличая сталинские преступления, он получил анонимную записку, в которой содержался вопрос: «А что делали Вы, когда Сталин творил преступления?» Тогда якобы Хрущев попросил автора записки представиться. Прошло несколько минут, но никто из присутствующих не поднялся, и тогда Хрущев вроде бы сказал: «Теперь, товарищи, вы понимаете, что я делал, когда Сталин творил преступления». (Смех в зале.) Господин Хрущев, если эта история ложная, то все мы о ней позабудем.

Ответ. Я хотел бы ответить тем сочинителям, тем, кто сочинил этот вопрос, когда они его сочиняли и когда они его выдумывали, какие цели они преследовали, что они ставили перед собой, чего они хотели? Вы что, хотите поставить меня в положение в такое и смеетесь уже заранее? Как русские говорят, знаете, смеется тот, кто смеется последний. И как бы вы, господа выдумщики, понимаете, всяких вздорных сочинений, смеетесь заранее, что вы ловко выдумали, после не раскаивались в своих выдумках. Я на провокации не пойду и не отвечу какими-нибудь недружескими выпадами здесь собравшимся достойным представителям печати Соединенных Штатов, потому что ложь, на каких бы ногах она ни ходила, не может за правдой угнаться. (Аплодисменты.)

Вопрос. Накануне Вашего приезда в Соединенные Штаты был запущен советский искусственный спутник на Луну. Это случайное совпадение? И другой вопрос, связанный с этим: означает ли запуск спутника притязания СССР на поверхность Луны?

Ответ. Совпадение поездки моей в Соединенные Штаты и посылки ракеты на Луну — это простое, но я бы сказал, приятное совпадение. Если кто-либо сомневается в этом совпадении, я отослал бы вас к вашим ученым. Пусть вам ученые это разъяснят. Возьмите и скажите-ка ученым, чтобы они приурочили к такому-то числу запуск ракеты на Луну, и как это выйдет? (Смех, аплодисменты.) Часть вопроса, который был мне зачитан: является ли это основанием для Советского Союза предъявлять какие-либо собственнические претензии на Луну? Я прошу вас правильно меня понять. Я никому не хочу нанести какой-либо обиды, но мы люди разных континентов, разных психологий. Поэтому люди, которые так ставят вопрос, они мыслят, так сказать, понятиями частнособственнической капиталистической психологии,

а я человек социалистической страны и нового мировоззрения и новых понимаций. Поэтому у нас слово «мое» отживает. А внедряется слово «наше». Поэтому посылка в космос ракеты и нашего вымпела — это, значит, завоевание наше. И в этом слове «наше» мы подразумеваем страны всего мира. Поэтому «наши» — это значит и «ваши», всех людей, живущих па Земле. (Аплодисменты.)

Вопрос. Господин Хрущев, этот вопрос в разных формах задавался, в своем выступлении Вы говорили, что не должно быть вмешательства во внутренние дела других стран. Как это совместить с русским вмешательством в дела Венгрии?

Ответ. Видите, вопрос о Венгрии у некоторых довольно навяз в зубах, знаете, как дохлая крыса: и ему и неприятно, и выплюнуть не может. Если вы хотите беседу направить в этом направлении, я могу вам не одну дохлую кошку подбросить еще; знаете, посвежее, чем вы хотите, понимаете, вопрос поставить о Венгрии. Вопрос о Венгрии, и я когда-то довольно исчерпывающе еще давал объяснения в своих выступлениях, и особенно я с большим удовольствием и радостью держал ответ перед венгерским народом, когда я приехал в качестве гостя, представляя наш доблестный Советский Союз. В Венгрии, знаете, так аплодировали... Поэтому с венграми у нас давно все вопросы разрешены, и мы в общей шеренге шествуем победоносно, они строят социализм, а мы коммунизм, поэтому наши цели совпадают, у нас путь один и цель одна.

Встречных такого характера вопросов я перед вами ставить не буду, потому что я приехал с другими целями, я приехал сюда с добрыми намерениями и с чистым сердцем, я приехал не отыскивать вопросы для обострения отношений между нашими народами, между нашими правительствами, я приехал смягчить эти отношения и убрать камушки, которые на пути нашем и мешают нашему сближению, поэтому я за время своего пребывания ничего не хочу сделать, что бы противоречило главной цели — улучшению отношений, ликвидации напряжения, ликвидации холодной войны, обеспечению дружбы, обеспечению мира во всем мире.

Вопрос. Мы всегда стремимся получить у Вас известие заранее, господин Хрущев, поэтому нам было бы небезынтересно узнать, когда Вы планируете забросить человека на Луну? (Смех.)

Ответ. У вас довольно неудачное выражение — «забросить». Забросить человека мы никогда не собираемся, потому что мы очень ценим человека каждого, и забрасывать его не будем, а человека пошлем на Луну тогда, когда будут созданы технические условия, покаместь таких условий еще не имеется, поэтому мы не хотим забрасывать в таком понимании — забросить вроде как выбросить. Нам люди очень дороги.

Вопрос. Будет ли Россия готова поделиться с Канадой, ее арктическими соседями и Соединенными Штатами информацией, которую русские ученые получили в результате широких и очень успешных исследований в Арктике?

Ответ. Я думаю, что будут. Нам надо сотрудничать всем странам в данном вопросе. Это полезно. Вообще мы против монополии всякой. (Смех и аплодисменты.)

Вопрос. Какова цель Вашей поездки в Пекин после поездки в США?

Ответ. Самый сложный вопрос! (Смех.) Товарищи! Извините, здесь есть и то и другие товарищи! (смех), — по привычке,

во-первых, здесь и наши советские журналисты есть, с которыми у нас просто вошло в обычай обращение «товарищ», кроме того, я не хочу себя лишить и такого понимания, что и среди вас некоторое количество найдется, которое бы не протестовало, когда я их бы назвал товарищами. Я обращаюсь «господа»! (Смех.) Я думаю, что журналисты не только пишут, но и читают. (Смех.) И если журналисты читают, то они должны вычитать, что 1 октября 1959 года исполняется десятилетие завоевания власти американским рабочим классом и трудов... (смех), вот видите, сразу скажете, вот, мол, куда Хрущев, о чем думает, прямо на горячем, как говорится, поймали (смех), китайским рабочим классом и трудящимися крестьянами Китая завоевана власть и установлена народная власть, так сказать, в Китае. Они довольно торжественно празднуют, как и мы празднуем. Мы Октябрьскую революцию считаем, что когда-то будет время, что от Октябрьской революции будут исчислять, так сказать, летоисчисление. Но это будущее. Китайцы также дорожат и мы уважаем их(нюю) любовь, так сказать, к своим успехам. Когда было пятилетие, я тогда возглавлял советскую делегацию и ездил в Пекин. Мы получили приглашение от китайского правительства прислать свою делегацию на празднование десятилетия, поэтому у меня так сложилось, что я должен буду вернуться в Советский Союз 28-го и уехать в Китай, в Пекин,— 29-го,— это будет очень трудно по срокам, но это большая честь для меня принять участие в праздновании десятилетия. Так как церемония начнется на два дня раньше, поэтому до того, как я приеду, делегацию будет возглавлять товарищ Суслов. Ввиду того что я задерживаюсь здесь, выступать от нашей делегации будет, видимо, товарищ Суслов.

Вопрос. Господин Хрущев, могли бы Вы отметить в своем выступлении сегодня, выдвинули ли Вы какие-либо новые предложения, содержит ли Ваше сегодняшнее выступление какие-либо новые предложения, направленные к разрядке международной напряженности?

Ответ. Вопросы выдумывать нельзя. Я о себе говорю. Сперва надо решить те, которые выдвинуты вопросы и ждут своего решения. А выдумывать вопросы, когда не решены кардинальные вопросы,— это значит уходить от решения вопросов. Поэтому если мне скажут, что я новых вопросов не выдвинул, то я с вами соглашусь. Поговорка русская, знаете: повторение — мать учения. Мы упорные люди. Вопросы, которые сейчас мешают сближению народов, которые стоят искрой, которые могут воспламенить пожар войны, надо обязательно эти искры затушить и добиться решения их, с тем чтобы обеспечить мир для всех народов.

В течение одной пресс-конференции Хрущев, как видим, затронул все острые вопросы, которые обсуждались тогда в американском общественном мнении. И на этот раз ничего лишнего не сказал, проявив несвойственную обычно сдержанность. Его разъяснения по поводу облетевшей всю Америку фразы «кто кого закопает» отнюдь не устроили оппонентов. Эту фразу американцы вспоминают до сих пор. Ну и, конечно, уклончивый ответ по поводу зарождавшегося советско-китайского конфликта мало удовлетворил журналистов. Что касается венгерских

событий 1956 года, то Хрущев искренне считал вопрос давно решенным и видел только в возвращении к нему попытки подбросить «дохлых пропагандистских кошек».

Все эти вопросы пришлось решать много десятилетий спустя, уже после кончины Хрущева.

В 1960 году в Париже состоялась одна из самых важных встреч на высшем уровне — между Хрущевым и Эйзенхауэром. Эта встреча до сих пор служит предметом невероятных предположений и сомнительных догадок. Во время нее планировалось вновь обсудить германскую проблему, поскольку Хрущев считал главным дипломатическое признание ГДР западными державами. Это было важно и для самой Германской Демократической Республики: служило залогом стабилизации в Европе на основе признания статус-кво. На встрече должен был также обсуждаться вопрос о советско-американских отношениях и ограничении гонки вооружений.

Насколько мне известно, подготовка к этой встрече вызывала большие споры среди советского руководства. Сам Хрущев был полон сомнений. Советскому Союзу было еще очень далеко до паритета с Соединенными Штатами по ядерному и ракетному вооружению, хотя наша программа развертывалась полным ходом. Приостановка ее могла означать закрепление на длительную перспективу американского превосходства. Если два года спустя во время карибского кризиса признавалось, что американцы имели в семнадцать раз больше, чем СССР, ядерных боеголовок, то, вероятно, в момент парижской встречи соотношение было еще менее выгодным для Советского Союза. Трудно было ожидать всерьез, что американцы пойдут на неадекватное ограничение военного уровня, а тем более сокращение своих ракетно-ядерных вооружений, что приблизило бы их к советскому уровню.

Другое сомнение было связано с отношением американской администрации к ГДР. По всему было видно, что она не готова ни к дипломатическому признанию этой страны, ни к закреплению границ между нею и Польшей. Для Хрущева ограничение вооружений было тесно связано со стабилизацией в Европе. Это все сплелось в один узел, из которого трудно было вытаскивать одни элементы, игнорируя другие.

Но самые большие сомнения Хрущева были связаны с позицией Мао Цзэдуна. Мао был решительным противником советско-американского сближения. Он был убежден, что такое сближение может нанести ущерб китайским

интересам, стабилизировать положение СССР и США как двух держав, которые «командуют всем миром». Кроме того, в Китае началось развертывание собственной ядерной программы.

На первых порах Советский Союз помогал Мао Цзэдуну в создании атомной бомбы, в частности построил завод по производству тяжелой воды. Но, насколько мне известно, с 1956 года СССР прекратил такую помощь, что вызвало у Мао разочарование и сильное раздражение и, вероятно, послужило одной из причин его противостояния Хрущеву и хрущевской политике. Между тем сам Хрущев, конечно, не мог не считаться с позицией великого союзника и во всех своих шагах в отношениях с Соединенными Штатами и странами Западной Европы постоянно оглядывался на китайского сфинкса.

Несмотря на все это, накануне встречи Хрущева с Эйзенхауэром был подготовлен целый пакет важных предложений, проектов и соглашений. Мне довелось участвовать в обсуждении некоторых из этих документов. Я до сих пор убежден, что, если бы они целиком или даже частично были приняты, удалось бы избежать в последующем и берлинского и карибского кризисов, и нового ужасающего витка гонки вооружений.

Колебания Хрущева сыграли роковую роль. Не хватало только капли, чтобы весы качнулись в другую сторону. Такой каплей стал полет американского разведывательного самолета У-2 над Советским Союзом незадолго до встречи в Париже. Самолет был сбит советской ракетой, и американский летчик капитан Пауэрс оказался в плену.

Какое же впечатление на самом деле этот факт произвел на Хрущева? Трудно сказать. Быть может, он действительно пришел в негодование из-за коварства американской стороны, которая, несмотря на потепление и предстоящую встречу, продолжала разведывательные полеты над Советским Союзом.

Но я склонен скорее думать, что Хрущев разыграл взрыв страсти, поскольку он и раньше и потом считал секретные действия и США и даже СССР, коварство и шантаж неизбежным элементом в их взаимоотношениях. Мне известно, что уже перед самым вылетом в Париж Хрущев собрал на аэровокзале заседание Президиума ЦК КПСС и предложил отменить все подготовленные ранее предложения и документы, мотивируя тем, что обстановка для соглашения неблагоприятна со всех точек зрения.

Огромный труд дипломатов, партийных работников, военных и других служб, затраченный на проработку советских позиций, пошел насмарку. Одним росчерком пера советско-американские отношения были отброшены назад. Не думаю, что в таком решении основную роль сыграли эмоции Хрущева. Скорее всего, он пришел к выводу, что выгоды от соглашений в тот момент будут меньше убытков. Мрачная тень Китая как дамоклов меч висела над всем процессом улучшения отношений с Западом. Да и неослабевающий нажим В. Ульбрихта, который в силу понятных причин выдвигал признание ГДР как главное условие поворота в советско-американских отношениях, тоже не мог игнорироваться Хрущевым.

Поэтому, приехав в Париж, он прежде всего потребовал формальных извинений от Эйзенхауэра, и когда тот отказался это сделать, встреча была сорвана.

Когда я думаю об этом эпизоде, меня больше всего мучает мысль о политике как о кладбище утраченных возможностей. Тридцать лет назад, я убежден, можно было начать медленное, но последовательное продвижение по пути ограничения гонки ракетно-ядерных вооружений. В конце концов, как показали все последующие события, это был центральный вопрос. Но обе стороны, каждая по своим мотивам, оказались не готовыми осознать это. Американцы потому, что знали о своем огромном превосходстве в таких вооружениях и питались иллюзией, что оно будет сохраняться всегда; советские руководители — потому, что испытывали постоянный комплекс неполноценности из-за американского превосходства. Будучи великой державой, которая сыграла решающую роль в разгроме фашизма, располагая огромной армией и неисчерпаемыми ресурсами, Советский Союз не мог смириться с мыслью об американском превосходстве. Так был упущен исторический шанс приостановить гонку вооружений.

Сыграли свою роль и психологические факторы. Эйзенхауэр, как человек спокойный, рассудительный, не мог понять хрущевской экспрессии. В том, что было продиктовано комплексом неполноценности, он усматривал только вызов и агрессивность, желание унизить Америку, особенно в глазах ее союзников по НАТО. Американцы недооценивали значение германской проблемы для Советского Союза. Роковую роль тогда и впоследствии сыграло то, что США с таким опозданием признали ГДР и статус-кво в Европе. Все равно им пришлось это сделать. Почему же этого не произошло уже в начале 60-х годов? Обладая

превосходством в ядерном вооружении, они могли изобразить такой шаг как великодушный акт доброй воли и тем самым создать почву для психологического и политического перелома в отношениях с Советским Союзом.

3

Раздражение Хрущева американской неуступчивостью особенно сильно проявилось во время его поездки в Нью-Йорк осенью 1960 года для участия в XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его раздражение усилилось тем, что представители африканских государств не поддержали советскую позицию по поводу Конго. Не отозвалась ООН и на предложение создать «тройку», которая выполняла бы роль Генерального секретаря, а также на критику Хрущевым Дага Хаммаршельда. Наконец, совсем странным показалось его предложение перенести штаб-квартиру ООН в одну из европейских стран. И вот здесь-то и произошел инцидент, который до сих пор вызывает улыбки и даже насмешки у многих людей на Западе.

Во время выступления премьер-министра Великобритании Макмиллана Хрущев снял ботинок и стал стучать им по столику, за которым сидел. О реакции простых американцев мне рассказывал мой друг американский профессор Джим Блайт. Он сослался на своего отца — фермера в одном из штатов Америки. Джим спросил у него: кто такой Хрущев? А тот ответил: «Как же, хорошо помню, это тот самый человек, который стучал ботинком в Организации Объединенных Наций да еще учил наших фермеров, как им сажать кукурузу».

Сам Хрущев в своих воспоминаниях совсем иначе излагает этот эпизод и мотивы своего поведения. Он рассказывает, что его страшно возмущали представители испанской делегации, сидевшие непосредственно впереди него. Он даже запомнил одного из них — немолодого человека с приличной лысиной, седого, худого, со сморщенным лицом, вытянутым носом. Этот человек был страшно неприятен Хрущеву — не сам по себе, а потому, что представлял франкистскую Испанию.

Хрущев вспомнил, как накануне отъезда в Штаты он встретился в Москве с Председателем Компартии Испании Долорес Ибаррури. Она обратилась к нему с просьбой: «Хорошо было бы, если бы вы выбрали момент — в реп-

лике или в речи — и заклеймили франкистский режим в Испании».

Поглядывая на испанского делегата, Хрущев раздумывал, как бы сделать это, да так, чтобы не выглядело слишком грубо. И он действительно в своем выступлении очень резко критиковал Франко, назвал его режим реакционным, кровожадным, то есть в том духе, как это было принято в советской печати. И вот, по словам Хрущева, во время выступления с репликой представителя Испании вся советская делегация стала шуметь, кричать, а сам он снял ботинок и стал как можно громче стучать по пюпитру.

Есть определенные расхождения в изображении этого эпизода. Западные представители утверждают, что этот непарламентский жест был сделан во время выступления Макмиллана, а по версии Хрущева, это было во время выступления испанца. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, что для Хрущева не было ничего необычного в таком жесте. Прежде всего потому, что представители рабочего класса отнюдь не обязаны применять те же дипломатические методы, что и представители буржуазии. Именно в таком духе он реагировал на сделанное Неру в свойственной ему деликатной форме замечание о том, что не следует применять подобные методы. Одно дело Неру, его политика, рассуждал Хрущев. Он нейтралист и поэтому занимает позицию между социалистическими и капиталистическими странами. А совсем другое дело — классовая, пролетарская дипломатия.

Между прочим, я слышал и другое объяснение от сына Хрущева — Сергея Никитича. Во время нашей общей встречи с упомянутым Джимом Блайтом, которая произошла в конце 1988 года в ресторане Центрального Дома литераторов, он рассказывал, что Хрущев попросту не видел ничего необычного в подобной акции. Он считал, что в Америке, с ее шумными, грубыми нравами, где могут освистать любого певца или политического деятеля, такие формы протеста вполне нормальны...

Мне не довелось быть во время этой поездки Хрущева в Америке, но в своем кругу советников мы обсуждали его выступление в ООН и этот странный жест и, как ни старались, не могли найти ему ни объяснения, ни оправдания. Укреплялось впечатление о Хрущеве как о человеке прогрессивном, но не вполне уравновешенном, которому еще предстоит набраться опыта в общении с лидерами современного мира. Вообще говоря, работа наших

республиканских и областных секретарей, их фактическая отрезанность от международных контактов были самой плохой школой дипломатической деятельности.

Между тем еще во времена Сталина стала складываться практика, которая потом развилась и закрепилась при Хрущеве и Брежневе,— направлять на дипломатическую работу именно руководителей партийных организаций областей или республик, как правило, в чем-то проштрафившихся. Конечно, некоторые из них осваивали дипломатию, особенно если они предварительно проходили стажировку в Министерстве иностранных дел. Но большинство продолжало действовать привычными для них методами.

В социалистических и так называемых странах социалистической ориентации это наносило немалый вред, поскольку к их мнению по вопросам внутренней политики прислушивались местные руководители. А мнения эти формировались под влиянием представлений о советской модели социализма и сталинских стереотипов. В отношениях со странами Запада такие дипломаты нередко страдали упрощенным подходом, примитивизмом, не говоря уже о нарушениях привычных дипломатических форм. Так что Хрущев был довольно типичен как представитель этой «партийной дипломатии», находившейся в контрасте с обычной советской дипломатической службой.

Вообще говоря, американцы, как представители богатой и могущественной державы, в те времена всегда недооценивали то, что испытывают посланцы других народов. Я уже не говорю о малочисленных нациях, но даже руководители такой великой державы, как СССР, были чрезвычайно чувствительны к любому проявлению превосходства американцев. Хрущев не составлял исключения. Напротив, как раз с него в особенности и начинаются не просто великодержавные — скорее, супердержавные амбиции как прямое подражание стилю американских руководителей.

С этой точки зрения чрезвычайно показательны его чувства перед поездкой в США. Уже в те времена, когда готовилась поездка, я часто слышал от помощников Хрущева, как беспокоится их шеф по поводу процедуры встречи. Дело в том, что Хрущев был тогда Председателем Совета Министров, а не Президиума Верховного Совета СССР. Он выступал как руководитель правительства, но не глава государства. Следовательно, процедура встречи могла быть на порядок ниже, чем если бы в Аме-

рику поехал Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

И вот Хрущев по дипломатическим каналам вступил в переговоры с американской администрацией, настаивая на том, чтобы его рассматривали как руководителя и партии и государства. Без обиняков он давал понять, что процедура его приема должна быть такой же, как процедура предполагавшегося приема Эйзенхауэра в Москве. Вопрос, казалось бы, маловажный и второстепенный, но для Хрущева он приобретал значение какого-то символа — не просто связанного с его персоной, а символа признания Соединенными Штатами политического паритета с СССР.

В своих воспоминаниях Хрущев замечает, что если скрупулезно разбираться, то все его претензии были несколько преувеличены, но он все-таки хотел исключить всякую дискриминацию, тем более, по его предположениям, у американцев было искушение поставить советского руководителя «на место». Однако американцы в конце концов согласились с предложенной процедурой. Можно только удивляться, какой почти детский восторг это вызвало у Хрущева.

Вот как он сам рассказывал об этом на митинге во Владивостоке 6 октября 1959 года, после своего визита в США:

— Когда я стоял на аэродроме под Вашингтоном, прощаясь с Америкой, перед самым отлетом в честь нашей Родины, как и при встрече, был дан Салют наций. Мне было очень приятно слушать гимн нашей Родины и двадцать один залп из орудий. После первого залпа я подумал: «Это — Карлу Марксу; второй залп — Фридриху Энгельсу; третий залп — Владимиру Ильичу Ленину. Четвертый — его величеству рабочему классу, трудовому народу!» ...Итак, залп за залпом в честь нашей Родины, ее народов. Неплохо, товарищи, неплохо! *

Чувство неполноценности сквозило и во многих других высказываниях Хрущева. Он вспоминает, что, когда кончилась война и Советская власть твердо встала на ноги, буржуазный мир был вынужден пойти с ней на контакты. Но контакты эти были «нетвердые, шаткие». И где была возможность уколоть и унизить Советский Союз, это буржуазный мир делал. Поэтому Хрущев испытывал беспокойство, что Кэмп-Дэвид станет именно таким местом —

* Правда. 1959. 8 окт.; Рассказ о почетном шахтере. С. 253.

второстепенным, незначительным, малоизвестным,— куда президент приглашает его на несколько дней как раз с целью унизить. Впоследствии, когда Хрущев, побывав в Кэмп-Дэвиде, убедился в престижности встречи, он заметил: «Мне сейчас немного смешно и стыдно».

Такой же комплекс мучил его и по поводу переговоров с американским президентом. Странно сказать, но свои представления об Америке он черпал в основном из книги Максима Горького «Город Желтого Дьявола», написанной совсем в другую эпоху и, как известно, с уязвленными личными чувствами.

Хрущева беспокоила и необходимость беседовать с глазу на глаз с Эйзенхауэром, когда рядом не будет ни Громыко, ни других советников. Он ждал спора, предполагал обсуждение сложных вопросов и больше всего думал о том, как бы аргументированно и достойно защищать советскую позицию, «не унизиться и не позволить лишнего». По его словам, такой комплекс усвоен им еще во времена Сталина. Сталин не упускал случая убеждать своих соратников в том, что они «негодные люди», что они не смогут устоять против силы империализма и достойно представлять свою Родину, что «империалисты сомнут нас». Такими были чувства этого великого крестьянского сына, когда он собирался встретиться со знаменитым генералом и президентом великой страны. Вероятно, Эйзенхауэр не подозревал ни о чем подобном, поскольку он готовил Хрущеву самую торжественную встречу. В действительности она превзошла все ожидания советского лидера.

Победа Джона Кеннеди над Ричардом Никсоном на очередных выборах президента США вызвала полное одобрение у Хрущева. Прежде всего, советские руководители и общественное мнение страны всегда больше симпатизировали демократам, чем республиканцам. Эта традиция шла еще от неизжитых симпатий к Франклину Рузвельту, который не только первым осуществил дипломатическое признание Советского Союза в 1933 году, но и выступил как самый надежный союзник в великой «тройке» во время второй мировой войны. Было известно также, что за демократов обычно голосуют негры и другие низкооплачиваемые слои населения, а это рассматривалось как положительный фактор с точки зрения традиционного «классового подхода» к оценке зарубежных событий. И наконец, Джон Кеннеди лично вызывал больше симпатий у Хрущева, чем Никсон, особенно после известной дискус-

сии с последним, которая получила хлесткое название «кухонных дебатов».

Хрущев с самого начала ставил Джона Кеннеди выше и Эйзенхауэра. Он признавал большие военные заслуги генерала во время мировой войны, но скептически оценивал его политическую деятельность. А Джон Кеннеди — молодой, энергичный, незаурядный новый президент — внушал Хрущеву надежду на возможность радикального улучшения советско-американских отношений. Нельзя исключить также, что Хрущев рассчитывал, что со своим огромным политическим и жизненным опытом он сможет оказывать большее влияние и давление на Кеннеди, чем если бы имел дело с многоопытным «политическим волком». Поэтому Хрущев охотно принял предложение Кеннеди о встрече в Вене, которая состоялась в июне 1961 года.

В Вену Хрущев ехал уже с совсем другими чувствами, чем в Кэмп-Дэвид. Он обрел не только уверенность, но и некоторую самоуверенность. Если перед встречей с Эйзенхауэром он был озабочен тем, чтобы не ударить в грязь лицом, то сейчас его больше занимало, как бы «поставить на место» молодого президента и добиться от него желаемых уступок.

Мне довелось еще в ту пору ознакомиться со стенограммой переговоров между советским и американским лидерами. Меня сильно удивило тогда, какое большое место заняло выяснение идеологических вопросов — о капитализме, социализме, о принципах отношений и др.

Что касается практических вопросов, то Хрущев и Кеннеди не смогли договориться ни по одному пункту. Отчасти это объяснялось тем, что Кеннеди рассматривал такую встречу как ознакомительную, а быть может, предупредительную. Отчасти, наверное, тем, что Хрущев выдвигал нереалистические цели, полагая их достижимыми. Его по-прежнему больше всего заботила германская проблема. Он добивался дипломатического признания ГДР Соединенными Штатами и другими странами Запада, узаконения раскола Германии на два государства. Он ставил вопрос об удалении западных держав из Западного Берлина и даже снова говорил о необходимости поставить во главе ООН трех генеральных секретарей.

Кеннеди не согласился ни с одним из этих требований. Что касается советско-американских отношений, то, насколько мне известно, делового обсуждения каких-либо конкретных проблем не произошло.

Два лидера вынесли из этой встречи смешанные чувства. Кеннеди убедился в том, что в лице Хрущева он имеет умного и здравомыслящего партнера. Однако ему остались совершенно неясными подлинные мотивы и цели советской внешней политики. Хрущев признавался после возвращения, что Кеннеди произвел на него куда более благоприятное впечатление, чем Эйзенхауэр, как человек, способный по-новому взглянуть на отношения с Советским Союзом. Молодой президент, безусловно, внушил ему чувство уважения, однако показался «чересчур интеллигентным», то есть не очень способным принимать твердые решения в критических ситуациях. Чтобы лучше понять такую оценку Хрущева (а о ней мне рассказывали советники, сопровождавшие его в Вену), надо напомнить, что сам Хрущев пришел к власти как раз в борьбе против партийных «интеллигентов». Такие люди, как Каменев, Зиновьев, Бухарин, безусловно, проигрывали в глазах Хрущева в сравнении со Сталиным именно потому, что были «спорщиками», «идеологами», а не деловыми практическими политиками. Мне думается, что он перенес эти свои впечатления внутрипартийной борьбы на оценку американского президента.

Это была серьезная ошибка, в чем Хрущеву пришлось убедиться во время берлинского и в особенности в момент карибского кризиса.

4

В 1963 году я сопровождал партийную делегацию во главе с Хрущевым, в которую входил Андропов, на VI съезд Социалистической единой партии Германии. Первые впечатления о Берлине были у меня странными. Уже проезжая по городу, я увидел немцев в военной форме, удивительно напоминавшей прежнюю, которую мы знали по кинофильмам, изображавшим войну. Сам город выглядел довольно мрачным, малолюдным, даже осажденным. Особенно поражала резиденция в Панкове, в которой находилось наше партийное и государственное руководство. Проезд сюда был блокирован, загорожен шлагбаумами, возле которых стояла специальная охрана.

Не могу не рассказать о некоторых забавных накладках житейского характера. Немцы не были извещены о точном составе сопровождавших делегацию лиц, либо им

сообщили заниженную цифру. Между тем они подготовили резиденцию, в которой все мы разместиться не могли. И тогда я в первый и последний раз спал в одной постели с мужчиной. Это был Елизар Ильич Кусков.

Плотно поужинав, мы отправились в свою комнату. Там стояла довольно широкая кровать с двумя подушками и двумя одеялами, пуховыми и коротковатыми. Ноги укроешь — оголяется грудь, грудь укроешь — оголяются ноги. Не знаю, как под таким одеялом размещались люди высокого роста. Только мы улеглись, раздался совершенно исключительной силы могучий и разнообразный по своему звуковому оформлению храп моего друга. Я толкнул его слегка, он проснулся и сказал: «Извини!» Потом повернулся на другой бок и... захрапел пуще прежнего. Так я промучился до четырех часов утра, а потом отправился в другую комнату, где разделил постель с другим мужчиной... Но это к слову.

То было время, когда еще не спало полностью напряжение берлинского кризиса. Нас повезли к Бранденбургским воротам и показали стену, по обе стороны которой находились советские и американские патрульные войска. Мне впервые довелось это увидеть. Обстановка выглядела зловеще. Нигде, ни в одной социалистической стране не было такого ощущения осажденной крепости, как здесь.

В мою задачу не входит более подробное рассмотрение берлинского кризиса, тем более что я уже упоминал о позиции Хрущева в связи с установлением стены в Берлине и о признании ГДР. Замечу только, что, по моему мнению, берлинский кризис был увертюрой к карибскому и в чем-то подтолкнул Хрущева на размещение советских ракет на Кубе. Хрущев не мог понять, почему Соединенные Штаты и их союзники по НАТО так упорно сопротивляются дипломатическому признанию ГДР и в целом закреплению послевоенных границ. Он видел в этом не только проявление традиционной для американцев политики силы, но и недооценку советской мощи. Между тем Советский Союз провел серию испытаний ядерного оружия, в том числе самой мощной водородной бомбы, о чем с большой гордостью Хрущев сообщал на XXII съезде партии.

Хрущева выводило из себя то, что американцы никак не реагировали на радикальные изменения в соотношении ракетно-ядерных сил, вели себя так, будто Советский Союз по-прежнему плетется далеко в хвосте.

Надо сказать, что Соединенные Штаты действительно недооценили новую ситуацию. Их опьяняли цифры — о численном превосходстве в ядерных боеголовках, ракетах и других средствах доставки. Они не поняли, что Советский Союз накопил гигантскую мощь для ответного уничтожающего удара и все американское превосходство в значительной степени утрачивало значение. Так ли важно, сколько раз одна сторона может уничтожить другую,— достаточно, если она обрела возможность сделать это хотя бы один раз. Советский Союз такую возможность обрел в начале 60-х годов. Это был новый фактор соотношения стратегических сил, который диктовал новую политику. Но американцы не спешили с признанием происшедшего изменения.

По мысли Хрущева, нужна была какая-то могучая демонстрация советской мощи. Надо было поставить американцев в такое положение, в котором находился Советский Союз. Первой пробой сил был Берлин. Но эта проба не дала желаемого эффекта. И тогда появился замысел разместить советские ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, в подбрюшине Соединенных Штатов.

Берлинский кризис, как и возведенная стена, разделившая город, как известно, вызвал массу возмущенных комментариев и объяснений. Тем более интересно обратиться к первоисточнику — к тому, о чем думал, что говорил и делал Хрущев во время этого кризиса.

Главное, что его заботило,— это стабилизация положения в Европе и признание Германской Демократической Республики. С этим Хрущев связывал температуру политического климата не только в Европе, но и во всем мире. Именно в Германии были сосредоточены самые большие вооруженные силы НАТО и Варшавского Договора. Поэтому Берлин был своеобразным барометром международного климата.

Известно, сколько усилий приложил Хрущев, чтобы добиться заключения мирного договора с обеими Германиями. В этом он видел важнейшую гарантию против военного столкновения. Он рассчитывал узаконить фактическое положение, которое сложилось в Европе на основе Потсдамских соглашений, подвести черту под военным противостоянием и легализовать существование двух германских государств — социалистического и капиталистического. Он с самого начала был согласен на превращение Западного Берлина в вольный город с особым статусом, но только на условиях заключения мирного договора.

Кроме того, Вальтер Ульбрихт оказывал большой нажим на Хрущева. Его беспокоили и политические перспективы ГДР, и экономические вопросы. Он жаловался на то, что жители Западного Берлина делают огромные закупки продовольствия в Восточном Берлине, поскольку здесь это дешевле. Ну и, конечно, проблема эмиграции. С одной стороны, утечка мозгов, утечка интеллигенции, квалифицированных рабочих, с другой — ощущение нестабильности социального и политического строя в ГДР. Именно Ульбрихту пришла в голову идея построить стену в Берлине и прочно закрепить границы между двумя частями города.

Что касается Хрущева, то кроме этих соображений его беспокоила авиационная разведка, полеты самолетов У-2 над Чехословакией и другими восточноевропейскими странами. Это было источником инцидентов. Советские истребители нередко принуждали к вынужденной посадке самолеты, перелетевшие без разрешения границу ГДР или Чехословакии. Результатом всего этого стало решение прекратить доступ в Западный Берлин любых видов транспорта, кроме авиационного. Так начался берлинский кризис.

Отвечая в своих мемуарах на скользкий вопрос о стене, Хрущев особенно останавливался на свободе выбора места жительства. Его беспокоил довод западных официальных лиц и печати о том, что именно социалистические страны вынуждены запрещать гражданам выезжать в другие государства. Они говорили, что это вопрос уже не морального выбора людей, живущих в этом государстве, а способ принуждать их жить в нем. Одним словом, «заставляют жить в раю, когда человек из этого рая выйти не может», так как граница охраняется войсками.

На это Хрущев отвечал так, что это действительно недостаток, но временный. Он связан с материальными возможностями. Было бы легче решать эту проблему, если бы такие возможности в странах социализма были больше. И вот что любопытно: главное преимущество социализма он видит в том, что называет «моральными возможностями социализма».

Конечно, с его точки зрения, диктатура рабочего класса не может предоставить абсолютной свободы, но и капиталистические страны такой свободы не дают. Однако масса людей — Хрущев говорил даже «большинство» — оценивают проблему свободы или несвободы в зависимости от того, сколько можно купить на рубль или на доллар

картошки, мяса, ботинок и других материальных благ, без которых человек не может жить. И к сожалению, отмечал Хрущев, не только в ГДР, но и в других социалистических странах на этой основе мы соревноваться пока не можем.

Тут же он бросает упрек ханжам и догматикам.

— Некоторые наши умники-коммунисты скажут, что это принижение наших возможностей и прочее. Давайте, так сказать, трезво смотреть на вещи, потому что если бы мы располагали большими материальными возможностями и обеспечивали бы в большей степени удовлетворение этих материальных потребностей, то, безусловно, как говорится, добра от добра не ищут. И границу бы тогда не пересекали в таком количестве.

Хрущев говорит о своей мечте превратить ГДР в окно для западного мира, которое служило бы форпостом, привлекающим трудовой народ капиталистических стран — и с точки зрения морального, политического, и с точки зрения материальных достижений. Но, к сожалению, замечает он, мы еще не накопили таких возможностей, к сожалению, приходится только давать обещания, однако это будет, я в этом уверен, что это будет, но, видимо, не скоро.

Характерные признания! Честность, как правило, брала верх у Хрущева над лукавством. Конечно, и лукавил он нередко. И все же по сути своей всегда стремился к искренности и правде.

Будучи реалистом, Хрущев никогда не думал, что берлинский кризис чреват угрозой военного конфликта. Он был уверен, что Западу придется проглотить эту пилюлю. На него не произвели большого впечатления демонстративные акции Джона Кеннеди. И то, что американский президент направил дополнительные войска в Западный Берлин, и то, что командующим назначили Клея — одного из боевых генералов второй мировой войны, и то, что американские танки были подведены к самой стене. И даже то, что какое-то время стояли друг против друга американские и советские танки. Хрущев назначил маршала Конева командующим, а тот демонстративно находился на XXII съезде, который в это время проходил в Москве. Как заявлял Хрущев, мы были уверены, что никакого военного столкновения не будет. Потому что не может командующий, ожидая военного столкновения, находиться в Москве, на съезде партии*. Американцы направили

* См.: *Хрущев Н.* Воспоминания. Кн. 2. С. 283.

к границе бульдозеры, за бульдозерами — танки, за танками — «джипы» с пехотой. А советские танкисты спокойно выжидали и, когда подошли бульдозеры, развернулись, двинулись навстречу американцам. Случилось так, что американские «джипы» обогнали бульдозеры и пересекли границу. Советские командиры проявили выдержку, пропустили их, но когда те увидели, что вокруг стоят советские войска и наши танки подтягиваются из переулков, они вернулись в Западный Берлин.

И тут снова проявился здравый смысл Хрущева. Когда маршал Конев доложил об этом танковом противостоянии, Хрущев предложил отвести наши танки и выразил уверенность, что американцы сделают то же самое. Он даже сказал, что пройдет не больше двадцати минут после отвода советских танков — и американцы отведут свои. И вот во время XXII съезда КПСС Конев подошел к Хрущеву и доложил, что действительно буквально через двадцать минут после того, как советские танки отошли, американские танки тоже развернулись и направились в глубь Западного Берлина. Тем самым, по мнению Хрущева, было получено признание де-факто установления границ и нового порядка, когда функции их охраны стали выполнять представители ГДР. И в конце своей жизни Хрущев полагал, что таким путем была достигнута большая победа — победа без выстрела. Он считал, что ГДР получила возможность контролировать свою территорию и свои границы, и это содействовало стабилизации ее внутреннего положения и создало нормальные условия для управления государством.

Интересно заметить, как по-разному воспринимался берлинский кризис на Востоке и на Западе. Тогда в особенности остро сказалось полное непонимание советских целей американцами и западноевропейцами. Их руководители строили самые разные предположения: о пробе сил оружием, об изменении военного баланса на Европейском континенте, даже о провокации, способной разжечь пожар ядерной войны. На самом деле объяснение лежало на поверхности, и Хрущев многократно повторял его: стремление укрепить положение ГДР как суверенного государства и стабилизировать ситуацию в Европе.

Сейчас, когда под напором демократических волн, идущих из нашей страны, Берлинская стена пала, когда Восточная Европа укрепляет свой суверенитет, когда Западная Европа принимает как подарок то, о чем она не могла и мечтать, то заново в ретроспекции оценивается

прежний опыт. Хрущев действовал в раннюю послесталинскую эпоху — эпоху «холодной войны». Этот факт невозможно игнорировать, анализируя его шаги вперед к признанию равноправия всех стран социализма и назад — к сталинским методам сохранения «социалистического лагеря». Нам легко теперь назвать такой подход имперским, и это будет правдой, но не всей правдой. Вся правда — это наследие послевоенного времени. Это противостояние Запада и Востока, это причудливое сочетание в мозгах наших лидеров осколков идей о мировой революции, о предначертанности нашей миссии и русской идеи безопасности границ. К размышлениям обо всем этом наша серьезная историческая мысль будет возвращаться снова и снова.

Глава девятая
КАРИБСКИЙ КРИЗИС

1

Это было 27 октября 1962 года, в день, который впоследствии Роберт Кеннеди назвал «черной субботой». Мы встретились с Беляковым утром возле дома по Кутузовскому проспекту, где жили в то время. За нами обоими были присланы машины с указанием срочно доставить нас на работу.

— Ты, Федор, отправил семью за город? — неожиданно спросил меня Беляков.

— Нет. А почему я, собственно, должен был это сделать?

— А потому, что нельзя исключить неожиданного ядерного удара по Москве. Тетива натянута до предела, и стрела может сорваться в любой момент.

Признаться, в ту минуту я не верил в это, хотя и понимал, что положение чрезвычайно серьезное. За пять дней до этого президент США Джон Кеннеди в своем выступлении по американскому телевидению потребовал вывоза советских ракетных установок с Кубы и объявил о морской блокаде острова, которая деликатно называлась «карантином». Во все последующие дни в Кремле и в Белом доме мало кто ложился спать вовремя. Обе столицы были охвачены ядерной лихорадкой, которая грозила перерасти в обмен ядерными ударами.

Кстати говоря, много лет спустя (в 1987 г.), во время конференции, посвященной карибскому кризису в Гарвардском университете в городе Кембридже, близ Бостона, я узнал от членов американской администрации Р. Макнамары, М. Банди и Т. Соренсена, что президент отдал распоряжение членам семей сотрудников Белого дома покинуть Вашингтон или, по крайней мере, находиться возле телефона. В Америке, как и в Москве, многие тоже ожидали внезапной ядерной атаки.

Работая в отделе, который имел одной из своих задач поддерживать отношения между КПСС и руководителями Кубы, я вскоре был вовлечен в подготовку документов, связанных с карибским кризисом. После его завершения мне было поручено работать над текстом выступления Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, где давалось обстоятельное разъяснение советской позиции в карибском кризисе, причин его возникновения, хода советско-американских переговоров и достигнутого соглашения.

Доступ к информации, участие в обсуждениях, главным образом с Андроповым и его советниками, а также с помощниками Хрущева, позволили мне уже тогда составить свое суждение по поводу этого, самого драматичного события во всей послевоенной истории, а быть может, и во всей истории человечества. Но прежде чем рассказывать о самом карибском кризисе, нужно вернуться к некоторым событиям эпохи «холодной войны». Иначе невозможно понять его источники и в особенности психологический фон, на котором развертывался конфликт, понять, как мог Хрущев решиться завезти ракеты с ядерными боеголовками на Кубу и как мог он решиться вывезти их оттуда обратно.

Карибская эпопея была в общем довольно логичным результатом развития советско-американских отношений в период оттепели. Подобно вспышке молнии, она высветила всю бессмысленность предшествующего термоядерного состязания, всю опасность старой политики и непреложно указала на необходимость коренного поворота в отношениях двух ядерных гигантов.

Я уже отмечал политическую и психологическую взаимосвязь между берлинским и карибским кризисом. Теперь несколько слов по поводу событий на самом острове.

Всего за три года до этого на Кубе была установлена революционная власть во главе с Фиделем Кастро Рус. И хотя американская администрация мало симпатизировала его предшественнику — диктатору Батисте, тем не менее она с самого начала встретила в штыки победу кубинских революционеров. Быть может, американцев насторожило требование новой власти покинуть их военную базу Гуантанамо и даже попытки блокировать ее. Быть может, американское руководство слишком прислушивалось к кубинским эмигрантам, которые создали на Флориде сильное антикастровское лобби. Быть может, выступления Фиделя Кастро, который с самого начала добивался ликвидации американского засилья на острове... Трудно сказать, что послужило причиной. Но так или иначе Ва-

шингтон почти на второй день после победы Кастро вступил на путь резкой конфронтации с его правительством.

В 1960 году американцы прекратили закупки кубинского сахара и тем самым поставили страну на край экономической катастрофы, а 2 января 1961 года Соединенные Штаты полностью прекратили дипломатические отношения с Кубой.

В ту пору Фидель Кастро не был ни коммунистом, ни марксистом. И сами американцы своей ошибочной политикой по отношению к Кастро толкнули его на путь сближения с Советским Союзом. Ему нужна была поддержка — экономическая, политическая, помощь оружием, и он нашел все это в Москве.

В феврале 1960 года А. И. Микоян побывал на Кубе. И в мае того же года были установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.

Тем временем Соединенные Штаты продолжали эскалацию своей ошибочной политики. В апреле 1961 года американцы поддержали десантную операцию кубинских эмигрантов против Кубы. На ее южном берегу в районе Плая-Ларга и Плая-Хирон в бухте Кочинос произошла ожесточенная битва между войсками Фиделя Кастро и десантниками. Бои шли семьдесят два часа. В конечном счете десант был не только разгромлен, в плен попала значительная часть эмигрантов. Кубинцы захватили большое количество вооружения, на котором стояла американская марка. Ни у кого не было сомнений, что эта акция целиком поддержана американской администрацией.

Роберт Кеннеди в своих воспоминаниях о карибском кризисе — «13 дней» — отмечает, что Джон Кеннеди долго колебался, поддерживать ли намеченную до него антикастровскую операцию. А Хрущев в мемуарах свидетельствует, что Кеннеди признал ошибочность своего решения. Тем не менее поражение в заливе Свиней до предела накалило антикубинские страсти в Америке.

В конгрессе и в печати раздавались призывы о прямом вторжении на Кубу. Кубинские руководители провели ряд крупных военных мероприятий на случай нового нападения. Одновременно началось быстрое развитие кубино-советских отношений. Этому способствовали важные перемены на самой Кубе. Кастро был избран Первым секретарем Национального руководства Объединенных революционных организаций. Советский Союз принял решение оказать экономическую помощь Кубе, в первую очередь закупками кубинского сахара.

В августе 1962 года было подписано соглашение о поставках оружия для Кубы. Куба готовилась к самозащите на случай нового вторжения контрреволюции или прямой военной акции тех или иных государств Центральной Америки, наконец, интервенции Соединенных Штатов.

Забегая вперед, расскажу о чрезвычайно любопытном диалоге, который произошел на конференции, посвященной кубинскому кризису в январе 1989 года в Москве, между членом Политбюро ЦК Компартии Кубы Рискетом и бывшим министром США Робертом Макнамарой. Рискет сказал, что кубинское руководство было абсолютно уверено в неизбежности новой интервенции против Кубы, которая в той или иной форме будет поддержана Соединенными Штатами. Этим объяснялись неустанные заботы Фиделя Кастро не только о создании прочной армии и ее вооружении, но и обучении народного ополчения. Макнамара со своей стороны торжественно заверил, что у администрации Джона Кеннеди никогда не было планов нападения на Кубу. Правда, Кеннеди очень беспокоила возможность развертывания Фиделем Кастро партизанских движений в Центральной и Южной Америке.

Это был один из наглядных примеров полного непонимания целей другой стороны. Рискет заявил также, что хотя кубинцы были уверены в победе в случае вторжения на их остров агрессоров, тем не менее они рассчитывали на помощь Советского Союза. Но кубинское руководство никогда не ставило вопроса о размещении на острове ракет с ядерными боеголовками. Оно хорошо понимало огромный риск для кубинского народа, связанный с таким размещением.

Идея и инициатива размещения ракет исходила от самого Хрущева. Мне довелось редактировать одно из продиктованных им Фиделю Кастро писем уже после завершения кубинского кризиса. Это письмо носило очень личный характер. В нем Хрущев откровенно и искренне рассказывал о том, каким образом в его сознание запала мысль о ракетах на Кубе. Произошло это в Болгарии, судя по всему, в Варне.

Хрущев и тогдашний министр обороны СССР Р. Я. Малиновский прогуливались по берегу Черного моря. И вот Малиновский сказал Хрущеву, показывая в сторону моря: на другой стороне, в Турции, находится американская ракетно-ядерная база. Пущенные с этой базы ракеты могут в течение шести-семи минут уничтожить крупнейшие центры Украины и России, расположенные на юге страны,

включая Киев, Харьков, Чернигов, Краснодар, не говоря уже о Севастополе — важной военно-морской базе Советского Союза.

Хрущев спросил тогда у Малиновского: почему Советский Союз не имеет права сделать то, что делает Америка? Почему нельзя, например, разместить наши ракеты на Кубе? Америка окружила СССР своими базами со всех сторон и держит его в клещах. Между тем советские ракеты и атомные бомбы расположены только на территории СССР. Получается двойное неравенство. Неравенство количества и сроков доставки.

Так он задумал и обсудил эту операцию вначале с Малиновским, затем — с более широкой группой руководителей и, наконец, получил согласие Президиума ЦК КПСС.

Самым неясным было — возможно ли секретным образом разместить ракетные установки на Кубе, привести их в состояние боевой готовности? Остров небольшой, просматриваемый со всех сторон американской разведывательной авиацией и к тому же насыщенный американской агентурой. Неясно было, согласится ли кубинское руководство с советским предложением. Для решения обоих этих вопросов на Кубу была направлена делегация, в которую входили маршал Бирюзов, будущий посол на Кубе Алексеев и ряд других советских военных и политических деятелей. Они рассчитывали, что будет трудное объяснение с Фиделем Кастро. Однако реакция кубинских руководителей превзошла ожидания Хрущева.

Кастро поставил вопрос на обсуждение всего кубинского руководства, и было принято единодушное решение — согласиться с размещением ракет с ядерным оружием. При этом главным мотивом для кубинцев была не оборона Кубы, а укрепление оборонной мощи всего социалистического лагеря.

Что касается возможности секретным образом разместить оружие, то советская комиссия, в которую входили авторитетные военные специалисты, пришла к положительному заключению. Эта ошибка очень дорого обошлась Хрущеву. Полагаясь на заключение комиссии, он вместе с другими советскими руководителями принял решение о размещении ракет на Кубе. Конечно, трудно возлагать всю ответственность за подобное некомпетентное заключение только на комиссию. Для каждого здравомыслящего политика или советника в Москве было очевидно, что скрыть приближение многих десятков советских кораблей, а тем более транспортировку и установку громоздких

ракет на маленьком острове практически невозможно. Тем не менее Хрущев со свойственными ему увлеченностью и склонностью к риску начал эту операцию.

На упомянутой конференции в Москве Рискет сообщил о том, что на каком-то — вероятно, более позднем — этапе, после обнаружения американцами ракет, Фидель Кастро предлагал Хрущеву придать гласности договоренность о создании на Кубе советской военной базы. Аргументы в пользу такого решения выглядели довольно разумными. Ведь сами американцы имели такие базы вокруг Советского Союза, они не отказывались и от своей базы на самой Кубе.

Однако это предложение не было принято Хрущевым. Вероятно, он не верил, что удастся открыто заключить подобное соглашение с Кубой. Конечно, это вопрос суверенитета двух держав — СССР и США. Однако ни США, ни страны Латинской Америки, ни Организация Объединенных Наций, ни страны Западной Европы никогда бы не согласились с подобным решением.

Так или иначе, но Хрущев с начала и до конца верил только в возможность разместить ракеты в условиях самой глубокой тайны.

Какие цели ставил при этом Хрущев? Сам он давал — настойчиво и упорно — одно, и только одно, объяснение: укрепление обороноспособности Кубы, гарантии ее защиты от вторжения — косвенного или прямого — Соединенных Штатов Америки. Намек на такое объяснение прозвучал еще до размещения ракет на Кубе. Так, в одном из выступлений, 9 июля 1960 года, Хрущев заявил, что Соединенным Штатам Америки не следует забывать, что сейчас они находятся не так далеко от Советского Союза, как прежде. Он сказал, что Советский Союз в случае необходимости может помочь кубинцам дать отпор вооруженным силам контрреволюции нашими ракетами. А через три дня на пресс-конференции Хрущев заявил, что «доктрина Монро» уже давно мертва.

Правда, в течение следующего, 1961 года Хрущев неоднократно заявлял о том, что Советский Союз не имеет и не будет иметь военной базы на Кубе. Одновременно он дважды направлял президенту Кеннеди протесты против вмешательства в дела Кубы.

В своих воспоминаниях Хрущев еще раз подтверждает, что впервые идея размещения ракет на Кубе пришла ему во время визита в Болгарию в мае 1962 года. Он считал, что американцы никогда не смирятся с режимом

Кастро. Они боялись (так же, как мы надеялись), что социалистическая Куба станет примером для других латиноамериканских стран. Поэтому они были готовы на крайние меры. Этим, по словам Хрущева, было продиктовано его решение разместить ракеты, чтобы предотвратить нападение Соединенных Штатов на Кубу.

Он понимал, что прежде всего необходимо переговорить с Кастро, объяснить нашу стратегию и получить согласие кубинского правительства. Хрущев думал так: если мы успеем установить ракеты, американцы дважды подумают, прежде чем применить свои военные методы. Он понимал, что Америка может уничтожить некоторые из ракетных установок, однако даже если сохранится десяток ракет, этого будет достаточно для ответного удара. Таким путем, по его мнению, можно поставить Америку в тяжелые условия, поскольку под угрозой разрушения будут деловые и промышленные центры США. Хрущев даже упоминает в своих мемуарах, какие центры он имел в виду держать под прицелом. Это Нью-Йорк, Чикаго, другие промышленные города; что касается Вашингтона, то о нем говорить нечего, поскольку это маленькая деревня. «Америка, пожалуй, никогда не имела такой реальной угрозы быть разрушенной, как в этот момент»,— замечает Хрущев *.

2

Итак, Хрущев в течение карибского кризиса и непосредственно после него, а также в своих мемуарах настаивает, что единственной целью размещения ракет на Кубе была ее защита от американского вторжения. Об этом же неоднократно заявлял во время январской конференции по карибскому кризису в Москве и сын Хрущева Сергей Никитич.

Я позволю себе усомниться в таком объяснении. Доступ к информации в период карибского кризиса и тщательное изучение материалов впоследствии привели меня к другому выводу. Размещение ракет на Кубе преследовало по меньшей мере две цели.

Об одной из них справедливо и настойчиво говорил Хрущев — это защита Кубы. Правда, такое утверждение может быть подвергнуто сомнению, поскольку сами кубинцы о подобной форме защиты не просили. Напротив,

* *Хрущев Н.* Воспоминания. Избранные отрывки. С. 182.

у них была уверенность, что они дают согласие на размещение ракет не в своих интересах, а для укрепления обороны СССР и других социалистических стран. Для кубинцев, как и для всех других, было понятно, что создание ракетно-ядерной базы на острове, расположенном всего в девяноста милях от США, многократно увеличивает риск американского вторжения.

Думается, что, идя на такой риск, Хрущев одновременно преследовал и иную цель. А именно — изменить стратегический баланс сил между СССР и США. Дать Соединенным Штатам почувствовать, что испытывали советские люди на протяжении многих лет «холодной войны», будучи окруженными со всех сторон американскими базами; продемонстрировать советскую мощь и создать условия если не военного, то политического паритета. Конечно, Хрущев и в мыслях не имел нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Не говоря о том, что это абсолютно не отвечало целям его политики, его характеру, он прекрасно понимал, что ответным ударом Соединенные Штаты сумеют разрушить Советский Союз и уничтожить больше половины его населения.

По моему мнению, у Хрущева было совсем другое на уме: добиться новых условий переговоров с Соединенными Штатами, создать возможность для достижения равноправного компромисса. Он хотел таким путем получить то, к чему стремился на протяжении 1960—1962 годов: признание ГДР, закрепление нового статуса Западного Берлина, послевоенных границ, а также серьезные изменения в советско-американских отношениях на основе разрядки и ограничения гонки вооружений.

Хрущев рассуждал точно так же, как американцы рассуждали по поводу Советского Союза. Известно, что на протяжении всего послевоенного периода и даже сейчас многие американцы верят в то, что с Советским Союзом можно вести переговоры только с позиции силы, что русские другого языка не понимают. То же самое думал Хрущев об американцах. Он считал, что они слишком сильны и слишком уверены в себе. С ними невозможно разговаривать на равных, не продемонстрировав до этого своей мощи. Обе цели — защита Кубы и изменение стратегического баланса,— вероятно, сливались в его сознании воедино: надо на деле показать Америке, что ситуация в отношениях с СССР и его союзниками изменилась коренным образом.

Почему так очевидно для меня такое истолкование мотивов Хрущева? Напомню еще раз: психологическим толч-

ком появления самой идеи размещения ракет на Кубе послужила прогулка по берегу Черного моря и упоминание об американских ракетах в Турции. Затем именно этот мотив стал последним аккордом при достижении компромисса между Хрущевым и Кеннеди. И еще: Хрущев стремился любой ценой добиться установки ракет даже после того, как они были обнаружены. Это стремление выглядит иррационально, если исключить, что он надеялся продемонстрировать советскую мощь путем установки ракет, нацеленных на Соединенные Штаты.

Наконец, секретность. Секретность была чрезвычайно опасна для кубинцев. Они лучше Хрущева понимали психологию американских руководителей и общественного мнения страны. Они ясно отдавали себе отчет, какой взрыв негодования вызовет именно тайное размещение ракет. Для американского сознания любой, даже самый зловещий приговор представляется приемлемым, если он делается в открытых и предусмотренных международными нормами формах... Даже когда речь идет о несправедливом соглашении.

С конца июля и до середины сентября Советский Союз направил на Кубу примерно 100 кораблей. Большая их часть на этот раз перевозила вооружение. По американским подсчетам, сюда было доставлено 42 ракетно-баллистических установки среднего радиуса действия — МРБМ; 12 ракетно-баллистических установок промежуточного типа, 42 бомбардировщика-истребителя типа ИЛ-28, 144 зенитные установки типа «земля — воздух»; ракеты других типов, вооруженные ракетами патрульные суда. Кроме того,— это уже выяснилось недавно,— на Кубу было перемещено примерно 40 тысяч советских солдат и офицеров.

Конечно, эти передвижения не могли остаться не замеченными для американцев. Надежды сохранить все в секрете, в тайне, вплоть до установки ракет, оказались грубым просчетом советников Хрущева и его самого. 16 октября американцы получили достоверные данные о размещении советских ракетных установок на Кубе. Эти данные доставил разведывательный самолет У-2. Но еще раньше американская разведка получила информацию от своих агентов на Кубе о передвижениях по острову советских ракет, сопровождаемых советскими солдатами и офицерами, переодетыми в кубинскую военную форму или в штатские костюмы. В тот же день все эти данные были сообщены президенту Кеннеди.

Итак, нет сомнений, что инициатива установки ракет на Кубе исходила лично от Хрущева, быть может, в какой-то степени она была подсказана Малиновским, но это не меняет сути дела. Фидель Кастро не просил Хрущева о такой помощи кубинской революции. Правда, впоследствии, когда ракеты и ядерные боеголовки были завезены на Кубу, когда началась их быстрая установка и дело чуть было не завершилось успехом, кубинцы, так же как и Хрущев, увлеклись этой идеей. Здесь надо понять чувство такого небольшого народа, как кубинский, перед лицом такой могучей державы, как США.

Кубинцы чувствовали постоянно, ежедневно, ежечасно, что они живут под дамокловым мечом Соединенных Штатов. Они не знали, когда и как, но были уверены, что их великий сосед нанесет удар, который станет для них роковым. И тут впервые забрезжила возможность показать кулак этому соседу, доказать на деле, что он тоже уязвим, чтобы он испытал то, что испытывали кубинцы, жившие под угрозой уничтожения революционного режима Фиделя Кастро.

Соблазн заставить другую сторону испытать те же чувства, которые испытывал маленький революционный кубинский народ, был слишком велик. И надо думать, что кубинцы в тот момент поддались искушению. Кроме того, у них появились надежды добиться крупных уступок от Соединенных Штатов Америки под угрозой советских ракет.

Каковы были опасения Хрущева? В возможность СССР первым нанести ядерный удар сейчас не верит ни один из американских политиков и исследователей. Я думаю, что вряд ли кто всерьез верил в это и в тот напряженный момент, хотя, конечно, некоторые отчаянные головы, особенно среди генералов, использовали этот аргумент, доказывая, что Хрущев хочет развязать ядерную войну.

Но это абсолютный вздор. Больше того, мы знаем, что Хрущев не только не думал развязывать войну, но и не допускал в своем сознании мысль, что размещение ракет на Кубе увеличивает риск такой войны. Поскольку он был убежден — и убежден слепо и ошибочно,— что удастся тайно не только завезти ракеты с ядерными боеголовками, но и установить их, он рассматривал это как нормальный ответный акт, вполне соизмеримый с тем, что сделали американцы, разместив свои ракеты и самолеты с атомными бомбами в Турции, Италии и других районах вблизи Советского Союза. Для него это была политическая игра

в духе сложившихся методов «холодной войны», перетягивание каната, но на этот раз в сторону Советского Союза.

Если бы удалось разместить ракетно-ядерные установки и нацелить их на американские города, полагал Хрущев, тогда можно было бы начать переговоры с Соединенными Штатами в более или менее равных условиях. Тогда можно было бы добиваться и гарантии ненападения на Кубу, перед которой у Советского Союза появились союзнические обязательства. Тогда можно было бы добиваться и признания ГДР, а также послевоенного статус-кво в Европе. Тогда можно было бы начать эффективные переговоры по ограничению, а потом и ликвидации гонки ракетно-ядерного оружия. Одним словом, тогда можно было бы приступить к подлинной разрядке между Востоком и Западом на принципах мирного сосуществования.

Не последнюю роль в сознании Хрущева играли и его идеологические стереотипы: капитализм — социализм, черное и белое, кто — кого? При таком подходе любые методы пригодны. Раз империалисты, эти угнетатели и эксплуататоры рабочего класса, позволяют себе действовать жестокими методами, значит, и коммунисты, эти защитники народа, провозвестники великого будущего для всего человечества, вправе пользоваться теми же методами. Эту идеологию он воспринял от Сталина и так и не преодолел в своем сознании до конца жизни.

Хрущев оставался верным заблуждениям юности. Мысль о деидеологизации международных отношений не могла прийти в голову не только Хрущеву, но и никому из его соратников. Лишь четверть века спустя она стала одним из органических элементов нового мышления.

Нужно сказать несколько слов и о наших чувствах — чувствах советников, помощников, консультантов, которые в большей или меньшей степени были вовлечены в те трагические события. Нас, конечно, не допускали к принятию решения, и никто никогда не спрашивал нашего мнения: ни по поводу того, следует или не следует размещать ракеты на Кубе, ни по поводу того, каким должен быть выход из кризиса. В этот процесс была вовлечена небольшая группа руководителей — прежде всего члены Президиума ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, министры иностранных дел, обороны, руководители органов государственной безопасности. Я уверен, что даже их голос звучал чрезвычайно приглушенно. Хрущев в ту пору уже выступал, по сути дела, как авторитарный лидер. И хотя его судьба зависела в какой-то степени от мнения и воли

других членов руководства, однако не думаю, что кто-либо мог сколько-нибудь серьезно возражать Хрущеву, когда он говорил да или нет.

Мне довелось в 1987 году, во время конференции по карибскому кризису в Гарвардском университете, посмотреть американскую телевизионную постановку, посвященную этому кризису. Собственно, наша конференция началась с просмотра записанной на видеокассету моей пьесы «Бремя решения» («Черная суббота»), поставленной одним из советских театров, в которой я попытался воссоздать с большой и искренней симпатией образ Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, а также членов исполнительного комитета Совета национальной безопасности — Р. Макнамары, Т. Соренсена, М. Банди и других в тот кризисный период.

Надо сказать, что на меня произвел большое впечатление американский актер, игравший роль Хрущева. Я считаю, что это самая крупная удача в показанном нам телевизионном фильме. Не только внешнее сходство, манеры, но и огромное чувство ответственности, ощущения угрозы ядерного кризиса — все это удалось прекрасно передать американскому актеру. Я был рад услышать, что и наш советский актер Андрей Миронов тоже произвел своей игрой в моей пьесе весьма благоприятное впечатление на членов администрации Джона Кеннеди, как и в целом моя попытка проникнуть в суть событий, происходивших в Белом доме.

Но вот что показалось мне чрезвычайно неправдоподобным и даже смешным — это изображение взаимоотношений между Хрущевым и другими советскими руководителями. Там есть сцена, где Суслов прокурорским тоном допрашивает Хрущева о его намерениях, резко выступает против компромиссного решения. Это ни в малейшей мере не отражает стиля отношений в Президиуме ЦК КПСС в тот период. Еще в меньшей степени это похоже на реальный образ самого Суслова — человека чрезвычайно хитрого, двусмысленного, двуличного, который никогда и ничего не говорил прямо, а всегда действовал исподтишка, с оглядкой, боясь поскользнуться. Именно благодаря таким качествам он и сумел усидеть более тридцати лет на посту секретаря ЦК КПСС, пережить Сталина и Хрущева, не дотянув чуть меньше года из-за физической смерти до кончины Брежнева.

Конечно, Хрущев советовался со своими ближайшими соратниками. Но так, как, скажем, советуется генерал с

офицерами среднего ранга. Самое большое влияние на него в ту пору оказывали не столько соратники, сколько поступавшая информация. И он стремился получить ее из самых разнообразных источников — и по линии посольства СССР в США, и особенно по линии секретной агентуры; быть может, это было основным рычагом воздействия на принимаемые им решения, на характер переписки с Кеннеди, на выработку условий возможного компромисса.

Возвращаясь к чувствам скромных консультантов и советников нашего ранга, хочу прежде всего передать разговор, который был у меня с одним из помощников Хрущева в ту пору. Мне не хочется здесь называть его фамилию, поскольку он продолжает выступать на дипломатическом поприще. Этот разговор состоялся сразу же после известной речи Джона Кеннеди 22 октября 1962 года об установлении морской блокады Кубы.

— Что же, теперь по крайней мере стало совершенно очевидным,— сказал мне мой собеседник,— что это авантюра. Я никогда не верил в то, что мы могли тайно разместить наши ракеты на Кубе. Это была иллюзия, которую внушил Никите Сергеевичу маршал Бирюзов. Но еще в меньшей степени можно было предположить, что американцы проглотят эту пилюлю и смирятся с существованием ракетной базы в девяноста милях от своей границы. Теперь надо думать, как быстрее унести ноги, сохраняя при этом пристойное выражение лица.

Примерно такими были и мои собственные чувства. Надо сказать, что в отличие от моих друзей я даже в тот напряженный момент не верил в реальность ядерной войны. Я абсолютно твердо знал, что такую войну ни при каких обстоятельствах не развяжет Хрущев. Но я был уверен и в том, что Джон Кеннеди тоже никогда не примет рокового решения о первом ядерном ударе. Это представлялось мне совершенно иррациональным с точки зрения интересов обеих стран. Ни у одной из них не было ни малейшей причины для того, чтобы идти на риск уничтожения половины своего населения, на риск обмена ядерными ударами, последствия которых даже вообразить было невозможно.

Кстати, уже тогда многие ученые говорили, что в случае одновременного взрыва такого количества атомных и водородных бомб могут произойти непредсказуемые планетарные катаклизмы. Например, атмосфера может оторваться от Земли, либо Земля может сойти со своей

орбиты, либо произойдет всеобщее заражение всей поверхности планеты, и все живое на ней погибнет.

Как человек, вышедший из научной среды, я, вероятно, поддавался обычному сайентийскому заблуждению — преимущественно научному и несколько абстрактному подходу к явлениям жизни. Слишком верил в рациональное начало истории человечества. А война была иррациональна, стало быть, невозможна. Только позднее — и на опыте эскалации карибского кризиса, и на опыте войны во Вьетнаме и Афганистане, и на опыте безумного накопительства никому не нужных многих тысяч ядерных боеголовок — я стал больше чувствовать, что историей и особенно политикой правит не только разум, но и случай. А тогда, повторяю, в момент самого кризиса, я не чувствовал всей трагической глубины происходившего. И только впоследствии, мысленно возвращаясь к тому времени, я испытал подлинное потрясение, что и побудило меня двадцать лет спустя написать пьесу об этом событии.

Итак, на нашем уровне советников многие, как и я, считали, что «Никитушка» зарвался, и хотя его побуждения были хорошими, план тайного размещения ракет на Кубе оказался авантюрой.

Но я хорошо помню, что мои чувства стали постепенно меняться после завершения кризиса. Они менялись под влиянием двух обстоятельств. Первое: результаты этого очень плохого дела оказались неожиданно во многих отношениях хорошими. Удалось добиться от Соединенных Штатов гарантий ненападения на Кубу, а также согласия на демонтаж и ликвидацию американской базы в Турции. Но что еще важней — удалось добиться огромного психологического перелома в сознании американского руководства. Как и Хрущев, Кеннеди пережил глубокое потрясение, почувствовав реальное дыхание ядерной войны. Оба они поняли, что ракетно-ядерное состязание не может рассматриваться как силовая политическая игра. За этой игрой стоит смерть, и на этот раз смерть не для одного человека или для одного народа, а для всего человечества. Испытанный обоими лидерами страх был чрезвычайно благодетелен. Великое предостережение древних — помни о смерти! — обрело новое апокалипсическое звучание: помни о судном дне всего человечества!

Глубокий вздох облегчения, который вышел в момент соглашения из груди Кеннеди, Хрущева, советников, вовлеченных в этот процесс, был залогом перелома в отношениях между двумя великими державами. Так весенняя

гроза с ее громами и молниями служит провозвестником следующего за ней солнечного утра.

Второе обстоятельство, которое повлияло тогда на мою переоценку карибского кризиса,— это критика наших действий китайским руководством. Именно ему принадлежала тщательно обдуманная, изрядно ядовитая формула, которая гласила, что политика Советского Союза в период карибского кризиса была в тактическом отношении авантюрой, а в стратегическом — капитулянтской.

Мне было поручено готовить выступление Хрущева на сессии Верховного Совета СССР после окончания кризиса. Тогда в мое распоряжение поступили многие информационные материалы, о которых я не имел представления раньше. Хрущев, как обычно, предварительно надиктовал для выступления несколько кусков, которые были переданы нам. Центральное место в его диктовках занимал ответ китайцам. Было видно, что их критика глубоко задела его душу. Он был возмущен, оскорблен и раздражен. Подобная реакция на случившееся казалась ему особенно подлой попыткой нажить политический капитал на событиях, которые едва не привели к ядерной катастрофе. Ему казалось наиболее опасным еще раз проявившееся стремление Мао Цзэдуна столкнуть СССР и США в смертельной схватке, чтобы самим остаться в стороне и, по китайской пословице, сидеть подобно обезьяне на горе, наблюдая схватку тигров.

Хотя я сам был тоже возмущен китайскими нападками, мне приходилось, как и другим, кто участвовал в подготовке этой речи, не заострять, а смягчать хрущевскую критику китайской позиции. Кроме того, я стал сомневаться, можно ли характеризовать действия Хрущева по размещению ракет исключительно как авантюру. Ведь результаты в отношениях между СССР и США, между Востоком и Западом оказались положительными, позитивными. Расчет столкнуть великие державы в ядерном конфликте провалился. Стало быть, дело не так просто.

Конечно, и тогда мне как человеку, в большей степени воспитанному на принципах и нормах европейской культуры, были совершенно чужды мелкие и довольно непристойные хитрости, сопровождавшие наши действия по размещению ракет. Обманные заверения самого Хрущева и других советских руководителей о том, что у нас нет никаких планов размещения ракет на Кубе, особенно бессмысленные после того, как весь мир уже знал, что ракеты там находятся. Фанатичное стремление Хрущева

продолжать установку ракет, затягивая дело перепиской с Джоном Кеннеди, вероятно, для того, чтобы, успев установить эти ракеты, получить лучшие условия для переговоров.

И все же я хорошо помню, что в момент подготовки выступления нашего лидера в Верховном Совете СССР я уже иначе воспринимал происшедшее, понимая невозможность найти ему однозначное определение, как, например: авантюра, ошибка, просчет, блеф и т. д. Я стал отдавать себе отчет в том, что карибский кризис стал пятым актом всей драмы «холодной войны». За ним, как в шекспировской пьесе, где стояла тень Гамлета, расположились мрачные тени тех, кто начал «холодную войну»,— и Черчилля, и Трумэна, и Сталина. А счастливый конец карибской драмы свидетельствовал о том, что эти тени стали уходить в прошлое.

Новые деятели — и Хрущев, и Кеннеди — показали себя поистине мировыми лидерами, проявили подлинное величие, найдя достойный для обеих сторон выход из ядерного тупика.

Я наблюдал выступление Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, когда он впервые докладывал советскому народу о карибском кризисе. Его лицо светилось счастьем. Это не было лицо человека, который испытывает угрызение совести или чувство вины. Нет, это было лицо победителя-миротворца. Видимо, он так же, как и Кеннеди, ясно сознавал ту историческую роль, которую они оба сыграли в этот единственный за всю историю человечества момент, когда древние пророчества апокалипсиса стали реальностью. Это было лицо спасителя мира. И все присутствовавшие в зале с огромным и искренним чувством приветствовали Хрущева именно как великого миротворца. В этот момент мало кто задумывался над тем, почему Хрущев разместил ракеты. Но все были глубоко благодарны, что он согласился их вывезти. Вероятно, Хрущев, и только Хрущев, был способен с одинаковой решимостью сделать и первое и второе.

3

Особенно наглядное представление о чувствах Хрущева, о его психологической эволюции во время карибского кризиса дает его переписка с Кеннеди. Мы видим, как постепенно менялся тон хрущевских писем. Если вначале он был вызывающим,

даже агрессивным, то к концу все более брало верх чувство гигантской ответственности за судьбы своего народа и всего человечества, стремление любой ценой предотвратить ядерную катастрофу. Интересно заметить, что письма Хрущева отличаются куда более личным характером, чем послания Кеннеди. Это объясняется тем, что Хрущев сам диктовал письма. Правда, потом они подвергались редактированию, но таким образом, чтобы сохранить не только основные мысли, но и настроение, стиль, обороты речи, которыми он очень дорожил.

Хотя Хрущеву нередко приходилось лукавить, ибо он считал это неизбежным элементом в политической игре, тем не менее по характеру, как я уже говорил, это был человек глубоко искренний и откровенный. Быть может, эта черта в особенности бросается в глаза, когда перечитываешь его письма к Джону Кеннеди. Мне хотелось бы сослаться по крайней мере на некоторые из них.

Вот что он писал 26 октября, вскоре после известного выступления Джона Кеннеди по поводу блокады:

«Наша цель была и есть помочь Кубе, и никто не может оспаривать гуманность наших побуждений, направленных на то, чтобы Куба могла мирно жить и развиваться так, как хочет ее народ... Вас беспокоит Куба, Вы говорите, что она находится на расстоянии от берегов Соединенных Штатов 90 миль по морю, а ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются, один на другого поглядывают. Вы что же, считаете, можете требовать безопасность для своей страны и удаления того оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете? Вы ведь расположили ракеты разрушительного оружия, которое Вы называете наступательным, буквально под боком у нас. Как же согласуется тогда признание наших равных в военном отношении возможностей с подобными неравными отношениями между нашими великими государствами? Это никак невозможно согласовать» *.

Это то письмо, которое так поразило Джона Кеннеди и его советников. Дело в том, что в один и тот же день были получены два письма. В первом выражалось согласие Хрущева вывезти ракеты с Кубы, если США примут обязательство не нападать на нее. А во втором письме содержалось еще дополнительное требование — вывести аналогичные американские средства из Турции.

До сих пор идут большие споры по поводу того, как в один и тот же день могли быть направлены два таких разных письма. Думается, объяснение этому довольно простое. Хрущев получил дополнительную информацию от

* *Кеннеди Р.* 13 дней. Свидетельство о кубинском кризисе. Париж, 1969. С. 121—122.

советских представителей, работавших в США, о том, что можно добиться больших уступок от Соединенных Штатов Америки, и незамедлительно попытался воспользоваться этой возможностью. И преуспел!

Особенно ярко передает чувства Хрущева его письмо от 28 октября 1962 года:

«Я отношусь с большим пониманием к Вашей тревоге и тревоге Соединенных Штатов Америки в связи с тем, что оружие, которое Вы называете наступательным, является грозным оружием. И мы понимаем, что это за оружие.

Чтобы скорее завершить опасный для дела мира конфликт, чтобы дать уверенность всем народам, жаждущим мира, чтобы успокоить народ Америки, который, я уверен, так же хочет мира, как этого хотят народы Советского Союза, наше правительство в дополнение к уже ранее данным указаниям о прекращении дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия отдало новое распоряжение о демонтаже оружия, которое Вы называете наступательным, упаковке его и возвращении в Советский Союз».

«Мы сейчас должны быть осторожны,— продолжает Хрущев,— и не делать таких шагов, которые не принесут пользы обороне государств, вовлеченных в конфликт, а лишь могут вызвать раздражение и даже явиться провокацией для рокового шага. Поэтому мы должны проявить трезвость, разумность и воздерживаться от таких шагов... Мы убеждены в том, что победит разум, война не будет развязана, и будет обеспечен мир и безопасность народам» *.

Это заявление Хрущева, весь его стиль и тон не могут быть расценены иначе как проявление подлинного мужества, сравнимого с его выступлением на XX съезде партии по трезвости и разуму, который восторжествовал над недальновидными расчетами в борьбе за перетягивание каната с Соединенными Штатами Америки. То был важный урок для самого Хрущева. То был необходимый урок для Джона Кеннеди. То был урок для всех последующих руководителей двух великих держав и для всего человечества.

В своих воспоминаниях Хрущев выражает удовлетворение и вместе с тем искреннее удивление, что и он — представитель рабочего класса, и Кеннеди — представитель капиталистов не только смогли договориться, но и испытывали сходные чувства по поводу угрозы войны и опасности экстремизма. Проблема, однако, куда глубже. Несходство Хрущева и Кеннеди не сводится к этому, как и

* *Кеннеди Р.* 13 дней. Свидетельство о кубинском кризисе. С. 129, 135.

не сводится к «противоположности двух социальных систем». Это несходство двух политических культур — либерально-элитарной (Кеннеди) и авторитарно-патриархальной (Хрущев). Более того, это несходство двух историко-культурных цивилизаций — американской и российской.

Традиции Америки — это индивидуализм, либерализм, антиэтатизм, превосходство закона над властью и свободы над равенством. Традиция России — это коллективизм, патриархальщина. Этатизм, возвышение власти над законом, равенства над свободой. Все эти черты так или иначе нашли отражение в характере Кеннеди и Хрущева, были источником их взаимного непонимания и даже отталкивания друг от друга. На это накладывались стереотипы представлений о внешнем мире — революционные у Хрущева и либерально-прогрессивные у Кеннеди.

Наконец, еще одно: в отличие от большинства западных людей большинство русских людей не рациональны, а эмоциональны. Поэтому у нас была великая литература — Толстой, Достоевский, но не было сравнимой с нею великой философии. Русские очень склонны к импровизации, им трудно планировать свою жизнь на одну неделю или даже на один день. Величайший парадокс истории в том, что именно русские впервые взялись планировать жизнь в масштабе всего общества (кстати, вероятно, не случайно ни один пятилетний экономический план так и не был выполнен). Люди Запада очень часто ошибались в своих прогнозах о поведении советского руководства, поскольку ставили себя на его место, не понимая особенностей российской политической культуры.

Тем более знаменательно, что Хрущев и Кеннеди смогли понять в конце концов друг друга в момент чудовищной угрозы в период карибского кризиса. Это свидетельство глобализации мировых проблем, которые преодолевают вековые различия цивилизаций и приобретают общечеловеческий характер. Если бы Хрущев и Кеннеди продолжали руководить своими странами — кто знает? — возможно, удалось бы избежать последующей двадцатилетней гонки вооружений. Ибо уже тогда стало ясно: ядерная война невозможна. Ибо уже тогда была сформулирована концепция достаточности вооружений для взаимного сдерживания. Ибо уже тогда русские и американцы стали понимать, что они просто люди, а не слепые представители соперничающих систем. Почему провидение сбросило с политической арены обе эти фигуры — и Кеннеди, и Хрущева,— остается загадкой истории.

Что касается меня, то я не просто уважал, я восхищался Джоном Кеннеди, и еще до того, когда он после трагической смерти стал мифом нашего времени. Я видел в нем идеал политического деятеля ядерного века, который соединяет в себе способность к принятию решений и интеллектуальные качества советника. Обычно это несовместимо: Аристотель не мог стать Александром Македонским, Сенека — Нероном, Талейран — Наполеоном, Сперанский — Александром I.

Способность к принятию решений свойственна, как правило, людям с твердым характером, которые не останавливаются перед жесткими мерами, если полагают их необходимыми. Обычно это властные и — в большей или меньшей мере — авторитарные лидеры. Советник же слишком интеллигентен и видит чересчур много аспектов события или решения. Джон Кеннеди был одновременно и тем, и другим. Кроме того,— и это был особенно важный момент для меня — он не побоялся окружить себя плеядой блестящих, талантливых людей, таких, как Макнамара, Банди, Соренсен.

В отличие от Кеннеди Хрущев не имел такой тяги к талантам. Его пресс-группа — Л. Ильичев, А. Сатюков, В. Лебедев и другие не выходили за рамки очень средних людей. Андропов составлял, пожалуй, одно из немногих исключений среди советских руководителей, но и он предпочитал «держать советников над водой», то есть не топить, но и не поднимать высоко.

Глава десятая
СОВЕТНИКИ

1

Мы стояли с Толкуновым на балконе второго этажа Дома приемов на Ленинских горах. Это один из доброго десятка домов, построенных, по замыслу Хрущева, не только для официальных встреч, но и как резиденция для приезжающих высоких особ. Там, в этих домах, предполагалось поселить членов Президиума ЦК КПСС, каждому отдельный коттедж, не очень большой — двух-трехэтажный и не очень маленький — наверное, три-четыре спальни.

Дома эти были обставлены по одному и тому же стандарту: прочная дубовая мебель светло-коричневого оттенка, большие шкафы для одежды и посуды, гостиная с удлиненным круглым столом примерно на десять — двенадцать персон и неизменные красные портьеры и белые кружевные занавески.

Но главную достопримечательность этих домов составляли высокие стены, которые их окружали. Собственно, это были даже не стены, а одна огромная длинная стена, тянувшаяся примерно на полкилометра, высотой метра три-четыре — так, чтобы исключить самую мысль о возможности проникновения. Да и как можно было проникнуть в эти дома, если у входа в каждый из них стояли будочки, до отказа набитые двумя, тремя, четырьмя охранниками?

Впрочем, сами дома сообщались между собой не такими уж высокими стенами, там были калитки, через которые поселившиеся члены Президиума ЦК и их семьи могли общаться друг с другом. Я был свидетелем, как Нина Петровна Хрущева разговаривала через калитку с супругой Подгорного по каким-то сугубо житейским делам, точно так, как их предки разговаривали через тын где-то на Украине. Тогда это называлось — точить лясы. А здесь такому разговору сопутствовал элемент важности, несмотря

на его самое обыденное содержание — говорили то ли о методе готовки варенья, то ли о пельменях, то ли жаловались на обслугу, которая многое делает не так.

Дом приемов, о котором я рассказываю, был в несколько раз больше жилых коттеджей, имел бассейн, бильярдную, комнату для курения — словом, был предуготовлен именно для официальных встреч. Здесь-то и происходили советско-китайские переговоры в 1962 году. Нашу делегацию возглавлял М. А. Суслов, в нее входили Б. Н. Пономарев, О. В. Куусинен и некоторые другие деятели. В составе китайской делегации были официальный и напыщенный Пын Чжен, аристократичный и тонкий Чжоу Эньлай, живой и улыбчивый Дэн Сяопин, мрачный Кан Шэн и другие. Мы находились в зале переговоров в качестве советников. В нижнем, подвальном этаже обычно собирались все представители интеллектуальной обслуги, включая советников, и обсуждали ход переговоров, вносили предложения, а главным образом выполняли поручения — доставить материалы, справки, быстро набросать какой-то новый документ и т. д. Здесь, кстати, я испытал первую неловкость по поводу самого себя и первое удовольствие (кажется, единственное в ту пору) от удовлетворенного тщеславия.

Неловкость же была вот в чем. Андропов сказал мне, что надо подумать о схеме Открытого письма по поводу позиции Китая. Ничтоже сумняшеся, я начал тут же набрасывать схему такого письма, диктуя его машинистке. Но поскольку я не рассчитал время, то все руководство нашей делегации во главе с Сусловым явилось для разговора с группой советников до завершения моей работы. Тем не менее, так как у меня было поручение Андропова, я рискнул передать незавершенный проект схемы Открытого письма Суслову и другим членам советской делегации.

Этот набросок страдал одним недостатком: вместо перечня основных вопросов он содержал обозначения двух-трех первых вопросов с их подробной расшифровкой. Иными словами, это был полуфабрикат. Мне было крайне неприятно, когда Суслов, небрежно взглянув на мою бумагу, отложил ее в сторону и довольно четко сформулировал вопросы, которые следует затронуть в Открытом письме. Частично они совпадали с моей бумагой, частично — нет. Я как бы получил по носу на глазах у своего друга Белякова, который, как всегда, присутствовал при моей диктовке и только одобрительно кивал головой.

Предложенный перечень включал те вопросы, которые впоследствии вошли в Открытое письмо. Речь шла о проблемах мира и мирного сосуществования; о культе личности Сталина; о формах перехода к социализму; о принципах взаимоотношений между компартиями социалистических стран в новых условиях и некоторых других.

Совещание было недолгим. Мы тут же засели за подготовку документа, проработали практически всю ночь и к утру сами удивились сделанному. Получился по тем временам чрезвычайно прогрессивный документ по всем острым вопросам дискуссий с Мао Цзэдуном. Можно было бы даже сказать об определенном продвижении вперед, особенно относительно мирного сосуществования с Западом, прекращения «холодной войны», а также создания гарантий против реставрации режима личной власти в странах социализма. Мне довелось работать над этим последним разделом, и то, что он был принят практически без всяких поправок у руководства, составило предмет моей маленькой гордости. Кроме того, я испытывал определенное торжество, поскольку подавляющее большинство работников аппарата в ту пору придерживалось куда более осторожных и сдержанных взглядов на авторитарную власть.

На следующий день после утверждения документа мы стояли с Толкуновым на том самом балконе, с которого я начал свой рассказ. И тогда он сказал мне довольно просто и обыденно: «Как ты отнесешься, Федор, тут у нас есть одна мысль: создать группу консультантов, подотдел, и просить тебя быть его руководителем». Я до сих пор помню свое ощущение в ту минуту. Был приятный летний день, мы были в одних рубашках и галстуках, я опирался на стенку балкона, и мысли мои плавали где-то далеко.

Предложение было совершенно неожиданным, но тем более приятным. Дело было не только в продвижении по службе, в конечном счете я никогда не готовил себя к аппаратной карьере. То было скорее чувство первого ученика, способности и прилежание которого отмечены учителем — разумеется, я имею в виду не Толкунова, а Андропова. Кроме того, мне очень импонировала мысль собрать группу интеллигентных людей и ставить какие-то новые крупные вопросы, которые могут оказать влияние на реформы в стране. Признаюсь, это была одна из лучших минут в моей жизни. Может быть, только однажды я еще раз испытывал нечто подобное, когда двадцать семь лет спустя без всяких особых усилий со своей стороны был

избран в Верховный Совет СССР и даже председателем подкомитета по гуманитарному, научному и культурному сотрудничеству.

Вероятно, такова психология любого человека. Все мы с детства любим подарок под елкой. Не потому, что подарок такой значительный — может быть, в течение года вам дарили куда более важные вещи, а потому, что он неожиданный — ты его не выпрашивал, ты не работал на объекте, будь то мама или папа, начальство или общественность, а вот он, неожиданно лежит, появившись сам по себе. Я несколько раз впоследствии, во времена Брежнева, выставлялся на выборах в Академии наук. Правда, по присущей мне слабости я ничего не делал для того, чтобы быть избранным, полагая, что и так всем ясно, что я этого заслуживаю, поскольку написал больше десятка книг. Но «бессмертные», написавшие, как правило, не больше одной-двух книг или даже одной-двух брошюр, довольно аккуратно проваливали меня на выборах. Тем более приятно было предложение Толкунова. И что особенно важно, Андропов и Толкунов фактически дали мне возможность формировать группу по своему усмотрению. Они не только не отвели ни одного предложенного мной кандидата, но, напротив, поддержали тех из них, которые по тогдашним нормам совершенно не подходили под аппаратные критерии.

2

Первым, на ком я остановил свой выбор, был мой старый друг по аспирантуре Георгий Шахназаров. Родился он в семье потомственных интеллигентов. Я видел его отца — маленького, щуплого, с большой лысой головой и огромным лбом, адвоката по профессии, знал его родственников — музыкантов, представителей других творческих профессий. Сам Шахназаров уже тогда проявил себя как человек, наделенный ярким литературным талантом, он писал стихи, пьесы, политические книги, отличался какой-то теплотой и нежностью, огромной тягой к самовыражению. Он был первым среди моих знакомых, кому я заказал статьи для журнала «Коммунист», когда попал туда на работу. Он успешно стал трудиться в одном из солидных журналов, а до этого заведовал редакцией в Издательстве политической литературы. Поэтому формирование корпуса «аристократов духа» я начал с него.

Кстати, это один из немногих людей, в нравственных качествах которого я не обманулся. Полагая, что для работы советника требуются по меньшей мере два свойства — талант и порядочность, я, безусловно, во всех случаях преуспел в первом, поскольку все приглашенные тогда в группу люди показали себя незаурядными учеными, журналистами. Что касается второго — порядочности,— то Шахназаров оказался выше всяких похвал. Хотя биография его в брежневское время тоже сложилась нелегко, но он сохранил на всю жизнь исключительную честность, доброжелательность и чистоту отношений, особенно с друзьями. В трудную для меня пору именно он способствовал первому моему выезду за рубеж. А в период перестройки, когда он оказался у вершины партийной власти (в роли советника, разумеется), именно он стал содействовать моему возвращению на политическое поприще.

Но с его приглашением тогда, в 1962 году, дело обстояло худо. За ним прочно укрепилась репутация этакого «неуправляемого» человека. Кроме прочего, Шахназаров любил тогда одеваться экзотически: не только куртка, но и пальто из замши коричневого цвета, какие-то яркие краги и галстуки, а мысли свои выражал свободно и раскованно. Много месяцев я бился за то, чтобы отдел парторганов согласился с предложением нашего отдела, и то с промежуточным испытательным сроком. Вначале Шахназарова направили в журнал «Проблемы мира и социализма», и только полгода спустя его удалось зачислить консультантом.

Шахназаров вносил элемент тонкого суждения и изящного стиля почти в любой, даже самый тривиальный документ, который мы готовили, особенно когда речь шла о публикациях в печати. Ему были присущи приятный, незлобивый юмор и редкое среди интеллигентных людей России качество — способность считаться с другим мнением и авторитетом. Он смотрел своими теплыми, бархатистыми глазами одинаково на товарищей по работе, руководство и женщин, которых он очень отличал и которые его отличали.

Георгий всегда был хорошим спортсменом, с 1950 года мы постоянно конкурировали с ним в этой области. Я был капитаном волейбольной команды, в которой состоял и он. Я стал чемпионом по настольному теннису в аппарате ЦК, пока не пришел он и не отнял у меня этот титул. Мы играли на равных в шахматы в аспирантские годы, но постепенно он неизвестно откуда обрел большое знание

теории и стал, как правило, обыгрывать меня, хотя и очень горячился в тех случаях, когда попадал в тяжелое положение. Он прекрасно плавал, и здесь мы были на равных. И только в теннисе ему не удалось догнать меня. Это осталось последним пристанищем моего спортивного самолюбия в нашем личном споре.

Другим, тоже выдающимся, хотя, вероятно, не в такой степени, человеком был Александр Бовин. За всю жизнь я не встречал более толстого человека, по крайней мере на политическом поприще. Массивное лицо, усы и бакенбарды, карие глаза, огромные грудь и живот придавали его фигуре одновременно внушительный и комический вид. Ко времени, когда мы с ним встретились, Бовин успел защитить две кандидатские диссертации — по юридическим и философским наукам, но он по лепости так и не стал доктором наук в отличие от Шахназарова, который получил звание члена-корреспондента Академии наук.

Писал он материалы мелким, четким бисерным почерком, был мастер сочинять удивительно логичные абзацы и страницы текста с законченной мыслью. Его стиль анализа, возможно, был навеян глубоким изучением гегелевской философии: тезис, антитезис, синтез. Он любил делить любое политическое действие на плюсы и минусы, калькулировать итог и делать ясное умозаключение.

Познакомился я с Бовиным при неожиданных обстоятельствах. Это было в Малеевке, Доме творчества писателей, что в шестидесяти километрах от Москвы. Мне предоставили душную веранду, на которой я пытался сотворить свою докторскую диссертацию. До сих пор не могу понять, что произвело на меня впечатление, когда я встретился с этим человеком. Какая-то раскованность кратких, но четких суждений и, несомненно, ум. Я пригласил его в группу консультантов, и он прошел без всяких трудностей, поскольку никаких хвостов за ним не числилось: в политическом плане он был более осторожен, чем Шахназаров.

Бовин оказался наиболее трудным человеком в нашей группе. Как выяснилось, он не терпел сопоставления мнений, а тем более — даже самых деликатных замечаний. В перспективе ему предстояло столкнуться с Шахназаровым, взять над ним верх в брежневскую эпоху и полностью проиграть в новое время перестройки.

Крупной фигурой из тех, кого я пригласил в эту группу, был упоминавшийся уже Георгий Арбатов. Человек незаурядных способностей, как выявилось впоследствии,

прекрасный менеджер западного типа, он, однако, успел обрести до своего перехода в аппарат репутацию радикала и крамольника.

Впервые я познакомился с ним заочно, прочтя его так и не пошедшие статьи по социологии преступности, написанные совместно с другим исследователем для журнала «Вопросы философии». Его обвинили во всех смертных грехах и даже где-то разбирали на партийном собрании. Ну а позднее, как я уже отмечал, именно он пригласил меня работать над книгой Куусинена. И хотя он обошелся со мной на последнем этапе не очень деликатно, я полагал делом чести проявить великодушие и пригласить этого талантливого человека в нашу группу.

Придя к нам, он внес некий дух, если так можно сказать, умственного кипения. Его мысль никогда не застаивалась на одном месте. Она была живой, разнообразной, неутомимой. Точно так же он был неутомим в организационных делах. Первое, что сделал Арбатов,— он стал почему-то вешать свое пальто и плащ в прихожей моего кабинета. Шахназаров тогда еще пошутил: «Смотри, Федор, он начал с прихожей, как бы не посягнул и на твое кресло». И волею судьбы именно ему впоследствии довелось заменить меня на посту руководителя группы консультантов при обстоятельствах, о которых я расскажу дальше.

Во время наших заседаний Арбатов любил вскакивать и, покуривая трубку, бегать по кабинету, рожая на ходу не великие, но всегда интересные мысли, фразы, обороты. При этом он попыхивал трубкой, не считаясь с тем, что мы не любили курение. Даже внешне, в силу внушительной своей фигуры, Арбатов сразу занял слишком много места в нашей маленькой группе. Другие почувствовали тесноту в лодке. Тогда мне не приходило в голову обижаться на это. Я был уверен в себе, да и, в сущности, ориентирован на другой род деятельности и жизни.

Александр Бовин, который родился и жил в Ростове и сохранил некоторые черты ростовского парня, напоминающего одессита — чуть-чуть больше, грубоватый, чем это принято между интеллигентными людьми, он с самого начала сориентировался на альянс с Арбатовым, что в конечном счете предопределило его преуспеяние в брежневские времена.

Федор Федорович Петренко пришел в нашу группу из журнала «Коммунист». Человек исключительной честности и какой-то необычной чистоты, он вносил умиротво-

рение в нашу команду. Кроме того, это был единственный человек, который глубоко и серьезно изучал проблемы нашей партии и компартий в других социалистических странах и уже тогда искал новые, демократические формы их деятельности. Он дольше других проработал в аппарате ЦК, не стремясь к карьере и заботясь о сохранении убеждений и их последовательном продвижении в «документы» и в жизнь.

В группу вошли также несколько консультантов, которые работали прежде, до образования подотдела. Прекрасный экономист, выходец из Госплана Олег Богомолов отличался основательностью суждений, прекрасно разбирался в экономических реформах стран Восточной Европы, был контактен, склонен к человеческим компромиссам и рационален. Его слегка флегматичный характер, склонность к юмору вносили умиротворение в наши, нередко бурные собрания.

Затем любопытнейший человек со странной фамилией, видимо, французского происхождения — Лев Делюсин. Это был крупный специалист по проблемам Китая. В периоды ожесточенных схваток с Мао Цзэдуном он постоянно «мешал» распоясаться. Прекрасно зная Китай, оперируя фактами, Делюсин охлаждал пыл зарывающихся «борзописцев» простым указанием на то, что вот это не так, этого не было, этого нет, а это невозможно. Он имел склонность к искусству авангардистского толка, первым познакомил всех нас с Юрием Петровичем Любимовым и художником Юрием Васильевым. Именно он организовал коллективный наш поход на просмотр первой постановки Любимова «Добрый человек из Сезуана» по Брехту. С той поры наша группа на протяжении двадцати пяти лет коллективно и индивидуально выступала своеобразным мостом между партийным руководством и Театром на Таганке. Эта традиция сохранилась не только во времена Хрущева, но и во времена Брежнева.

Делюсин познакомил меня с Булатом Окуджавой, и я стал пожизненным поклонником этого изумительного таланта. Помнится, году уже в 1962-м я включал на цековской даче во всю мощь магнитофон с голосом Булата, шокируя аппаратную публику своими «непристойными» вкусами.

Вместе с Делюсиным мы часто навещали Любимова и его театр, дружили с Володей Высоцким. Он бывал в гостях у многих членов нашей группы, пел и рассказывал о себе, о театре. Кстати говоря, именно у Шахназарова как-

то Высоцкий спел нам песню «Охота на волков». Вы помните: в ней рассказывается о безжалостных охотниках, которые, оградив красными флажками пространство, бьют волков, волки боятся пересечь установленную флажками границу и беспомощно погибают под пулями. Помню, тогда я воскликнул: «Так это же про нас! Какие, к черту, волки!» Судя по всему, именно это восклицание стимулировало вторую песню Володи: «Меня зовут к себе большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков».

Делюсин и все мы стали постоянными ходатаями за Любимова перед Андроповым. Вероятно, с нашей подачи Ю. В. на многие годы стал покровителем Театра на Таганке, наверное по своим соображениям рассматривая это как «форточку» и «выпускание пара». Любимов, насколько я знаю, нередко встречался с Андроповым, и не только в хрущевское, но и в брежневское время.

Мне врезалась в память сцена в английском посольстве. Было это много позднее, примерно в 1982 или 1983 году, буквально накануне отъезда Любимова за границу. Любимов поймал меня за пуговицу и стал кричать нарочито во весь голос, так, чтобы слышали все окружающие: «Мне запретили три спектакля, я пойду к Юрию Владимировичу Андропову, я добьюсь наказания этого «химика», который совершенно распоясался!» («химик» — прозвище тогдашнего министра культуры СССР П. Н. Демичева, с которым Любимов был на ножах).

Мощная группа консультантов, собравшаяся вокруг Андропова, конечно же и не думала ограничивать свою деятельность подготовкой речей или выполнением отдельных поручений, связанных с пленумами ЦК или съездами партии. У нас с самого начала появились обширные планы, имевшие целью выдвижение инициатив, касающееся не только наших отношений с социалистическими странами и странами Запада, но и внутренней политики. Это становилось все более реальным ввиду изрядного интеллектуального потенциала группы, насчитывающей одиннадцать человек. Кроме того, мы были молоды, полны сил и веры в будущее. Независимо от отдельных индивидуальных качеств — кто-то был больше ориентирован на собственную карьеру, кто-то на общественную деятельность,— всех нас воодушевляло стремление послужить делу реконструкции общества.

Во время одной из поездок в Прагу я встретился с Геннадием Герасимовым. Это был на редкость интеллигентный и милый молодой человек, который опубликовал

несколько ярких статей в журнале «Проблемы мира и социализма», где он работал, и в других изданиях. Он не гонялся за теоретическими проблемами, но обладал высоким публицистическим дарованием, умением находить необычные слова и повороты мысли. Герасимов тоже вошел в нашу консультантскую группу.

Я был счастлив в ту пору, которая, к сожалению, продлилась очень недолго. Я купался в среде умных мнений, неожиданных всплесков суждений, веселых и озорных шуток. Вот одна из них. Богомолов уже в те времена баловался любительским киноделом. И он как-то заснял наши посиделки на даче Горького по Рублевскому шоссе.

Это правительственное шоссе, где справа и слева расположено было большинство персональных дач членов Президиума ЦК. Сравнительно небольшая дача принадлежала Хрущеву, а самая большая — Анастасу Микояну. Она стояла на возвышении: такой трехэтажный старинный кирпичный дом и еще несколько отдельных построек для прислуги. Рассказывали, что Анастас Иванович присмотрел его еще до революции, когда навестил кухарку хозяина этого дома, принадлежавшего не то какому-то князю, не то бакинскому нефтепромышленнику... Микоян и его дети прожили там сладкую жизнь — примерно шестьдесят лет. Проезжая мимо этой дачи, мы всегда невольно оглядывались на «пролетарское» поместье, удивляясь не столько пышности и величине, сколько тому, как рано Микоян сориентировался и занял ее.

Так вот, почти в конце Рублевского шоссе по правую руку находилась огороженная высоким деревянным забором дача, в которой жил последние годы Алексей Максимович Горький. То был двухэтажный барский дом с колоннами, большим залом, где в центре стояло пианино, а также с отдельным флигелем, в котором проживал его сын. Алексей Максимович очень любил его. Сохранился рассказ о том, как Горький бежал чуть ли не в одной рубашке и валенках зимой из усадьбы во флигель к сыну перед его смертью. От чего умер сын, достоверно так и неизвестно. Ходили упорные слухи, что был он отравлен по приказу Берии. Эта ночная пробежка стоила Горькому жизни. Он простудился, схватил воспаление легких и вскоре скончался.

Именно на этой даче и готовились основные партийные документы. Нависала она, эта дача, над обрывом, а внизу текла мягкая, тихая Москва-река, изгибаясь, как змея.

Н. С. Хрущев — первый секретарь МК и МГК ВКП(б).
1935 г.

И. В. Сталин и Н. С. Хрущев.
1 мая 1932 г.

Сталинградский фронт. Октябрь 1942 г.
Н. С. Хрущев с генералом А. И. Еременко и офицерами штаба.

В освобожденном Кракове. Январь 1945 г.

Во время первого визита в Пекин в 1954 г.
Сидят (слева направо): А. И. Микоян, Е. А. Фурцева,
Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, В. М. Молотов.
Среди стоящих сзади — Я. С. Насриддинова.

Мао Цзэдун, Н. С. Хрущев и А. И. Микоян.

Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин в Индии с Д. Неру
и другими индийскими лидерами. 1955 г.

Митинг на московском заводе «Каучук»,
посвященный итогам работы XX съезда КПСС.
На трибуне — глава делегации Компартии Великобритании
на XX съезде Гарри Поллит. 1956 г.

О. В. Куусинен.

Ю. В. Андропов.

Н. С. Хрущев в Албании. 1959 г.
Справа — Э. Ходжа.

Президент США Д. Эйзенхауэр и Н. С. Хрущев
перед совещанием в одном из домиков Кэмп-Дэвида.
1959 г.

«Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас».
Шутливый рисунок Сандерса из газеты «Дейли ньюс».

Н. С. и Н. П. Хрущевы на киностудии кинокомпании
«Твентис Сенчури Фокс» в Голливуде.

1960 г. Беседа с президентом Франции Ш. де Голлем во время встречи в верхах.

Члены советской делегации в Албании Ю. В. Андропов и П. Н. Поспелов. Слева — Ф. М. Бурлацкий. 1961 г.

На отдыхе в Крыму. 1961 г. Слева — В. Ульбрихт и В. Гомулка, справа — М. А. Суслов и Л. И. Брежнев.

Н. С. Хрущев
и премьер-министр революционного правительства Кубы Ф. Кастро.

Во время разговора с космонавтом Валентиной Терешковой.
Рядом сидит Л. И. Брежнев. 1963 г.

Югославия. 1963 г. Н. С. Хрущев в форме почетного шахтера. Слева — И. Б. Тито.

Н. С. Хрущев и Д. Кеннеди.

Советская делегация в Будапеште.
Митинг на электроламповом заводе. Рядом с Н. С. Хрущевым Я. Кадар.
1964 г.

Л. Н. Толкунов (в центре) и Ф. М. Бурлацкий (слева)
в Будапеште.

Н. С. Хрущев, А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов на отдыхе.

Никита Сергеевич с внуком Никитой. 1963 г.

Я обратился с просьбой и тов. Чжоу Энь Лаю:

– Борьба идет очень жестокая и вьетнамцы хорошо дерутся. Французы несут большие потери. Поэтому не надо говорить Хо Ши Мину, что Вы не окажете им помощи, если они будут отходить под ударами французов к Вашей границе. Пусть это будет [redacted] ложью. Пусть вь[redacted] что им помогут и это будет каким-то дополнительным источником [redacted]сопротивления вьетнамских партизан французским оккупантам.

Чжоу Энь Лай согласился не говорить товарищу Хо Ши Мину, что Китай не вступит в войну с французами на вьетнамской территории.

Однако тогда свершилось буквально чудо. Когда делегации приехали в Женеву, Вьетнамские партизаны одержали крупнейшую победу и взяли крепость Дьен Бьен Фу. На первом заседании Мендес Франс, который тогда возглавлял французское правительство и предложил разграничить силы Франции и Вьетнама по 17-й параллели. Признаться, когда нам сообщили эту новость из Женевы, мы от удовольствия ахнули. Мы такого не ожидали. Это был максимум, на который мы претендовали. Мы дали указания нашим представителям в Женеве потребовать перенести демаркационную линию ниже, на 15-ю параллель. Но мы предупредили, что это для торга, и принять надо предложение Мендес Франса и, таким образом, закрепить завоевания коммунистов Вьетнама.. Договор был подписан.

Нужно отдать должное Мендес Франсу. Он трезво и правильно оценил ситуацию, которая сложилась. У партизан тогда во Вьетнаме были трудности, но не меньше трудностей было и у французской армии. Это был разумный шаг и он положил конец войне французов во Вьетнаме. Франция вышла из войны и эвакуировала свои войска.

Все было бы хорошо, если бы выполнились Женевские Соглашения. Через два года должны были пройти всеобщие выборы и мы не сомневались, что Хо Ши Мин, то есть Коммунисты и прогрессивные силы Вьетнама на них одержат победу. Но тут появился зловещий Даллес и Соединенные Штаты навязали Вьетнаму кровопролитную войну, которая продолжается до сих пор. Об этом я не буду сейчас говорить, потому что все и в печати освещается и политическим деятелям хорошо известна эта история. Однако в связи с тяжелым для меня сообщением смерти подлинного коммуниста, видного деятеля международного коммунистического движения товарища Хо Ши Мина хотел бы еще рассказать о сложном положении Вьетнама в связи с конфликтом с Китаем.

Я помню когда проходило Совещание коммунистических рабочих партий в 1960 году, Китай был представлен Лю Шао Ци. Китайцы выступали против нас. Особенно оголтело вел себя агент Мао Цзе Дуна Энвер Ходжа. После его выступления выступала товарищ Ибаррури. Она с возмущением говорила, что Энвер Ходжа можно сравнить с собакой, которой дают хлеб, а она кусает эту руку. Так и он выступил против Коммунистической партии Советского

Машинописная страничка воспоминаний Н. С. Хрущева.

Богомолов заснял всех нас в разных позах на этой даче, сделав недурной фильм, в котором были довольно точно схвачены характеры. Беляков начальственно восседал в кресле на улице, грелся на солнышке и, как всегда, изрекал истины в последней инстанции. Я сиживал неподалеку, и наша сестра-хозяйка, женщина простая и бесхитростная, сказала как-то под всеобщий смех: вот Беляков — это Сталин, а Бурлацкий — это Ленин.

Самый смешной эпизод был связан как раз с Бовиным. Богомолов ухитрился заснять его в момент, когда тот поднимался из реки по ступенькам деревянной купальни. Вот камера медленно движется сверху вниз: огромная, обрамленная черными волосами бальзаковская голова, широкие брови, усы, атлетическая грудь, прекрасной формы живот; наконец под животом камера останавливается, замирает и... Начинает терпеливо искать: поднимается вверх, опускается чуть вниз, перемещается влево, вправо. Что-то исследует, делает вид, что не находит, затем как бы обескураженно и удивленно начинает медленно подниматься снизу вверх: снова мы видим этот превосходный живот, эту могучую грудь, внушительный подбородок...

Конечно, это была не более чем ловкая компоновка режиссера, однако во время просмотров этого фильма в нашем зале Бовин неизменно вскакивал, особенно когда присутствовали машинистки и стенографистки, и восклицал: «Это я выходил из холодной воды!..» Вообще говоря, дух нашего маленького коллектива был прекрасным. Если не считать двух человек, которые нам достались в наследство от прежнего аппарата, все отличались свободомыслием, незаурядными способностями и жаждой перемен. Андропову нравилась эта интеллектуальная вольница. После многих часов бесконечных разговоров по телефону и аппаратных телодвижений, «втыков», которые он раздавал чиновникам направо и налево, Ю. В. отдыхал, слушая наш свободный разговор по всем вопросам большой политики.

Мне самому было приятно и интересно это сообщество, и я имел обыкновение «выводить» всех на Ю. В. Кроме того, я никогда не страдал комплексом неполноценности и поэтому не боялся соперничества. Мой друг из числа консультантов не раз предупреждал меня: «Смотри, Федор, ты делаешь ошибку, выводя каждого консультанта на Ю. В. и других руководителей. Раньше или позже это может дорого обойтись тебе». На это я отвечал: «Я хочу

создать новый стиль аппаратной деятельности — без взаимной ревности, подсиживания, интриг. Пускай даже это приведет к определенным личным издержкам, может быть, посодействует созданию новой модели». «Ну, разве что так,— иронически замечал мой оппонент,— но все же, все же присматривайся больше к каждому и будь осторожнее». Что ж, он оказался мудрее меня...

3

Практически мало кто из членов группы имел доступ к Хрущеву. Здесь сохранялась моя монополия, впрочем непредумышленная, поскольку Ю. В. тщательно оберегал мой авторитет и неизменно брал меня в поездки на высшем уровне либо направлял без себя, когда сам не входил в делегацию. Больше того, в последний год он стал включать меня в состав партийно-правительственных делегаций, например в Венгрию и некоторые другие страны. Таким образом, независимо от практического равенства всех консультантов дистанция между ними и их руководителем сохранялась в силу чисто аппаратных причин. Это то, от чего мне с таким трудом пришлось отвыкать впоследствии, когда мы поменялись местами. Большинство из них выдвинулось в брежневскую эпоху на высокие посты, а я был отброшен на периферию. Вероятно, самолюбие мешало мне смириться с новым балансом сил в рамках нашей группы, и она практически распалась, а взаимоотношения подверглись эрозии. Но этому послужили и другие, более важные политические причины. После происшедших со мной в брежневское время катаклизмов многие друзья перестали мне звонить, и я сам не звонил им. Таковы правила игры на этом этаже политической лестницы. В трудную пору каждый сам за себя, хотя в пору преуспеяния — один за всех.

Наша команда консультантов была первой объединенной группой в аппарате ЦК КПСС. Ю. В. и в этом отношении оказался пионером. Он раньше других сообразил необходимость использования интеллекта в политической жизни того поколения руководителей, которое ни писать, ни выступать, ни вырабатывать политическую стратегию не умело. Что они умели — это методично усиливать свою власть и самыми различными средствами сохранять ее. Этого у них не отнимешь. Здесь они превос-

ходили, конечно, «аристократов духа» в десятки раз. Мы выглядели мальчишками в сравнении с этими мастерами аппаратной борьбы. А на нас они смотрели как на некий идеологический сервис: не эти, так другие будут выполнять ту же роль.

Правда, большинство руководителей относились к «речеписцам» с пиететом, поскольку умение водить пером по бумаге всегда казалось им какой-то загадкой. Но практически они никогда не воспринимали консультантов как серьезных претендентов на самостоятельные политические роли. Здесь действовал инстинкт самосохранения. Выдвижение на разные посты шло помимо консультантской группы. Любопытно, что Ю. В. не был исключением в этом отношении. Он ходил, по выражению Мао Цзэдуна, на двух ногах, и главной была аппаратная нога. За короткий срок в отделе он сменил всех руководителей секторов, поставил на эти посты исключительно выходцев из комсомольской среды. Он верил в их преданность и безотказность, в их административные способности.

Любопытно и другое: определенное исключение составил «братский» международный отдел, которым руководил Б. Н. Пономарев. Имевший слабость к научно-журналистской работе, Пономарев несколько иначе смотрел на своих консультантов. Очень скоро после создания нашего подотдела он сформировал в рамках своего отдела группу консультантов во главе с Е. И. Кусковым. Сюда вошли довольно сильные люди. И что интересно, по контрасту с нашим отделом, Пономарев именно отсюда черпал людей для выдвижения на руководящие посты. Практически все его заместители вышли из консультантов. В роли заместителей, в частности, перебывали и А. Беляков, и Е. Кусков, и А. Черняев, и В. Загладин.

Вскоре консультантский корпус стал появляться и в других подразделениях. К общему движению — даешь интеллектуалов! — примкнули идеологические отделы, такие, как отдел агитации и пропаганды, науки, культуры, а затем, что нас особенно удивило, не только экономические, но и кадровые подразделения аппарата. Везде, как грибы, стали расти консультантские группы, составив некий новый срез функционеров, которые разговаривали на новом сленге, стоящем ближе к науке, журналистике, литературе, чем к традиционному аппаратному стилю. Правда, практически никто из этой многочисленной команды не «дорос» до уровня политического руководителя. Максимальные должности, которые удалось завоевать им

в будущем, были — член ЦК КПСС, первый заместитель заведующего отделом. Зато консультанты представляли собой резерв для замещения высших должностей в научной и культурной элите. Поработав пять — семь лет в аппарате, они становились директорами институтов, академиками, получали крупные посты в Министерстве культуры, в университетах и т. д. Кажется, я был единственным, кого обошли такие назначения, но для этого я сделал чрезвычайно много, вредя себе практически на каждом шагу своей деятельностью, особенно в брежневское время.

Кстати, я случайно чуть было не попал в его ближайшее окружение. Как-то, еще во времена Хрущева, кажется в 1963 году, меня вызвал Толкунов и неожиданно, с обычной для себя улыбочкой, без всякого предисловия задал вопрос: «А не пойдешь ли ты, Федор, помощником к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу?» Толкунов только что вернулся из Африки, куда сопровождал Брежнева, и тот попросил его поискать помощника по международным вопросам. Я сразу, не задумываясь, сказал: «Нет, не пойду».

Дело в том, что я раз и навсегда решил для себя, что не буду работать помощником ни у кого. Мне и до этого намекали на такую возможность — работать с Хрущевым. Во время поездки в Болгарию его помощники Лебедев и Шуйский прощупывали меня на этот предмет. Но поскольку я отказался быть помощником Хрущева, у меня и в мыслях не было стать помощником у кого-либо другого, тем более у малознакомого мне и малозаметного в ту пору Председателя Президиума Верховного Совета.

Тогда Толкунов попросил меня назвать человека, которого он мог бы порекомендовать на эту должность. И тут я предложил А. М. Агентова, одного из советников министра иностранных дел СССР.

С Агентовым я познакомился незадолго до этого, работая над каким-то совместным документом. Он приятно удивил меня своей способностью быстро подхватывать на лету мысль и так же быстро готовить вставки или даже диктовать их. Только потом я понял, что он набил себе руку, работая длительное время над документами в МИДе. Он впервые появился в моем кабинете — щупленький, старенький, несмотря на то что ему было не больше сорока лет. Появился в странном костюмчике из некоего подобия твидового пиджачка и потертых брюк. Он гордился приверженностью к западному стилю жизни: чистил зубы после каждого приема пищи. Не знаю, что на меня про-

извело большее впечатление — его литературные способности или чувство юмора, но я назвал именно его фамилию в разговоре с Толкуновым. Агентов действительно стал помощником Брежнева и остался им до кончины последнего.

Он почему-то невзлюбил меня той особенной нелюбовью человека, который стремится преодолеть в себе чувство признательности за оказанную услугу. Но, быть может, он не прощал шуток, которые мне казались озорными, а ему могли показаться оскорбительными. Например, обыгрывание его фамилии. Мы часто шутили с другими консультантами на эту тему, что в конечном счете вынудило нашего коллегу сменить неблагозвучную фамилию Агентов на более благопристойную — Александров. Квалифицированный международник, он с одинаковым усердием редактировал и речь Брежнева на Совещании в Хельсинки в 1975 году, и материалы о вводе войск в Афганистан... На пенсию он ушел уже в горбачевское время со всем почетом под этой своей новой фамилией.

Собравшаяся вокруг Ю. В. «могучая кучка» прогрессивных и мыслящих людей очень скоро стала претендовать на разработку крупных проблем нашей внутренней и внешней политики. Анализируя опыт экономических реформ в Югославии и политических реформ в Венгрии после 1956 года, мы приходили к выводу, что многое из того, что там было сделано, может быть — конечно, не механически, а творчески — применено в нашей стране. Мы изучали бурные процессы интеграции в Западной Европе, с огромной завистью сравнивая «Общий рынок» с медленными бюрократическими процессами экономического сотрудничества в рамках СЭВ. Мы думали о приобщении нашей страны к современной технологии, лучшим достижениям мировой цивилизации и мировой культуры. Иными словами, мы мечтали о реформах в России.

Конечно, не все участники нашей группы были настроены одинаково радикально. Острее других потребность в реформаторстве, может быть, чувствовали мы с Шахназаровым.

С Бовиным у меня произошло маленькое недоразумение. Он сопровождал Ю. В. в поездке в КНДР. И, вероятно, вел там с ним какие-то откровенные разговоры. После возвращения Ю. В. попросил меня сделать «вливание» Бовину за его «неаппаратные» настроения и вызывающее

обращение с начальствующими лицами. Это был первый и единственный раз, когда я высказал какое-либо замечание участнику консультантской группы. Общий стиль наших отношений был абсолютно дружественным, ровным и доброжелательным. Но здесь, действительно, я под каким-то предлогом пригласил Бовина и сказал ему о недовольстве Ю. В. Мне казалось, я сделал это в самой деликатной дружеской форме.

Тем не менее на протяжении многих лет Бовин — особенно во времена Л. И. Брежнева — частенько вспоминал, как я будто стал постукивать пальцем по столу в разговоре с ним. Он обронил фразу в ответ на мое замечание, что Ю. В. будто сказал ему во время поездки в Корею, что не возражал бы против перехода Бурлацкого на другую работу, поскольку у него есть хороший преемник в лице Арбатова. Я пропустил мимо ушей эту ремарку Бовина, недооценив, как много было в ней заложено взрывного содержания. Это была первая, хотя и очень малозаметная акция по расколу группы консультантов, едва сложившейся в единый коллектив.

После моего ухода из аппарата, о чем я расскажу дальше, моим преемником на посту руководителя группы консультантов действительно стал Арбатов, а затем он ушел директором академического института. Возник вопрос о новом преемнике — на это место претендовали и Шахназаров, и Бовин.

Шахназаров в ту пору выпустил книжку «Социализм и равенство», в которой высказал ряд нетривиальных идей, в частности о взаимоотношениях между партией и государством, толкуя это в смысле восстановления полновластия Советов. Кто-то из его недоброжелателей, подчеркнув отдельные места этой книжки, переправил ее помощнику Суслова Воронцову, который доложил своему шефу о «крамольных» высказываниях консультанта отдела ЦК. В результате руководителем группы консультантов был назначен Бовин, а Шахназарова направили в журнал «Проблемы мира и социализма», откуда он вернулся по случаю, познакомившись с одним из секретарей ЦК во время пребывания того в Праге.

4

Чувствовали ли мы приближение грозы над головой Хрущева? И да и нет. Самым сильным было ощущение, что реформы в стране только

начинаются и что история даст шанс на протяжении нескольких десятилетий осуществлять реконструкцию нашей системы.

В то время мы были полны энтузиазма и веры в возможность формирования нового общества на антисталинской основе. Правда, последние шаги Хрущева вызывали удивление и даже подозрение. Его выступления против интеллигенции просто шокировали нас, поскольку все наши симпатии были на стороне Б. Пастернака, В. Дудинцева, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Ю. Любимова. Кроме прочего, мы были связаны со многими из них длительными личными отношениями. Как людей, приобщившихся к политике, нас огорчали резкие высказывания Хрущева об армии, флоте, генералитете. Это был явный вызов.

А с другой стороны, у нас, в частности у меня, все больше появлялось интуитивное чувство какой-то опасности, подступающей с разных сторон. Хорошо помню свой разговор с Делюсиным во время лыжной прогулки на даче Горького. Я сказал: «Хрущев сделал все для своего падения. Он рассорился с парт- и госаппаратом, с армией и КГБ. Если бы нашелся смелый мальчик, ничего не стоило бы убрать Хрущева». Такой «смелый мальчик» нашелся среди наших комсомольских «младотурков». То был А. Н. Шелепин — бывший первый секретарь ЦК комсомола, которого Хрущев сделал секретарем ЦК и председателем Комитета партийно-государственного контроля. Но об этом позднее.

Чем был недоволен партаппарат? Еще в первые годы пребывания у власти Хрущев неоднократно покушался на привилегии партийных и государственных работников. Он сразу же ликвидировал систему «пакетов», которые раздавались высшим работникам аппарата, печати, научных учреждений. Это был так называемый «сталинский пакет» — денежная сумма, которая вручалась каждому тайно и не подлежала не только налогообложению, но даже выплатам из нее партийных взносов. Это решение Хрущева аппарат перенес сравнительно безболезненно, так как уж очень нелепо выглядела такая привилегия.

Затем Хрущев нацелился на одну из самых больших льгот — «кормушку» на улице Грановского, где когда-то жили все крупнейшие деятели партии. Там до сих пор выгравированы на жилом доме имена Фрунзе и Тухачевского, Калинина и многих других. Так вот, напротив этого дома, во дворе, находилась «столовая лечебного питания», где выдавались хорошие продукты за очень умеренную

цену, да еще с зачетом денежной дотации. «Кормушка» была своеобразным клубом высшего комсостава всех без исключения центральных учреждений — ЦК и Совмина, министерств и ведомств, армии и КГБ, печати и Академии наук. Из маленьких дверей этого дома выходили, сгибаясь от натуги, министры и академики, дотаскивали свои пакеты или ящики до черных машин и катили на работу или домой. Я был приобщен к этой «кормушке» до 1967 года, когда меня уволили из «Правды», но почти никогда не бывал там. В Доме на набережной, описанном Юрием Трифоновым, находился филиал «кормушки», куда могли съезжаться члены семей, и я предпочитал, чтобы это делала моя жена.

Так вот, Хрущев трижды подготавливал решение Президиума ЦК о ликвидации «кормушки», и трижды этот проект откладывался под разными предлогами. Главным доводом служило то, что столовая была организована по личному распоряжению Ленина. На первой странице одного из проектов решения о ликвидации спецстоловой внизу, в примечании, маленькими буквами было напечатано, что сам Ленин указал открыть столовую, чтобы «подкормить наших товарищей», пострадавших от тюрем, каторги и испытаний гражданской войны. И хотя это стало полной бессмыслицей в новое время, когда все каторжане ушли в мир иной (многие при содействии Сталина), тем не менее этот довод продолжал работать. Аппарат не переставал цепляться за свои привилегии, больше всего боясь начала необратимого процесса их ликвидации.

Одним из эпизодов этой борьбы был анекдотический разговор между вторым секретарем ЦК партии А. И. Кириченко и управляющим делами ЦК с характерной фамилией Пивоваров. Кириченко заявил ему якобы по поручению Хрущева: «Так что так — крух пользующих сузить, бла́га увеличить». Это распоряжение с характерным украинским прононсом повторялось всеми работниками аппарата. И действительно, после этого у высших руководителей «блага возросли» — появились танкообразные машины «чайки», а у среднего комсостава отняли право вызывать машины домой для поездки на работу. Я нередко повторял в то время шутку, которая тоже облетела аппарат и дорого мне обошлась: наше государство создал вовсе не Ленин, как принято думать, а управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевич, который четко определил табель о

рангах, что кому «положено» — зарплата, паек, квартира, дача, машина, спецтелефон и т. д.

Одно время Хрущев покушался и на государственные машины. Будучи в Англии в 1956 году, он узнал, что право вызова спецмашины имеют лишь премьер-министр и еще один-два министра. То же самое в США. Было подсчитано, что только официально у нас в личном пользовании находится более полумиллиона машин с одним-двумя водителями при них; кроме того, многие пользуются государственными машинами неофициально.

Однако из всех хрущевских покушений на эти привилегии ничего не вышло. Тем не менее аппарат ворчал. Большое недовольство вызывали быстрые кадровые перемены. Хрущев по своему усмотрению сменил большинство первых секретарей республик и областей и, как считали, насаждал своих украинских друзей. Последний удар был нанесен его решением разделить обкомы и горкомы партии на две части — промышленные и сельскохозяйственные. Никто не понимал и не принимал этого нововведения. Как можно делить орган власти и противопоставлять одну часть аппарата другой? Это была самая непопулярная акция Хрущева. Мы долго так и эдак вертели ее в своих дискуссиях и не могли понять замысла: то ли Никита Сергеевич задумал нанести удар по функционерам, то ли вообще размышляет о возможности создания двух партий. Эта акция осталась для меня неясной до сей поры.

Многие были также недовольны растущей активностью зятя Хрущева Алексея Аджубея. Как личный представитель Хрущева он посещал президентов и премьер-министров разных стран, и даже папу римского, вел какие-то закулисные переговоры, о которых не сообщалось на заседаниях Президиума ЦК партии.

Как я уже сообщил, Хрущев сумел рассориться с командованием флота из-за своих эскапад против кораблей, которые он называл «старыми посудинами», «мишенями для расстрела». Он был увлечен ядерным и ракетным оружием как средством сдерживания и все чаще покушался на сокращение армии и обычных вооружений.

Что касается КГБ, то Хрущев впервые низвел эту организацию до уровня обычного министерства. Председатель КГБ В. Е. Семичастный не был даже кандидатом в члены Президиума ЦК партии и скрипел зубами из-за передких тычков и унижений, которым Хрущев подвергал некогда всесильную организацию. Все это подготовляло

почву для заговора. Мы видели растущее недовольство, хотя и не подозревали о том, что произойдет.

Кадровая слабость Хрущева заключалась и в том, что он никак не мог подобрать себе надежного заместителя — второго секретаря ЦК. Вначале это место занимал Кириченко, которого Хрущев привел с Украины. Высокий, шустрый, плохо образованный, хотя и незлой, этот человек очень скоро настроил против себя всех остальных членов руководства, и они «свергли» его в одночасье. Был и вдруг пропал — отправили на пенсию. Он жил на одной даче со мной уже в пенсионном состоянии и нередко униженно просил то одного, то другого чиновника подвезти его в Москву. Познакомившись с ним ближе, я просто диву давался, как такой человек сумел взгромоздиться на такое высокое место.

Затем Хрущев подобрал на пост второго секретаря ЦК Ф. Р. Козлова — тогдашнего первого секретаря Ленинградского обкома партии. Этот человек отличался резкостью и жестокостью и крепко держал в кулаке все дела. Однако он вскоре умер. Кстати, перед смертью — и эта история стала сенсацией в аппарате — он попросил прислать попа для исповеди. Рассказывали, что Козлов был замешан в «ленинградском деле».

Но и конечно же не лучшим был выбор Брежнева на пост второго секретаря ЦК. Между прочим в одной из бесед с зарубежными представителями Хрущев высоко отзывался о двух руководителях — Брежневе и Шелепине, которые стали позднее душой заговора против него.

Больше всего аппарат волновали реформаторские проекты Хрущева, которые рождались один за другим, иногда спонтанные, но всегда последовательно направленные против сталинской модели власти. Вслед за созданием совнархозов, что тогда было сильным ударом по ведомственному бюрократизму, за попыткой перестроить партию Хрущев задумал еще более радикальное изменение нашей политической системы. И вот в начале 1964 года мы — я и один из заместителей заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК — были откомандированы на все ту же дачу Горького для подготовки проекта новой Конституции СССР. Нам поручили собрать в предварительном порядке все лучшие предложения и подготовить записку для Хрущева и других членов Президиума ЦК.

Надо сказать, что тут мы несколько «разгулялись» и подготовили записку об основных принципах новой Кон-

ституции, которые резко отличались от так называемой сталинской, принятой в 1936 году. Мы ставили задачу узаконения политической власти, проведения свободных выборов, разделения власти. Еще в 1958 году в одной из своих статей я предлагал создать стабильно работающий Верховный Совет СССР, проводить альтернативные выборы в Советы посредством выдвижения нескольких кандидатов на одно место, учредить суд присяжных. Мы включили эти идеи в записку.

Одно из главных предложений состояло в установлении президентского режима и прямых выборов народом главы государства. В нашей записке говорилось, что Первый секретарь ЦК должен баллотироваться на этот пост, а не замещать пост Председателя Совета Министров СССР. Предполагалось также, что каждый член Президиума ЦК будет выдвигаться на крупный государственный пост и важнейшие решения будут приниматься не в партии, а в органах государственной власти.

Хрущев в целом довольно одобрительно реагировал на наши предложения. К сожалению, работа над новой Конституцией была оборвана из-за его падения. Ушло два десятилетия, пока страна вернулась к этим идеям...

Итак, росло глухое недовольство в различных сферах — среди аппарата, в армии, среди интеллигенции. Приближалась гроза — чувствовал ли это Хрущев? Расскажу о том, что я наблюдал во время его последней поездки за границу.

Это был визит партийно-правительственной делегации на высшем уровне в Прагу летом 1964 года, буквально за несколько месяцев до падения Хрущева. Резиденция нашей делегации находилась в Ланнах, огромном поместье на окраине Праги, представлявшем собой место летнего пребывания президента Чехословакии. Кроме дворца, нескольких вилл и охотничьих домиков в Ланнах располагался красивейший парк с озерами и заповедник с самыми разнообразными животными. С ними-то у меня связано одно из наиболее неприятных воспоминаний, касающееся Хрущева и в целом нравов его генерации руководителей.

Едва ли не центральным событием всего визита была охота и рыбалка в этом заповеднике. Охотники ставили ружье на треножник и стреляли в упор доверчивых газелей, которые выходили навстречу каждому человеку, поскольку были приучены кормиться прямо с руки. Хрущев, Громыко, маршал Бирюзов и другие члены советской

делегации настреляли таким образом не меньше десятка этих изящных животных. Вечером был устроен роскошный пир у костра, Хрущеву надели егерскую шапку и сюртук и возвели в ранг почетного охотника.

Я в охоте не участвовал, потому что никогда не любил убивать животных, но зато, как и другие члены делегации и сопровождающие лица, занялся рыбалкой. Собственно, слово «занялся» здесь совершенно неуместно. Не успевали мы бросить крючок, как тут же в него вцеплялась форель. Я. С. Насриддинова, Председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана, вытаскивая очередную рыбу, каждый раз вскрикивала: «Никита Сергеевич, смотрите, я поймала еще одну, какая она большая и красивая». (Кстати, уже в брежневское время выяснилось, что Насриддинова была замешана в коррупции и крупном взяточничестве, однако ее пощадили как одну из первых узбекских женщин, снявших паранджу). В двух шагах от меня стоял Громыко, который с чрезвычайно значительным видом тоже таскал одну за другой несчастную форель из искусственного озера.

— Когда вы запустили эту форель в озеро,— спросил я полушутя у чешского рыболова, помогавшего всем нам со снастью,— вчера или сегодня?

— Три дня назад,— совершенно серьезно отвечал мне чех.— Не кормили, поэтому они такие голодные.

И он пренебрежительно пожал плечами. Я бросил удочку и пошел гулять. Дошел до другого озера, у которого сидел маршал Бирюзов. Там была настоящая рыбалка. Он ловил карасей, наживляя на крючок кукурузу. Бирюзов был счастлив: рядом с ним бултыхались в посудине два крупнейших карпа. Он, конечно, не предчувствовал, что всего через несколько месяцев ему суждено погибнуть при аварии самолета, летевшего в Югославию и врезавшегося в гору перед посадкой в Белграде.

Точно так же ничего не предчувствовал и Никита Сергеевич. Я никогда не видел его таким счастливым, довольным и даже вдохновенным. Мне пришлось присутствовать на переговорах между ним и Новотным в одном из наиболее роскошных залов президентского дворца в Парнобитках. Новотный рассказывал Хрущеву о намечавшихся экономических реформах в Чехословакии. Кстати говоря, он развернул в разговоре довольно широкую программу преобразований, направленных на развитие рыночных и товарно-денежных отношений, преодоление бюрократизма, повышение роли предприятий,— словом,

всего того, что впоследствии стало элементом куда более обширной и основательной программы Дубчека и Шика. Видимо, уже тогда, при Новотном, началось движение в этом направлении.

Хрущев слушал все это вполуха. Переговоры происходили после сытного обеда, как всегда сопровождавшегося двумя-тремя рюмками коньяку. Незаметным движением Хрущев вытаскивал из кармашка часики, кажется подаренные ему в Америке. Это были особые часики, их циферблат находился в металлической коробочке, которую надо было открыть, чтобы увидеть время. И вот Хрущев незаметно для Новотного, чтобы его не обидеть, вытаскивал под столом часики — не для того, чтобы узнать время, а просто так, играючись, приоткрывал, посматривал на любимую игрушку и закрывал.

— Мы тоже у себя думаем о том, чтобы поднять роль предприятий, особенно на местах,— сказал Хрущев, когда Новотный закончил.— Создали совнархозы, вот собираемся передать часть предприятий в ведение общественных организаций, активизируем профсоюзы. Так что все это дело полезное.

Мне показалось, что Хрущев даже не понял того, о чем рассказывал Новотный. Рыночные отношения всегда казались ему чем-то чуждым и даже неприятным. Поэтому он никак не реагировал на ту часть информации Новотного, которая касалась развития товарного хозяйства.

Но в целом визит прошел прекрасно. Однако одна деталь глубоко врезалась в мое сознание. Мы находились в небольшой комнате президентского дворца, в которой Хрущеву и всей делегации докладывался вопрос о Договоре, заключаемом между СССР и Чехословакией. Хрущев вместе с Андроповым восседал на таком дворцовом, в стиле ампир, диванчике в любимой позе, сложив руки на животе и поигрывая пальцами. Громыко сидел напротив в кресле, я где-то сбоку. Громыко читал проект Договора, который держал перед его глазами один из заведующих отделом МИД. Договор представлял собой довольно большой по размеру фолиант, как обычно, вмонтированный в красный кожаный переплет.

И тут произошла любопытнейшая сцена. Дипломат, державший Договор перед Громыко (как будто он сам не мог этого делать), почувствовал, что Андрей Андреевич испытывает какое-то неудобство. Тогда он опустился на одно колено, чтобы тому было сподручней. Но этого оказалось мало. Тогда дипломат опустился на оба колена

сбоку от кресла Громыко, осторожным движением перелистывая страницы Договора. Эта сцена не вызвала ни у кого удивления. Коленопреклоненный крупный мидовский чиновник, механически листающий Договор перед глазами у своего босса,— в этом было что-то средневековое, отвратительное. Меня это резануло прямо по сердцу. «Вот, Федя,— подумал я,— смотри, и ты докатишься до такого когда-нибудь, если вовремя не выскочишь из этой игры».

Я часто вспоминал потом эту сцену, когда принял решение уйти из аппарата ЦК. То было одно из наиболее суровых предостережений. Я знал этого дипломата: посвоему незаурядный человек, с сильным характером, эрудированный, он отличался резким стилем в отношениях со своими подчиненными, который компенсировал его распластанную угодливость перед высшими. Мне эта сцена преподнесла урок, запомнившийся на всю жизнь. И когда у меня начались всяческие испытания, я нередко мысленно вспоминал ее и повторял про себя: «Нет, я никогда не встану на колени...»

Что касается Хрущева, то на его лице не было и тени сомнения в прочности своего положения. Напротив, по всему было видно, что он уверен в себе, как никогда: все противники удалены из состава Президиума ЦК, остались почти исключительно выдвиженцы самого Хрущева. Его слово было законом, он чувствовал себя всевластным. То было кульминацией его жизни. Апофеоз власти и апофеоз ослепления. Всего несколько месяцев, всего один шаг отделял его от полного крушения. Воистину, если бог решит кого-то погубить, он прежде лишает его разума. Так было и с Хрущевым.

Проводы из Праги и встреча в Москве были торжественными. Брежнев первым бросился в объятия Никиты Сергеевича, чмокнулся — нет, поцеловал его, ласково обнимал за плечи. Затем подошел Подгорный с радостной улыбкой на тупом лице, затем с двусмысленным оскалом Суслов, который тоже долго жал руку Хрущеву. За ним — с каменным лицом Шелепин. Все участники заговора были в сборе. И в духе лучших византийских традиций они расточали елей человеку, которому уже подготовили удар ножом в спину.

Глава одиннадцатая
БРЕЖНЕВ

1

В октябре 1964 года с группой сотрудников двух международных отделов ЦК я находился на загородной даче. По прямому поручению Хрущева мы готовили один из важных документов, касающихся внешней политики. Нас очень торопили. Секретари ЦК по нескольку раз в день справлялись, в каком состоянии дело. Накачивая себя кофе и другими «лекарствами», мы мучительно вынашивали очередную «бумагу». Вдруг телефон затих. Никто не звонит. Проходит день, начинается другой — ни звука. Тогда Елизар Кусков сказал мне: «Съездил бы ты в Москву, узнал, что там происходит, подозрительная какая-то тишина».

Приехал я на Старую площадь. Зашел на работу и первое, что почувствовал,— именно подозрительную тишину. В коридорах — никого, как метлой вымело. Заглядываю в кабинеты — сидят по двое, по трое, шушукаются. Но вот встретил одного, упоминавшегося уже Суетухина. Он говорит мне: «Сидите, пишете! Писаки! А люди вон уже власть берут!» Наконец узнаю, в чем дело. Второй день идет заседание Президиума ЦК. Выступают все члены руководства. Критикуют Хрущева. Предлагают уйти «по собственному желанию». Правда, пронесся слух, будто кто-то хотел оставить его Председателем Совета Министров СССР. Однако то ли не прошел вариант, то ли слух был неверен, но на октябрьском Пленуме 1964 года было решено принять заявление Никиты Сергеевича Хрущева об уходе...

Не так давно были опубликованы воспоминания сына Хрущева Сергея Никитича о заговоре против его отца и его вынужденном «отречении» от власти. Эти воспоминания проливают дополнительный свет на многие события того злосчастного времени. Выяснилось, что Хрущев за несколько недель получил информацию о готовящемся

заговоре, но практически не предпринял никаких мер для предотвращения своего падения. Одной из причин, видимо, было то, что эту информацию он услышал от сына и не придал ей должного значения. Он вел себя так же, как все другие харизматические лидеры, глубоко уверовавшие в свою звезду. Кроме того, он глубоко доверял Брежневу и особенно Шелепину и Семичастному, которых вывел на высокие посты. Одной из главных причин пассивности Хрущева в критической ситуации было то, что он полностью доверил Микояну проверить информацию, поступившую к Сергею Хрущеву от Галюкова, одного из охранников Н. Г. Игнатова — активного участника заговора. И Микоян подвел Хрущева, вероятно почувствовав, что сделать ничего нельзя.

Сергей подробно повествует, как этот охранник позвонил на квартиру его отца по правительственному телефону и, не обнаружив Хрущева, попросил Сергея тайно встретиться с ним. По странному совпадению эта встреча состоялась возле дома 22 по Кутузовскому проспекту, где я жил в ту пору. Вероятно, потому, что в этом же доме жила внучка Хрущева — Юлия, Сергей назначил свидание именно здесь. Потом они по просьбе Галюкова, который боялся слежки, уехали за город, и тот сообщил Сергею важные подробности о готовящемся перевороте.

Сергей передал эту информацию отцу. Тот попросил Микояна разобраться. И вот Микоян пригласил Галюкова и Сергея к себе в дом, что находился в нескольких метрах от дома Хрущева на Ленинских горах. Галюков подробно рассказал обо всем, что ему было известно, в том числе об участии Брежнева, Подгорного, Шелепина, Семичастного в заговоре.

Реакция Микояна была более чем странной. После окончания рассказа он, по словам Сергея, сидел задумавшись. Наконец повернул голову, выражение лица его было решительным, глаза блестели.

— Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями, и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем Николая Викторовича Подгорного, и Леонида Ильича Брежнева, и Александра Николаевича Шелепина, и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо Коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться как к своим соратникам по общей борьбе!

Микоян потребовал от Сергея Хрущева, чтобы он составил подробный протокол разговора. Сергей добросовестно выполнил это, но опустил за ненадобностью приведенное выше заявление Микояна. Тот решительно настоял, чтобы заявление слово в слово было внесено в протокол, и даже заглядывал через плечо Сергею, чтобы не было ошибки.

Закончив писать, Сергей протянул Микояну рукопись. Тот внимательно прочитал последний абзац, некоторое время о чем-то раздумывал, потом протянул листы Сергею и сказал: «Распишись». Сергей расписался. Микоян отметил: «Вот теперь все хорошо», открыл платяной шкаф и засунул папку под стопку рубашек *.

Интересные подробности — не правда ли? Сергей Хрущев, который очень дружен и сейчас с сыном Микояна, не делает никаких выводов. Постараюсь сделать их за него.

Судя по рассказу Сергея, Микоян не показал протокола Никите Сергеевичу, он только в общей форме передал ему эту историю. И вероятно, передал в успокоительных тонах. Поэтому Хрущев не принимал никаких контрмер. Я не верю в ту версию, которая промелькнула в воспоминаниях Сергея, будто его отец сам отказался от борьбы, так как устал. Нет! Это был боец, и боец неистовый! Достаточно вспомнить XX съезд, или июнь 1957 года, или Венгрию в 1956 году, или карибский кризис. И был еще Хрущев в прекрасной рабочей форме. Что-то не то и не так.

Полагаю, что на этот раз Никита Сергеевич понял бесполезность борьбы. Все было разыграно куда более умело, чем в 1957 году. Аппарат ЦК, КГБ и даже армия, которую возглавлял друг Хрущева Малиновский, больше не подчинялись ему. И еще ближайший соратник — Микоян по-настоящему побоялся включиться в борьбу. Делать было нечего. Надо было подставить непокорную прежде, лобастую голову под неизбежный удар судьбы.

Не думаю, что Хрущев внутренне сломался. Ему было всего семьдесят лет, и он мог продолжать свою деятельность. К тому же психологически он был совершенно не готов к крушению, напротив, чувствовал себя на вершине власти. Видимо, неожиданность удара и полное единство всех других членов руководства потрясли его. Он понял не только невозможность борьбы за власть, но и тщетность

* См.: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 255—259.

своих реформаторских усилий. Больше всего, полагаю, он был поражен поведением самых близких соратников, подобранных им самим. Наверное, то же самое испытывает мужчина, когда застает любимую и прежде верную ему жену в постели с любовником. Онемение. Но если в последнем случае можно что-то предпринять, то в случае с Хрущевым сделать было ничего нельзя...

О чем раздумывал Микоян, выслушав рассказ Галюкова? Быть может, вспоминал свою молодость, когда каким-то странным образом ему удалось ускользнуть из тюрьмы в Баку? Он был в числе 27 бакинских комиссаров, но расстреляно было только 26, а Микоян спасся. Или он вспоминал, как Сталин при его участии расправился с Каменевым, Зиновьевым, Бухариным? Или свое выступление в 1937 году на одном из партийных совещаний, когда он требовал: бить, бить, бить? Но быть может, он думал о неудачной попытке снять Хрущева в 1957 году и своих колебаниях в тот момент — на чью сторону встать?

Кто знает. Но не напрасно, ох, не напрасно сложилась в народе о Микояне притча: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича (имелось в виду — от Ленина до Брежнева). Такие люди, увы, живут долго в политике. Микоян уже после снятия Хрущева продолжал занимать высокий пост и ушел только по старости, с почетом и сохранением всех благ для себя и своей семьи. Вручил ли он пресловутый протокол, написанный сыном об отце, самому Брежневу и когда — до заседания Президиума ЦК или в перерыве, когда соотношение сил стало для него вполне ясным,— неизвестно. Но, так или иначе, сыгранная им во всей этой истории роль выглядит крайне сомнительной. Думаю, что он использовал сообщение Сергея в своих целях, точно так же, как Шелепин и Семичастный использовали доверчивость членов семьи Хрущева.

Боюсь, что Сергей Хрущев искренне заблуждается, когда утверждает, что главной пружиной в заговоре против его отца был Брежнев. Это заблуждение, впрочем, легко понять, поскольку именно Брежнев должен был вызывать особую ненависть у Хрущева и его семьи после «октябрьского переворота» и поскольку ни к кому другому Хрущев так хорошо не относился, как к нему. Кроме того, Сергей, вероятно, не может признаться себе самому, в какой степени он и в особенности Аджубей были обмануты комсомольскими «младотурками», как мы их между собой называли. Те не только сумели вкрасться к ним

в доверие, выглядеть самыми надежными, закадычными друзьями-приятелями, прежде всего Аджубея, но и самым ловким образом провели родственников Хрущева в драматический момент октябрьского Пленума.

Нет, свержение Хрущева готовил вначале не Брежнев. Многие полагают, что это сделал Суслов. На самом деле начало заговору положила группа «молодежи» во главе с Шелепиным. Собирались они в самых неожиданных местах, чаще всего на стадионе во время футбольных состязаний. И там сговаривались. Особая роль отводилась Семичастному, руководителю КГБ, рекомендованному на этот пост Шелепиным. Его задача заключалась в том, чтобы парализовать охрану Хрущева. И действительно, когда Хрущева вызвали на заседание Президиума ЦК КПСС из Пицунды, где он отдыхал в это время с Микояном, его встретил на аэровокзале один Семичастный. Хрущев, видимо, сразу понял, что к чему. Но было уже поздно.

Мне известно об этом, можно сказать, из первых рук. Вскоре после октябрьского Пленума ЦК мы с Е. Кусковым готовили речь для П. Н. Демичева, который был в ту пору секретарем ЦК. И он торжествующе рассказал нам, как Шелепин собирал бывших комсомольцев, в том числе его (нередко это происходило на стадионе в Лужниках во время футбола), и как они разрабатывали план «освобождения» Хрущева. Он ясно давал нам понять, что инициатива исходила не от Брежнева и что тот только на последнем этапе включился в дело. Я хорошо помню взволнованное замечание Демичева: «Не знали, чем кончится все и не окажемся ли мы завтра неизвестно где». Примерно то же сообщил мне — правда, в скупых словах — и Андропов.

Как происходило заседание Президиума ЦК КПСС 13 и 14 октября 1964 года? Об этом подробно рассказывается в очерке Сергея Хрущева со слов родственника Микояна А. Арзуманяна. Сергей навестил его в ночь на 13 октября. Арзуманян не был удивлен столь поздним визитом. Он был возбужден новостями, ему тоже хотелось выговориться.

— Анастас Иванович просил держать наш разговор в секрете,— нерешительно начал Арзуманян,— но вам я хочу рассказать. Положение очень серьезно. Никите Сергеевичу предъявлены различные претензии, и члены Президиума требуют его смещения. Заседание тщательно подготовлено: все, кроме Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева обвиняют в разных грехах: тут и неудовлетворительное положение в сельском хозяйстве,

и неуважительное отношение к членам Президиума ЦК, пренебрежение их мнением и многое другое. Главное не в этом, ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича их немало. Дело сейчас не в ошибках Никиты Сергеевича, а в линии, которую он олицетворяет и проводит. Если его не будет, к власти могут прийти сталинисты, и никто не знает, что произойдет.

Арзуманян рассказал, что наибольшую активность проявляют Шелепин и Шелест. Выступая с перечислением ошибок Хрущева, Шелепин все свалил в одну кучу — и принципиальные вещи, и ерунду.

— Кстати,— обратился к Сергею Арзуманян,— Шелепин сослался на то, что вам без защиты присвоили степень доктора наук. Шелепин ничем не брезгует! Даже мелкой ложью! — Арзуманян возмутился.

«Ложь действительно была мелкой, но она очень расстроила меня,— замечает Сергей.— Ведь Александр Николаевич Шелепин постоянно демонстрировал мне если и не дружбу, то явное дружеское расположение. Нередко он первый звонил и поздравлял с праздниками, всегда участливо интересовался моими успехами. Этим он выделялся среди своих коллег, которые проявляли ко мне внимание только как к сыну своего товарища, и не более того. Мне, конечно, льстило дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то в глубине души скрывалось чувство неудобства, ощущение какой-то неискренности Шелепина. Но я загонял его внутрь, не давал развиться. И вот такое неприкрытое предательство. Воистину все средства хороши...»

— Очень грубо вел себя Воронов,— продолжал Арзуманян.— Он не сдерживался в выражениях. Когда Никита Сергеевич назвал членов Президиума своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь нет друзей!»

Эта реплика даже вызвала отповедь Гришина. «Вы не правы,— возразил он,— мы все друзья Никиты Сергеевича». Остальные выступали более сдержанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще молчали. Микоян внес предложение освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК, сохранив за ним должность Председателя Совета Министров СССР. Однако его отвергли...

Хрущев уже принял решение без борьбы подать в отставку. Поздно вечером он позвонил Микояну и сказал, что, если все хотят освободить его от занимаемых постов, он возражать не будет.

— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду.

— Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья,— вспоминал Хрущев.— Теперь остается оформить решением Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте.

Хрущев был прав: он пал жертвой собственного либерализма. Увы, так не раз было на Руси. Цари, которые

начинали более или менее либеральные реформы, были обречены. Погибла семья Бориса Годунова. Был убит террористами Александр II Освободитель. Да и Николай II потерял власть скорее не потому, что был кровавым, а потому, что создал Думу...

Сергей сообщает о множестве претензий, которые были высказаны Хрущеву по вопросам внутренней и внешней политики. По его словам, речь шла о карибском кризисе, о событиях на Суэце и об отношениях с Китаем. Хрущев тогда ответил, что, судя по всему, некоторых подводит память, поскольку все решения по перечисленным вопросам принимались коллегиально, большинством голосов. Но особенно громко на заседании Президиума ЦК звучали жалобы на личные оскорбления, которые будто бы Хрущев раздавал направо и налево всем членам руководства *.

Приведу еще одно свидетельство о заговоре и об октябрьском Пленуме ЦК КПСС. П. А. Родионов, один из видных партийных работников 60-х годов, тоже полагает вдохновителем заговора Брежнева, хотя, в отличие от многих других, он отмечает и особую роль Шелепина.

«Одним из активных участников заговора против Хрущева был А. Н. Шелепин. В памятные дни июня 1957 года он, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, входил в уже упоминавшуюся «двадцатку» и впоследствии не был обойден вниманием со стороны Хрущева. Но Шелепин, очевидно, полагая, что занимаемые им должности (он был секретарем ЦК КПСС и одновременно заместителем Председателя Совмина СССР и председателем Комитета партийно-государственного контроля) гораздо ниже его возможностей, рвался к власти более высокой, даже самой высокой. После октябрьского Пленума он представил программу, дух и буква которой во многом напоминали о временах культа личности Сталина. Люди, близко знавшие Шелепина, единодушно утверждают, что он, в противоположность Брежневу, всегда был представителем так называемого твердого крыла. Между ним и тогдашним Генсеком уже после октябрьского Пленума начались разногласия, которые со временем приобрели более острый и почти открытый характер. Распространявшиеся одно время слухи о нездоровье Брежнева были инспирированы если не самим Шелепиным, то его окружением и должны были служить средством, облегчающим новую «смену караула». Окружение переусердствовало, чем и было ускорено падение Шелепина» **.

Я в общем согласен с оценками Родионова. Однако, думаю, и он был введен в заблуждение относительно инициатора заговора. Действительно, заговор обрел силу, когда в него включился Брежнев. Действительно, именно он и Подгорный взяли на себя обработку других членов

* См.: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. С. 278—283.

** Знамя. 1989. № 8. С. 188.

руководства. Шелепин не мог этого сделать сам, а тем более за спиной Брежнева. И все же первый толчок исходил от Шелепина. Почему он один до сих пор молчит? Объясняется это тем, что ему стыдно — стыдно не столько из-за организации заговора, сколько из-за проигрыша. Он думал использовать Брежнева и легко переиграть его, а на самом деле Брежнев использовал его замысел, его смелые первые шаги, а потом избавился от него как от соперника и как от человека, способного попытаться вторично разыграть такую же игру. Посмотрите — все члены брежневской команды пишут о том периоде, заново оценивают свои позиции, ищут оправдания своим действиям.

Бывший председатель КГБ В. Е. Семичастный рассказывает, что будто бы в суете борьбы за власть Л. И. Брежнев даже выяснял у него возможность чуть ли не физического устранения Первого. Вот отрывок из статьи кандидата исторических наук Ю. В. Аксютина. Он передает разговор Брежнева с Семичастным со слов последнего:

«— ...Что вы имеете в виду, Леонид Ильич? — спрашивает пораженный глава госбезопасности.

— Ну там, что-нибудь такое...

— Яд, например, или пуля?..

— Да не мне вас учить, Владимир Ефимович.

— А как вы представляете себе все это? Вы можете дать гарантию, что тайна останется тайной?

Брежнев явно разочарован.

— А я-то думал, что одной из важнейших задач вашей службы и является обеспечение тайны...

— Да, но любая тайна рано или поздно перестанет быть таковой.

Полагая, что ему удалось убедить своего собеседника, Семичастный направляется к выходу, но Брежнев останавливает его:

— Неужто так и нельзя ничего сделать?.. Вот, например, Н. С. собирается с официальным визитом в Швецию... Может быть, когда будет возвращаться, арестуем его?..

— Мы не заговорщики, и надо этот вопрос решать законным путем...» *

Очень странное заявление. Да и весь разговор представляется мне недостоверным. Семичастный явно пытается взвалить ответственность за организацию заговора на Брежнева и снять ее с себя, выдвигая против него самые неправдоподобные обвинения.

Но осторожный и трусоватый Брежнев никогда не решился бы на такое предложение — убить Хрущева. Да и

* Труд. 1989. 26 нояб.

нравы к тому времени радикально изменились в сравнении со сталинской эпохой. Никто из членов Президиума ЦК не поддержал бы такой чудовищной акции. Полагаю, что это высказывание Семичастного служит как раз дополнительным доказательством моей версии: заговор исходил от них — от Шелепина, Семичастного и их ближайших приверженцев. Иначе зачем надо было бы сейчас задним числом возводить такую напраслину на Брежнева? В общем-то это довольно обычное дело — когда люди начинают говорить неправду, они не могут остановиться...

Любопытны оценки и высказывания других участников тех событий. Продолжаю цитировать статью Ю. В. Аксютина:

«...Вполне логичным и обоснованным» считает принятое тогда решение Н. Г. Егорычев. С ним согласен В. Е. Семичастный: «В конечном итоге Хрущев завел дело в тупик. Добавлю к тому же неуправляемость». Но в то же время он делает существенную оговорку: «Если бы в Президиуме была коллегиальность, если бы и ЦК проявил характер, высказав свое мнение, думаю, что все было бы по-другому».

«Ошибок у него было немало, но их должны были разделить и другие руководители, работавшие с ним рядом»,— полагает П. Е. Шелест. Он уверен, что объективной необходимости заменять Хрущева Брежневым не было: «Это мое твердое убеждение, хотя и сам принимал участие в случившемся. Сейчас сам себя критикую и искренне сожалею о том».

Подобного же мнения придерживается и Г. И. Воронов: «Даже явные просчеты Хрущева весят гораздо меньше того главного, что он сделал... Мотивы у участников Пленума были разные, а результат? Вместо того чтобы поправить ошибки одной яркой личности, мы сделали ставку на другую — посредственную. Подобное неизбежно, когда нет механизма критики руководства, его замены» *.

Позднее раскаяние! Разве оно достойно настоящих политических деятелей? Если бы Воронов и Шелест не потеряли своих постов во времена Брежнева, так же смотрели бы они на этот вопрос, как сейчас? Сомневаюсь! Больше мне импонирует самооценка Новикова. Он нашел в себе мужество произнести этот приговор: холопство! Холопы Хрущева, холопы Брежнева. Помалкивали, когда видели явные ошибки и того и другого. Типичные нравы кремлевского двора. Сталин так напугал все свое окружение, весь аппарат управления, что этого хватило на целые десятилетия и хватает до сих пор, хотя сейчас нередка и другая крайность, как изнанка холопства,—

* Труд. 1989. 26 нояб.

нахальство, отсутствием которого Хрущев попрекал Новикова. Приведу выдержку и из его воспоминаний об октябрьском Пленуме.

«Примерно в сентябре 1964 г. как-то вечером меня пригласил к себе Д. Ф. Устинов как председатель ВСНХ... У него сидел А. М. Тарасов, его заместитель... С места в карьер пошел разговор о том, что в ближайшее время состоится пленум ЦК КПСС: надо, чтобы я подготовил тексты двух выступлений: одно — для Устинова, другое — для себя. Оба предназначались для выступления на пленуме, с тем чтобы показать руководящему составу партии все безобразия, которые «вытворяет Хрущев». Устинов сказал: «Ты ряд лет работал в Госплане РСФСР и в Госплане СССР, и у тебя должно быть материалов предостаточно». Я спросил: «Что, Хрущева снимать собираются?» Устинов подтвердил. У меня возник вопрос, как к этому отнесутся военные и КГБ? Получил ответ: тут все в порядке, будет полная поддержка. Тогда я согласился. Читатели могут по-разному оценить мою позицию. Я же пишу честно, так, как было...

Каково же в целом мое мнение о Хрущеве? Ему был присущ природный ум, в известной степени компенсировавший его недостаточную образованность. Считаю, например, его эксперимент с совнархозами, порожденный требованиями жизни, по идее не ошибкой. Скажу также, что Хрущев очень быстро решал оперативные вопросы... Но подхалимы, наушники и льстецы толкали его к единовластию, к убеждению, что он непогрешим. Родилась самовлюбленность, а из нее — показуха... Уроки Сталина, Хрущева, Брежнева никак не могут кое-кого научить, как следует вести себя. Это — впитанное в себя годами холопство, от которого давно пора всем нам избавиться» *.

...И вот я сам сижу на балконе Кремлевского Дворца съездов в момент октябрьского Пленума ЦК КПСС. На трибуне — весь состав Президиума ЦК, включая Хрущева. Ведет заседание Брежнев. Выступает Суслов. Он коротко докладывает почти без аргументов о состоявшемся заседании Президиума ЦК и о том, что Хрущев подал заявление «об уходе по собственному желанию». Обсуждения не было. Во время доклада и всего Пленума Хрущев сидел, опустив голову и обхватив ее обеими руками у висков. Он не проронил ни слова, но мне показалось, что в глазах его были слезы. С места вскочил Аджубей. Он произнес странные, жалкие фразы о том, что женился на дочери Хрущева Раде еще до того, как тот стал Первым секретарем ЦК. Зал негодовал. Все единодушно приняли решение об «освобождении Хрущева по собственному желанию» и выводе Аджубея из состава ЦК. Мне показалось, что подавляющее большинство Пленума вздохну-

* Вопросы истории. 1989. № 2. С. 115—117.

ло с облегчением. Так же дружно прошло голосование за избрание Брежнева Первым секретарем ЦК КПСС.

Историческая драма внешне выглядела фарсом. Сплошное лицемерие. Лицемерный доклад Суслова, в котором так и не был дан анализ позитивных и негативных моментов хрущевского десятилетия. В нем были обойдены решения XX и XXII съездов, ничего не сказано о Программе партии, не определен новый курс. Лицемерная апелляция к якобы добровольному уходу Хрущева со своего поста. Лицемерное решение о Брежневе, которого никто не полагал тогда человеком действительно способным возглавить великую страну. Мне редко приходилось видеть такое скопище тартюфов. Хотя в кулуарах все шептались о Шелепине, Семичастном, но внешне выглядело так, как будто они стояли в стороне. Хотя все знали о методах подготовки заговора, но внешне все выглядело как благопристойный уход в отставку усталого старика.

Я сидел среди других работников аппарата и, оглядываясь по сторонам, искал на их лицах те же ощущения, которые бушевали в моей душе. Но, увы, лица были непроницаемы. Все принимали происходившее как должное или боялись обнаружить свои чувства. И это все. Едва ли кто чувствовал, что упал занавес над целой исторической эпохой. Едва ли кто думал о том, какое будет новое время.

2

Что бы сейчас ни писали бывшие руководители, на Брежнева власть свалилась как подарок судьбы. Сталину, чтобы превратить скромный по тем временам пост Генерального секретаря ЦК партии в должность «хозяина» страны, «пришлось» уничтожить едва ли не всех членов ленинского Политбюро, за исключением, разумеется, самого себя, а также огромную часть партийного актива. Хрущев после смерти Сталина был вторым, а не первым, как многие думают, поскольку первым в ту пору считался Маленков. Хрущев выдержал борьбу против могучих и влиятельных соперников, в том числе таких, как Молотов, которые стояли у фундамента государства чуть ли не с ленинских времен. Может быть, поэтому сталинская и хрущевская эпохи, каждая по-своему, были наполнены драматическими переменами, крупными реформациями, беспокойством и нестабильностью.

Ничего подобного не происходило с Брежневым. Он получил власть так плавно, как будто кто-то долго загодя примерял шапку Мономаха на разные головы и остановился именно на этой. И пришлась она, эта шапка, ему так впору, что носил он ее восемнадцать лет без всяких страхов, катаклизмов и конфликтов. И непосредственно окружавшие его люди жаждали только одного: чтоб жил этот человек вечно — так хорошо им было. Сам Брежнев во время встречи с однополчанами, гордясь сшитым недавно мундиром маршала, сказал: «Вот... дослужился». Это слово вполне годится и для характеристики процесса его прихода на «должность» руководителя партии и государства — дослужился...

Впрочем, в одном отношении приход Брежнева к руководству напоминает сталинскую и хрущевскую модель. Никто не принимал его всерьез как претендента на роль лидера, да и сам он всячески подчеркивал полное отсутствие подобных амбиций. Запомнилось, как во время подготовки его речей (в бытность Председателем Президиума Верховного Совета СССР) по случаю зарубежной поездки их составителям передали главное пожелание заказчика: «Поскромнее, поскромнее, я не лидер, я не вождь...»

Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью, склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен. Можно было бы считать загадкой, почему Хрущев так покровительствовал человеку противоположного склада души и темперамента, если бы мы меньше знали Никиту Сергеевича. Как личность авторитарная, не склонная делить власть и влияние с другими людьми, он больше всего окружал себя такими руководителями, которые в рот ему глядели, поддакивали и с готовностью выполняли любое его поручение. Ему не нужны были соратники, а тем более вожди. Он довольно нахлебался с ними после смерти Сталина, когда Маленков, Молотов, Каганович пытались изгнать его с политического Олимпа. Такие, как Брежнев, Подгорный, Кириченко, Шелест, были послушными исполнителями его воли, «подручными», как называл, кстати говоря, Хрущев не без едкого юмора представителей печати. Правда, когда дело дошло до сакраментального вопроса «кто — кого?», именно эти «подручные» быстро перебежали на другую сторону. Ибо в политике не бывает любви — здесь превалируют интересы власти.

Сама по себе смена руководства таким именно образом представляет собой один из редких случаев в политической истории. Обычно подобный метод оказывался эффективным только тогда, когда убивали прежнего властителя. Успех «мирного заговора» против Хрущева оказался возможен по двум причинам. Первая — он сам в последние годы правления одну за другой подрубал все ветви того дерева, на котором зиждилась его власть. Другая причина — Шелепин.

Хрущев, кажется, ни к кому не относился с таким доверием и никого не поднимал так быстро по партийной и государственной лестнице, как этого деятеля. За короткий срок Шелепин из рядового члена ЦК стал членом Президиума, председателем Комитета партийно-государственного контроля, секретарем ЦК... Поистине верно говорится: избавь нас, боже, от наших друзей, а с врагами мы как-нибудь сами справимся.

Шелепин, однако, жестоко просчитался. Он плохо знал нашу историю, хотя окончил ИФЛИ. Он был убежден, что Брежнев — фигура промежуточная, временная, и ему ничего не будет стоить, сокрушив такого гиганта, как Хрущев, справиться с человеком, который был всего лишь его слабой тенью.

Надо заметить, что всей своей карьерой Брежнев был обязан именно Хрущеву. Он закончил землеустроительный техникум в Курске и только в двадцатипятилетнем возрасте вступил в партию. Затем, окончив институт, начал политическую карьеру. В мае 1937 года(!) Брежнев становится заместителем председателя исполкома горсовета Днепродзержинска, а через год оказывается в обкоме партии в Днепропетровске. Трудно сказать, споспешествовал ли Хрущев этим первым шагам Брежнева, но вся его последующая карьера происходит при самой активной поддержке тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом и секретаря ЦК ВКП(б). Когда Брежнев был направлен на должность первого секретаря ЦК Компартии Молдавии, он привел туда многих своих друзей из Днепропетровска, здесь же обрел в качестве ближайшего сотрудника тогдашнего заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии республики К. У. Черненко.

После XIX съезда партии Брежнев становится секретарем ЦК, кандидатом в члены Президиума ЦК, после смерти Сталина оказывается в Главном политическом управлении Советской Армии и ВМФ. Чем больше укреп-

лялся Хрущев, тем выше поднимались акции Брежнева. К октябрьскому Пленуму 1964 года он — второй секретарь ЦК. Таким образом, Хрущев собственными руками соорудил пьедестал для преемника.

Впрочем, Брежнев не стал расправляться со своим прежним покровителем. Хрущев создал прецедент на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 года. Рассказывают, что после позорного поражения сталинской гвардии ему позвонил Каганович, который на протяжении многих лет покровительствовал Хрущеву, и спросил: «Никита, что с нами будет?» Хрущев ответил ему вопросом на вопрос: «А что бы вы сделали, если бы ваша взяла? Сгноили бы в Тмутаракани или поставили к стенке? А я вам скажу просто: идите вы... сами знаете куда». И тут следовало крепкое непечатное слово. Оно — это слово — означало новую традицию: поверженных политиков не убивали, а попросту отстраняли. Этой традицией воспользовался и Брежнев. Отстранив Хрущева, он отправил его доживать жизнь на загородную дачу, предусмотрительно сменив там охрану.

Мы, люди, стоявшие так близко к кормилу власти, ничего не знали о готовящемся заговоре против Хрущева и так мало узнали о подлинных событиях его снятия после того, как оно состоялось. Поистине прав был Черчилль, когда говорил о сталинской политической системе, что эта битва бульдогов под ковром...

Вскоре после того Пленума состоялся мой первый и, в сущности, единственный подробный разговор с Брежневым. В феврале 1965 года на группу консультантов из нашего и других отделов возложили подготовку доклада нового Первого секретаря ЦК к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы сидели на пятом этаже в комнате неподалеку от кабинета Брежнева. Мне поручили руководить группой, и именно поэтому помощник Брежнева передал мне его просьбу проанализировать и оценить параллельный текст, присланный ему Шелепиным. Позже Брежнев вышел сам, поздоровался со всеми за руку и обратился ко мне с вопросом:

— Ну, что там за диссертацию он прислал?

А «диссертация», надо сказать, была серьезная — не более и не менее как заявка на полный пересмотр всей партийной политики хрущевского периода в духе откровенного неосталинизма. Мы насчитали семнадцать пунктов крутого поворота политического руля к прежним временам: восстановление «доброго имени» Сталина; пере-

смотр решений XX и XXII съездов; отказ от утвержденной Программы партии и зафиксированных в ней некоторых гарантий против рецидивов культа личности, в частности отказ от ротации кадров; ликвидация совнархозов и возвращение к ведомственному принципу руководства; установка на жесткую дисциплину труда в ущерб демократии; возврат к линии на мировую революцию и отказ от принципа мирного сосуществования, как и от формулы мирного перехода к социализму в капиталистических странах; восстановление дружбы с Мао Цзэдуном за счет полных уступок ему в отношении критики культа личности и общей стратегии коммунистического движения; возобновление прежних характеристик Союза коммунистов Югославии как «рассадника ревизионизма и реформизма»... И многое другое в том же духе.

Замечу, кстати, что больше всего нападок было на идею общенародного государства — и не только в этом документе, но и во многих выступлениях в западных аудиториях членов шелепинской команды. И поскольку эту идею они так или иначе связывали со мной (Куусинена уже не было на свете), я стал для них красной тряпкой; до меня все чаще доходили их угрозы, их требования «убрать» из аппарата авторов антисталинских установок. Но об этом стало известно позднее.

А в тот момент я начал излагать наши соображения пункт за пунктом Брежневу. И чем больше объяснял, тем больше менялось его лицо. Оно становилось напряженным, постепенно вытягивалось, и тут мы, к ужасу своему, почувствовали, что Леонид Ильич не воспринимает почти ни одного слова. Я остановил свой фонтан красноречия, он же с подкупающей искренностью сказал:

— Мне трудно все это уловить. В общем-то, говоря откровенно, я не по этой части. Моя сильная сторона — это организация и психология,— и он рукой с растопыренными пальцами сделал некое неопределенное движение.

Самая драматическая проблема — и это выяснилось очень скоро — состояла в том, что Брежнев был совершенно не подготовлен к той роли, которая неожиданно выпала на его долю. Он стал Первым секретарем ЦК партии в результате сложного, многопланового и даже странного симбиоза сил. Здесь перемешалось все: и недовольство пренебрежительным отношением Хрущева к своим коллегам; и опасения по поводу необузданных крайностей его политики, авантюрных действий, которые

сыграли роль в эскалации карибского кризиса; иллюзии по поводу «личностного характера» конфликта с Китаем; и в особенности — раздражение консервативной части аппарата управления постоянной нестабильностью, тряской, переменами, реформами, которые невозможно было предвидеть.

Не последнюю роль сыграла и борьба различных поколений руководителей: поколения 1937 года, к которому принадлежали Брежнев, Суслов, Косыгин, и послевоенного поколения, в числе которого были Шелепин, Воронов, Полянский, Андропов. Брежнев оказался в центре, на пересечении всех этих дорог. Поэтому именно он на первом этапе устраивал почти всех. И уж во всяком случае не вызывал протеста. Сама его некомпетентность была благом: она открывала широкие возможности для работников аппарата. В дураках оказался лишь Шелепин, полагавший себя самым умным. Он не продвинулся ни на шаг в своей карьере, так как не только Брежнев, но и Суслов и другие руководители разгадали его авторитарные амбиции.

Произошло то, что нередко мы наблюдаем в первичных партийных организациях, когда на пост секретаря парткома избирают не самого активного, смелого и компетентного, а самого надежного, который никого лично не подведет, никакого вреда без особой надобности не сделает. Но если бы кто-то тогда сказал, что Брежнев продержится у руководства восемнадцать лет, ему рассмеялись бы в лицо. Это казалось совершенно невероятным.

Тогдашний первый секретарь МГК КПСС Н. Г. Егорычев выразил, вероятно, общее настроение, когда заметил в разговоре с одним из руководителей: Леонид Ильич, конечно, хороший человек, но разве он годится в лидеры для такой великой страны? Фраза дорого обошлась ему, как, впрочем, и его открытая критика на одном из пленумов ЦК КПСС военной политики, за которую отвечал Брежнев. Вместо того чтобы стать секретарем ЦК, как это предполагалось, Егорычев на долгие годы был отправлен послом в Данию...

После Пленума Андропов выступал перед сотрудниками отдела и рассказывал подробности. Помню отчетливо главную его мысль: «Теперь мы пойдем более последовательно и твердо по пути XX съезда». Правда, тут же меня поразил упрек, первый за много лет совместной работы, адресованный лично мне: «Сейчас ты понимаешь, почему в «Правде» не пошла твоя статья?»

А статья, собственно, не моя, а редакционная, подготовленная мной, полосная, называлась так: «Культ личности Сталина и его пекинские наследники». Была она одобрена лично Хрущевым. Но на протяжении нескольких месяцев ее не печатали. Почему? Уже после октябрьского Пленума стало ясно, что ее задерживали специально. Приведу выдержки из этой неопубликованной статьи, которая ознаменовала завершение целой эпохи — хрущевской оттепели.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА И ЕГО ПЕКИНСКИЕ НАСЛЕДНИКИ

Вопрос о культе личности — один из основных вопросов, по которым китайские руководители занимают позицию, принципиально расходящуюся с марксизмом-ленинизмом, с линией международного коммунистического движения. Они не только совершили беспрецедентный в истории коммунизма шаг — открыто встали на защиту идеологии культа личности, но и поставили своей целью — возродить в международном коммунистическом движении в еще более уродливых формах порочные методы и порядки культа личности.

Советский народ никогда не забудет, во что обошелся произвол Сталина в отношении испытанных ленинских кадров партии, в решении важнейших проблем экономического развития страны, его пренебрежение к жилищному строительству, к принципу материальной заинтересованности, его политика «завинчивания» налогового пресса в отношении крестьянства, его увлечения всякого рода «прожектами», не учитывающими реальных возможностей страны и дезорганизующими народное хозяйство. Сталин пренебрег предупреждениями Ленина против чрезмерной торопливости при коллективизации сельского хозяйства, он допускал поспешность и нажим сверху, искусственно форсируя кооперирование сельского хозяйства. Это привело в тот период к произволу по отношению ко многим трудящимся крестьянам, подрывало их доверие к политике кооперирования. Это привело к значительному падению сельскохозяйственного производства, особенно животноводства...

Особенно тяжелы и непростительны ошибки Сталина накануне и в период Великой Отечественной войны. Массовое истребление командных кадров Советской Армии в процессе сталинских «чисток» резко ослабило боеспособность Советских Вооруженных Сил. На совести Сталина недопустимый просчет в оценке военно-стратегической обстановки, сложившейся накануне войны, недооценка им угрозы войны. Сталин располагал достоверными данными о концентрации германских войск вдоль границы и даже о дне нападения. Но он пренебрег этими данными и слепо полагался на советско-германский договор о ненападении, не учел коварства фашизма и не принял необходимых мер для отпора агрессору. Неправильная оценка Сталиным обстановки накануне и в момент фашистского нападения на СССР и упорство в своих заблуждениях мешали партийным и государственным органам принять необходимые предупредительные меры на случай войны...

Если гитлеровским ордам удалось дойти до стен Москвы, если смертельная угроза нависла тогда над первой страной социализма, то основная вина за это лежит на Сталине.

С деятельностью Сталина связаны серьезные ошибки и во внешней политике. Ведь это факт, что только после смерти Сталина Советское правительство проявило инициативу и добилось осуществления таких крупнейших мер, направленных на ослабление международной напряженности, как прекращение войны в Корее, заключение мирного договора с Австрией, установление дипломатических отношений с рядом капиталистических стран и др.

Факты говорят о том, что Сталин нарушал принцип равноправия во взаимоотношениях с отдельными социалистическими странами, он допустил грубый произвол по отношению к Югославии и некоторым другим странам социализма, а также ряду компартий капиталистических стран...

Из всего этого видно, какое жизненное, принципиальное значение имели для нашей страны, для всего мирового коммунизма решения XX съезда КПСС о преодолении последствий культа личности Сталина. Историческое значение XX съезда КПСС состояло в том, что он не только восстановил ленинские нормы жизни партии и государства, но и во всем величии возродил ленинские взгляды, ленинские идеалы социализма и коммунизма...

Коммунистическая партия Советского Союза не только полностью извлекла уроки из опыта прошлого, но и создала надежные гарантии против рецидивов культа личности. Тем самым она показала пример, как надо на деле исправлять допущенные ошибки и предохранять себя от них в будущем... Какие это гарантии?

Во-первых, партия провела огромную идеологическую работу по разоблачению культа личности, раскрыла его антинародную, антиленинскую сущность.

Во-вторых, восстановлены ленинские принципы партийной жизни и коллективного руководства, обеспечено дальнейшее развитие внутрипартийной демократии, введено систематическое обновление выборных партийных органов, усилен контроль за ними со стороны партийных масс.

В-третьих, получила дальнейшее развитие советская демократия, созданы условия для широкого участия народных масс в управлении государством, в народном контроле. Восстановлена и строго соблюдается социалистическая законность. Навсегда покончено с политикой массовых репрессий. Управление государством, хозяйством и культурой строится на все более демократических основах.

На основе Программы КПСС разрабатывается Конституция СССР, которая зафиксирует формы государственной жизни, отвечающие нынешнему этапу развития общенародного государства, поднимет на новую ступень социалистическую демократию. Наша партия и сейчас продолжает непримиримую борьбу с пережитками тех методов руководства, стиля партийной и государственной жизни, которые насаждались в период культа личности. Партия со всей силой подчеркивает необходимость борьбы против проявлений бюрократизма, администрирования в управлении хозяйством, против произвольного, экономически необоснованного планирования, неумения сделать упор на развитие наиболее перспективных отраслей промышленности и новых методов ведения сельского хозяйства.

После XX съезда КПСС в международном коммунистическом движении вопросы борьбы с культом личности были подвергнуты широкому и свободному обсуждению. Итоги этой дискуссии давно уже подведены, и суть их сводится к тому, что братские партии единодушно одобрили и поддержали выводы XX съезда КПСС, признав, что решения съезда имеют историческое значение и открыли новый этап в развитии международного коммунистического движения. Достаточно обратиться к опыту братских партий, чтобы понять, какую свежую струю внес XX съезд КПСС в жизнь и борьбу коммунистов всего мира. Он стал символом подлинно ленинской, творческой политики, сочетающей в себе твердый курс на достижение конечных целей рабочего класса с реалистическим учетом конкретных условий.

Статья, как можно видеть, имела принципиальное значение. Ее публикация могла стать вехой в продвижении вперед по пути десталинизации. И то, что ее сумели задержать задолго до октябрьского Пленума, показывает влияние и силу заговорщиков и беспечность немногочисленных сторонников Хрущева. Любопытное совпадение: название статьи перекликалось с превосходным политическим стихотворением Е. Евтушенко «Наследники Сталина», хотя, когда я писал, оно еще не было опубликовано.

Что касается оценки Андроповым результатов Пленума как продолжения линии XX съезда, то скоро стало ясно, что он ошибся.

Вскоре разгорелась ожесточенная борьба вокруг выбора путей развития страны. Один — о чем уже упоминалось — недвусмысленно предполагал возвращение к сталинским методам. Другой путь предложил руководству Андропов, представивший емкую программу, которая более последовательно, чем при Хрущеве, опиралась на решение антисталинского XX съезда (об этом я расскажу дальше).

Брежнев не торопился определять свою позицию, присматриваясь к соотношению сил внутри Президиума ЦК КПСС, в Центральном Комитете партии.

Позиция Андропова, наверное, сыграла не последнюю роль в его перемещении с поста секретаря ЦК на должность председателя КГБ СССР. Тут сошлись разные силы. С одной стороны, Суслов, который давно не любил Андропова, подозревая, что тот метит на его место. С другой стороны, Косыгин, который питал иллюзии о возможности быстрого восстановления союзнических отношений с Китаем и потому хотел отстранить от руководства отделом участника советско-китайского конфликта. С третьей

стороны, стремление Брежнева направить верного человека в КГБ и обезопасить себя тем самым от той «шутки», которую сыграл Семичастный с Хрущевым. В конечном счете Брежнев проявил себя большим мастером компромисса: пошел навстречу Суслову и Косыгину, но одновременно рекомендовал избрать Андропова кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а затем и членом Политбюро.

Уже в первые месяцы правления Брежнева обнаружилась его главная черта как политического лидера. Будучи человеком крайне осторожным, не сделавшим ни одного опрометчивого шага на пути своего возвышения, будучи тем, что называется «флюгерный лидер», Брежнев с самого начала занял центристскую позицию. Он не принял ни той и ни другой крайности — ни программы реформ в духе XX съезда, ни неосталинизма. Кстати, он здесь следовал сложившейся после Ленина традиции. Не все, наверное, знают, что Сталин тоже пришел к власти как центрист. Он вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым против «левака» Троцкого, а затем с Молотовым, Микояном и другими — против «правого» Бухарина. И только в конце 20-х годов — главным образом с целью укрепления личной власти — он стал осуществлять левацкую программу «революции сверху» и террора. Хрущев, который вначале разорвал рубаху у себя на груди в секретном докладе на XX съезде партии, тоже после венгерских событий 1956 года стал смещаться к центру. Выступая в китайском посольстве в Москве, он назвал Сталина «великим марксистом-ленинцем», затем рассорился с горячо поддержавшими критику культа личности представителями интеллигенции и т. д. Правда, его все время несло в направлении крайних решений. За непоследовательность и легкомысленные ошибки он и заплатил полную цену в октябре 1964 года.

Иное дело Брежнев. По самой своей натуре, характеру образования и карьере это был типичный аппаратный деятель областного масштаба. Неплохой исполнитель. Но не вождь, не вождь...

3

Вернемся, однако, к подготовке доклада к 20-летию Победы, потому что именно тогда был сделан исторический выбор, предопределивший характер брежневской эпохи. «Диссертация» Шеле-

пина была отвергнута, и общими силами подготовлен вариант доклада, который хотя и не очень последовательно, но развивал принципы, идеи и установки хрущевского периода. Брежнев пригласил нас в кабинет, посадил по обе стороны длинного стола представителей разных отделов и попросил зачитать текст вслух.

Тут мы впервые узнали еще одну важную деталь брежневского стиля: он очень не любил читать и уж совершенно терпеть не мог писать. Всю информацию, а также свои речи и доклады он обычно воспринимал на слух, в отличие от Хрущева, который часто предварительно диктовал какие-то принципиальные соображения перед подготовкой тех или иных выступлений. Брежнев этого не делал никогда.

Чтение проекта доклада прошло относительно благополучно. Но, как выяснилось, главная битва была впереди, когда он, как обычно, был разослан членам Президиума и секретарям ЦК КПСС. Мне поручили обобщить поступившие предложения и составить небольшую итоговую справку. Подавляющее большинство членов руководства высказалось за то, чтобы усилить позитивную характеристику Сталина. Некоторые даже представили большие вставки со своим текстом, в которых говорилось, что Сталин обеспечил разгром оппозиции, победу социализма, осуществление ленинского плана индустриализации и коллективизации, культурной революции, что стало предпосылками для победы в Великой Отечественной войне и создания социалистического лагеря.

Сторонники такой позиции настаивали на том, чтобы исключить из текста доклада само понятие «культ личности», а тем более «период культа личности». Больше других на этом настаивали Суслов, Мжаванадзе и некоторые молодые руководители, включая Шелепина. Другие, например Микоян и Пономарев, предлагали включить формулировки, прямо позаимствованные из известного постановления «О преодолении культа личности и его последствий» от 30 июня 1956 года.

Особое мнение высказал Андропов. Он предложил полностью обойти вопрос о Сталине в докладе, попросту не упоминать его имени, учитывая разноголосицу мнений и сложившееся соотношение сил среди руководства. Юрий Владимирович считал, что нет проблемы, которая в большей степени может расколоть руководство, аппарат управления, да и всю партию и народ в тот момент, чем проблема Сталина.

Брежнев в конечном счете остановился на варианте, близком к тому, что предлагал Андропов. В докладе к 20-летию Победы фамилия Сталина была упомянута только однажды.

Вскоре сторонники Шелепина растрезвонили об амбициях и планах своего вождя. Во время поездки Шелепина в Монголию его ближайший друг, бывший секретарь ЦК комсомола Н. Н. Месяцев в присутствии Ю. Цеденбала стал хвастливо говорить о том, что настоящий Первый — это именно он, Шелепин. И в хорошем «поддатии» распевал песню «Готовься к великой цели».

Цеденбал не замедлил сообщить об этом в Москву. Шелепин, который был поумнее своих клевретов, специально остановился на обратном пути в Иркутске и произнес в обкоме речь, в которой демонстративно подчеркивал роль Брежнева. Однако было уже поздно. Он «подставился», и все поняли его замыслы. Началась долгая, хитрая, многотрудная, подспудная борьба между двумя руководителями, в которой преимущество оказалось на стороне Брежнева. Тогда только я оценил его фразу: «Моя сильная сторона — это организация и психология». Еще раз подтвердилось, что в политике неторопливое упорство нередко берет верх над необузданной силой.

Свой рабочий день в первый период после прихода к руководству Брежнев начинал необычно — минимум два часа посвящал телефонным звонкам другим членам высшего руководства, многим авторитетным секретарям ЦК союзных республик и обкомов. Говорил он обычно в одной и той же манере — вот, мол, Иван Иванович, вопрос мы тут готовим. Хотел посоветоваться, узнать твое мнение... Можно представить, каким чувством гордости наполнялось в этот момент сердце Ивана Ивановича. Так укреплялся авторитет Брежнева. Складывалось впечатление о нем как о ровном, спокойном, деликатном руководителе, который шагу не ступит, не посоветовавшись с другими товарищами и не получив полного одобрения своих коллег.

При обсуждении вопросов на заседаниях Секретариата ЦК или Президиума он почти никогда не выступал первым. Давал высказаться всем желающим, внимательно прислушивался и, если не было единого мнения, предпочитал отложить вопрос, подработать, согласовать его со всеми и внести на новое рассмотрение. Как раз при нем расцвела пышным цветом практика многоступенчатых согласований, требовавшая десятков подписей на доку-

ментах, что стопорило или искажало в итоге весь смысл принимаемых решений.

Прямо противоположно Брежнев поступал при решении кадровых вопросов. Когда он был заинтересован в каком-то человеке, то ставил свою подпись первым и добивался своего. Он хорошо усвоил сталинскую формулу: кадры решают все. Постепенно, тихо и почти незаметно ему удалось сменить больше половины секретарей обкомов, значительную часть министров, многих руководителей центральных научных учреждений. Ему принадлежало последнее слово в присуждении Ленинских и Государственных премий. Брежнев вообще предпочитал заниматься не столько производством, сколько распределением, раздачами. Эту работу он хорошо понимал, не ленился позвонить человеку, которого награждали орденом, а тем более званием Героя Социалистического Труда, поздравить, показать тем самым, что решение исходило лично от него.

Если говорить о брежневском стиле, то, пожалуй, он состоит именно в этом. Люди такого стиля не очень компетентны при решении содержательных вопросов экономики, культуры или политики. Но зато они прекрасно знают, кого и куда назначить, кого, чем и когда вознаградить. Леонид Ильич хорошо поработал, чтобы посадить на руководящие посты — в парторганизациях, в экономике, науке, культуре — проводников такого стиля, «маленьких брежневых», неторопливых, нерезких, невыдающихся, не особенно озабоченных делом, но умело распоряжающихся ценностями.

«Флюгерный лидер», который всегда ориентировался на большинство в руководстве, находил органическое дополнение в лидере, так сказать, распределительном. Это возвращало нас к традиции русской государственности допетровского периода, когда воевод посылали не на руководство, а на кормление...

Людей XX съезда или просто смелых новаторов не расстреливали, как в 30-х годах. Их тихо отодвигали, задвигали, ограничивали, подавляли. Повсюду все больше торжествовали «середнячки» — не то чтобы глупые или совсем некомпетентные люди, но и явно неодаренные, лишенные бойцовских качеств и принципиальности. Они постепенно заполняли посты в партийном и государственном аппарате, в руководстве хозяйством и даже наукой и культурой. Все серело и приходило в упадок. Каков был поп, таким становился и приход.

Это Брежнев понимал прекрасно, и в чем он был действительно великим мастером, так в умении терпеливо тащить пестрое одеяло власти на себя. Тут у него не было конкурентов. Причем делал он это незаметно, без видимого нажима. И даже так, чтобы соломку подстелить тому, кого он легким движением сталкивал с края скамейки. Нужны были места для размещения днепропетровской, молдавской и казахстанской команды. На всех важных постах он расставлял надежных людей, которые лично его не подведут. И вот один за другим из Президиума, из Политбюро ЦК КПСС исчезли Подгорный, Воронов, Полянский, Микоян. Вы помните, как без всякого шелеста и объявлений исчез Шелест — руководитель крупнейшей Украинской партийной организации. На заседании Политбюро произнес только одну фразу по какому-то вопросу: Украинская партийная организация не поддержит это решение.

А насчет «соломки» — вот любопытный факт. После освобождения Н. Г. Егорычева с поста секретаря Московской городской парторганизации ему позвонил Леонид Ильич и сказал примерно такое: «Ты уж извини, так получилось... Нет ли у тебя каких там проблем — семейных или других?» Егорычев, у которого дочь незадолго до этого вышла замуж и маялась с мужем и ребенком без квартиры, имел слабость сказать об этом Брежневу. И что же вы думаете? Через несколько дней молодая семья получила квартиру. Брежнев не хотел ни в ком вызывать чувство озлобления. Если бы он был сведущ в искусстве, наверное, ему больше всего импонировали бы пастельные полутона, без ярких красок — белых или красных, зеленых или оранжевых. Он часто сам одаривал квартирами свое окружение. Ну что тут скажешь?! Представляете себе президента США, который распределяет квартиры?..

Итак, Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких случаев в современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, без каких-либо определенных планов. Но нельзя сказать, пользуясь выражением Мао Цзэдуна, что это был чистый лист бумаги, на котором можно было писать любые иероглифы. Человек глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, крупных перемен. Осудив Хрущева за волюнтаризм и субъективизм, он прежде всего позаботился о том, чтобы перечеркнуть его радикальные начинания, восстановить то, что было апро-

бировано при Сталине. Крупные руководители, которые против своей воли отправились на ближнюю и далекую периферию, вернулись на прежние места в Москву. Тихо и незаметно была сведена на нет идея ротации кадров. В противовес ей был выдвинут лозунг стабильности — голубая мечта каждого аппаратчика. Брежнев не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими.

Вместо хрущевской одиннадцатилетки, претендовавшей на политехнизацию школы, снова вернулись к прежней десятилетке. Крестьяне получили обратно отрезанные у них приусадебные участки. Ушла в прошлое кукурузная эпопея, а вместе с ней и Лысенко. Постепенно произошла переориентация с освоения целины на форсирование земледелия центральных районов страны. Колхозники получили пенсионное обеспечение, была гарантирована минимальная зарплата для работающих в колхозах. Снизилась норма обязательных поставок, и увеличились закупки сельскохозяйственных продуктов по более высоким ценам.

Все эти мероприятия в сельском хозяйстве были намечены еще при Хрущеве. Последним таким всплеском реформаторства стал сентябрьский Пленум 1965 года. На нем была предложена хозяйственная реформа, инициатором которой выступал Косыгин. В основу реформы легли дискуссии, начатые еще в сентябре 1962 года, вокруг статьи харьковского профессора Е. Либермана «План, прибыль, премия». Эти идеи развивались затем в выступлениях крупных советских ученых В. Немчинова, В. Новожилова, Л. Канторовича. Накануне «октябрьского переворота», в августе 1964 года, по предложению Хрущева началось осуществление предложенной учеными новой хозяйственной системы на фабриках «Большевичка» в Москве и «Маяк» в Горьком. И через несколько дней после пресловутого «добровольного» ухода Хрущева на пенсию этот эксперимент распространился на многие другие предприятия. Вдохновленный его результатами, Косыгин и сделал свой доклад на сентябрьском Пленуме 1965 года.

Брежнев, однако, относился к этой «затее» скептически.

Не вникая в ее суть, он интуитивно больше доверял тем методам, которые дали такие блестящие, по его мнению, результаты в период сталинской индустриализации. Не последнюю роль сыграла и ревность к Косыгину,

который имел перед ним все преимущества как один из старейших руководителей, авторитет его восходил еще к периоду Отечественной войны.

Ревность — чисто аппаратное понятие, бюрократический синоним слова «зависть». Но здесь оно имеет особую нагрузку. Люди, находящиеся на одном и том же этаже административной лестницы, зорко следят за тем, чтобы их коллега не выдвинулся раньше чуть-чуть вперед. Поэтому их ужасно раздражает каждое выступление сотоварища по работе, особенно в печати, на телевидении, перед широкими партийными и народными аудиториями.

В самый начальный период руководства Брежнева на заседании представителей стран Варшавского Договора произошел забавный эпизод, когда он произнес единственную, кажется, не написанную загодя речь. Румынскую делегацию возглавлял не руководитель партии, а Председатель Совета Министров, который предложил, чтобы общий документ был подписан именно руководителями государств, а не партий. И тут, как подброшенный пружиной, подскочил Леонид Ильич и произнес две с половиной фразы. Они звучали примерно так: «Как же можно? Документ должен подписывать первый человек в стране... А первый человек — это руководитель партии».

В ту пору в аппарате пересказывали слова Брежнева по поводу доклада Косыгина на сентябрьском Пленуме 1965 года: «Ну что он придумал? Реформа, реформа... Кому это надо, да и кто это поймет? Работать нужно лучше, вот и вся проблема». Не в таком ли отношении к экономической реформе была главная причина, почему она не состоялась?

Мои личные впечатления о Брежневе могут быть субъективны, тем более что говорил я с ним только однажды. Обратимся к оценкам человека, знавшего его больше. А. Бовин, который готовил речи для Брежнева и был близок к нему, утверждает, что Брежнева трудно назвать крупным политическим деятелем, правда, он тут же добавляет, что, по его наблюдениям, «Брежнев был в общем-то неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным хозяином». «Любил охоту... Радовался доступным ему радостям жизни».

Но это к слову. А вот с чем решительно нельзя согласиться, так это с концепцией «двух Брежневых» — до середины 70-х годов и после, с утверждением, будто он был в самом начале своей деятельности сторонником экономи-

ческой и других реформ. Приводят длинную цитату из выступления Брежнева на сентябрьском Пленуме 1965 года, которая якобы особенно характерна для оценки его позиции. Однако уже в то время было доподлинно известно, что Брежнев — активный противник реформы, предложенной Косыгиным, и прежде всего по его вине она провалилась.

Как раз при Брежневе сложилась традиция ужасающего словоблудия, которое с трудом разместилось в девяти томах «его» собрания сочинений. Произносились речи — и нередко хорошие и правильные,— за которыми, однако, ничего не стояло. Авторы его речей обладали исключительной способностью с помощью малозаметного поворота исказить любую плодотворную идею. Так, например, в 1966 году «Правда» опубликовала мою статью «О строительстве развитого социалистического общества». В ней, в сущности, содержались отказ от лозунга «развернутого строительства коммунизма», признание того, что у нас пока еще созданы лишь отсталые формы социализма, и ориентация на научно-техническую модернизацию, реконструкцию управления, демократическое развитие. Что же сделали люди из «идеологической парикмахерской»? Они вложили в уста Брежнева указание на то, что у нас уже построено развитое социалистическое общество. То же самое было заявлено в преамбуле к Конституции СССР. Все было, таким образом, превращено в пустую пропаганду. Так было при «раннем», а тем более при «позднем» Брежневе.

Политика переставала быть политикой. Ибо политика — это деловые решения, а не многословные речи по поводу решений. Это не декларации о Продовольственной программе, а продовольствие в магазинах, не обещание коммунизма, а реальпое движение к благосостоянию для каждого человека.

Верно, что словечко «проблема» стало излюбленным в первых выступлениях Брежнева. Он говорил о проблемах научно-технической революции, производительности труда, продовольственной проблеме, жилищной и т. д. И все время призывал принимать какие-то решения. Однако решения почему-то не принимались. А если принимались, то не исполнялись. В Институте конкретных социальных исследований АН СССР было проведено изучение эффективности решений, принимаемых Совмином СССР. Результаты потрясали: фактически выполнялось не более одного пз десяти решений.

Верно, что Брежнев любил застолье, охоту, быструю езду. Это он ввел такой стиль — проноситься на ста сорока километрах по «коммунистическому городу». И чем быстрее ездило начальство в новеньких «ЗИЛах», тем медленнее ползла страна. Зато были слова, слова, слова. А как расплачивался народ? Сколько миллиардов народных денег и народного энтузиазма ушло на необеспеченное и экономически не проработанное строительство БАМа? А чего стоили «величественные» проекты поворота сибирских рек? А бесконтрольные военные затраты? Тем временем уровень жизни народа откатывался на одно из последних мест среди среднеразвитых стран.

Стиль речей Брежнева резко отличался от хрущевского. В предварительных диктовках Хрущева была ясно выражена политическая воля и мысль, несмотря на литературный хаос. Он тщательно следил, насколько скрупулезно мы использовали диктовку, дорожил своими выражениями и шуточками, вроде таких: «покажем кузькину мать», «у нас с американцами один спор — по земельному вопросу, кто кого закопает» и др.

Брежнев никогда не давал диктовок и не формулировал своих мыслей. Максимум, что можно было услышать от него: надо бы потеплее сказать о женщинах, о молодежи, о рабочих и т. д. Он не любил читать свои доклады заранее, а предпочитал их воспринимать на слух. Обычно он собирал всю группу речеписцев, и кто-то один читал, а другие делали замечания, предлагали поправки. Его решения были простыми: он выслушивал терпеливо всех и ориентировался на мнение большинства, а когда кто-либо особенно упорно возражал против какой-либо формулировки, он советовал пойти ему навстречу и внести коррективы.

Особую роль в подготовке речей играл первый помощник Брежнева Г. Э. Цуканов. Это был довольно симпатичный человек с широким, округлым лицом, приятной улыбкой и легким украинским говорком. Бывший директор крупного завода в Днепропетровске, он чем-то приглянулся Брежневу и стал его помощником более чем на четверть века. Человек здравого смысла, но небольшой эрудит, он вскоре попал под влияние речеписцев.

Одно время Цуканов выступал почти как «альтер эго» Брежнева. Я наблюдал его на отдыхе в санатории ЦК в Гаграх: к нему съезжались на поклон первые секретари республик и областей, занимались откровенным искательством «милостей».

Впрочем, кончил этот человек плохо. В результате какой-то интриги, где были задеты личные чувства Брежнева, он потерял свое место первого помощника. Его переместили из кабинета, что был напротив брежневского, на шестой этаж, где он получил комнатку, обставленную жалкой мебелью дотошными работниками Управления делами ЦК.

Такого удара Цуканов не выдержал и слег с инсультом. Последний акт этой мелодрамы транслировался по телевидению. Незадолго до смерти Брежнев смилостивился, вручил Цуканову орден по случаю 60-летия со дня рождения, но, зачитывая скрипучим голосом речь, он не глядел в сторону Цуканова. Воистину, спаси нас господь от монарших милостей и капризов.

Забегая вперед, скажу, что я как-то пригласил Цуканова к себе домой, чтобы послушать его рассказ о Брежневе. Он охотно пришел, но отказался что-либо говорить и только жаловался на бывших брежневских спичрайтеров, которые теперь совершенно перестали с ним общаться и даже отвечать на звонки.

Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и живут в стране». Да, верно говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал нормальным и «теневую экономику», и грабительство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой жизни. Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, могут жить двояко: либо воруя, либо производя.

Кто виноват? Брежнев? Сейчас легко так сказать. Виновата дворня, небескорыстно раздувавшая этот пустой резиновый сосуд? Больше, чем он,— потому что ведала, что творила. Но главный виновник, которого надо привлечь к суду истории,— брежневский режим, который законсервировал бедность и развратил сознание огромной массы людей.

Значит ли это, что страна не развивалась, что все действительно остановилось? Конечно нет. Народ продолжал

трудиться. Промышленное производство медлеиио, ио росло, хотя и все более обращали иа себя виимаиие два крайне опасных явления. Стремительно увеличивалась добыча топлива. За полтора десятка лет было добыто столько же, сколько за всю предыдущую историю страиы. Это озиачало проедание запасов, прииадлежащих будущим поколениям, по прииципу: после нас хоть потоп! И второе: почти неуклонно уменьшалась доля предметов потребления в общем выпуске продукции. Страна продолжала развиваться экстенсивно.

То было двадцатилетие упущенных возможностей. Технологическая революция, развернувшаяся в мире, обошла нас стороной. Ее даже не заметили, продолжая твердить о традиционном научно-техническом прогрессе. За это время Япония стала второй промышленной державой мира, Южная Корея начала наступать иа пятки Японии, Бразилия выдвинулась в число новых центров индустриальной мощи. Правда, мы добились военного паритета с крупнейшей промышленной державой современного мира. Но какой ценой? Ценой все большего технологического отставания во всех других областях экономики, дальнейшего разрушения сельского хозяйства, так и не созданной современной сферы услуг, замораживания низкого уровня жизни народа.

Ситуация осложнялась тем, что были отвергнуты какие-либо поиски модернизации самой модели социализма. Напротив, вера в организационные и бюрократические решения усилилась. Чуть возникала проблема — и руководство страны реагировало однозначно: а кто этим занимается? Надо создать новое министерство или другой аналогичный орган.

Сельское хозяйство и продовольственная проблема оставались ахиллесовой пятой нашей экономики. Но решения искались на традиционных путях, которые уже показали свою неэффективность в предыдущую эпоху. Продолжалась политика совхозизации колхозов, то есть их дальнейшего огосударствления.

Не дала ожидаемых результатов химизация. Несмотря на то что в 70-х годах СССР опередил США по производству удобрений, производительность труда в сельском хозяйстве была в несколько раз ниже.

Причина экономической и технологической отсталости была одна: непонимание и страх перед назревшими структурными реформами — переходом на хозрасчет в промышленности, кооперированием сервиса, звеньевым и семей-

ным подрядами в деревне. И страшнее всего было бы режиму тех лет решиться на демократизацию, ограничение власти основной опорной базы Брежнева — бюрократии.

Всякие попытки продвижения по пути реформ, проявления хозяйственной самостоятельности или самостоятельности мысли пресекались без всякой пощады.

4

Главный урок эпохи Брежнева — крах авторитарно-государственной системы, сложившейся при Сталине. Государство не только не обеспечивало прогресс, но все более тормозило развитие общества — экономическое, культурное, нравственное. Брежнев и его окружение в одном отношении накопили не совсем бесполезный опыт (для этого им понадобилось почти двадцать лет). Возврата нет! Даже если бы Брежнев решился подкрепить подгнившее здание рецидивом сталинских репрессий, ему не удалось бы сделать эту систему эффективной. Ибо технологическая революция требует свободного труда, личной инициативы и заинтересованности, творчества, непрерывного поиска, состязательности. Структурные реформы и перестройка стали непреложным логическим выходом из застоя.

Будучи живым воплощением иллюзий государственного социализма, Брежнев привел его на самую последнюю, тупиковую остановку. Отсюда начинается единственно возможный, хотя и крайне трудный переход к формированию свободного гражданского общества, в центре которого стоят самоуправляемые трудовые коллективы и активные индивиды; трудясь на самих себя, они трудятся на все общество. Государство, разумеется, не превращается в ночного сторожа, но оно, подобно шагреневой коже, резко сужает свои функции, сохраняя за собой только те, которые отвечают безопасности и прогрессу общества. Условно говоря, если из ста министерств и ведомств сохранятся пятнадцать—двадцать, а из восемнадцати миллионов аппарата управления две трети перейдут в сферу общественного самоуправления, наша держава от этого только выиграет, как, бесспорно, выиграют и ее граждане.

Урок второй — не только аморальность, но и неэффективность таких порядков, когда к руководству страной приходили не в результате нормальной демократической

процедуры и публичной деятельности в партиях, государстве, а путем закулисных комбинаций, тем более заговоров и кровавых чисток. Опыт уже в достаточной степени показал, что в подобной обстановке к власти пробиваются отнюдь не самые способные руководители, не самые убежденные политики, не самые преданные народу, а самые хитроумные улиссы — мастера групповой борьбы, интриг и даже обыкновенной коррупции. Политические мафии Рашидова и Кунаева, Щелокова и Медунова, «днепропетровский хвост» в лице Тихонова, а затем «феномен» Черненко — все это должно стать суровым предостережением политическим работникам любого ранга и уровня.

Во все времена, среди всех народов считается, что руководство государством требует определенной подготовки, поскольку от этого в большой степени зависит судьба народа. Не будем вспоминать о древнем мире, где наставниками правителей выступали такие люди, как Аристотель и Сенека. И в нашей России наследника престола наставлял близкий друг Пушкина поэт Жуковский. Но и в современных государствах считается общепринятым, что для этой работы нужны и природные данные, и образование, и чувство гражданской ответственности, и многолетняя школа политической деятельности, участия в общественных и государственных делах, и ораторское искусство, и навыки публициста. Не будем ссылаться на западный опыт — он нам не указ, мы сами с усами. Но усы мы выращивали, а потом брили в больших хлопотах и трудах, набивая шишки не только отдельным людям, но и всему народу, пока не поняли: нет, не каждый секретарь обкома может руководить нашей великой державой.

С момента революции стали закладываться традиции новой школы политического руководства. Ее главным принципом была социальная принадлежность: человек должен быть не знатным, не богатым, не высокообразованным, а своим, народным. Конечно, мало кто принимал как реальную для нынешнего времени крылатую фразу о том, что каждая кухарка может научиться руководить государством. В составе высшего руководства сразу после революции не было ни одной кухарки, да и практически ни одного рабочего или крестьянина. Политбюро в ленинские времена и почти все члены Центрального Комитета партии были выходцами из интеллигентной или полуинтеллигентной разночинной среды. Яркие или не очень яр-

кие публицисты, страстные агитаторы, вожаки, вожди. Масса тогда внимала и верила им отнюдь не с тем притворно глуповатым выражением лица, которое мы видели в образе «солдатика» в знаменитом фильме «Человек с ружьем».

После смерти Ленина это поколение руководителей было сметено последовательно проводившимися друг за другом сталинскими чистками. Ему на смену пришла более молодая генерация, отличавшаяся сильными характерами, но меньшим уровнем образования и культуры. Но и эта генерация была низвергнута в 1936—1938 годах. И тогда пришло поколение людей, подавляющее большинство которых не участвовало в революции, но зато имело определенный уровень специфически партийного образования. Многие из них сделали сказочную, скачкообразную карьеру, поднявшись за несколько лет от рядовых работников до министров.

Брежнев принадлежал как раз к этой третьей генерации. Его путь был отмечен чисто аппаратным продвижением. При самом тщательном изучении того периода мы не можем обнаружить никакого следа публичных выступлений будущего Генсека. Он умело молчал, умело «выходил» на нужного покровителя и постепенно, но неуклонно продвигался вверх.

Проблема еще заключалась в том, что ни один из наших руководителей не позаботился о том, чтобы воспитывать себе преемников. Не будем говорить о Сталине — малейшего подозрения, что появился такой человек, было для него достаточно, чтобы стереть в порошок потенциального претендента на свое место. Он и говорил открыто своим так называемым соратникам: «Вот умру я, пропадете вы без меня, погибнете!» Отсюда, наверное, и пошло это восторженное восприятие непосредственно после кончины Сталина: «Обеспечено бесперебойное руководство государством». Сталинские «дети» и «пасынки» были сами поражены, что после его смерти небо не обвалилось и государственный руль не выпал из слабых рук...

Справедливости ради надо сказать, что даже Ленин не позаботился о преемниках. В своем политическом завещании он дал характеристики каждому из оставленных высших руководителей, которые содержали по преимуществу критические замечания. Но и он не видел людей (а стало быть, не взращивал таких), которые могли бы после него стать руководителями партии и страны. Что касается Хрущева, то он вообще приближал к себе только

послушных исполнителей, хотя, наверное, и в мыслях не держал, что Брежнев может стать его преемником на высшем посту. Правда, Хрущев выдвигал молодых, таких, как Андропов, да и тот же Шелепин, которых держал, однако, на достаточной дистанции.

Вообще во всех странах современного мира изнанка политического лидерства подвержена злокачественной эрозии. Наиболее вероятные причины этого явления — развитие «массовой» демократии, с одной стороны, и чудовищного бюрократизма — с другой. Именно это порождает «флюгерного лидера», который старается угодить обеим сторонам. Нам долгое время казалось, что мы избавлены от этих бед самим фактом существования централизованного планового общества, которое может разумно направлять свое развитие. Но здесь нас подстерегали большие разочарования. И прежде всего как раз в отношении политического лидерства, которое оказалось вовсе не таким мудрым, чтобы взять на себя функции, принадлежащие, в сущности, всему народу.

Значит, нужна реформа самой традиции политического лидерства, реформа всей нашей политической системы. Это первый, но не последний шаг. Нужно долго думать и многое сделать, чтобы новый Брежнев, а тем более новый Черненко не появились не только на вершине, но даже в составе высшего руководства. Ибо теперь уже очевидно, что тот, кто не умеет руководить, неизбежно скатывается к искусственному насаждению своего культа, разбазариванию народного достояния и коррупции.

Ротация кадров — это крупное, удачно найденное решение. Однако нужны гарантии, чтобы и на пять, а тем более десять лет не приходили слабые, а тем паче коррумпированные руководители. Необходимы перемещение центра тяжести в сторону публичной деятельности кандидатов на высшие посты и, конечно, подлинная выборность.

Искусство управлять — самый сложный из всех видов искусства, включая военное и художественное. Мы стали выигрывать войну с фашизмом, когда на смену Ворошилову, Буденному, Тимошенко, Кулику пришли Жуков, Рокоссовский, Конев, Мерецков, Толбухин. То же самое в политике. Перестройка означает переход руководства от кадров брежневского типа к талантливым, современным

руководителям, способным осуществлять крутые повороты и заглядывать в дальние перспективы. Не говоря уже о требованиях общественной пользы и элементарной морали. Словом, нужны мастера руководства, а не подмастерья или тем более ленивые потребители престижа, власти и привилегий.

Важнейшая гарантия от рецидива брежневщины — это политический плюрализм. Модель его восходит к ленинскому периоду. В то же время мы имеем возможность пойти значительно дальше. Преувеличенные страхи по поводу крайностей гласности — а таковые, несомненно, сопутствуют общему здоровому потоку — отражают отнюдь не заботу о социализме, а порождены авторитарной политической культурой.

Здесь нам больше всего противостоит консервативная традиция. Российская политическая культура не терпела плюрализма мнений и свободы критики правительственной деятельности. Только после революции 1905 года была пробита маленькая брешь. Но и тогда ни царя, ни царизм, ни существующий строй критиковать, по сути дела, было нельзя.

После Октябрьской революции одним из первых декретов были определены меры против «контрреволюционной печати» разных оттенков. Но говорилось об этих мерах как о временных, связанных с обострением классовой борьбы. Не менее характерно и то, что сразу после окончания гражданской войны Ленин вернулся к прежней политике Компартии, которая фиксировала неизменно в своих программах право на свободу выражения мнений. Плюрализм внутри партии, профсоюзов, Советов, крестьянских объединений и в особенности в сфере культуры стал обыденной нормой и важной стороной новой экономической политики. И он был свергнут вместе с нэпом в конце 20-х годов. Хрущев кое-что сделал для восстановления такой гласности, а Брежнев снова похоронил ее.

С плюрализмом связаны и гарантии прав меньшинства — разве мы не убедились на собственном опыте, как это важно? Революционная перестройка, по крайней мере на своем начальном этапе, опиралась на идеи, взгляды и волю не большинства, а меньшинства. Так было, по сути, всегда, если говорить о борьбе нового со старым. Самая девственная и изящная из всех демократий — афинская — устами большинства решила: Сократу надо выпить яд. Пей, Сократ, пей, раз этого требует большинство! А у нас

в 30-х годах разве Сталин не опирался на волю большинства? Не станем говорить о его соратниках, с ними не было вопросов. Даже Хрущев, могучий сокрушитель культа личности, искренне и самозабвенно участвовал в избиениях по воле большинства. Большинство считало: Бухарин не прав. Что ж, иди, Николай Иванович, не оглядывайся, пуля дырочку найдет...

А в новейшее время Брежнев — разве он был один? Абсолютное большинство в аппарате управления молилось на него, получая при нем все — звания, лауреатские значки, академические деньги, дачные постройки, взятки. Поддерживали его и те социальные слои, которые безбоязненно жили и сейчас живут за счет нетрудовых доходов.

Чем гарантировать меньшинство, его волю, его интересы, его взгляды? Меньшинство, которое сегодня как будто ошибается, а завтра может стать главным носителем прогресса? Только личными правами — в партии, государстве, других институтах политической системы: свободой думать, говорить, писать, искать истину и добиваться ее признания — другого пути нет.

Конечно, и меньшинство далеко не всегда может быть правым. Поэтому оно и должно знать свое место и считаться с волей большинства. Без этого нет дисциплины и нет порядка — ни в одной организации, ни в одном государстве. Стало быть, оно вправе претендовать только на автономию в рамках общепринятого. Но сама эта автономия, четко очерченная уставом, законом и политической практикой, может стать огромным завоеванием нашей демократии.

В сфере науки и культуры гарантия прав меньшинства — вещь обыденная, хотя и здесь у нас было немало бюрократического насилия. Еще не стерлось из памяти, как большинство преследовало генетику, клеймило теорию относительности и кибернетику, отвергало джаз, а тем более рок-музыку, уничтожало абстрактное искусство, отвергало социологию и политологию. Сейчас как будто понятно, что трижды убийца тот, кто убивает мысль. Но ведь есть и другие сферы, которые ближе соприкасаются с властью и политикой и где трудно гарантировать автономию меньшинства ради альтернативных решений. Здесь нужна особенно тонкая и точная работа резцом законодателя, которая определяет меру сочетания взглядов и интересов большинства и меньшинства, подлинный плюрализм.

И еще — опасность лести в политическом поведении. Наверное, все вожди и руководители у всех народов любили и любят лесть. Но наши во времена Сталина и Брежнева, как уже отмечалось, алкали лести самой преувеличенной, культовской пробы. Им нравились распластанность и растоптанность льстеца, а тот был готов на любые унижения ради карьеры. Некоторые наши доморощенные фуше и талейраны прошли, как нож сквозь масло, через все политические режимы, используя нехитрый прием — льстить каждому новому руководителю без всякой меры, не говоря уже о стыде и совести.

Глава двенадцатая

ПОЗДНИЕ БОРЕНИЯ

1

Вернемся к судьбе нашей небольшой группы консультантов.

...Это было в конце декабря 1964 года. В девять часов вечера я все еще сидел в своем просторном кабинете, просматривая последние сообщения ТАСС и деловые бумаги. Попалась на глаза подготовленная мной для Политбюро записка «О планировании внешней политики СССР». Перечитывая текст, я с горечью думал о том, как гибнут или превращаются в свою противоположность самые разумные идеи, о повороте, который начался после падения Хрущева.

Вдруг зазвонил телефон.

— Вы не могли бы зайти ко мне? — раздался в трубке какой-то растерянный и хрипловатый голос Андропова.

Я зашел к нему, сел в кресле напротив и поразился необычно печальному и удрученному выражению его лица. Посидели несколько минут молча: он — опустив глаза, а я — всматриваясь в его лицо и пытаясь понять, что происходит. И тут — по какому-то совершенно необъяснимому импульсивному движению души — я неожиданно сказал:

— Юрий Владимирович, мне хотелось поговорить с вами об этом все последнее время. (Он удивленно вскинул на меня глаза.) Я чувствую все большую неуместность продолжения своей работы в отделе. Вы знаете, что я никогда не стремился, да, вероятно, и не мог стать работником аппарата. Я люблю писать. Но главное, пожалуй, не это. Сейчас происходит крутой поворот во внутренней и внешней политике. Вначале казалось, что мы пойдем дальше по пути реформ, по пути Двадцатого съезда. Теперь видно, что эта линия отвергнута. Наступает какая-то новая пора. А новая политика требует новых людей. Я хотел попросить вас отпустить меня. Я давно

мечтал работать в газете политическим обозревателем, и сейчас, считаю, для этого самый подходящий момент. Кроме того, вероятио, и вам это в чем-то развяжет руки, поскольку на меия многие косятся, считая фанатичным антисталинистом.

Все это я выложил залпом. И тут увидел лицо Андропова. У меня иет слов, чтобы передать его выражение. Он смотрел на меня каким-то змеиным взглядом несколько долгих минут и молчал. Я до сих пор мучаюсь загадкой — что означал этот взгляд? В тот момент мне казалось, что в ием выражалось потрясенное недовольство моим неожиданным заявлением. Ничего подобного, конечно, Ю. В. от меня не ожидал. Но впоследствии, когда я стал сопоставлять факты, мне пришло в голову, что здесь произошло одно из драматических совпадений. Не исключаю, что поздний вызов Андроповым именно меня, его подавленность, какая-то даже раздавленность означали, что у него произошло объяснение с Брежневым, который предложил ему то, что потом стало фактом: оставить пост секретаря ЦК и принять назначение председателем Комитета государственной безопасности. Сам этот переход произошел значительно позднее, но разговор мог состояться раньше. Не исключаю, что в ту минуту Андропову, человеку чрезвычайно подозрительному, пришла в голову мысль, что я каким-то путем дознался о его падении и поспешил сбежать с корабля. Быть может, это мой домысел, но он имеет основания в том, как реагировал Андропов на мое предложение. Он не стал меня уговаривать остаться. Через некоторую паузу с хрипотцой в голосе Ю. В. медленно сказал:

— А кого вы предлагаете оставить вместо себя?

Он не назвал меня Федором, как это делал обычно, а задал вопрос в безличной, равнодушной, даже во враждебной манере.

— Я думаю, что для этой роли равно годятся Шахназаров и Арбатов — по вашему выбору. Каждый из них вполне в состоянии руководить группой. Они работают уже больше двух лет и хорошо овладели делом.

— Наверное, Арбатов все-таки больше подходит,— сказал Андропов, и в голосе его прозвучало что-то вроде издевки.— Что касается вашего перехода политическим обозревателем в «Правду», то помогать вам я не буду, хлопочите сами.

После этого разговора — короткого, как выстрел,— я вышел из кабинета в странном состоянии пережитого

потрясения. Как будто я добился своего: давно мечтал о работе политического обозревателя, которая, как мне казалось, открывает пути для непосредственного обращения к общественному мнению. Я действительно любил газетное дело, эту уникальную возможность уже на следующий день после написания увидеть набранные типографским способом твои мысли, чувства, ощущения.

Но я не ожидал такого разговора с Андроповым. Почти пять лет непрерывной безотказной службы, большой человеческой близости — и такой финал. Этого не могло быть. Все должно было быть как-то иначе. Вот почему мне думается, что я попал в самую неподходящую и трудную для него минуту жизни. Он расценил мой шаг не как акт мужества человека, который уходит в отставку, бросает политическую карьеру по принципиальным мотивам. А я думал, что поступаю именно так. Андропов сам не раз передавал мне мнение руководства: «Бурлацкий — человек талантливый, растущий». И вот — полный афронт, отрезанный ломоть. Нет, за этим что-то крылось, неведомое мне до сих пор.

Когда я пытаюсь восстановить в своем сознании картину событий и моих ощущений, которые привели меня к этому драматическому шагу — резкому уходу из аппарата ЦК,— у меня неизменно возникает представление об урагане. Это был какой-то амок, описанный Стефаном Цвейгом, когда человек поступает как будто не по своей воле, а влекомый роком.

Скажу больше, хотя это, может быть, покажется странным и неправдоподобным моим читателям: после рокового объяснения с Андроповым по поводу моей отставки — это было поздним вечером,— вернувшись домой, я не мог усидеть в квартире. Я взял сына Сережу и в каком-то лихорадочном возбуждении стал почти впробежку двигаться с ним по Кутузовскому проспекту — тому самому проспекту, на котором встречался сын Никиты Хрущева Сергей со своим информатором, мимо того самого дома, где жили Брежнев и Андропов, где висели потом мемориальные доски (вторая висит до сих пор).

Я не мог обсуждать свое решение с Сережей — ему было тогда всего одиннадцать лет. Но он был мне необходим. Я должен был чувствовать его рядом, поскольку не находил себе места. И вот в момент этой пробежки во мне появилось какое-то острое, необыкновенное, почти мистическое ощущение, как будто бы я подвергаюсь облучению, идущему от неба, от самой Вселенной. Как будто

бы небо пыталось воздействовать на меня в каком-то направлении, быть может, уберечь от ложного шага. Как будто оно предостерегало меня от поступка, который сломает мою судьбу, предначертанную свыше. Не помню, сколько длилось это ощущение — пять или десять секунд,— но оно потрясло меня своей явственностью и силой.

Я вернулся домой расслабленный, разбитый, с огромным чувством совершенной ошибки и какой-то вины. Еще было не поздно все исправить. В конце концов, состоялся всего лишь разговор. Тем более что после этого Андропов — правда, не непосредственно, а через Толкунова — настоятельно просил меня не уходить из отдела. Но я, влекомый амоком, закусил удила и не думал ни о каких последствиях.

Когда я ложился спать, мне виделось то, что произойдет в будущем. Моя докторская диссертация еще не утверждена, продвигалась она с большим скрипом, и ВАК после моего ухода, который, конечно, будет истолкован как изгнание, десять раз подумает, прежде чем утвердить меня в звании доктора наук. Я предчувствовал и то, что лично Брежнев не простит мне этого шага, поскольку он уже познакомился со мной и, кажется, был вполне удовлетворен моим первым опытом подготовки его выступлений. Мне даже мерещилась картина того, что действительно произошло в будущем — мое изгнание из «Правды» и дальнейшие испытания. Но политический амок был сильнее. Пепел Клааса, фанатичного духа моей матери, преодолевал все страхи и опасения.

Через несколько дней меня пригласил Толкунов и имел со мной длительный разговор. Он предложил мне от имени Андропова пост заместителя заведующего отделом. Ссылался на свой личный пример: пройдя через тяжелые испытания войны, он неожиданно сразу после ее окончания демобилизовался и сломал свою карьеру. «То же самое,— говорил он мне,— делаешь ты». Но я был непреклонен. Не знаю, что во мне говорило больше: драчливость деда, фанатизм матери или принципиальное нежелание участвовать в работе реакционного режима. Я прямо заявил Толкунову: ухожу в отставку, это нормально, когда человек не согласен с новым политическим курсом. Толкунов только пожимал плечами.

Но вернемся к объяснению с Андроповым. Этому предшествовало несколько событий, которые глубоко травмировали мое сознание. О главном я уже говорил — это обстоятельства отстранения Хрущева. И дело было

не в самом его уходе, поскольку мы сами хорошо видели, как много опрометчивых решений он принимал в последнее время. Лично я полагал, что Хрущева следовало сохранить в руководстве страной, но ограничить его власть — быть может, оставить ему один пост: либо Первого секретаря ЦК КПСС, либо Председателя Совета Министров СССР, или, на худой конец, Председателя Президиума Верховного Совета СССР. При всех обстоятельствах он был на голову выше других членов тогдашнего руководства старшего поколения. Что касается более молодых деятелей, таких, как Шелепин, Демичев, Полянский, то мы в нашей среде очень побаивались их, поскольку все они были выходцами из ЦК комсомола — по тем временам худшей школы карьеризма.

Но даже с полным освобождением Хрущева мы могли бы смириться, если бы на смену пришли более достойные руководители. Некоторых из тех, которые сразу оказались на вершине, я знал лично. Это был, например, активный участник переворота Н. Н. Месяцев.

Мне рассказывали, как уже после первого дня заседания поздно вечером он явился в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, что на Пятницкой улице. У входа ему преградил дорогу вахтер, поскольку время было позднее, часов одиннадцать ночи. Месяцев вытащил из кармана и показал вахтеру решение ЦК КПСС, подписанное Брежневым (хотя тот еще не был Первым секретарем ЦК), о его назначении председателем этого комитета вместо М. А. Харламова, предусмотрительно отправленного накануне за границу, помнится в Швецию. Вахтер тем не менее не соглашался пропустить Месяцева. Тогда тот приказал двум «хлопцам» — сотрудникам КГБ,— и они отстранили вахтера. Месяцев в сопровождении «хлопцев» проехал на лифте до кабинета председателя, где находился дежурный, и задал ему только один вопрос: «Где здесь кнопки, которые выключают все радиопередачи на Советский Союз и за рубеж?» Сбитый с толку дежурный показал, как это делается. Месяцев остался на всю ночь караулить кнопки. Видимо, у заговорщиков все еще были опасения, что Хрущев каким-то путем сможет апеллировать через радио к народу.

Ставшая мне известной тогда эта история послужила первым показателем того, что снятие Хрущева было не нормальной демократической процедурой, а результатом заранее спланированного заговора. Кроме того, я хорошо

знал Месяцева, который работал со мной в одном отделе. Бывший секретарь ЦК комсомола и близкий друг Шелепина, он отличался редкой способностью болтать пустой комсомольский вздор по любому, самому серьезному вопросу. Хотя он работал заместителем Андропова и отвечал за отношения с Китаем (видимо, Андропов прислушался к рекомендациям Шелепина), Юрий Владимирович практически никогда не привлекал его к решению и даже обсуждению проблем советско-китайских отношений. Тем не менее он оказался на моих глазах первой блохой, которая сделала прыжок через несколько ступеней вверх. Уже этот, хотя и незначительный факт очень насторожил и меня, и моих друзей.

Потом был любопытный разговор с В. А. Лебедевым, помощником Хрущева, освобожденным сразу после октябрьского Пленума ЦК. В ноябре 1964 года я попал на обследование в больницу. Пробыл там неделю и встретился с Лебедевым, который оказался в ужасном состоянии после падения своего шефа и собственного вынужденного ухода. Я никогда особенно не любил Лебедева, хотя был с ним в неплохих отношениях. Он входил в пресс-группу вместе с Шуйским, Сатюковым и другими, возглавляемую секретарем ЦК по идеологии Л. Ф. Ильичевым. И мне не раз приходилось вступать в контакты с Лебедевым. Вел он себя вежливо, деликатно и предусмотрительно, однако меня очень настораживал тот факт, что он был одним из людей, настраивавших Хрущева против левой интеллигенции.

Мне запомнилась записка Лебедева, разосланная по Президиуму ЦК, в которой он ставил вопрос об ужесточении цензуры и санкциях против писателей. И вот в больнице, где я от скуки поигрывал с ним в шахматы, у меня произошел знаменательный разговор. Мы стали, конечно, обсуждать результаты октябрьского Пленума, снятие Хрущева, приход Брежнева. Помнится, по первому впечатлению я говорил о том, что теперь, наверное, начнется эпоха подлинных реформ, полное возвращение на позиции XX съезда партии.

— Вы ошибаетесь, Федор Михайлович,— не сдержался Лебедев.— У вас еще будет не один случай убедиться в том, куда пойдет дело. Новые руководители не только не оправдают ваших надежд, а, напротив, повернут все дело назад, к сталинским порядкам.

Я не поверил человеку, только что отстраненному от власти, хотя этот разговор заставил меня задуматься.

2

Следующие события одно за другим подтверждали возможность такого поворота. Вскоре после возвращения из больницы я подготовил записку по вопросу, который давно вынашивал: о планировании внешней политики СССР. Ее смысл заключался в том, что до этого политика, в сущности, формировалась на основе ведомственных предложений — МИД, Министерства обороны, внешней торговли, КГБ, отделов ЦК. Эти предложения рассматривались Президиумом ЦК КПСС, но почти никогда не сводились воедино. Поэтому они нередко противоречили друг другу. А многие решения по внутренним вопросам влияли на наши отношения с Западом.

Гонения на Б. Пастернака, вызванные внутренними идеологическими мотивами, сыграли огромную негативную роль в отношениях СССР с Соединенными Штатами и странами Западной Европы.

В связи с этим у меня возникла мысль о создании специального органа, куда сходились бы все предложения из различных ведомств, а также научных учреждений, общественных организаций. Такой орган мог бы готовить для Президиума ЦК КПСС и правительства комплексные документы и предложения. Иными словами, речь могла идти о подлинном планировании общей стратегии нашей внешней политики, в том числе на отдельные регионы и в отношениях с отдельными странами. В записке предлагалось создать комиссию по внешней политике, а при ней группу советников и консультантов. Лично я рассчитывал, что председателем такой комиссии будет Андропов, а наша группа консультантов вместе с другими группами станет работать под руководством комиссии.

Андропов поддержал это предложение, и моя записка была направлена в Президиум ЦК КПСС. Однако решение было прямо противоположным нашему замыслу. Президиум создал комиссию по внешней политике, но во главе ее поставил не Андропова, а Суслова; Андропов получил в ней лишь пост секретаря комиссии. Было отвергнуто наше предложение о создании рабочего органа, который мог бы готовить комплексные документы. Вместо этого было принято решение о создании Управления по планированию внешней политики при МИД СССР.

Такое решение глубоко разочаровало меня. Я прекрасно понимал, что оно не могло дать никаких положительных результатов. Внешняя политика по традиции была

прерогативой Президиума ЦК КПСС и лично руководителя партии и страны. Очевидно, что МИД, как исполнительный орган, ни в малейшей степени не был в состоянии координировать деятельность других, в том числе более влиятельных, ведомств или готовить какие-либо комплексные документы. И действительно, это управление вскоре зачахло, оно стало фактически прибежищем для послов, утративших свои посты. Очень скоро прекратила деятельность и комиссия по внешней политике, поскольку, не имея рабочих органов, да еще возглавляемая Сусловым, никакой плодотворной работы вести она не могла.

Но, пожалуй, самое глубокое разочарование я испытал в связи с попыткой предложить программу деятельности нового руководства. Помнится, это было в январе 1965 года, когда Андропов готовился к совместной поездке с Брежневым и Косыгиным в Польшу. Тогда по согласованию с ним я подготовил на двух-трех страницах предложения по работе нового руководства в области внутренней и внешней политики.

Эта программа состояла из пяти пунктов. Она включала в себя: 1) экономическую реформу; 2) демократизацию и реорганизацию государственного управления; 3) разграничение деятельности партии и государства таким образом, чтобы партия сосредоточилась только на выработке программы и общей стратегии, а все управление и оперативное руководство было передано государственным и общественным организациям; 4) развитие хозяйственного самоуправления предприятий и регионов; 5) последовательное проведение курса на резкое сокращение вооружений, особенно ракетных и ядерных, прекращение военной конфронтации и сокращение военных бюджетов, использование оборонного сектора СССР в целях мирного производства.

Я напряженно ждал возвращения Андропова из Польши, чтобы узнать о результатах его разговора с Брежневым и Косыгиным. Однако он ничего вначале не рассказывал мне. Я был вынужден сам обратиться к нему с вопросом, что обычно не принято. В практике отношений в аппарате существует правило, которое формулируется так: «Никогда не задавай вопросов начальству, когда заранее не уверен в ответе, который оно тебе даст». Я пренебрег этим правилом.

Андропов сказал, что его предложения не встретили поддержки ни у Брежнева, ни у Косыгина. Косыгин высказался за проведение экономической реформы,

но настаивал совсем на другом повороте в области внешней политики. Он тогда сохранял иллюзии о возможности восстановления дружбы и союза с Китаем, а это могло, по его мнению, неизбежно привести к определенному ужесточению наших отношений с Западом. (Впоследствии, после своей поездки во Вьетнам, Косыгин посетил Китай, имел длительное объяснение с Мао Цзэдуном и, вернувшись, признал свою ошибку. Он понял, что Мао Цзэдун даже при самых больших уступках Советского Союза не согласится на восстановление нашего альянса, поскольку имеет совсем иные национальные цели.) Что касается Брежнева, то он в обычной своей осторожной манере сказал, что надо подумать, что не следует спешить и фактически не высказался в пользу ни одной из предложенных идей.

Наряду с этими крупными политическими событиями произошли и два малозначительных, которые также повлияли на мое резкое решение об уходе с партийной работы.

Илья Эренбург как-то заметил, что история или ее носители в лице советских руководителей часто совершали свои повороты, используя его и его творчество как своеобразный объект. Так поступил Сталин, когда сразу после окончания войны выступил с идеологическим заявлением о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются», и призывом прекратить критику немецкой нации. Тогда Эренбург был изображен как этакий националистически настроенный экстремист. А вторично это было сделано Хрущевым по поводу повести Эренбурга «Оттепель». Нечто подобное, но, конечно, в меньших масштабах не раз происходило и со мной.

Случилось так, что ровно через два дня после октябрьского Пленума, а именно 16 октября 1964 года, я защищал докторскую диссертацию. Главным содержанием ее было теоретическое обоснование идеи общенародного государства и следующих отсюда программных выводов по развитию демократии. Естественно, что в диссертации я неоднократно ссылался на XX и XXII съезды партии и выступления Хрущева, особенно по Программе КПСС, тем более на те части этого выступления, которые были написаны лично мной и касались проблем демократии.

И вот за два часа до защиты мне позвонил ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС Ю. П. Францев. В большом возбуждении он сообщил мне, что группа членов ученого совета этого очень консервативного учрежде-

ния, куда я опрометчиво передал свою диссертацию, пришла к нему с протестом против защиты, заявив, что будут голосовать против меня. Главный их довод состоял в том, что в диссертации содержится резкая критика Сталина и защищается идея общенародного государства, что все это будет пересмотрено в ближайшее время новым партийным руководством. Францев предлагал мне отложить защиту во избежание провала. Но такое решение — вероятно, рациональное в тот момент — казалось мне позорной капитуляцией. Я все еще питал иллюзии по поводу политики, которую будет осуществлять новое руководство. Я ответил Францеву: «Защиту не снимайте, дадим бой».

Придя в академию, в одну из ее роскошных аудиторий, где проходила защита, я увидел сумрачные лица членов ученого совета, среди которых узнал очень многих людей, выброшенных из партийного аппарата во времена Хрущева. И хотя у меня засосало под ложечкой, я в своем вступительном слове и в заключении не только не ослабил, а, напротив, усилил защиту идей XX съезда, критику культа личности, обоснование отказа от диктатуры пролетариата и процесса развития демократии.

Члены совета были в замешательстве. Они не знали, как реагировать на подобный вызов. Поэтому никто из них не выступил с критикой диссертации. Мне был задан лишь один вопрос по второстепенному поводу — о характере революции в Болгарии, и все как будто бы шло благополучно. Но тайное голосование было ужасающим: из двадцати пяти человек семь проголосовало против; проходной балл — две трети голосов, что составляло пятнадцать человек. Это означало, что я удержался буквально на волоске. Францев сделал хорошую мину при плохой игре, заявив, что защита показала правильность принятого им решения — вопреки мнению кое-кого из ученого совета.

Тем не менее я испытал чувствительный удар по самолюбию. Мне даже не хотелось отмечать защиту принятым тогда застольем. И только по настоянию нашей консультантской группы мы в узком составе, не приглашая никого из оппонентов и членов ученого совета, в довольно мрачном состоянии духа накоротке отметили у меня дома это событие.

На следующий день Андропов специально пригласил меня к себе и посетовал, что я не предупредил его заранее о готовящейся защите: тогда можно было бы принять необходимые меры, чтобы обеспечить ее успешное прохождение. Но я сказал, что в конечном счете все закончилось

благополучно. Андропов был не согласен с этим, полагая, что результаты защиты означали вызов, брошенный аппарату ЦК и ему лично, не говоря уже обо мне. Так или иначе, я пережил горькие минуты. Кроме того, для меня это был первый сигнал тревоги по поводу нового поворота в политике руководства партии.

Другой эпизод был связан с подготовкой выступлений А. Н. Косыгина во время его поездки во Вьетнам в конце 1964 года. Предполагалось, что по дороге он заедет в Китай, встретится с Мао Цзэдуном. Косыгин, как я уже отмечал, рассчитывал «в два часа» уладить все недоразумения с китайскими руководителями. Мы подготовили совместно с работниками МИД речи Косыгина. Но вот нас пригласили для обсуждения этих речей к А. А. Громыко. Андрей Андреевич был буквально вне себя. Он кричал:

— Что вы, не понимаете происходящих перемен? Что вы насовали в речь — мирное сосуществование с Западом, XX съезд, критику Сталина? Все надо переписать заново в духе новой политики — жесткой борьбы против американского империализма, который пытается задушить революцию во Вьетнаме. По-новому, тепло сказать о нашей неизменной дружбе с китайским народом.

Тут, признаться, я не выдержал, будучи заведенным всеми происходящими переменами. Не вставая с места и почти не разжимая зубов, я сказал: «Андрей Андреевич! Мы работаем в аппарате ЦК КПСС и готовы выслушивать замечания только от нашего руководства, особенно по таким принципиальным вопросам политики».

У Громыко даже челюсть отвисла от моего нахальства. Он, вероятно, не слышал никогда ничего подобного от своих подчиненных. Да и вся группа собранных там работников буквально замерла. Но, к чести министра, надо отметить, что он сдержался и не ответил на мой выпад. Зато позвонил Андропову и там уже дал волю негодованию. Андропов передал мне этот разговор с легкой укоризной.

И еще одна стычка произвела на меня большое впечатление. Одним из первых перемещений в аппарате ЦК, осуществленных Брежневым, было то, что он назначил своего бывшего помощника С. П. Трапезникова заведующим Отделом науки. И вот вскоре после этого мы встретились с Трапезниковым (которого я знал раньше) на приеме в польском посольстве. Он вцепился в меня и долго убеждал, что Хрущев преследовал личные мотивы в критике Сталина, что Сталин, несмотря на некоторые крайности, был великим ленинцем, что он обеспечил победу социа-

лизма в СССР. Особенно настойчиво Трапезников втолковывал мне значение коллективизации деревни, о чем он написал впоследствии двухтомную книгу. «Вы не знаете, как это происходило,— говорил Трапезников.— Посмотрите на меня. Мне сломали руку и ноги ручками от вил крестьяне, когда я был направлен на осуществление коллективизации. Это была настоящая битва за социализм».

И действительно, Трапезников на всю жизнь остался инвалидом — хромым и с деформированной рукой. Отойдя от него, я имел неосторожность сказать какому-то приятелю: «Поверишь ли, эта такса пыталась меня обратить в сталинскую веру».

Доброхоты тут же передали Трапезникову мою непристойную шутку. Он крепко запомнил ее, и мне это дорого обошлось, когда я попал на работу в подведомственную ему Академию наук СССР.

Меня удручало и то, что я не мог вполне разобраться в позиции Андропова. Я видел нередко, как он садился в одну машину с Шелепиным, провожая или встречая каких-либо официальных лиц. Такое сближение с «младотурками» (быть может, конъюнктурное) казалось мне предательством линии XX съезда. Юрий Владимирович скоро отошел от них, когда понял, что сила на стороне Брежнева. Впрочем, вероятно, он еще долго сохранял неплохие отношения и с Шелепиным. Забегая вперед, скажу, что я наблюдал два года спустя, во время встречи в Карловых Варах представителей компартий, такую сцену. Брежнев спускается по лестнице, следом идет Шелепин, глядя на него глазами, наполненными откровенной ненавистью, между тем как Андропов придерживает «железного Шурика» под локоть, явно стараясь смягчить его гнев. Забегая еще дальше вперед, напомню, что поводом для изгнания Шелепина стал его визит в Англию, во время которого были опубликованы материалы о его деятельности на посту председателя КГБ. Как попали эти материалы в английскую прессу, кто это стимулировал? Уж не Андропов ли по заданию Брежнева? Неизвестно...

И еще один случай, о котором стоит рассказать. Будучи избранным на партконференцию аппарата ЦК КПСС, я в своем выступлении рассказал о той работе, которую ведет наша группа консультантов, а также консультанты других отделов, в частности о тех проблемах, которые обсуждаются в связи с подготовкой Совещания коммунистических и рабочих партий и об отношениях с некоторыми партиями в области внутренней политики. Я рассказал

опять-таки правду, но правда эта очень не понравилась одному из секретарей ЦК, который руководил проведением конференции. В своем заключительном слове он, не упоминая меня, сказал: «Кто же у нас действительно формирует политику, консультанты или Президиум и Секретариат ЦК КПСС?» То же самое он высказал при встрече Андропову, критикуя мое выступление за некие претензии на неподобающую консультантам роль в разработке политических решений.

Это показывало тот психологический климат, который складывался вокруг нашей группы. Не случайно мне нередко приходилось слышать — и внутри ЦК, и за пределами — о «вундеркиндах Бурлацкого». Аппарату не нравилось, что все большее влияние на подготовку документов и речей начинает оказывать научная интеллигенция, а не «коренные» аппаратчики.

Все это накапливалось на протяжении двух месяцев после октябрьского Пленума ЦК и закончилось моим решением об уходе из аппарата.

Близкие друзья, прежде всего консультанты нашего подотдела, знали, что я ушел по своему желанию, но недоумевали, полагая, что я сделал самую большую ошибку в своей жизни.

После решения об уходе я собрал их всех у себя дома. На столе стояли наспех купленные бутылки водки и бутерброды. Обстановка царила странная — настороженная, обеспокоенная, насыщенная непониманием. Я не мог вполне откровенно рассказать о политических мотивах своего поступка. Поэтому в разговоре с консультантами не употребил слово, которое открыто использовал, излагая свои мотивы Андропову и Толкунову,— отставка. Там я говорил наедине, а здесь присутствовало много людей, и не было никакой уверенности, что то, что будет сказано, завтра не станет известно моим противникам. Я сказал примерно следующее:

— Друзья, я ухожу, потому что считаю, что в такой обстановке мне не следует оставаться. Я не хочу и не могу нести ответственности за то, что будет делаться сейчас. Страна вступила в новую полосу, и мы не можем представить себе, какой будет эта полоса и какова будет ее длительность. Но очевидно, что идеи XX съезда, идеи реформации России на какое-то время откладываются в сторону. У нас нет способа повлиять на ход событий сейчас, но каждый из нас вправе сделать выбор — участвовать или не участвовать в этом повороте. Я свой выбор сделал. Это не

значит, что я призываю кого-либо из вас повторить мой поступок. Политика требует терпения, возможно, я слишком нетерпелив, но мне кажется, что я смогу оказывать влияние на происходящее со стороны, апеллируя к общественному мнению. Возможно, что это тоже иллюзия. Так или иначе, решение принято и мосты сожжены. Кто-то из вас доберется до цели и сможет существенно влиять на большую политику. Вероятно, это будет Арбатов, или Шахназаров, или Бовин. Надеюсь, что это произойдет. Что касается меня, то я на время выбываю из игры.

Тут поднялся большой спор — как оценивать мой поступок. Арбатов, который еще до этого высказал мне свое мнение, помалкивал. Кстати, он проявил известное благородство, поскольку дал мне совет не уходить в «Правду», а взять какой-то институт в Академии наук: это будет и значительнее, и весомее, и спокойнее. Я, будучи в большом раздражении, бросил ему несправедливую фразу: «Если ты будешь навязывать мне свои советы, я назову не тебя, а кого-либо другого своим преемником». После этого Арбатов замкнулся и во время нашего прощального ужина он, помнится, практически не говорил ничего.

Зато Шахназаров и Бовин вступили в ожесточенный спор. Разговор касался и моего поступка, и в целом принципа, как поступать в аналогичных случаях советникам, когда они не согласны с проводимой политикой. Шахназаров — наиболее честный и эмоциональный — доказывал, что, дескать, Федор поступил правильно, он вернется в аппарат на белом коне. Бовин с присущей ему грубоватой прямотой говорил: «Это ошибка! Это ошибка, которая будет стоить Федору всей его карьеры, а может быть, и жизни».

Позднее я нередко вспоминал эту категорическую оценку. Бовин, став спичрайтером Брежнева, вероятно полагая, что в любой игре надо быть победителем, оправдывал себя тем, что старался вносить прогрессивные идеи в речи патрона даже в самые трудные времена — во время событий в Чехословакии в 1968 году и трагического вторжения в Афганистан.

Тайная вечеря консультантов окончилась печально. Мы расходились какие-то смурные и немного потерянные. Каждый из нас столкнулся с новой для себя жизненной ситуацией, искал нравственную почву под ногами и одновременно думал о своей личной судьбе.

Странно сказать, мы почти не говорили о судьбе Никиты Сергеевича. Практически он выпал из нашего сознания

в тот момент. Так никто не замечает ферзя, снятого с доски рукой противника. Где этот ферзь, куда его поставили или положили — на стол или под стол, как он себя чувствует,— разве об этом задумывается кто-либо из участников игры? Такова судьба политического деятеля: сегодня он в центре всеобщего внимания, его лицо, грозное или улыбчивое, простоватое или интеллигентное, не сходит со страниц газет, экранов телевизоров. Но вот наступает мистическое мгновение — и кадр меняется: на экранах или в газете другое лицо, а то, вчерашнее, как будто бы и не существовало. Даже мы, которые больше или меньше уже тогда считали себя «хрущевистами», как-то не думали и не вспоминали об этом человеке, который так всколыхнул наши души во время XX съезда партии. Таков факт. Его можно по-разному объяснять, но с ним приходится считаться. Умерший писатель вызывает к себе нередко двойной интерес, как было, например, с Пастернаком или Высоцким. Павший политический деятель надолго уходит в забвение...

Что было на самом деле главной причиной моего ухода из аппарата ЦК? Сейчас, когда я задумываюсь над этим, я вижу целый комплекс, а не одну причину, скорее эмоций, чем рациональных побуждений. Протест против политического поворота вспять? Да, это довлело очень сильно над моим сознанием. Я десятки раз повторял тогда Кускову и Белякову — ухожу, ну их всех к чертовой матери. Желание вернуться к творчеству? Да, и это. Я всегда себя чувствовал больше ученым, литератором, чем политиком.

Но если быть до конца откровенным с собой, было еще одно — ошибочная оценка Брежнева. Подобно многим другим, я был тогда абсолютно уверен, что это фигура промежуточная, что он не продержится больше двух-трех лет. Я видел, что за его спиной стоят более опасные силы — неосталинисты, но верил также в неизбежность возвращения реформаторов, ибо другого пути развития страны не было. Я полагал — вероятно, наивно,— что через печать (ушел в «Правду»), да еще при таком либеральном главном редакторе, как А. М. Румянцев, который к тому же был назначен на это место через Андропова по моей рекомендации, я смогу лучше бороться против сползания к сталинизму и за продолжение политики XX съезда. Этим объясняется то упорство, с которым я выступал в «Правде» против тоталитарных режимов, за пересмотр Программы партии и отказ от утопической идеи «коммунистиче-

ского строительства», за приобщение к современной технологической цивилизации.

Но я глубоко ошибся. Центристская, вялая и ленивая политика Брежнева оказалась удивительно адекватной ожиданиям аппарата и достаточно широких слоев населения. Моя ошибка тем более непростительна, что я не раз обнаруживал в себе сильно развитую политическую интуицию. Я предчувствовал падение Хрущева, а незадолго до смерти Мао Цзздуна предсказал в печати падение Цзян Цин и возвращение Дэн Сяопина. Вероятно, большое действительно видно на расстоянии. Я слишком сильно был вовлечен в политическую кухню, чтобы оценить по достоинству всех поваров. Инфантилизм — это самая типичная и самая опасная болезнь советников. И еще какой-то сайентизм: мы склонны верить в логику политического процесса, а он насыщен столькими групповыми влияниями, что на выходе может оказаться совершенно алогичный результат. Кроме того, нельзя исключить, что история или провидение имеют какие-то свои, неведомые нам и недоступные человеческому уму цели, по-своему расставляя фигуры на шахматной доске.

3

Шелепин, конечно, был извещен о моей аналитической записке, обличавшей его неосталинизм. Механизм передачи информации о таких вещах всегда оставался для меня загадкой. Конечно, в принципе понятно, что, когда в разговоре участвует несколько людей, скрыть его содержание невозможно. Тем не менее в обсуждении «диссертации» Шелепина принимало участие всего четыре-пять человек. Впрочем, я не исключаю, что сам Брежнев передал содержание нашего разговора другим членам руководства, и это дошло до Шелепина. Можно допустить также предположение, что Брежнев изложил мою записку в присутствии Шелепина, чтобы потрепать тому нервы, а самому как бы остаться в стороне, человеком, только передающим чьи-то мнения. Так или иначе, но Шелепин буквально через день-другой узнал о моих «инсинуациях» и, конечно, поспешил нанести удар.

Он резко выступил против меня на заседании Политбюро. Его обвинения содержали два пункта. Первое: Бурлацкий выдал «секрет своего статуса в ЦК КПСС американской разведке, опубликовав в журнале «Совьет лайф»,

рассчитанном на США и другие страны Запада, статью, в которой открыл место своей работы в ЦК». При этом Шелепин сжимал в руках и даже тряс перед глазами членов руководства номером журнала «Совьет лайф», в котором якобы помещена моя статья. На самом деле моей статьи там не было, а была опубликована статья Шахназарова с его портретом, его прекрасной, почти лишенной растительности головой, и должность там была указана его, а не моя. Перепутать было невозможно — ни фамилия, ни портрет ни в малейшей степени не были похожи на мои.

Второе обвинение было не лучше первого. Шелепин сообщил, будто бы Бурлацкий «расстреливает» в «Правде» идеи доклада Брежнева. Это был удар, что называется, ниже пояса. Ничто не вызывало большего раздражения у наших заказчиков, и особенно у Брежнева, чем намек на то, что кто-то пытается опередить своим выступлением в печати его выступление и тем самым принизить последнее. Леонид Ильич особенно болезненно относился к подобным вещам. Неудивительно, что я был тут же отстранен не только от руководства, но и от подготовки доклада к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Больше всего меня поразило, пожалуй, не само решение, а то, что происходило во время обсуждения очевидных наветов Шелепина. После его выступления Брежнев задал странный вопрос: «А где сейчас работает Бурлацкий?» Дело в том, что как раз в это время — и это, быть может, запечатлелось в его сознании — он подписал приказ о моем переходе по собственному желанию в газету «Правда» политическим обозревателем. Шелепин бросил (видимо, не зная о состоявшемся решении): «Вот, в отделе у Андропова». И тут последовала реакция, психологическое значение которой для меня остается невероятным до сегодняшнего дня. Андропов сказал: «Он больше не работает в отделе». И все. Ни одного слова в мою защиту. Он наверняка знал всю лживость выдвинутых обвинений, тем более что вышеназванная статья Шахназарова согласовывалась с ним. Он прекрасно знал и о том, что я не успел еще опубликовать ни одной статьи в «Правде», но не сказал по этому поводу ничего.

Пять лет я служил ему с преданностью интеллектуальной собаки, которая думает, что охраняет дом, а на самом деле охраняет хозяина, содействовал его продвижению по политической лестнице. Своим назначением на должность секретаря ЦК он в огромной степени был обязан именно тому, что сумел взять на себя с нашей помо-

щью подготовку важнейших выступлений Хрущева. Положим, я поступил, с его точки зрения, неэтично, уйдя из отдела вопреки его воле. Но как можно было так просто списать человека, который не причинил тебе никакого зла, а только перестал служить, и то не лично тебе, а тому делу, в которое больше не верил? Своей репликой он демонстративно лишал меня своего покровительства и полностью отдавал на растерзание «комсомольской банде». Он даже отказывался мало-мальски объективно свидетельствовать по поводу меня.

Мне рассказал во всех подробностях об этом эпизоде Кусков, который узнал о нем от Пономарева — тот с большим удовольствием передал эту историю, чтобы она дошла до моих ушей. Я вначале не мог поверить в ее истинность. Это выглядело неправдоподобно, не укладывалось в образ человека, перед которым я так преклонялся. «Так вот оно, как выглядит благодарность властей предержащих. Вот как выглядит предательство. Стоит ли после этого жалеть о своем разрыве со службой?»

Я перешел в «Правду», где меня запихали в какой-то большой и сараеподобный кабинет. Видимо, было уже известно, что я впал в немилость. Никто, кстати, не мог понять мотивов моего ухода. Противники радовались тому, что эти «вундеркинды Бурлацкого» наконец получат по носу. Сторонники строили догадки, будучи совершенно убежденными, что меня выдворили из аппарата вопреки моей воле.

Тем временем мое столкновение с Шелепиным завершилось относительно благополучно. Меня пригласил к себе заместитель заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК, мой старый знакомый В. Кортунов. Он сделал полуофициальное заявление:

— Ты слышал, наверное, что на Политбюро были высказаны критические замечания в твой адрес. Нам было дано поручение разобраться. Первое обвинение заключалось в том, что ты опубликовал свою статью в журнале «Совьет лайф», где сообщил о своем месте работы. Оно не подтвердилось. Второе обвинение — в том, что ты «расстреливал» идеи докладов в статьях в «Правде», тоже не подтвердилось, поскольку ты ничего не печатал. Так что вопрос закрыт. Можешь спать спокойно.

— Как же это я могу спать спокойно? — спросил я его.— Обвинение было высказано, его слышали все члены

Политбюро. Ты должен составить справку и представить ее наверх, тогда все убедятся в несправедливости претензий.

— О чем ты говоришь? — с широкой и немного грустной улыбкой сказал мне старый знакомый.— На что ты меня толкаешь? Разве не знаешь, кто выступал против тебя? Что же, ты хочешь, чтобы я уличил его во лжи? Столько лет проработал в аппарате и делаешь такие предложения. Вопрос закрыт. Довольствуйся этим. Работай спокойно, если сможешь.

Но работать спокойно, конечно, я не мог. Я чувствовал себя на вулкане, который вот-вот взорвется. Дело было не только в Шелепине. Раньше или позже кто-то должен был «накапать» Брежневу о том, что я бросил вызов лично ему, не пожелав стать его спичрайтером. Так что, придя в «Правду», я отнюдь не чувствовал себя в безопасности. Это не помешало опубликовать за два с половиной года пребывания в газете целую серию статей, в которых прямо или косвенно подвергался критике режим личной власти и отстаивались демократические идеи XX съезда партии. Часы в моей душе были заведены, видимо, не мной, и я не мог остановиться.

Я широко пользовался эзоповским языком и стилем, который позаимствовал отчасти у героя своей первой книги Н. А. Добролюбова. Ему, писавшему в критический период первой реформации России в 60-х годах прошлого столетия, постоянно приходилось прибегать к непрямому, косвенному изложению своих взглядов. Все искусство состояло в том, чтобы найти подходящий объект, материал, на котором можно было демонстрировать свою позицию, не рискуя полностью потерять возможность обращения к читателю.

Одним из таких объектов был режим личной власти в Китае. Наш конфликт с Мао Цзэдуном продолжался, и это открывало некоторую брешь для сопоставления маоизма и сталинизма. Еще работая в «Правде», я подготовил серию статей по биографии Мао Цзэдуна, которые были набраны и направлены в Политбюро. Однако Суслов решительно воспротивился их публикации. Он обладал удивительным нюхом на всякую крамолу и тотчас же схватил основной замысел — рассчитаться со Сталиным, используя китайский пример. Мне удалось опубликовать эти статьи только в небольшой книжке, вышедшей уже после моего увольнения из «Правды»,— «Маоизм или марксизм?».

Другим объектом — и во многих отношениях более свободным и доступным — стал франкизм. В 1966 году я в составе одной из первых групп побывал в Испании. В нашу группу входили Константин Симонов, Роман Кармен, Кара Караев и другие деятели культуры и искусства. За двадцать дней мы исколесили всю Испанию. Наибольшее впечатление оставили встречи в Мадриде. Кстати, во время боя быков на корриде в испанской столице нас, можно сказать, представили Франко. Каудильо — маленький, седенький, почтенный старичок — сидел прямо над нами на расстоянии нескольких рядов. Наш переводчик попросил поклониться генералу, и мы не сочли возможным отказаться. И генерал махнул нам белой ручкой. Я считал, что после этого имею все моральные основания писать о Франко и франкизме...

Но дело было, конечно, не в этом. Я решил использовать этот объект для размышлений об эволюции нашей системы после Сталина.

Вернувшись в Москву, я опубликовал четыре больших очерка под выразительными названиями: «Кризис тоталитаризма», «Эрозия авторитарного режима» и др. Впоследствии они вышли небольшой книжкой под названием «Испания: коррида и каудильо».

В этих статьях я совершенно недвусмысленно проводил аналогию между франкизмом и сталинизмом, анализировал причины внутренней эрозии режима личной власти, ее глубинные истоки, возможности поворота вспять. Очерки завершались размышлениями о том, возможен ли рецидив культа личности и авторитарной власти после смерти диктатора? Вывод был, что возврат к этой модели в чистом виде не произойдет, поскольку она вызвана к жизни уникальными историческими обстоятельствами и концентрировалась в неповторимой по-своему личности диктатора. Я писал о том, что откатывание назад возможно, но повторения массовых репрессий и самых жестоких проявлений тоталитарного режима не будет.

ИСПАНИЯ:
КОРРИДА И КАУДИЛЬО

...Время покажет, в каком направлении будут развиваться события. Но ясно, что проблемы политического кризиса, который переживает Испания, невозможно разрешить с помощью верхушечных махинаций; они могут быть решены только при участии широкого общественного мнения и всех реальных политических сил страны...

Общественность обретает голос — это самое существенное, что можно заметить в жизни Испании. Она не только начинает мыслить самостоятельно, вне официальных установок и рецептов, но только критически переоценивает самые основы режима, но и все чаще заявляет об этом открыто. Этот критический настрой — разумеется, в разной мере — проникает буквально во все этажи здания общества...

Кризис тоталитаризма проявляется не только в том, что общественность шаг за шагом отвоевывает позиции у властей. Он и в том, что правительство уже не может править по-старому, опираясь на террор и репрессии. Так появляется на свет политика «либерализации», проповедуемая франкистскими властями... Эрозия режима распространилась до самого верха. Но какой жалкий ответ тщатся дать представители олигархии на вопросы, неотвратимо поставленные жизнью, борьбой народа!..

Тоталитарный режим находится в состоянии кризиса и разложения. Сейчас он эволюционировал и скорее напоминает военные диктатуры, типичные для некоторых стран Латинской Америки. Трудно сказать, когда и куда сделает страна свой следующий шаг; нельзя исключать зигзагов и изломов, попыток дать задний ход и восстановить массовый террор. Но несомненно одно: режим не переживет своего основателя. Процессы, которые идут в Испании, необратимы. Вот еще одно очевидное доказательство того, что фашизм не имеет будущего. Он противоречит общественным потребностям, воле народов, самой природе человека, который хочет свободы и благосостояния...*

Я попытался выразить свои чувства, используя пример франкистской Испании, где были те же проблемы, что и у нас: переход от авторитарного режима к новым формам власти, отсутствие преемственности, нарастание оппозиционных настроений. И главное, о чем мне хотелось сказать,— о невозможности возвращения в «чистом виде» к сталинизму и массовым репрессиям.

Читая эти статьи, многие удивлялись тому, что автор все еще продолжает работать в «Правде». Мой соперник и противник в газете — другой политический обозреватель, назовем его Шварцман, несмотря на свою внушительную внешность, малую подвижность, бегал по редакции и кричал, что испанские очерки — это лебединая песня Бурлацкого. Шварцман сходил с моими испанскими очерками и к помощнику Брежнева по идеологии В. Голикову, пытаясь раскрыть глаза руководству на всю подноготную этих статей. Голиков «вышел» с этим вопросом на Брежнева, но тот толком так и не понял, какая может быть связь между франкистской Испанией и социалистическим Советским Союзом. И дело в тот момент закончилось ничем.

* *Бурлацкий Ф.* Испания: коррида и каудильо. М., 1967. С. 14, 33, 36—37, 46.

4

Куда больше Голиков преуспел, когда доложил о двойном содержании испанских очерков Суслову. Тот, как мне рассказывал впоследствии один из работников аппарата, внимательно прочитал очерки, подчеркнул «крамольные» места и поставил на полях большие вопросы красным карандашом. Это был первый сигнал бедствия. Но, даже получив информацию о впечатлении, которое произвели эти статьи на руководство, я тем не менее продолжал нестись в том же направлении. Что двигало мной в тот момент, несмотря на все более нависавшую угрозу, трудно даже объяснить и понять самому. Это может быть сравнимо только с азартом игрока за карточным столом, который не может остановиться, не спустив до конца все свое состояние.

Помню, как во время отдыха в Гаграх я в составе волейбольной команды участвовал в состязании с командой другого санатория. Сделал я тогда непростительную ошибку: надел шелковые носки вместо хлопчатобумажных. И вот, приземлившись после очередного прыжка, я почувствовал ужасную боль в ногах. Однако продолжал игру, преодолевая недомогание, еще четыре сета. И, даже уйдя с волейбольной площадки, я пошел на теннисный корт и попытался поиграть там. Но тут проходившая мимо медсестра обратила внимание на то, как я ковыляю. Она поинтересовалась, что произошло, и, услышав мой ответ, повела меня делать рентген. Оказался перелом фаланги в левой ноге. Ну как можно объяснить эту глупость: продолжать игру, несмотря на перелом в одной ноге и сильнейшее растяжение в другой?

Нечто подобное, вероятно, происходило со мной уже во время работы в «Правде». Захваченный азартом состязания на проигрыш с руководством страны, располагавшим всей властью, которому ничего не стоило маленьким движением бровей раздавить меня, я продолжал писать в прежнем духе.

Второй эпизод носил скорее юмористический, чем драматический характер. Опубликовал я небольшую статью по заказу журнала «Новое время» к ленинскому юбилею. Ничего в ней особенного не было. Там содержалась мысль об опасности упущенных возможностей и важности интуиции в политике. Приводился пример, как точно Ленин определил дату восстания в октябре 1917 года: 24 октября — рано, 26 октября — поздно, только 25 октября —

единственный уникальный шанс для захвата власти большевиками.

Неожиданно меня пригласил в Отдел науки знакомый инструктор, длинный и улыбчивый Григорий Григорьевич Квасов.

— Есть указание,— сказал он,— чтобы ты написал объяснение на имя Генерального секретаря по поводу своей статьи в «Новом времени».

— Какое объяснение?

— Объясни, по каким мотивам ты выступил с этой статьей.

— Не понимаю. Что значит — по каким мотивам? По каким мотивам может быть написана статья о Ленине? Скажи толком, какие замечания.

— Не знаю я ничего о замечаниях,— двусмысленно улыбнулся Гриша.— Сказано, взять у тебя объяснение — и все тут.

— А кем сказано, ну, открой мне свою душу, Гриша! Ты думаешь, я поверю, что Генеральный читает статейки в «Новом времени»? Делать ему, что ли, нечего? Ну, скажи по секрету: от кого ты получил указание?

— От кого? Ты не выдавай меня — от Голикова, но указание твердое, так что садись и пиши.

— Ничего, Гриша, я писать не буду. А Голикову передай, чтобы уточнил свои замечания.

— Пиши, Федор, никуда не денешься.

— Вот что, Гриша, раз ты не хочешь спрашивать у Голикова о конкретных замечаниях, то я это сделаю сам. А ты ему передай, что Федор отказался писать объяснения и послал его... (далее шло непечатное выражение).

— Смотри, Федор, доиграешься. Сам я передавать ничего буду, а если хочешь, позвони, но на меня не ссылайся.

Пошел я в соседний кабинет, к правительственному телефону и позвонил Голикову.

— Это Бурлацкий говорит. (Слышу — пауза, никакого ответа.) Вы меня слушаете?

— Слушаю.

— Так вот, товарищ Голиков, я хотел бы узнать, какие у вас конкретные замечания по моей статье о Ленине?

— Замечания? Замечание простое (тут он перешел на крик) — троцкизм проповедуете в своей статье! Вот какое замечание. Ведь это не Ленин, а Троцкий доказывал, что выступать надо 25-го, а Ленин отстаивал 24-е.

— Товарищ Голиков, вы подумайте, о чем вы говорите! Значит, мы празднуем нашу революцию по Троцко-

му — 25-го числа, а не по Ленину — 24-го? Да и как произошло, что революция одержала победу именно 25-го числа, то есть в соответствии, если верить вам, с рекомендацией Троцкого, а не Ленина?!

— Ничего не знаю. Запутываете все. Я получил письмо с протестом от группы старых большевиков. Так что пишите на имя Генерального секретаря ЦК КПСС.

Тут я не выдержал и снова послал товарища Голикова... Это было крайне опрометчиво, потому что именно он стал пружиной последующей экзекуции, которая сломала мою биографию.

Что же на самом деле возбудило такие страсти вокруг моей маленькой статьи, подняв этот вопрос на уровень руководителя ЦК КПСС? Перечитывая статью, я понял это. Облик Ленина периода нэпа, его отношение к управлению как к науке и искусству и особенно его критерии лидерства в партии. Вот что говорилось в статье:

...Интеллектуальное превосходство Ленина-теоретика было умножено на твердую, воистину железную волю, на политическую смелость. Именно этот сплав дал Ленину то изумительное свойство, которым восхищались современники,— способность к необходимым поворотам в политике.

Сравнительно просто идти проторенной тропой, делая по ней еще шаг, еще шажок. Несравненно сложнее повернуть в сторону или даже вернуться вспять, чтобы затем не только наверстать упущенное, но и значительно ускорить движение вперед.

Политическая деятельность Ленина полна такими поворотами. После февральской революции, когда многие в партии рассчитывали на длительный этап сотрудничества левых сил в Советах и даже выдвигали лозунг поддержки Временного правительства, Ленин в Апрельских тезисах круто повернул в сторону подготовки пролетарской революции. В июле — сентябре 1917 года, когда многие в партии думали лишь о том, как спасти ее от разгрома, Ленин выдвинул лозунг революционного захвата власти.

Особенно значителен поворот от «военного коммунизма» к новой экономической политике. Ленин сумел разглядеть необходимость крутого поворота от чрезвычайных методов руководства, порожденных чрезвычайной обстановкой гражданской войны, к налаживанию нормальных и стабильных форм управления. Проницательность и дальновидность Ленина проявлялись не только в том, что он указал в ту пору на опасность злоупотребления военно-административными методами, но и отверг проявившуюся в зародыше другую крайность, выступив против правых группировок, которые добивались ослабления роли партии как руководящей силы.

В тактике международного рабочего движения «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» была едва ли не большей неожиданностью для некоторых деятелей Коминтерна, чем НЭП для многих большевиков. Ленин посвятил свою крупнейшую после революции работу борьбе с «левыми» коммунистами в момент, когда западные компартии более всего были озабочены борьбой с правой опасностью, не заметив, что революционная волна в Европе пошла на убыль.

Эта ленинская способность проявилась и в таком редчайшем для политического лидера качестве, как умение при возникновении новых обстоятельств, новой обстановки отказаться от прежде выдвинутого лозунга. Накануне революции партия и Ленин выступали за роспуск постоянной армии, за переход ко всеобщему вооружению народа. Но, когда этого потребовали развязанная контрреволюцией гражданская война, остро враждебное отношение со стороны империалистических держав, именно Ленин подписал декрет о создании Красной Армии для защиты Республики...

Ленину приходилось налаживать механизм руководства в среде не такой уж послушной и легкой. Были в ту пору в составе руководства партии деятели разные по своим позициям, по уровню знаний и таланта, трудные по характеру. Тут-то как раз и требовалось огромное политическое искусство и такт, чтобы сделать столь разнородный коллектив максимально работоспособным.

Деятельность Ленина обнаруживает тончайшую грань, которая существует между властью авторитетного лидера и культом вождя. Признанный вождь партии и рабочего класса, Ленин нередко должен был брать на себя всю полноту личной ответственности за предлагаемое решение. Наглядный пример тому — Брестский мир, заключенный под решительным нажимом Ленина, вплоть до угрозы отставкой.

В то же время Ленин не только в силу обстоятельств, а по убеждению подчинял всю свою деятельность воле партийного коллектива, иной раз в вопросах менее принципиальных шел на уступки, предвидя, что жизнь все равно исправит неточное решение. Он писал в одном из писем: «...Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека — это я»... Старый Цека (1919—1920) побил меня по одному из гигантски важных вопросов, что Вы знаете из дискуссии. По вопросам организационным и персональным несть числа случаям, когда я бывал в меньшинстве» *. В понимаемой так коллективности Ленин видел не слабость, а силу руководства...

Максим Горький писал о таком удивительном свойстве Ленина, как талант на людей. Ленин превосходно разбирался в их достоинствах и недостатках, в сильных и слабых сторонах, нередко предсказывая их дальнейшую политическую эволюцию. Умение поручить людям такую работу, когда бы они приносили максимальную пользу общему делу, и где в наименьшей мере сказывались бы их слабости, составляло одну из замечательных черт Ленина как руководителя. В письмах, записках, заметках Ленина мы находим многочисленные четкие и лапидарные характеристики деловых качеств многих деятелей партии и государства того времени.

В нашей литературе и искусстве по-разному рисуют облик Ленина как руководителя, в частности его отношение к людям, к друзьям и недругам, к соратникам по борьбе и политическим противникам...

Спор о «жестком» или «мягком» образе Ленина представляется беспредметным. Ленин был прирожденный политический деятель и этим сказано все. Он действовал так, как этого требовала ситуация,— с максимальным эффектом для интересов дела революции, которому посвятил свою жизнь... **

* *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 52. С. 100.
** Новое время. 1969. № 16. С. 4—5.

В числе других я прилагал усилия, чтобы разобраться в характере политической и социально-экономической системы, сложившейся в нашей стране в результате революции, сталинизма, хрущевских реформ и брежневской реставрации. Первым шагом на этом пути было разрушение стереотипа «коммунистического строительства», который перекочевал в Программу партии из сталинских работ. Хрущев твердил даже о «развернутом коммунистическом строительстве». За этим стереотипом скрывалась политика дальнейшего тотального огосударствления экономики, включая колхозы, свертывания рынка, сохранения тоталитарной системы власти. Вторая задача была показать, что мы живем не в развитом, как страны Запада, а в отсталом обществе — отсталом в индустриальном, культурном отношении и особенно по уровню и качеству жизни. И третья задача — вернуться к идее социалистического строительства и созданию развитых структур — и в экономике, и в политической сфере. Весь смысл выдвижения понятия «строительство развитого социализма» и заключался в возвращении на почву реальности, в признании нашего резкого отставания от развитых стран Запада в технологии, уровне и образе жизни.

К сожалению, понятие «развитой социализм» в речах Брежнева было использовано в пропагандистских целях. Дело изображалось так, что он уже построен, и снова утверждалась необходимость «перехода к коммунизму». Так любая плодотворная мысль от соприкосновения с политической пошлостью превращается в свою противоположность...

Обстановка в стране тем временем становилась все хуже. Начались гонения на Солженицына. Цензурный контроль все более ужесточался. Последние остатки хрущевской оттепели доживали свою жизнь. Театры стонали от усилившегося идеологического контроля. Газеты с их «подручными» (меткое выражение Хрущева) «правели» и серели на глазах.

5

Как раз в это время я сблизился и сдружился с членом редколлегии газеты «Правда» по отделу агитации и пропаганды Леном Вячеславовичем Карпинским. Сын известного революционера, вступившего в партию едва ли не вместе с Лениным и сотруд-

ничавшего с ним на протяжении многих лет, он и назван был Леном в память о Ленине. Карпинский вышел из комсомольской среды, и вершина его биографии — это должность секретаря ЦК ВЛКСМ по агитации и пропаганде в начале 60-х годов. Его отличал яркий, живой и своеобразный ум, способность одновременно схватывать самые сложные теоретические проблемы и преподносить их — по крайней мере, во время устных выступлений — в необыкновенно привлекательной форме. Становление его политических взглядов происходило, однако, совсем не так, как у меня. Его отец во времена Сталина затаился и занимал, в сущности, конформистские позиции. Это отразилось поначалу и на взглядах сына.

— Когда произошел XX съезд партии,— рассказывал как-то Карпинский,— я работал секретарем обкома комсомола в Горьком. Перед нами стояла тогда конкретная задача — добиваться повышения удоя молока в деревне. И мы все силы отдавали именно этому. Мне тогда еще подумалось: ну при чем здесь Сталин? И все, что стало известно о его преступлениях, я пропустил мимо ушей. И только позднее стал сознавать что к чему.

В то время, когда мы встретились с Карпинским, он уже сильно эволюционировал влево. Его антисталинские представления окрепли, вероятно, в результате наших постоянных дискуссий и споров о сталинизме и судьбах страны. Мы имели неосторожное обыкновение собираться на квартире или на даче у Карпинского, куда приходили и Михаил Шатров, и многие другие писатели, журналисты, актеры. И там, несмотря на уже сильно продувавшие холодные ветры, откровенно обсуждали без стеснения все — и Сталина, и заговор против Хрущева, и новую консервативную эпоху. (Забегая вперед, отмечу, что материалы этих домашних встреч потом фигурировали в деле об исключении Карпинского из партии и готовились в аналогичном деле по поводу меня в КПК ЦК КПСС.)

В конце концов мы так сошлись с Карпинским, что поселились на одной казенной даче, предоставленной нам главным редактором «Правды» А. М. Румянцевым. Собственно, первоначально сама эта дача предназначалась лично Румянцеву. Это был шикарный двухэтажный дом; обрамленный участком в три-четыре гектара, обнесенный забором, он стоял в Серебряном бору, на берегу Москвы-реки. Сюда наезжали наши друзья, в том числе известные барды, устраивались вечера, музыка перемежалась с политикой, а политика — с любовью...

Главной темой наших бесконечных разговоров с Карпинским были реформы в стране — экономические, политические, культурные. Он увлекался в те поры чтением Бухарина и мечтал о ленинском ренессансе, я же был более ориентирован на опыт развитых, цивилизованных стран Запада. Мне казалось ужасным, что наша страна во многих отношениях донашивала одежды XVIII—XIX веков, в то время когда многие страны уже заглянули в третье тысячелетие. Лен был куда более правоверным марксистом-ленинцем, чем те люди, которые впоследствии растоптали его судьбу и полагали себя ортодоксальными последователями официального учения. Я же, воспитанный в большей степени на русской и западной истории общественно-политической мысли, был склонен рассматривать проблемы нашей жизни через призму всей современной цивилизации и специфических условий нашей, российской.

Мы часто вспоминали о Хрущеве и о странной судьбе реформаторов в России. Борис Годунов или такие советники, как Сперанский при Александре I, Столыпин при Николае II, служили для нас суровым предупреждением против либерализма в стране с глубоко укоренившимися традициями авторитарной и патриархальной политической культуры.

С Карпинским мы составили сплав, который неизбежно должен был взорваться с большой силой. Так и произошло. Как-то при очередной встрече с Юрием Любимовым, который рассказывал опять-таки об очередных гонениях Министерства культуры на репертуар его театра, я предложил Карпинскому совместно написать статью с критикой не только театральной политики, но и в целом нашей цензуры и методов партийного руководства искусством. Он подхватил мою мысль и созвал в редакции совещание многих крупных театральных режиссеров. Они поведали не просто чудовищные, но и нелепые истории.

Готовится спектакль на глазах у представителей Министерства культуры СССР. Но вот приходит время, когда это министерство должно дать официальную санкцию на постановку. Представители министерства приходят, рассаживаются в зале, смотрят спектакль и, если замечают в нем какие-то острые места или «намеки» на что-то, ни слова не говоря, гуськом, друг за дружкой вприпрыжку убегают из театра. Затем где-то сочиняется справка, идет донос, и в конечном счете налагается запрет на выпуск работы, готовившейся год, два, а то и три.

Это был общий крик души представителей театральной элиты. И тогда-то мы с Карпинским подготовили статью под первоначальным названием «О сенсациях подлинных и мнимых».

На примере Театра на Таганке Ю. Любимова и «Современника» О. Ефремова мы показали всю нелепость существующих порядков. Наша мысль была предельно простой и осуществилась, кстати говоря, без всякого труда уже во времена перестройки. Надо передать руководство театральным репертуаром самим театрам, коллективам, работающим в них. Они сами и притом профессионально будут решать вопросы репертуара, а неудачи найдут отражение в печати, на телевидении, в зрительских откликах. Непрофессиональная министерская активность с ее чиновным доносительским усердием не нужна и вредна не только для искусства, но и для правильных взаимоотношений между государством и интеллигенцией.

Вот, в частности, что говорилось в статье:

НА ПУТИ К ПРЕМЬЕРЕ

Есть сложные, реально существующие явления в современной жизни. И возможны два подхода, два отношения к ним. Одни говорят: «Давайте не касаться подобных явлений, это могут истолковать в невыгодном для нашего строя духе». Иными словами, полагают, что общественные проблемы снимаются сами собой, поскольку о них не упоминают публично. Так в жертву ложно понятым интересам пропаганды приносятся реальные политические интересы, направленные на совершенствование нашего общества.

Другой подход заключается в том, чтобы смело анализировать такие явления, не пасовать перед неблагоприятными фактами, не закрывать стыдливо глаза, а содействовать их устранению ради торжества заложенных в нашей системе высоких принципов...

Общеизвестно, что искусство не только вправе, но и обязано активно вторгаться в жизнь, прикасаться ко всем ее сторонам. Между тем складывается впечатление, что некоторые работники органов культуры, отвечающие за работу театров, плохо учитывают специфику своей деятельности, пытаются уклониться от сложных ответов на сложные вопросы, которые ставит жизнь.

Каждый театр — а их в стране сотни — ищет свое место, свой творческий почерк. И только при этом условии театр может жить полнокровной жизнью. Но не означает ли это, что именно театру, его коллективу, общественности, связанной с ним, должно принадлежать решающее слово в формировании репертуара? Подобная практика в последнее время складывается, вполне оправдывая себя, например, в области изобразительного искусства, где творческие проблемы решает общественность в художественных советах, выставочных комитетах и т. д. Это обстоятельство благо-

творно сказалось на содержании многих художественных выставок последнего времени, способствовало росту молодых художников, поиски которых прежде не всегда находили выход и оценку общественности...

Подлинный талант остро чувствует ответственность за свое творчество, стремится нести в массы высшую правду жизни, правду социалистического идеала. И умная, требовательная, подлинно компетентная критика отвечает ему тем же: она не отвращает, а ориентирует художника на глубокое проникновение в жизнь во всем ее многообразии; она не отдает предпочтение благополучной посредственности, а поощряет дарование в его благотворных поисках; она не замыкает себя в узких рамках ведомственных суждений, а открывает широкий простор общественной оценке результатов художественного творчества *.

Главным редактором «Правды» в ту пору работал уже не Румянцев. Он был отстранен от руководства газетой за публикацию двух статей об интеллигенции, в которых ставились серьезные вопросы о развитии внутрипартийной демократии и усилении влияния более образованной и культурной части партии на всю ее деятельность. На его место был направлен подобранный, видимо, лично Брежневым М. В. Зимянин.

Я хорошо помню его появление в газете. Я знал его раньше, еще когда он был послом в Чехословакии. Небольшого роста, с острыми чертами лица, с руками, находившимися в непрерывном движении, он легко возбуждался от всего происходившего вокруг.

— Я никогда не занимался газетным делом,— заявил Зимянин с гордостью при первой встрече с редколлегией.— Правда, в юности я работал полгода в районной газете, но это не в счет. Однако думаю, что в политике разбираюсь неплохо, здесь у меня есть кое-какой опыт. А это, наверное, главное, что нужно для того, чтобы быть редактором общепартийной газеты «Правда».

Эта тронная речь мало кого воодушевила...

Работая в отделе ЦК партии, я выполнял как-то не очень приятное поручение, передавая Зимянину замечания Хрущева. Помнил ли он об этом, думалось мне, когда я слушал вступительное слово человека, «рекомендованного» нам в качестве главного редактора.

Так вот, Зимянину я и вручил нашу с Карпинским статью «О сенсациях подлинных и мнимых». Он, видимо, внимательно ознакомился с ней, а затем при встрече со мной сказал, что статья, наверное, правильно отражает ненормальное положение в искусстве, однако она не может

* См.: Комсомольская правда. 1967. 22 июня.

быть опубликована в настоящее время, поскольку все политические ветры дуют в противоположном направлении. Ему, помнится, импонировала мысль о том, что партийное руководство собственными руками создает мнимые сенсации, раздувает своими запретами авторитет тех или иных деятелей искусства, возбуждает страсти вокруг спектаклей или произведений, которые этого не заслуживают и которые в спокойной обстановке не вызвали бы к себе ни большого внимания, ни ажиотажа. Но не думаю, чтобы ему импонировала идея радикального изменения методов партийного руководства сферой культуры.

Так или иначе, Зимянин не подверг сколько-нибудь серьезной критике статью, но сказал, что сейчас ее надо отложить. Я забрал у него статью и пересказал Карпинскому наш разговор. Тот предложил показать статью главному редактору молодежной газеты «Комсомольская правда» Б. Д. Панкину. Я согласился. Мы с Леном зашли к Панкину, который при нас и познакомился со статьей. Она ему понравилась, однако вопрос о публикации он тогда не решил.

Тем временем я поехал отдыхать в Крым. Встречи с другими отдыхающими — а это были по преимуществу работники партийного аппарата — настроили меня на пессимистический лад. Я чувствовал, насколько далеки мои взгляды от настроений функционеров. Они упивались новыми порядками, которые сложились при Брежневе. Лозунг «стабильности», полной гарантированности их положения, защищенности от какого бы то ни было контроля приводил их в восторг. Они молились на Леонида Ильича и проклинали «ужасные» хрущевские времена, когда политическая лодка все время раскачивалась на волнах «субъективизма и произвола».

Во время моего пребывания на юге мне неожиданно позвонил Е. Кусков. Он сказал, что срочно решается вопрос о замещении поста ответственного секретаря журнала «Проблемы мира и социализма», и предложил мне поехать в Прагу в этом качестве. Я отказался.

Впоследствии я не раз имел случай не столько пожалеть, сколько задуматься над шутками судьбы. Дал бы я тогда согласие, состоялось бы решение — и меня миновали бы все последующие драматические события, разгоревшиеся в связи с публикацией нашей с Карпинским статьи.

Лен как-то позвонил мне в Крым и в обычной для себя, немного вялой манере, недоговаривая какие-то слова,

сообщил, что вот, возможно, статья будет напечатана, но, скорее всего, Панкин не решится на это. Я тоже, то ли разморенный солнцем, то ли не вполне додумав до конца возможные последствия подобной публикации, что-то промямлил в ответ. Вероятно, Карпинский принял мою не слишком членораздельную реплику за согласие.

И вот сижу я на берегу Черного моря и вижу какую-то суету среди отдыхающих. Они перебегают друг к другу, держат в руках газету и чуть ли не показывают на меня пальцами. Я подошел и спросил одного из знакомых. Он ответил: «Ну и заварили вы кашу. Лихо. Но чем кончится?!»

Я взял у него «Комсомольскую правду» и прочел нашу статью. Она вышла под новым названием «На пути к премьере» и была сильно подредактирована, но суть ее сохранилась. Через несколько дней я вернулся в Москву. Приехали мы с женой на дачу в Серебряный бор, я бросился искать Карпинского, предчувствуя самое худшее. Карпинский вышел, зевая и потягиваясь, и с привычной для себя элитарной смешинкой сказал:

— Тут такое закрутилось! Говорят, сам Брежнев недоволен статьей. Уже обсуждали на редколлегии. Я сказал, что статью задумал в основном Бурлацкий, но что наказывать должны не его, а меня...

На следующий день меня пригласил заместитель главного редактора «Правды». Он сказал, что в четыре часа состоится заседание редколлегии, которое будет обсуждать нашу статью. Он заверил, что мне нечего опасаться, поскольку предусматривается, в общем, самое незначительное наказание. Нам будут объявлены выговоры по административной линии за публикацию статьи на стороне без разрешения главного редактора.

Я до сих пор не знаю, была ли это провокация или этот человек сам не знал о готовящейся экзекуции. Если бы я подозревал, что произойдет на редколлегии, я бы, конечно, постарался потянуть время, тем более что мой отпуск еще не кончился и я не обязан был приходить в редакцию. Введенные в заблуждение, мы с Карпинским явились на заседание редколлегии, в котором приняло участие, помнится, четырнадцать человек.

Все было обставлено торжественным образом. Сказав небольшое и резкое вступительное слово, в котором осудил нашу статью как крупную политическую ошибку, Зимянин предложил каждому высказать свое мнение. Началось самое настоящее аутодафе. Один за другим поднимались

члены редколлегии и произносили обвинительные речи. Ни в одном из этих выступлений не цитировалась статья. Речи были выдержаны в общей форме и содержали в себе, в сущности, формулу приговора. Поэтому они были очень похожи одна на другую.

Сейчас я даже не могу толком вспомнить, кто и что говорил. И только два человека решились занять иную позицию. Первый был Георгий Куницын — заведующий отделом литературы и искусства в газете. Он не просто высказался против проработки, но бросил неосторожную фразу, которая еще более возбудила страсти: «Что это — возврат к 1937 году? Не понимаю и не принимаю всего, что происходит, и решительно протестую против экзекуции». Другим был ответственный секретарь редакции Юрий Воронов. Он практически ничего не сказал в своем выступлении — ни за, ни против, но воздержался от голосования. В самый напряженный момент обсуждения Зимянина неожиданно позвали к правительственному телефону. У нас не было никаких сомнений, что с ним обсуждалась наша судьба. Он отсутствовал почти час. Вернулся растерянный.

— Есть предложение,— сказал он, и в глазах его вспыхнуло негодование, то ли на авторов статьи, то ли на тех, кто возложил на него тяжкое бремя решения,— есть предложение поставить вопрос перед ЦК КПСС об освобождении Бурлацкого и Карпинского от занимаемых должностей.

Меня как громом ударило. Не знаю, как я усидел на месте. Скажу откровенно, у меня и в мыслях не было, что произойдет такая расправа. Я очень любил работу политического обозревателя, чувствовал себя впервые по-настоящему счастливым, радуясь, как ребенок, каждой статье. Лишиться трибуны для меня в тот момент было смерти подобно. Поэтому я проявил слабость и сказал, что хотя и не понимаю по-настоящему сути обвинения, но, поскольку вся редколлегия практически высказывается против нашей публикации... я прошу дать возможность продолжать работу в «Правде».

Карпинский держался более раскованно. Он и раньше изрядно тяготился работой в газете. Особенно он не хотел заведовать отделом агитации и пропаганды и незадолго до этого был переведен по своей просьбе заведующим отделом культуры с неясными функциями. Может быть, поэтому, возможно, и по другой причине он довольно остро и критично высказался о предъявленных нам обвинениях. Однако редколлегия приняла безапелляционное решение,

продиктованное сверху. Мы написали совместно с Карпинским и каждый в отдельности свои объяснения, согласованные друг с другом. Учитывая, что я в большей мере дорожил работой в «Правде», Карпинский согласился на то, чтобы я отразил истинное положение с публикацией, которая фактически не была на последнем этапе согласована со мной. Я до сих пор сожалею о том, что поддался соблазну такого объяснения, хотя оно и было правдивым.

Я проявил и другую слабость: позвонил Андропову и попросил содействия, чтобы меня оставили в печати. Андропов порекомендовал мне обратиться к Суслову, и тогда я понял, от кого исходили основные стимулы этой акции. Я действительно написал Суслову письмо с той же просьбой, которая осталась без ответа. Через несколько дней — очень оперативно — решение ЦК было принято. Политический обозреватель, который приравнен по положению к первому заместителю главного редактора «Правды», и член редколлегии были освобождены от занимаемых должностей в связи с публикацией статьи в «Комсомольской правде». Борис Панкин одобрил статью, но отсутствовал в момент ее публикации, находился в заграничной командировке. Наказали К. Щербакова — редактора отдела, который вел статью,— он был освобожден с работы. Пострадали и другие работники газеты. В «Комсомольской правде» появилась передовая статья с осуждением нашей публикации от имени газеты и от имени ЦК ВЛКСМ. Круги этой истории расходились все шире и шире, она стала сенсацией, о которой писали за рубежом и передавали по радиоголосам, идущим на Советский Союз.

Это было одно из первых жестких предупреждений работникам печати и всей интеллигенции. Расправа была короткой и суровой. За нами последовали и другие. Через несколько месяцев был уволен из редакции Г. Куницын, а Ю. Воронов отправлен корреспондентом в ГДР, где пробыл более десяти лет, как в ссылке.

Тем временем меня пригласил для беседы Зимянин. Только впоследствии я узнал, что он хотел предложить мне поехать корреспондентом в Польшу. Однако к этому моменту я уже вполне оправился от первого шока и сказал тому же заместителю главного редактора, который спровоцировал наш приход на аутодафе, что прошу передать Зимянину, что не приду. Я имел наивность добавить: «Посмотрим, что будет после следующего съезда партии...»

Вслед за нами в течение нескольких лет из газеты было уволено больше десятка наиболее способных журналистов, которые не смирились с брежневской эпохой. Среди них Е. Яковлев, Г. Лисичкин, Ю. Черниченко, А. Волков и другие. Я же отправился в «ссылку» — научным сотрудником в АН СССР, благо уже был утвержден доктором философских наук.

У меня перестал звонить телефон. До этого я был нужен всем или очень многим и старался сделать для каждого, кто обращался, все, что мог. Впрочем, я не составлял исключения. Доброта вообще свойственна большинству наших людей. Мне часто приходилось встречать на Западе очень отзывчивых и милосердных христианских деятелей миссионерского толка. Но есть различие между их добротой и добротой русского человека. Их доброта идет скорее от чувства долга, тогда как наша — от души. Наши люди намного лучше нашей идеологии, наших законов и нашей системы. В этом важный залог ее изменения.

В прежнюю пору мне звонили члены руководства страны, бесконечно звонили из редакций. Я чувствовал себя некой спицей в колесе государства, нужной для того, чтобы оно вертелось. И вдруг — полная тишина. Даже близкие друзья, даже мои консультанты — те, кого я привел в ЦК,— перестали звонить.

В чем была причина? Боялись подслушивания? Не могли помочь? Считали, что я нарушил правила игры? Арбатов как-то при встрече со мной сказал: «Зря ты это сделал; я уже не говорю о том, что ты чуть было не помешал моему назначению директором института».

Впрочем, Арбатов повел себя лучше других. Через какое-то время он пересказал свой разговор с Брежневым обо мне. Дело происходило во время их совместной поездки с одной из загородных дач. Брежнев сам был за рулем, а Арбатов сидел рядом. Здесь он и поведал ему обо мне, отметив мои способности как спичрайтера. Леонид Ильич добродушно спросил: «А почему бы его не привлекать к моим речам?» Не знаю, что ответил Арбатов, но привлекать меня не стали, да я и сам, как мог, уклонялся от этого. Среди брежневских помощников гуляла формула: Федор мышей не ловит, он не желает готовить речи, а предпочитает стричь купоны со своих книг. Отчасти это было правдой: я не хотел писать для Брежнева. Но я участвовал в подготовке выступлений Косыгина на XXIV и XXV съездах партии. Тем самым я еще больше уронил себя в глазах Брежнева и его окружения.

Как относся к моим драмам Андропов? С большой настороженностью. Он опасался, что его давнишний враг Суслов использует мои «неуправляемые» выступления против него. Но в 1968 году помощник Андропова, который знал меня по работе в ЦК, предложил мне по поручению своего шефа выступить со статьей в «Правде», гарантируя, что она будет напечатана. Юрий Владимирович поставил, однако, условие: я должен был недвусмысленно высказаться в поддержку нашей акции против Дубчека и ввода войск в Чехословакию. Я уклонился и потерял тем самым на долгие годы шанс «реабилитироваться», а заодно и реальную поддержку Андропова. Поэтому, когда впоследствии меня еще дважды снимали с работы — в 1972 и 1975 годах, я уже не мог обращаться к нему за защитой...

Моя первая встреча с Андреем Дмитриевичем Сахаровым произошла где-то в конце 1970 года — сейчас трудно вспомнить точно. Полагаю, что это было именно в это время, поскольку помню, что подарил ему только что изданную книгу «Ленин. Государство. Политика» (1970 г.). Инициатива этой встречи исходила от Якова Борисовича Зельдовича, с которым мы находились уже несколько лет в дружеских отношениях и нередко встречались на теннисном корте. Мы бывали друг у друга дома, и однажды Яков Борисович предложил мне навестить Сахарова.

Поводом для этого посещения было то, что Андрей Дмитриевич подготовил в то время брошюру под названием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которая уже была издана где-то за рубежом. Я же незадолго до этого преподнес Якову Борисовичу оттиск своего обширного доклада, сделанного на Социологическом конгрессе в Варне в 1970 году, «Планирование всеобщего мира. Утопия или реальность?». Якову Борисовичу многое понравилось в этом докладе, в частности постановка вопроса о том, что всеобщий мир, синонимом которого является предотвращение термоядерной катастрофы, представляет собой общечеловеческую ценность — ценность номер один, которая стоит выше любых национальных, классовых или иных ценностей любого государства или любого народа. На него произвело также благоприятное впечатление предложение и призыв к сотрудничеству ученых всего мира, в частности мое предложение о создании силами ученых Запада и Востока Проекта плана всеобщего мира, который предусматривал

бы поэтапное разоружение, прекращение гонки термоядерного оружия и переход к тому, что я назвал планируемым миром.

Ниже приводятся некоторые выдержки из этого доклада.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВСЕОБЩЕГО МИРА. УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Ставя вопрос о возможностях планирования мира, мы имеем в виду установление всеобщего мира, который понимается нами как общечеловеческое достояние, как абсолютная ценность в отличие от относительных ценностей, имеющих значение для отдельных государств, наций, социальных групп и неизбежно носящих поэтому более локальный характер. Термоядерный и электронный век поднял проблему сохранения всеобщего мира и недопущения катастрофического конфликта на уровень ценности номер один в любой иерархии международных ценностей, независимо от точки отсчета. Мы рассматриваем всеобщий мир как синоним предотвращения мировой термоядерной войны. Именно предотвращение термоядерной войны объективно выступает как главная цель мировой политики в последней трети XX века, когда наука и техника демонстрируют все свое величие и все свои опасности.

Понятие всеобщего мира как категории, отвечающей интересам всего человечества, приобретает смысл в сравнении с относительными ценностями в политической деятельности, к числу которых относятся национальное величие, государственный престиж, превосходство силы или национальное господство. Мировая политика как самостоятельный феномен — это политика, имеющая глобальную цель — предотвращение термоядерной войны, которая представляет собой общечеловеческое бедствие...

Мы предложили бы разграничивать следующие понятия:

— пассивный всеобщий мир, в котором хотя и содержатся элементы позитивного сотрудничества, однако продолжается гонка вооружений, сохраняется международная напряженность, имеющая тенденцию к сползанию к термоядерному конфликту;

— активный всеобщий мир, означающий крепнущее мирное сосуществование различных систем и государств, ослабление международной напряженности, всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество между ними;

— планируемый всеобщий мир, под которым имеется в виду такое международное состояние, когда осуществляются целенаправленные меры, ведущие не только к ослаблению напряженности, но и к прекращению гонки вооружений, поэтапному разоружению, а в конечном счете — к исключению мировых войн и гарантированному всеобщему миру. Антиподом планируемого мира является реально существующий пассивный и стихийный мир, построенный на равновесии сил и гонке вооружений, векторы которого устремлены к термоядерной войне...

Существуют две основные позиции относительно путей обеспечения всеобщего мира в будущем. Первая предусматривает создание мирового федерального правительства либо всемирных органов, которые выполняли бы функции сохранения всеобщего мира; вторая — дальнейшее развитие системы равновесия сил и

институциализацию этой идеи — либо в системе блоков, либо международно-правовых нормах.

...На самом деле поиск путей ослабления международной напряженности и укрепления всеобщего мира должен исходить из реалистической оценки состояния конфликтующего и дифференцированного мира сейчас и в прогнозируемой перспективе. Реальной альтернативой может явиться План Всеобщего Мира, выработанный учеными и политиками, положенный в основу деятельности по крайней мере ведущих держав и международных организаций. Он мог бы служить отправной точкой для поворота, а в конечном счете — для радикальных изменений в системе международных отношений в интересах сохранения всеобщего мира...

Ученые могут оказать содействие политикам во всесторонней информации относительно перспектив и опасностей гонки вооружений, в объективном изложении позиции потенциальных или подлинных противников, реальными предложениями, направленными на решение политических, экономических и социально-политических проблем на этом пути.

Но планирование всеобщего мира не сводится к решению важнейшей задачи прекращения гонки термоядерного вооружения и отказа от его применения. Оно должно отвечать цели создания активного всеобщего мира, основанного на взаимовыгодном международном сотрудничестве во всех сферах — экономической, научно-технической, культурной.

— Вы знаете,— сказал мне Яков Борисович,— мне кажется, что некоторые из ваших идей очень близки к тому, о чем пишет Андрей Дмитриевич. Меня беспокоит то, что он окружен малокомпетентными консультантами. Но поскольку он занялся проблемами политики, вероятно, ему было бы полезно послушать профессиональное мнение. Я мог бы организовать вашу встречу.

Я в ту пору сам находился в довольно трудном положении — меня не выпускали за границу, многие мои работы не печатались, в том числе и процитированный выше доклад, который был напечатан в ООН, но не пробился в советскую печать. Тем не менее я решил отправиться на эту встречу, хотя и предполагал, что это может лечь дополнительным негативным грузом в мое досье в каких-то организациях. И вот, созвонившись с Андреем Дмитриевичем, я пришел в его небольшой двухэтажный дом, который был расположен поблизости от Института ядерных исследований АН СССР. Андрей Дмитриевич был один, встретил он меня очень радушно, угостил чаем и еще каким-то печеньем, и на протяжении двух с половиной часов мы вели с ним разговор, главным образом, вокруг идей, изложенных в его брошюре, с рукописью которой мне до этого довелось ознакомиться.

Надобно заметить, что тогда Сахаров еще не стал в нашем сознании тем, кем мы привыкли видеть его в после-

дующие десятилетия. Я слышал о Сахарове как о создателе водородной бомбы, трижды Герое Социалистического Труда, крупнейшем физике нашей страны. Что касается его общественной деятельности, его политических идей, то об этом нам было известно очень мало. Тем большее впечатление на меня произвело содержание его брошюры, которую в рукописи мне заранее передал Зельдович. Никогда не приходилось читать что-либо подобное у советских авторов. Это был настоящий манифест либерализма, свободомыслия, совершенно новый, своеобразный взгляд на всю картину современного мира. Я бы сказал, взгляд откуда-то сверху. Когда в одном из московских журналов отказались печатать мой доклад о планируемом мире, рецензент из партийного аппарата сказал, что он представляет собой попытку встать над «схваткой» — тогда было модно такое выражение. Так вот, брошюра Сахарова — это был не просто взгляд человека, действительно стоящего над «схваткой», но взгляд какой-то особой личности, воплощающий некий промысел — то ли истории, то ли духа божьего. Именно в таких тонах был выдержан текст всей брошюры. О нем было невозможно судить с узкопрофессиональной точки зрения — это было бессмысленно. Это был какой-то взгляд, брошенный с космической высоты на весь земной шар, на современное человечество, разъедающие его конфликты, и одновременно какой-то светлый и отнюдь не надрывный призыв опомниться, пока не поздно.

Больше всего меня поразил сам Андрей Дмитриевич. Его странно замедленная речь, будто бы он извлекает звуки и мысли из какого-то чрезвычайно глубокого колодца, его тонкий голос, который невозможно совместить с представлением о создателе самого чудовищного в истории оружия массового уничтожения, его абсолютная убежденность в истинности провозглашаемых идей — все это создавало ощущение, что ты общаешься с неким пророком, провидцем, а не с реальным земным существом. В этом смысле он резко отличался от Зельдовича. Яков Борисович с момента первой встречи тоже чрезвычайно поразил меня. У меня было ощущение, что я общаюсь с блистательно организованной машиной. Я никогда не встречал человека, который более четко и законченно формулировал бы свои мысли, причем очень быстро, будто на все случаи жизни у него были заранее заготовлены или специально выведены научным путем формулы. Шла ли речь о внутренней или внешней политике, человеческих отношениях, о теннисе, о любви — Яков Борисович вы-

стреливал эти формулы, и они ложились, словно булыжники, образуя четко очерченное здание. Меня это удивляло, я видел в этом отблеск гениального ума.

Весь стиль размышлений и суждений Сахарова был противоположен этому. Говорил он как-то запинаясь, как будто бы неуверенно, заглядывая внутрь себя, фразы бывали оборванными, неприглаженными, хотя мысль однозначно четкой. Эта манера вначале обманула меня. Мне казалось, что будет не трудно повлиять на Андрея Дмитриевича, убедить его несколько иначе сформулировать ту или иную идею или хотя бы придать ей иную форму выражения. Но я очень скоро убедился в безнадежности подобных упований. Андрей Дмитриевич был из тех людей, которые, раз уверовав во что-то, стоят на этом до конца. Кроме того, его мало занимали частности, и поэтому он не склонен был принимать и небольшие поправки, ему казалось, что такие поправки сломают стройность всего воздвигнутого им здания новой мысли.

О чем шел разговор? Мы начали с вопроса, которому Андрей Дмитриевич тогда, да и впоследствии, придавал особое значение: о конвергенции двух социальных систем — капитализма и социализма. Андрей Дмитриевич писал о том, что эти две системы сыграли вничью, в особенности в военной области; показали друг другу свою силу, и теперь надо остановить военное состязание, которое стало и опасным и бессмысленным. Сама идея конвергенции в его сознании означала использование лучшего опыта друг друга обеими системами. Он говорил, что две системы сыграли «фифти-фифти» — ему нравилось это американское выражение,— и теперь должны подумать, как обогащать друг друга, вместо того чтобы бороться друг против друга.

Я, признаться, высказал несколько иную точку зрения. Подобно другим, особенно западным либеральным ученым того времени, я был тоже привержен идее конвергенции. Но конвергенцию я понимал не совсем так, как Сахаров. Я исходил из того, что ее смысл для нас состоит в использовании всех лучших достижений современной цивилизации — не только в индустриальном развитии — науки, техники, но и в сфере образования, культуры, демократических ценностей. Поэтому я пользовался понятием «конвергенция цивилизаций», а не «конвергенция систем». Кроме того, у меня были большие сомнения, захочет ли Запад, в свою очередь, действительно на равных пользоваться нашим опытом, то есть проделать нам навстречу

в отношении социального развития такой же путь, который собираемся проделать мы навстречу западной цивилизации.

Мои доводы, однако, не произвели впечатления на Андрея Дмитриевича. Даже соображение о том, что вничью мы сыграли только в военной области, но никак не в уровне индустриального развития, и особенно в качестве жизни, не очень-то принималось им в расчет. Идея конвергенции была очень важна для него как фундамент логической схемы, отражающей новые потребности этого процесса. Эта схема, по его мнению, на своей вершине содержала мысль о мировом правительстве. Андрей Дмитриевич был убежден, что такое правительство неизбежно возникнет не позднее чем к 1984 году. Я, помнится, высказал серьезные сомнения в возможности возникновения мирового правительства не только в этом веке, но и в обозримой перспективе и в будущем веке. Кроме того, я полагал, что мировое правительство в условиях современного, дифференцированного сообщества неизбежно будет носить тоталитарный и даже фашистский характер. Эти мысли я высказал еще до нашей встречи с Андреем Дмитриевичем в своей брошюре «Планирование всеобщего мира. Утопия или реальность?».

Однако и в этом вопросе Сахаров был неумолим. Он твердо придерживался убеждения, что только мировое правительство способно решить проблему предотвращения термоядерной войны, как и другие общечеловеческие проблемы. Он верил, что сама логика истории подведет современное человечество к этому общему знаменателю. Я даже позволил себе пошутить тогда и предложил пари, что ставлю ящик армянского коньяка против бутылки боржоми, если удастся дожить до 1984 года и мы сможем проверить гипотезу о возникновении мирового правительства.

Случилось так, что в 1988 году мы оказались с Андреем Дмитриевичем вместе в Париже и проводили совместную пресс-конференцию в советском посольстве во Франции. Все внимание журналистов конечно же было обращено на Сахарова, хотя я тоже высказывал свое мнение по нескольким вопросам. После окончания пресс-конференции я обратился к Андрею Дмитриевичу и сказал о проигранной им бутылке боржоми. Он не мог вспомнить о нашем шутливом пари, и когда я напомнил ему об этом, он сказал:

— Сама идея для меня безусловна — это вопрос времени. А время не поддается точному прогнозу.

Кто знает, может быть, действительно Андрей Дмитриевич был прав и в этом? Сейчас, когда мы услышали из уст такого серьезного политика, как президент Франции Франсуа Миттеран, о возможности продвижения к такой федерации, которая охватила бы Западную и Восточную Европу, сахаровская идея мирового правительства кажется уже не столь утопичной, хотя, конечно, еще исторически малореальной.

Особое место в нашей беседе с Андреем Дмитриевичем занял вопрос о методах воздействия на советское руководство. Я предлагал Сахарову создать лоббистское движение прежде всего в среде ученых-ядерщиков и ракетчиков, таких, как Зельдович, Харитон, Флеров, Александров и другие. Я говорил о том, что, если бы Андрею Дмитриевичу удалось опереться на такую могучую группу влиятельных ученых, он мог бы напрямую вести диалог с Брежневым и другими советскими руководителями. Сахаров сомневался в такой возможности. Он рассказывал мне о своих попытках воздействовать на Хрущева, в частности о своем предложении полностью прекратить испытания ядерного оружия, которое было отвергнуто им. Он говорил и об обращениях, которые у него были к Брежневу и другим советским руководителям, которые остались без ответа и вызвали только раздражение. Кроме того, Андрей Дмитриевич с горечью сказал о том, что вряд ли удастся объединить какую-то достаточно влиятельную группу ученых, которые разобщены не только в силу научного соперничества, но и из-за различия политических позиций.

Я носился также с идеей создания лоббистского союза ученых на международном уровне, которые оказывали бы давление на свои правительства с целью прекращения гонки вооружений. Андрей Дмитриевич отнесся очень внимательно к этому предложению. Вероятно, он и раньше думал об этом. Так или иначе, вскоре мне стало известно, что он обратился с «Памятной запиской» к Брежневу и к другим руководителям, в которой выдвинул ряд важных новых идей, направленных на ограничение и прекращение гонки вооружений и решение многих других политических проблем.

И все же он не верил в эффективность таких методов — и оказался прав.

— Я пойду своим путем,— сказал Андрей Дмитриевич.— Мне кажется, самое главное — индивидуальные человеческие судьбы. На них именно испытывается любая

теория, любой взгляд, любая позиция. Общие концепции имеют ценность в сфере политики только тогда, когда они действительно влияют на положение и права человека.

Этот простой и ясный взгляд тогда, признаться, поразил меня. Я склонен был думать о реформах больше в категориях изменения структур, политических и социальных институтов и в меньшей степени через конкретную человеческую судьбу. Тогда уже я понял, что жизнь столкнула меня с одним из совершенно исключительных мыслителей, с одним из величайших либералов нашего века. Андрей Дмитриевич не отнесся недоверчиво и к моему предложению создания Союза ученых СССР и США, Востока и Запада, прежде всего физиков-атомщиков, которые готовили бы планы и предложения по укреплению всеобщего мира.

И все же, признаюсь откровенно, одно обстоятельство тогда сильно смущало меня: это как в сознании Андрея Дмитриевича соединялась прежняя деятельность по созданию самого страшного оружия уничтожения людей с его абсолютно самозабвенной преданностью идеалам человечности и добра. Мне было известно, что именно Сахаров был тем ученым, который первым в мире создал водородную бомбу, в сотни раз превосходящую по своей разрушительной силе атомную бомбу. Мне было известно также, что руководитель Манхэттенского ядерного проекта Роберт Юлиус Оппенгеймер сознательно затормозил создание водородной бомбы в Соединенных Штатах, предложенной Эдвардом Теллером. Мне было известно также, что Петр Леонидович Капица отказался принимать участие даже в создании атомной бомбы и долгое время находился под домашним арестом у себя на даче на Николиной Горе. Мне была известна и позиция Нильса Бора, который тоже отказался принять участие в создании атомной бомбы и, напротив, предпринял отчаянные усилия, чтобы предотвратить ее применение и военное состязание в этой области с Советским Союзом. Еще в 1944 году он посетил Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, уговаривая их открыть секрет атомной бомбы Советскому Союзу и в зародыше задушить саму возможность ядерного состязания. Эти деятели отвергли проект Бора, и его позиция осталась эталоном нравственного поведения ученого.

У меня вертелся на языке вопрос о том, как относится в новое время Андрей Дмитриевич к своему участию в создании атомного и водородного оружия. Но я так и не решился спросить его об этом.

Уже после встречи с Андреем Дмитриевичем я обратился с этим к Зельдовичу. Яков Борисович пожал плечами, посмотрел на меня довольно выразительно и сказал:

— Я удивляюсь, как человек, прикосновенный к политике, задает такие наивные вопросы. Создание ядерного оружия — это результат технического прогресса, который никто и нигде не может остановить.

Я не стал продолжать дискуссию, хотя для меня так и остался открытым вопрос о личном выборе, который делает каждый ученый. В конце концов, многие физики предпочли заниматься изучением звезд, а не создавать оружие, подобное тысячам солнц, для уничтожения всего живого на Земле.

Уже незадолго до кончины Андрея Дмитриевича я прочел его ответ на этот вопрос в журнале «Огонек». Я понял, что крупные ученые по обе стороны океана были убеждены в том, что создание атомного оружия между соперничающими странами будет выступать в качестве орудия сдерживания, несмотря на весь его угрожающий характер. Что же, в чем-то они оказались правы, хотя в отношении личного выбора я остался при своем мнении.

Но независимо от моих сомнений встреча с Сахаровым оказала большое влияние на мои последующие выступления. Начавшиеся вскоре преследования Андрея Дмитриевича, травля, в которой участвовали по своей воле или безвольно сотни его коллег, стали одной из самых позорных страниц брежневского режима. Но его несгибаемая позиция служила примером для всех, кто не хотел смириться с крушением хрущевской оттепели.

Сейчас, двадцать лет спустя, когда на глазах нашего поколения разворачивалась вся панорама жизни этого одинокого тираноборца, выступившего не только против неразумности и жестокости власти, но и против холопства и предрассудков, поразивших едва ли не все общество, мы смотрим новыми глазами па эту величественную фигуру. Каковы бы ни были внутренние пути его прозрения, значение его подвига потрясает нас. Сахаров — это не просто личность, это общественный институт, который собирает вокруг себя по крупицам честное, искреннее, что есть в нас. Его преждевременный уход — невосполнимая брешь в общественном движении, ставящем простые нормы нравственности превыше любой политики.

Думаю, что к Андрею Дмитриевичу Сахарову больше всего применима мысль Гете: надо добиваться невозможного, чтобы получить возможное. В этом было отличие его

общественной деятельности от нашей профессиональной работы, основанной чаще на принципе: политика — это искусство возможного. Идеи о конвергенции, о мировом правительстве, о прямом переходе к западной демократии, о морали как единственном критерии политики, отстаиваемые Сахаровым, в конечном счете оказывают все большее воздействие на общественное сознание.

6

В моей же жизни наступили, пожалуй, лучшие годы. Меня не печатали в газетах и на протяжении последующих четырех лет не пускали за границу даже в социалистические страны. Я получил возможность целиком заниматься тем, о чем мечтал еще в молодости. На протяжении трех лет я написал несколько книг, и в том числе «Ленин. Государство. Политика», биографию Мао Цзэдуна, очерки о Франко, Гитлере, книгу о Макиавелли,— одним словом, продолжал дуть в ту же антисталинскую дуду.

Примерно через три года я был приглашен А. М. Румянцевым, который был в ту пору вице-президентом Академии наук СССР, на должность заместителя директора создаваемого им Института конкретных социальных исследований. Мы предприняли попытку создать не только социологию, но и политологию. Я взял временный реванш за свое поражение в «Правде», пригласив на работу почти всех уволенных из этой газеты, предоставив им должности старших научных сотрудников. Начал я, конечно, с Карпинского, затем были приглашены Г. Лисичкин, А. Волков, В. Козлов; из «Известий» мы взяли Б. Орлова, который, будучи корреспондентом газеты в Праге, в период вторжения в 1968 году отказался писать об этом репортажи. Попытался я пригласить и Роя Медведева. Он пришел и принес четыре или пять папок с рукописью о Сталине. Я посмотрел их, но уже через два-три дня мне позвонили сверху и спросили мое мнение о рукописи (откуда они узнали, что она у меня?). Я сказал, что работа целиком основана на оценках XX и XXII съездов. Мне сказали: у нас тоже такое мнение. Однако взять Медведева на работу мне запретили. Я встретился с ним и сказал:

— Рой, вы напоминаете мне красную морковку. Пока она в грядке, она сохраняет свой цвет, но стоит ее выдернуть, тут она и усохнет. Ни в коем случае не уходите

сами из педагогической академии, вам невозможно будет устроиться на другую работу...

«Засоренность кадров» — первое, что было поставлено мне в вину через два с половиной года, когда Институт конкретных социальных исследований подвергся разгрому. Более ста сорока человек были вынуждены оставить институт, и первым, кого уволили по прямому указанию Брежнева, снова был я. Но это уже другая история...

Так развертывалась эпопея, связанная с продолжением хрущевской антисталинской линии в политической среде в брежневское время.

Жизнь впоследствии разбросала участников этих событий. Я после еще одной организованной против меня кампании в Институте государства и права АН СССР за попытку создать политическую науку перешел в Институт общественных наук. Накануне этого перехода мы встретились с бывшим правдистом В. Козловым. Он пересказал мне разговор с одним из руководителей Комитета партконтроля, который заметил: «Вот недавно исключили из партии Карпинского, теперь будем исключать его друга Бурлацкого».

Позднее мне удалось выяснить, что в КПК лежал материал — досье, подготовленное на основе сведений, взятых из наших бесед и застолий у Карпинского. Я имел тогда глупое обыкновение произносить длинные тосты на тему о реформации России и провале хрущевской оттепели.

Случай спас меня. Заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС В. В. Загладин, которому позвонили из КПК, сказал, чтобы меня оставили в покое, что он берет всю ответственность за Бурлацкого на себя. Неизменную поддержку мне, как и другим сторонникам XX съезда, оказывал заместитель заведующего того же отдела А. С. Черняев. О его принципиальности и смелости говорит хотя бы тот факт, что он вышел из состава редколлегии одного из ведущих журналов в знак протеста против публикации догматической статьи с критикой реформ. Но еще долго я всей кожей чувствовал вокруг подозрительность и настороженность, которые пригибали меня, как бремя, к земле. Они исчезли только после смерти Брежнева. В институте я проработал тринадцать лет в ожидании лучших времен.

Все это время меня мучила странная мысль, что Брежнев переживет всех нас. Накануне его кончины я опубликовал в «Новом мире» статью под выразительным

названием «Междуцарствие». Здесь опять же на китайском материале, однако с весьма прозрачными аналогиями проводилась мысль о том, что нас ждет междуцарствие до тех пор, пока не придет подлинный реформатор страны. Я попытался разобрать основы сталинской системы власти и собственности.

Я выбрал слово «междуцарствие», поскольку у меня было острое интуитивное предчувствие, что наша страна, подобно Китаю, вступает в период смутного времени, что не сразу придет настоящий лидер страны, что пройдет время, сменятся фигуры, пока мы обретем политическую стабильность. Меня самого потом удивило то, что произошло: короткое пребывание у кормила власти Андропова и Черненко и, наконец, приход нового руководства. Но главный пафос статьи — оценка сложившейся системы, закамуфлированно названной маоистской, хотя все понимали, что речь идет о сталинской системе, которую скопировали в Китае и других странах. И вывод отсюда: сломать эту систему, осуществить обновление путем глубоких структурных реформ. Вот небольшая выписка из этой статьи:

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

...Мне хотелось бы начать свои размышления о тяжком бремени наследования, которое досталось новым китайским руководителям, не с экономических проблем. Я хотел бы вернуться к традиции, которая была столь ярко выражена в творчестве, скажем, таких мыслителей, как Конфуций в Китае или Геродот и Тацит в античном мире. Они говорили в первую очередь о падении или порче нравов как о самом драматическом последствии длительного господства тиранической власти. Речь идет об общественном сознании, о самом широком распространении в обществе безнравственности, бесчеловечности, неправды и непорядочности. Иными словами — о крушении социально-психологических основ, на которых держится все общественное здание. В Китае эта порча нравов касалась всех сторон общественной жизни — морали и семейных отношений, быта и массовой психологии, законности и форм распределения материальных благ.

Перед нами еще один закон междуцарствия: уходящий диктатор оставляет после себя общество, охваченное внутренней эрозией, которая превращает его в нечто противоположное тем исходным принципам, на которых оно строилось...

Но правда, хотя и робко, как зеленая травка сквозь железобетонную мостовую, все же пробивается в современной жизни Китая. Для многих официальных политических документов и печати характерен критический дух в отношении прошлого, в отношении ошибок, злоупотребления властью и произвола...

Никколо Макиавелли, этому блистательному политическому писателю, который, как никто другой, понимал природу тиранической власти и ее влияние на самого государя, на его приближен-

ных, на весь народ, принадлежит одно из самых глубоких суждений, касающихся наиболее драматического последствия длительного господства тирании. Он писал, что результатом такого господства является развращенное общество. Это общество людей с истерзанными душами, откуда капля за каплей выдавливались понятия чести и достоинства, справедливости и добра. Именно в этом видел он наиболее трудную проблему смутного времени, наступающего после смерти тирана. Такое общество, полагал Макиавелли, нелегко направить к демократии, поскольку нравы в нем предельно испорчены предшествующими годами рабской покорности, угодливости, взаимными доносами, примирением с несправедливостью и нескончаемым произволом.

...Деформированная в результате режима личной власти Мао Цзэдуна китайская экономическая система обнаружила ряд органических пороков. Органических, стало быть, таких пороков, которые пережили своего создателя и теперь уже не связаны с деятельностью отдельных лиц, стоящих у руководства.

Первый самый очевидный порок китайской системы — произвол в экономической политике, полнейший произвол в планировании развития всего хозяйства. Речь идет прежде всего о той вакханалии экономических решений, которая исходила лично от Мао Цзэдуна, полагавшего себя непревзойденным мыслителем во всех сферах, в том числе и в этой. Но непродуманные, нереалистические планы составлялись и помимо него и после него...

Выходит, дело не в лицах, которые стоят во главе партии, государства, управления экономикой, хотя, конечно, это имеет немаловажное значение. Дело в самой системе, которая по своей природе податлива произволу или, во всяком случае, не имеет гарантии в себе самой от экономического произвола. Она не может воспротивиться произволу, а быть может, даже сама порождает произвол. Почему? Да хотя бы потому, что оставляет свою судьбу на усмотрение небольшой группы руководителей. А эти последние — или из-за некомпетентности, или в интересах политической борьбы, или в интересах саморекламы — вертят штурвал экономического развития в любую сторону своей души, как говаривал поэт...

Внутри самой системы нет стимулов для постоянного обновления технологии, для внедрения новой техники, для непрерывного внедрения достижений технического прогресса. Построенная по принципу «приказание — исполнение», эта экономика едва справляется с намечаемыми сверху планами экономического развития. У нее нет ни резервов, ни материальных средств, ни, наконец, побуждений для того, чтобы постоянно совершенствовать технику, добиваться более высокой производительности труда.

Какие новинки науки и техники следует внедрять в практику? И как это делать? План, спускаемый сверху, не предусматривает обновление технологии: такое обновление неизбежно нарушает выполнение текущих задач, так как связано с перестройкой технологии и управления. Единственным средством в этом случае является заглядывание через забор — в другие, более развитые в научно-техническом отношении страны. На протяжении двух десятилетий главные стимулы технического прогресса шли из-за рубежа...

Наконец, еще одна черта маоистской экономической системы — тенденция к самоизоляции. Любая экономика в наше время, если

она хочет быть на современном уровне, не может развиваться без теснейших экономических связей с экономикой других стран, без участия в международном экономическом разделении труда.

...Маоистская экономическая система предпочитает быть закрытой. Она боится непосредственных экономических связей, плохо выдерживает впрыскивание в нее зарубежной передовой технологии и ничего не может предложить взамен другим странам. Поэтому и внешняя торговля для Китая хотя и необходима с точки зрения военного производства и использования новой техники, но чрезвычайно затруднена. В сущности, Китай может предлагать другим странам только сырье, хотя он остро нуждается в нем и страдает от недостатка энергоресурсов *.

Следующим шагом был анализ государственной собственности как базиса авторитарного режима власти. Это было сделано также на китайском материале — единственном доступном тогда объекте изучения проблем социализма. В своих публикациях я пытался обосновать необходимость и неизбежность структурных реформ, формирования плюралистической экономики и плюралистической политической системы. С большим восхищением я отозвался о Дэн Сяопине как первом реформаторе социализма.

Это было накануне прихода к руководству Андропова. Став Генеральным секретарем, он вспомнил обо мне и предложил вернуть меня на работу политическим обозревателем. Значит, искра доброты ко мне, загоревшаяся еще в 60-х годах, не погасла вовсе в его сердце...

И вот однажды рано утром меня попросили в срочном порядке позвонить Зимянину, который продолжал оставаться секретарем ЦК КПСС по идеологии. Я позвонил и услышал, как после двух слов, сказанных его секретарем, Зимянин взял трубку. Обычным своим резким голосом он спросил: «Можете вы сейчас приехать в ЦК?» Я ответил довольно спокойно и раздумчиво: «Что ж, вероятно, могу».— «Приезжайте».

Зимянин встретил меня без пиджака, в какой-то зеленой кофте из искусственного материала, застегнутой на все пуговицы.

— Есть указание,— сказал он и показал пальцем на потолок,— вернуть вас политическим обозревателем. Как вы к этому относитесь?

— Я уже отошел от журналистской работы,— сказал я спокойно.— Ну а куда вы предлагаете мне вернуться? В «Правду»?

— Нет, я очень просил бы вас не настаивать на этом варианте. Если бы вы вернулись в «Правду», это означало

* Новый мир. 1982. № 4. С. 215—221.

бы, что «Правда» извиняется перед вами, а это невозможно, вы сами должны понять. Прошу вас, не надо ставить вопрос о «Правде».

Тогда я сам предложил Зимянину сформировать такую должность (ее прежде не было) в «Литературной газете», дать мне те же права и полномочия, которые были в «Правде». Кроме того, я попросил, чтобы меня оставили по совместительству заведующим кафедрой философии, поскольку не хотел порывать с научной деятельностью. Зимянин мгновенно согласился, и буквально в течение нескольких дней все было решено. Справедливость как будто бы восторжествовала, но для этого понадобилось пятнадцать долгих лет...

Хрущев к этому времени уже скончался, и некому было сообщить ни о том, как я пострадал за свою верность лучшему из того, что было в его политике, и как состоялся мой маленький реванш...

7

Здесь мне хотелось бы сказать несколько заключительных слов об Андропове как о политическом деятеле. Я попытался дать набросок его портрета в начале этой книги, ориентируясь почти исключительно на период совместной работы с ним в аппарате ЦК партии. Это было время хрущевской оттепели, когда люди, подобные Андропову, были повернуты к нам лучшей своей стороной: эпоха не только позволяла, но и стимулировала это. Кроме того, я стремился передать свои чувства той поры, когда я был молод и подвержен увлечениям. Влюбляясь поочередно то в Белякова, то в Кускова, я, конечно, с особым чувством относился к Андропову как к самому яркому деятелю, находившемуся в поле моего зрения. Это было, пожалуй, восхищение человека, полагавшего себя не более чем политическим советником, перед человеком, который уже тогда выглядел как один из лидеров страны.

Главное, что меня привлекало в нем,— это способность принимать решения — быстрые, оперативные, точные.

Но сейчас у меня есть возможность посмотреть по-новому на этого лидера, принимая во внимание всю его последующую деятельность. Конечно, сама она еще должна стать объектом тщательного изучения. У нас пока еще нет никакого доступа к тому периоду — а это более пятнадца-

ти лет,— когда Андропов возглавлял Комитет государственной безопасности Совета Министров СССР. Мы очень мало знакомы с тем, какую роль он сыграл в событиях 1968 года в Чехословакии, в решении о вводе войск в Афганистан и осуществлении там военных и разведывательных акций. Мы почти ничего не знаем о его позиции по отношению к диссидентам, ссылке А. Д. Сахарова, гонениям на А. И. Солженицына и т. д. Но со всеми этими оговорками я позволю себе попытку дать общую характеристику этого человека, которому судьба, хотя и на короткий период, предоставила возможность стать пятым руководителем Советской страны.

Андропов принадлежал к хрущевскому или, можно сказать, к брежневскому поколению советских руководителей. Замечу, что у меня было очень мало личных впечатлений об Андропове после моего драматического ухода из руководимого им отдела в начале 1965 года. Всего несколько личных встреч и беглые разговоры. Больше всего запомнились две встречи. Первая — случайная — в здании ЦК партии в связи с подготовкой какого-то материала. Это было связано с выступлением А. Н. Косыгина на XXV съезде КПСС. Я привлекался несколько раз к выступлениям Алексея Николаевича. И эта встреча была связана, насколько я помню, с замечаниями Андропова в связи с материалом к речи Косыгина. Находился тогда Андропов не в лучшей физической форме, был возбужден, говорил быстро, нервно, что никогда ему не было присуще в былые времена. Большое впечатление на меня произвела одна его фраза, которую он произнес, повернувшись ко мне и совершенно неожиданно:

— А ты знаешь, что я переживаю каждый раз, когда Леонид Ильич проезжает по улицам Москвы?!

Тут я не удержался и вскинул на него удивленные и даже ошарашенные глаза. Он вдруг погрозил мне пальцем и сказал:

— Вот, ты такой, ты никогда не понимал этого чувства ответственности за любое дело, которое тебе поручено.

Признаться, у меня долго потом в ушах звучала эта фраза насчет Брежнева. Я не мог себе представить, что его действительно всерьез волновала проблема охраны этого немощного, старого руководителя. Я до сих пор не могу понять, чем было продиктовано высказывание Андропова и почему он адресовал его мне. Для меня же это было показателем какой-то эволюции, которая произошла с Юрием Владимировичем. Неужели он по-настоящему

вжился в роль человека, которому надлежит оберегать первое лицо в государстве? Или для него стало привычным демонстрировать таким образом свою преданность Брежневу? Так или иначе, это был другой Андропов, хотя и в молодости он отличался большим пиететом к руководству. Я не раз замечал в нем эту черту. Несмотря на то что он терпеливо сносил вольные шутки консультантов по разным поводам, когда дело доходило до замечаний по поводу Хрущева или других руководителей того времени, он довольно резко опускал заслонку, и все мы понимали, что есть барьер, его же не перейдешь. Но чтобы в беседе с глазу на глаз, почти без всякого повода, выплеснуть свое внутреннее беспокойство по поводу Генерального — этого я понять не мог...

Другая встреча была связана с подготовкой статьи для журнала «Коммунист». Юрий Владимирович — тогда уже Генеральный секретарь ЦК КПСС — задумал подготовить свое первое, в какой-то степени программное выступление. Я был одним из тех, кого привлекли к подготовке материала для статьи. Ее основной пафос состоял в необходимости преодолеть отставание в технологии и в уровне жизни народа, навести порядок и укрепить дисциплину в экономике, бороться с коррупцией и безответственностью. В первоначальном варианте статья содержала ряд нетривиальных мыслей, связанных с развитием кооперативного движения в городе и в деревне, внедрением демократических форм руководства государственным предприятием,— одним словом, тяготела к ленинским идеям периода нэпа. Однако статья попала в руки идеологов из журнала «Коммунист», которые придали ей иной характер. Государственная власть, государственный контроль и дисциплина заняли в ней основное место, хотя кое-где сохранились и островки более широкого диалектического взгляда на процессы экономического и социального развития страны.

С какой программой пришел Андропов в качестве лидера партии и государства? И была ли у него какая-то своя, новая программа? Трудно дать ясный ответ на этот вопрос, поскольку из-за тяжелой болезни сам он не успел по-настоящему определить свои цели, замыслы и установки. Больше всего его волновала проблема очищения авгиевых конюшен жизни общества: «теневая экономика», взяточничество и бюрократизм госаппарата, повсеместное нарушение порядка и дисциплины. Но все это не могло заменить программы преобразований. Идеи глубоких структурных реформ уже тогда носились в воздухе, тем

более что Андропов хорошо был знаком с реформаторством в период хрущевской оттепели. Но вряд ли сам он был готов к крутому повороту к новому мышлению.

Что же было особенно характерно для этого деятеля, если принять во внимание отрывочные сведения, которые мы имеем относительно его позиции в критические периоды 60—80-х годов?

Самой сильной чертой Андропова, на мой взгляд, была деловитость, умноженная на острое видение политической стороны любой проблемы. Деловитость — довольно редкое качество среди русских и особенно советских государственных деятелей. Россия, которая не прошла сколько-нибудь значимой школы капиталистического развития, больше взращивала деятелей двух типов: идеологов и военных. Идеологи отличались пристрастием к бесконечным словоизвержениям, пропаганда у них нередко заменяла политику. Большинство членов ленинского Политбюро отличалось в первую очередь именно этим качеством. Не случайно Ленин так высоко ставил организаторский талант, когда он его обнаруживал, например, у Свердлова или у Сталина. Хрущев, как уже отмечалось, отличался невероятной склонностью к идеологическим словопрениям.

Эта черта начисто отсутствовала у Андропова. Он умел при случае произнести четкую, яркую речь, но делал это крайне редко. Он больше всего дорожил практическими решениями и тщательно контролировал, чтобы все делалось так, как было задумано и предписано. Он умело отбирал исполнителей и многократно проверял их на реальных делах. Организаторский талант, вероятно, составлял главную замечательную особенность этого лидера нашей страны.

Что касается способности глубоко проникать в политическую суть любой проблемы, то это было второе свойство его натуры. Он, собственно, иначе и не мыслил, кроме как политическими категориями. Любой вопрос — шла ли речь о колхозе, предприятии, парторганизации, том или ином событии в странах Восточной Европы или на Западе — в его устах приобретал политическую окраску и характеристику. Это значит, что он рассматривал вопрос с точки зрения государственной политики страны, тех последствий, которые может иметь то или иное событие или решение для ее интересов.

Но, окидывая взглядом в целом деятельность Андропова в брежневский период, я невольно вспоминаю о тех слабостях, которые наблюдал у него еще в хрущевский пе-

риод. Он принадлежал к генерации советских руководителей военного времени. Вероятно, этим определялось самое основное в его мироощущении и в особенности его отношении к странам Восточной Европы, Китаю и Западу, к развивающимся странам. Больше всего чувства этого поколения можно было определить так: мы выиграли самую кровавую войну, принесли огромные жертвы на алтарь Победы, поэтому мы обязаны сохранить и приумножить то, что было завоевано тогда. В первую очередь это касалось Восточной Европы. Насколько я понимаю, подобно Хрущеву, а можно сказать, и Сталину, Андропов рассматривал эти страны с точки зрения итогов второй мировой войны. Главное, что мы завоевали такой ценой,— это социалистический лагерь, это страны социалистической ориентации. Это наши союзники, наша опора, это то, что определяет наше место и место социализма вообще в современном мире.

Такой подход уходил корнями еще в ленинскую трактовку мировой революции. Ленин рассматривал Октябрь как первый выстрел пролетариата по бастионам капитализма. И долгое время после Октября он верил, что вот-вот грянет революция в других странах. Только в начале 20-х годов Ленин стал по-новому оценивать ситуацию, и как раз тогда он определил переход от «военного коммунизма» к нэпу внутри страны и политику мирного сосуществования вовне. В сталинской идеологии идеи мировой революции, откусывания кусок за куском стран и народов от капиталистического лагеря смешались с традиционным русским имперским мышлением. Сталин сам в своем сознании не делал различий между государственными интересами Советской России и интересами мирового социализма. Хрущев, отбросив многие сталинские методы в отношениях с социалистическими странами и с Западом, тем не менее сохранил верность основному идеологическому принципу: социалистический лагерь — это наш мир; капиталистический лагерь — это не наш, который когда-то тем не менее станет «нашим».

Андропов, конечно, обладал более разносторонним взглядом на процесс мирового развития, чем Хрущев. Тем не менее, в сущности, он разделял его позицию. Именно это отразилось в подходе Андропова к венгерским событиям в 1956 году, к событиям в Чехословакии в 1968 году и в особенности в вопросе о вводе войск в Афганистан. Идеология противостояния двух лагерей, классовая борьба за влияние между СССР и США, недопустимость

«откатывания назад» с завоеванных позиций в тех или других регионах мира, возможность использования самых разнообразных методов, вплоть до военных, в целях защиты революции за рубежом и наших государственных интересов (обычно это переплеталось между собой) — таковы были лимиты политического мышления Андропова. Он только приблизился к порогу общечеловеческого взгляда на современный мир, но так и остался в границах, обозначенных еще в начале нашей революции.

Подобное мышление легко назвать «имперским» при условии, если такая характеристика будет применена и к странам Запада и прежде всего к США. Это было довольно типичное проявление духа «холодной войны», который так до конца и не был изжит ни в хрущевскую, ни в брежневскую пору, несмотря на Кэмп-Дэвид, потепление после карибского кризиса и итоги Хельсинкского совещания 1975 года. Запад и Восток все еще находились по разные стороны баррикад, и лидеры — там и здесь — все еще жили в плену подобных представлений.

Когда я вспоминаю о совместных поездках с Андроповым в Югославию и Венгрию, то меня охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, я наблюдал огромный интерес Андропова к реформам в Югославии и в особенности в Венгрии. Я помню, как тщательно он записывал все, что нам рассказывали во время венгерской поездки о преобразованиях в экономике, в органах планирования, па предприятиях, о более свободном формировании цен, о подлинных кооперативах в венгерской деревне, о демократических методах партийной работы и т. д. У меня было ощущение, что он считает этот опыт чрезвычайно важным и полезным для нас. И когда он пришел к руководству страной, у меня было впечатление, что он будет осуществлять реформы, сходные с венгерским опытом. Но с другой стороны, я наблюдал, что при всех обстоятельствах главным для него оставалась верность восточноевропейских стран их обязательствам в рамках Варшавского Договора. Этот критерий превалировал в подходе Андропова к вопросу об отношениях со странами социализма. На первое место при всех обстоятельствах ставились их союзнические обязательства, а внутренние преобразования рассматривались в связи с этим в какой-то степени как производное от этих обязательств.

Особенно трудно укладываются в мои представления об Андропове общеизвестные сейчас факты его непосредственного участия в принятии решения о вводе войск

в Афганистан. Одинаково странно выглядели для меня два обстоятельства: и принципиально ошибочный подход к самой возможности использования советских войск за рубежом без всякого серьезного основания с точки зрения интересов обороны страны; и совершенно нереалистическая оценка ситуации в Афганистане. Могу представить, что Андропову было трудно оспаривать позицию Брежнева, который к тому же, вероятно, получил поддержку у А. Громыко и Д. Устинова в отношении ввода войск в Афганистан. Но как мог Андропов с его огромным политическим опытом, в том числе печальным опытом участия в событиях в Венгрии в 1956 году, с его широкой информированностью о сложнейших проблемах национальных революций в развивающихся странах — как мог он так ошибочно оценить обстановку в самом Афганистане?! Приходится предположить, что это было одним из показателей той глубокой эрозии, которая произошла во взглядах и психологии этого незаурядного деятеля в условиях длительного господства брежневского режима.

Итак, Андропов не поддался на разлагающее влияние коррупции, которая охватывала едва ли не все этажи политического здания в эпоху Брежнева. Напротив,— и об этом стало известно после его прихода к руководству страной — он накапливал информацию и досье обо всех злоупотреблениях партийного и государственного аппарата. Он не гонялся за личными наградами, хотя и вопреки своим настроениям в более зрелые годы получил звания Героя Социалистического Труда и генерала армии. Однако, находясь в плену идей «превентивных», «предупредительных» действий для предотвращения социальных, политических и национальных конфликтов, он, несомненно, участвовал в осуществлении политических репрессий против инакомыслящих, высылке из страны многих выдающихся деятелей нашей культуры. Правда, даже в конце своей режиссерской деятельности в Театре на Таганке Ю. П. Любимов апеллировал к Андропову как к последней инстанции, способной объективно и доброжелательно отнестись к его работам. Об этом мне рассказывал сам Юрий Петрович. Не знаю, впрочем, всегда ли это давало желаемый результат. Скорее всего — нет.

Но что касается внешней политики, особенно отношений с восточноевропейскими странами и развивающимся регионом, то здесь Андропов эволюционировал в худшую сторону в брежневское время. Это можно понять только, если вспомнить о югославском и венгерском «синдроме» Андропова.

Меня часто спрашивали, стал ли бы Андропов, если бы ему довелось прожить дольше, реформатором и провозвестником нового мышления? Трудно ответить на этот вопрос. Но одно очевидно: всей своей биографией, складом ума, системой ценностей он мало был подготовлен для этой роли...

Вскоре Андропов умер, пришел К. У. Черненко. А затем на апрельском Пленуме 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев. Началась новая эпоха. Мы были счастливы, что дожили до этого, и сразу же включились в работу, пытаясь перебросить мостик от хрущевской оттепели к новой и вдохновляющей перспективе структурных экономических и политических реформ.

Интересно отметить, что четыре члена нашей консультантской группы были избраны народными депутатами — Шахназаров, Богомолов, Арбатов и я, а трое стали руководителями подкомитетов в Верховном Совете СССР. Г. Герасимов стал заведующим отделом печати МИД и обрел известность во всем мире.

Было ли это случайностью или воздаянием за испытания в годы брежневщины? Трудно сказать. Но так или иначе, справедливость восторжествовала, и, что бывает особенно редко, это произошло еще при жизни. Арбатов как-то сказал поэту Борису Слуцкому (возможно, с горечью): «Федор никогда не вернется в большую политику». Тогда он не верил в новое время, поглощенный стремлением внести здравый смысл в речи и действия руководства страны. Он оказался не прав.

Видимо, все-таки есть какая-то логика в политическом процессе. Каждая политика призывает к себе подходящих людей для своего осуществления. Не случайно, что меня призвали таким молодым, наивным и неопытным, но полным антисталинской страсти в период Хрущева, не случайно меня оттерли, давили и «ставили на место» в период Брежнева, не случайно меня вернули в период перестройки. Всякому овощу свое время. Время — это то, что работает на нас или против нас. Нужно терпение и вера, что твое время еще не ушло.

Время Брежнева было трудным испытанием для нашей, как и других групп советников. Дело не только в том, что уж очень велик был соблазн приобщиться к коррумпированной насквозь системе государственного воровства и расточительства. Сложнее было найти свое место людям, которые не могли не хотеть участвовать в активной

политической жизни. Кто был прав — я, который бросил вызов, или те, кто продолжал служить новым богам в надежде амортизировать их негативное влияние на общество, внести элемент культуры и прогрессивных идей в политику? Затрудняюсь ответить.

Раньше, в пору задавленности, я с растущим раздражением наблюдал за стремительной карьерой многих советников, которые становились академиками, членами высших партийных и государственных органов, идя на неизбежные компромиссы. Теперь у меня не поднимается рука, чтобы бросать в них камни. Политика — это особый, отнюдь не деликатный и нравственный род игры. И политический человек часто стоит перед трудным выбором: уйти в сторону или делать максимум возможного при сложных обстоятельствах, не ставя на карту всю свою биографию. Поэтому скажем словами Христа: не судите и не судимы будете. Пусть каждый сам выбирает собственный путь. Время позаботиться о том, чтобы все расставить по своим местам.

Вообще говоря, роль советника во все эпохи формировала особый тип политического человека — человека, который должен как бы вписаться в образ другого лица и одновременно оставаться самим собой. Советник обременен почти тем же чувством, что и руководитель, он мыслит категориями государственных, общенародных интересов. Но не он принимает решения, не на нем лежит бремя ответственности и риска за результат. Эта «встроенность» и вместе с тем отстраненность воспитывает тип личности, имеющей сходные черты при любых режимах. Исполнительность и критичность, соучастие и анонимность, раскованность и стремление «попасть в струю», вечное недовольство патроном и желание потакать ему — чем выше талант, чем острее чувство достоинства, тем сложнее выступать в этой роли. И только тогда, когда советник искренне верит государю, вождю, руководителю, он действительно выступает в своей истинной роли, становится незаменимой спицей в державном колесе.

Меня упрекали в новое время, что я мало пишу о Сталине и сталинизме. Действительно, все, что я хотел сказать об этом, я сказал в куда более трудное время. Теперь всем нам надо искать ответа на другой вопрос: что делать, в каком направлении и как менять систему, сложившуюся при Сталине. Я попытался внести свою лепту в решение этой задачи в книге «Новое мышление: Диалоги и суждения о технологической революции и наших реформах»,

пьесе о карибском кризисе («Время решения»), спектаклях о перестройке («Два взгляда из одного кабинета», «Год спустя» и др.) и т. д. Наступила пора реализации всего, что было накоплено за двадцать лет. Давно ожидаемая, хотя и чрезвычайно трудная пора!

Время, о чем так глубоко писал Шекспир, сильнее любого человека, оно поворачивает наш характер то в одну, то в другую сторону, высвечивая в нем лучшие и худшие черты. Время гласности вернуло всех нас к нашей молодости, к энтузиазму хрущевской оттепели.

И еще два слова о политическом советнике как типе личности и деятеле. Некогда к этой довольно редкой, но вечной профессии принадлежали люди значительные и даже великие. Аристотель, Сенека, Макиавелли, а у нас в России — князь Голицын, Сперанский, Столыпин, несостоявшийся реформатор России при Николае II. Все это представители одного племени — советников при политических руководителях. Менялись эпохи, политические режимы и нравы, а тип советника не то чтобы оставался неизменным, но сохранял какие-то родовые черты. В одно и то же время — это Шуйский при Борисе Годунове и инок, который в келье на Бориса «донос ужасный пишет». И не случайно, когда Шуйский захотел стать государем, он был отвергнут и растоптан: не в свои сани не садись!

Я попытался схватить этот тип личности в пьесе о Макиавелли «Советник государя». Не знаю, удалось ли мне это, но в ней есть сцена, которой я дорожу. Встреча в тюрьме — воображаемая — Макиавелли с государем. Там — главное о двух таких несхожих биологических структурах. Советнику не дано стать государем, как государю не дано быть советником. В чем же здесь дело? Для одного главное — завоевать и сохранить личную власть, а как ею распорядиться, это уже другое дело; преобразование, реформы или застой — все это производные. Для другого главное — служение идее, хотя, конечно, и он не лишен личных амбиций. Один способен принимать решения, и — по обстоятельствам — самые жестокие. Другой не хочет, не может марать рук. Даже давая жестокие советы, он не в состоянии их выполнять. Казни, убийство, вероломство, нарушение обещаний, предательство друзей — словом, все, что сопутствует политике,— ему, советнику, неприятно. Он сохраняет достоинство и честь или пытается их сохранить, служа не только доброму, но и жестокому и несправедливому государю. А в чем он ищет оправдания? В служении державе, народу, какой-то

великой цели, которая возвышается над головой любого государя. Для Макиавелли, например, этой целью было единение Италии, как для Сперанского — эволюция России в направлении Запада.

В отдалении высвечивается фигура сидящего на троне государя. Начинается сцена из сна Никколо.

Никколо (воодушевляясь). Послушай, государь! Ты мог бы, опираясь на знание мое, мой опыт, достичь великих целей — единения Италии. (Страстно.) О печаль моя и боль моя, Италия, томящаяся под игом варваров и мелких тиранов! Ты способна принять самые широкие реформы! Слушай, государь, если ты возложишь на свои плечи это бремя, тебе удивится весь мир!

Государь (с сарказмом). Да... удивится... (Резко.) А ты измерил препятствия? Сопоставил силу врагов с нашими силами? Ты подсчитал на точных счетах, сколько солдат выставят против нас французы и испанцы? А могущество мелких тиранов? А сопротивление знати? А равнодушие народа? Ты все это взвесил? Мечтатель?

Никколо (трезвея). Но великая цель...

Государь. У власти нет иной цели, как укреплять себя!

Никколо. Единение Италии...

Государь. Что значит — единение? Кому оно пойдет на пользу, чьей власти — моей, его, твоей — вот в чем вопрос!

Никколо (все более возбуждаясь). Нашей Италии, нашему великому народу!..

Государь. Народ? Кто таков народ? Серая масса, стадо, воск в моих руках, чистый лист бумаги! Ничтожество, достойное презренья! Вот твой народ!

Никколо. Но истина управления...

Государь (так же резко). Истина! Подглядел! За одно это тебя мало четвертовать. Ты выбалтываешь секреты власти, говорун несчастный, да еще похваляешься этим перед нами! Мы, государственные люди, знали это во все века. Но у нас хватало ума хранить это как самую интимную тайну нашу. Ты, жалкий червь, хотел судить о нас, поправ святое правило о суде равных. Лишь мы, цари, князья и государи, вправе судить друг друга при жизни и после смерти!

Никколо. Но, государь, ты сам есть часть народа своего!

Государь. Нет! Никогда! Я господин! А ты — ты раб, раб, восставший в лоне духа! И тем опасен вдвойне!

Никколо (снова униженно). Но, государь!.. Я не посягал ни на чью власть. Я хотел...

Государь. Обмануть хотел?! Бога живого хотел обмануть?! Не выйдет — бога!!

Никколо. Я хотел лишь быть советником, добросовестным и честным...

Государь. Советником? Ты хочешь наставлять меня? Да что ты знаешь? Что стоят твои знания перед лицом умения? Что стоит слово перед лицом дела? Нет, ты хочешь разделить со мною власть, которую я обрел ценой борьбы, преодолений страха, нравственных мук. Ты хочешь прийти на готовое, как муха на мед, собранный трудолюбивой и самоотверженной пчелой. Ты хитрая муха! Хитрая, но простоватая. Тебя также легко запутать в паутине и выпотрошить. Да, ты прав — государи подобны льву, и тигру,

и лисе, пчеле и пауку! Ну а ты, умник, ты худший среди нас, ты, как шакал, питаешься огрызками, оставленными более смелыми и жестокими животными. И ты еще хочешь быть выше нас! Прощай, простак! Теперь исповедуйся перед казнью.

(Образ государя постепенно исчезает.)

Никколо. Нет! Постой! Постой! Я тебе скажу два слова правды о тебе! Да, я простак! Мечтатель! Кого хотел я одарить величьем! Кого?! Кого?! Все прахом! Все рухнуло! Все надежды! Вся жизнь!! (Падает на пол, катается по полу. Садится. Потом встает.)

...Исповедь... Они требуют исповеди. Одни именем кесаря, другие — именем бога. Но что я знаю о себе самом? Я так часто менял маски, что не ведаю, которая осталась на моем лице. Маска служенья, маска исполнительности, маска мудреца, маска дружеского участия, маска льстеца, маска кутилы — маски, маски, маски... Как же мне сейчас под всем этим ворохом найти самого себя? Если я политик, то почему не рвался к власти, не шагал по трупам, как Борджа? Если я праведник, подвижник, то почему не кончил жизнь на костре, как тот монах несчастный? (Пауза.)

Кто я? Зачем я? С той поры как я себя помню, я более всего желал насытить утробу живущего во мне червя познанья. Бывая с другом, с правителем, с поэтом, с ученым, я жадно впитывал в себя все впечатленья и ими кормил червя. Я жил раздвоенный — для тела и для того, что не есть тело,— для души, что есть познанье и развитие.

Червь сыт. А что же я? Что дальше? Дальше — творить! Творить! Строить башню из песка и глины, подобно муравью, и в этом быть подобным богу, ибо бог есть созиданье, работа на развитие вселенной!

Тогда, выходит, я всю жизнь бежал от своего призванья? От муравьиной своей работы на бога и вселенную? Так ли это? Кто скажет мне? Как бы мне хотелось однажды лицом к лицу увидеть свою душу! (Пауза.) Где ты, душа моя?!..

И вот я сам — скромный представитель этого племени — больше двадцати лет выступал в той же роли. Я работал для Куусинена, Хрущева, Андропова, Косыгина, даже для Суслова и многих других руководителей, стараясь, где можно, протолкнуть новые идеи или хотя бы намек на них, то, во что я верил и чему так страстно старался послужить. Конечно, у меня есть книги и статьи, однако моей главной жизнью было не это. Служение стране, народу, государству. Я не стал академиком, опубликовав добрый десяток книг, я не стал писателем, поскольку не это было моей целью. Я не рассматриваю это как достоинство, напротив, сейчас нередко вижу в этом некий признак наивности и инфантилизма. Тем более что это не моё личное качество: служил мой отец, служила моя мать, служил и я, грешный.

Кому служил, я уже сказал. А теперь — чем служил, какие идеи нес?

На этот вопрос я пытался ответить в заключительном диалоге автора и героя в книге «Загадка и урок Никколо Макиавелли». Герой называет цель своей жизни: реформаторство. Эта книга была написана в начале 70-х годов, когда это слово еще не звучало со всех амвонов. Реформаторство сопутствовало истории человечества во все времена. Это очень достойное дело, но для одного человека совершенно непосильное, особенно если у него нет такой маленькой вещи, о которой мечтал Архимед,— рычага, с помощью которого можно перевернуть мир. Этот рычаг — власть прогрессивного государя, независимо от того, кто выступает в этой роли: народ через парламент, либеральный монарх или Генеральный секретарь.

Автор. Ваше подлинное имя?

Никколо. Флорентийский секретарь.

Автор. Ваше родовое имя?

Никколо. Оно вам известно.

Автор. Простите мою назойливость, но в русской транскрипции оно изображалось по-разному: раньше Махиавель, затем Махиавелли, а сейчас Макиавелли и Макьявелли. Какое же верно?

Никколо. Переведите просто — вредный гвоздь, и дело с концом. Впрочем, имя флорентийского секретаря мне ближе родового. Я заслужил его сам.

Автор. Национальность?

Никколо. Флорентиец из Италии; итальянец из Флоренции — по вашему вкусу.

Автор. Социальное положение?

Никколо. Разночинец.

Автор. Что-о?

Никколо. По-русски это звучало бы именно так. Из обедневших аристократов. Положение самое двусмысленное.

Автор. Образование?

Никколо. Незаконченное. Но, пожалуй, все-таки высшее.

Автор. Семья? Родственники?

Никколо. Семья — Мариетта и дети. Родственников то бишь родных себе душ не имел.

Автор. Профессия?

Никколо. Чиновник. Дипломат. Публицист. Историк. Литератор.

Автор. Простите, уточняю — призвание?

Никколо. Реформатор.

Автор. Реформатор чего?

Никколо. Учреждений и нравов. Я желал изменить свое Время и ускорить его бег.

Автор. Что же, вы преуспели в своем реформаторстве?

Никколо. Мы пробудились сами и возродили Время.

Автор. Вы изведали счастье?

Никколо. Единожды, когда закончил «Государя».

Автор. А «Рассуждения»? «Военное искусство»? «Мандрагора», наконец?

Никколо. То были минуты и величия и горечи. Судьба «Государя» отравила все. После, ища суда зрителей, я ожидал лишь ударов бича.

Автор. Но в чем причина?

Никколо. Причина в том, что нет предприятия более трудного для исполнения, более ненадежного относительно успеха и требующего больших предосторожностей при его введении, чем введение новых учреждений. Нововводитель при этом встречает врагов во всех тех, кому жилось хорошо при прежних порядках, и приобретает только весьма робких сторонников в тех, чье положение должно при этих нововведениях улучшиться.

Автор. Отчего же?

Никколо. По завистливости человеческой природы открытие новых систем и истин было всегда так же опасно, как открытия новых вод и земель, потому что люди более склонны порицать, чем хвалить чужие поступки. Однако, побуждаемый тем естественным влечением, которое я всегда чувствовал, делать все, что я считаю способствующим общему благу, не обращая внимания ни на какие посторонние соображения, я решился пойти по пути, не посещавшемуся до меня никем.

Автор. И вам дано было открыть новые истины?

Никколо. Если скудость ума, недостаток опытности в современных делах, слабое познание прошедшего делают мои сочинения ошибочными и малополезными, то, по крайней мере, я прокладываю путь тому, кто с большими достоинствами, большим красноречием и проницательностью сумеет выполнить его удовлетворительнее: поэтому если я не заслуживаю похвалы, то не должен быть и подвергаем порицанию.

Автор. Вас оценили в ваше время?

Никколо. О! Открыватель истин и преобразователь должен быть честным. А человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, неизбежно должен погибнуть в среде громадного бесчестного большинства; люди обыкновенно предпочитают средний путь, который и есть самый пагубный, ибо они не умеют быть ни вполне честными, ни вполне гнусными.

Модель отношений между государем и советником, увы, приложима и к современной эпохе. Сталин, с одной стороны, и Бухарин — с другой. О Бухарине говаривали во времена Ленина: у него есть все, чтобы стать лидером, кроме одной малости — характера. Хрущев был прирожденный лидер, но он никогда не смог бы стать советником. Будем утешаться этим...

Наше поколение советников 60-х годов в лице лучших представителей проделало небесполезную работу по сокрушению стереотипов авторитарной власти. Не только сталинизма, нет — всей идеологии подавления человека громадной государственной машиной. Иногда, когда мне особенно тоскливо на душе, я утешаюсь тем, что участвовал в разрушении таких бетонных основ старого режима, как культ вождя, авторитарная власть, холопство народной массы. И особенно — в утверждении элементарных общечеловеческих ценностей современной цивилизации — свободы, достоинства, личности, демократии, открытого

общества, политической культуры. Ничего нового, никакого открытия в этом нет, лучшие цивилизации везде основаны на таких ценностях. Но как нелегко было выдавливать из себя рабскую покорность стереотипам и как невероятно трудно было нести новое сознание и руководителям, и общественному мнению.

Скромные и незаметные разрушители и строители, мы работали, однако, на самом трудном объекте, твердом, как скала, и грязном, как угольные копи,— в забое политики. И даже если мы сделали немного, придут новые поколения реформаторов, которые сделают больше. И пусть они помнят о предшественниках. Это поможет им не повторять пройденного, а идти дальше и проникать глубже. Сейчас, пожалуй, нет страны в мире, которая в большей мере нуждалась бы в реформации и реформаторах. И в большей мере заслужила это своими неисчислимыми страданиями.

Сейчас, когда я вступаю в последний период своего существования, с меня все больше опадают, как осенние листья, жалкие догмы той идеологии, в которой я прожил жизнь. Мне все ближе ценности христианской морали и либерализма великих просветителей человечества. Перелистывая недавно «Нравственные письма» Сенеки, наткнулся на высказывание: я хотел бы жить свободным среди свободных людей.

Меня поразило, что два тысячелетия назад люди испытывали ту же жажду и ту же тоску, которую чувствуем и мы сейчас. Можно попробовать обрести личную свободу, примкнув к элите — к богатым, благополучным, преуспевающим. Можно отправиться в поисках большей свободы в дальние пределы. Но достойная цель — обретение личной свободы в своей стране в среде свободных людей.

Я никогда не верил, что Россия обречена самой историей на несвободу. Не верил утверждениям Руссо, что в России никогда не будет демократии. Мне больше импонирует мысль Н. Бердяева: «Добыть себе относительную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух жаждет абсолютной Божественной свободы».

Принеся неслыханные жертвы своей мечте о невиданном рае на земле, мы сильно опоздали на стремительно летящий поезд мировой цивилизации. Но вся наша великая культура от Толстого и Достоевского до Кандинского и Прокофьева — свидетельство затаенной силы нашего

духа. Мы слишком долго приносили свободу в жертву дурно понимаемому равенству. Настало время раскрепощения и обретения свободы. Каждым писателем, каждым ученым, рабочим, землепашцем, каждой семьей, каждым коллективом, каждой нацией, всей страной.

Великим символом либерализма стала деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова. Я счастлив, что успел сказать ему об этом публично за несколько часов до его безвременной кончины. Либерализм в моем понимании связан с возвращением к социал-демократическим истокам в их современном истолковании. Личные права, национальный суверенитет, гарантии обездоленным слоям, открытое общество, сбросившее с себя вериги несвободы, изоляции, исключительности, общество, возвращающееся в мировую цивилизацию. Мою позицию лучше всего выражает принцип плюрализма — многопартийности в политике, смешанной собственности в экономике, свободного состязания различных направлений в культуре.

В отличие от прошлого сейчас мы стоим обеими ногами на почве реформаторства, радикальных общественных перемен, уходящих в толщу народной жизни и общественного сознания.

Пятилетний опыт перестройки, начатой М. С. Горбачевым, показал, насколько трудное дело — демократизация в недемократическом обществе. Гласность уже пробила изрядную брешь в области духовной свободы. Перестройка, если иметь в виду ее важнейшую цель, призвана гарантировать экономическую и социальную свободу каждому человеку. Сейчас часто спорят о том, какой строй у нас построен и какой строй надо строить. Думаю, что нет более унылого занятия, чем искать ответ на подобные вопросы, перечитывая снова и снова те или иные, даже самые авторитетные книги, статьи и речи. Да и не надо ничего «строить» сверху по каким-то наспех заготовленным новым схемам. Надо только снять все препоны для инициативы снизу. Не мешать людям заботиться о себе — тогда будет богатеть и каждая семья, и каждый коллектив, и все общество.

Остроумно замечено: мы живем, как работаем. Но не менее справедливо и другое: мы работаем, как живем. Главный ответ на острые вопросы нашего бытия следует спрашивать не у прежде живших, а у ныне живущих поколений. Главная мера завоеваний перестройки — это новые условия для раскованной деятельности человека, полное вознаграждение за его труд без всяких произвольных

изъятий. Иными словами, это благосостояние и культура людей, это цивилизованная жизнь.

Сейчас модно говорить и писать о кризисе — национальном, социальном, политическом, культурном. Слово «кризис» стало такой же разменной монетой, как некогда слова о «превосходстве» нашей системы. Но кризис необязательно предвестник катастрофы. В большинстве случаев это предвестник назревших преобразований. Так было в период нэпа у нас, так было в период нового курса в Соединенных Штатах. Важно искать ответы на вопросы — куда идти, что делать.

Эпилог

Древние говорили: «Судьба человека — это нрав его». Никита Хрущев стал жертвой собственного нрава, а не только жертвой среды. Торопливость, скоропалительность, эмоциональность были непреодолимыми его чертами.

Мне рассказывал один из помощников Хрущева об удивительном высказывании Уинстона Черчилля. Это было во время визита Хрущева и Булганина в Англию в 1956 году. Вот что сказал старый британский лев: «Господин Хрущев, вы затеваете большие реформы. И это хорошо! Хотел бы только посоветовать вам не слишком торопиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыжка. Можно упасть в нее».

Я рискнул бы добавить от себя: пропасть нельзя преодолеть и тогда, когда не ведаешь, на какой берег собираешься прыгнуть.

Человек идет дальше всего, когда не знает, куда идет, говорили древние. Но шаг его при этом извилист и неровен — он то резко вырывается вперед, то сильно откатывается обратно. Так выглядели многие экономические и социальные реформы Хрущева.

Время не рассеяло бесчисленные мифы вокруг его имени у нас и за рубежом. Разделив судьбу других реформаторов, Хрущев не снискал объективного признания в массовом сознании. Народ, который когда-то возвышал Ивана Грозного и осуждал Бориса Годунова, не мог принять после Сталина общественного деятеля, лишенного мистической магии, земного и грешного, подверженного ошибкам и заблуждениям. Шолохову еще в период оттепели приписывали фразу о Сталине: «Конечно, был культ, но была и личность». То был скрытый упрек Хрущеву как куда менее значительной фигуре. Упрек человеку, кото-

рый будто бы, подобно шекспировскому Клавдию, стащил корону, валявшуюся под ногами.

А тем временем в странах Запада Никиту Хрущева ставили на одну ступеньку с Джоном Кеннеди и папой Иоанном XXIII и видели истоки ухудшения международного климата в конце 60-х годов в том, что эти лидеры по разным причинам сошли с политической арены. Появилось множество книг, посвященных анализу «хрущевизма» как нового течения в социализме.

Можно было бы сказать — нет пророков в своем отечестве, но это было бы неточно. Вопрос глубже и сложнее. Пожалуй, ближе других к оценке Хрущева подошел Эрнст Неизвестный, с которым Хрущев вел свою «кавалерийскую» полемику в Манеже. Созданный скульптором памятник на могиле Хрущева — бронзовая голова на фоне белого и черного мрамора досок — удачно символизировал противоречивость оттепели и ее главного героя.

Сейчас, четверть века спустя, сравнивая период до и после октября 1964 года, мы лучше видим силу и слабость Хрущева. Главная его заслуга состояла в том, что он сокрушил культ личности Сталина. Это оказалось необратимым, несмотря на все трусливые попытки водворить пьедестал на прежнее место. Не вышло. Значит, вспашка была достаточно глубокой. Значит, пахарь трудился не зря. Мужественное решение о реабилитации многих коммунистов и беспартийных, подвергшихся репрессиям и казням в период культа личности, восстанавливало справедливость, истину и честь в жизни государства. Мощный, хотя и не во всех отношениях эффективный и умелый удар был нанесен по сверхцентрализму, бюрократизму и чиновному чванству.

Во времена Хрущева положено начало перелому в развитии сельского хозяйства: повышены закупочные цены, резко уменьшено бремя налогов, стали применяться новые технологии. Освоение целины при всех недостатках сыграло свою роль в обеспечении населения продовольствием. Хрущев пытался повернуть деревню к зарубежному опыту, первой сельскохозяйственной революции. И даже его увлечение кукурузой было продиктовано благими намерениями, хотя и сопровождалось наивными крайностями. Худую роль сыграла также гигантомания в деревне, сокращение приусадебных хозяйств.

С именем Хрущева связаны крупнейшие достижения в области науки и техники, позволившие создать фундамент для достижения стратегического паритета. До сих пор

у всех перед глазами стоит встреча Юрия Гагарина с Хрущевым, ознаменовавшая прорыв нашей страны в космос. Мирное сосуществование, провозглашенное еще на XX съезде КПСС, становилось более прочной платформой для соглашений, деловых компромиссов с Западом, особенно после потрясения в период карибского кризиса. К эпохе оттепели восходят истоки Заключительного акта в Хельсинки, который закрепил итоги второй мировой войны и декларировал новые международные отношения, экономическое сотрудничество, обмен информацией, идеями, людьми.

В ту пору страна приступила к решению многих социальных проблем. Жизненный уровень населения в городе и деревне стал постепенно расти. Однако намеченные экономические и социальные реформы захлебнулись. Серьезный удар по надеждам реформаторов нанесли трагические события в Венгрии в 1956 году. Но не последнюю роль сыграла и самоуверенность Никиты Сергеевича, его беспечность в вопросах теории и политической стратегии. «Хрущевизм» как концепция обновления социализма не состоялся. Если воспользоваться образом, который так любил главный оппонент Первого Мао Цзэдун, Хрущев ходил на двух ногах: одна смело шагала в новую эпоху, а другая безвылазно застряла в тине прошлого.

Отвечая на вопрос, почему в 60-х годах реформы потерпели поражение, можно было бы сказать и так: консервативные силы смогли взять верх над реформаторами потому, что аппарат управления, да и все общество были еще не готовы к радикальным переменам. Но это слишком общий ответ. Нужно попытаться выяснить, чем воспользовались консерваторы.

Одна из ошибок состояла, на мой взгляд, в том, что поиск концепции реформ и путей их осуществления был основан на традиционных административных и даже бюрократических методах. Хрущев обычно давал поручения о «проработке» тех или иных проблем — экономических, культурных, политических — министерствам, ведомствам, то есть тому самому аппарату управления, который должен был ограничить свою власть. Аппарат же всегда находил способ прямыми, косвенными, двусмысленными решениями уберечь себя от контроля.

Более или менее удачные реформы как в социалистических странах, так и в капиталистических обычно намечались группой специалистов, главным образом ученых и общественных деятелей, которые работали под руководст-

вом лидера страны. Так было, скажем, в Венгрии, Югославии, Китае. В Японии я встречался с профессором Охита, который считается автором японского «чуда». В ФРГ план реформ был составлен в свое время профессором Эрхардом, который впоследствии стал канцлером страны.

Второе — «народ безмолвствовал». Теперь, опираясь на опыт гласности, мы особенно ясно видим, как мало было сделано, чтобы проинформировать людей о прошлом, о реальных проблемах, о намечаемых решениях, не говоря уж о том, чтобы включать самые широкие общественные слои в борьбу за реформы. Сколько раз слышал в эту пору: «А чем Хрущев лучше Сталина? При Сталине хоть порядок был, бюрократов сажали и цены снижались». Не случайно в момент октябрьского Пленума ЦК КПСС в 1964 году едва ли не большинство во всем обществе вздохнуло с облегчением и с надеждой ожидало благоприятных перемен.

И последний урок. Он касается самого Хрущева. Этот человек, острого природного политического ума, смелый и деятельный, не устоял перед соблазном воспевания собственной личности. «Наш Никита Сергеевич!» Не с этого ли началось грехопадение признанного борца с культом? Прилипалы топили его в море лести и восхвалений, получая за это высокие посты, высшие награды, премии, звания. И не случайно — чем хуже шли дела в стране, тем громче и восторженнее звучал хор прилипал и льстецов об успехах «славного десятилетия».

Хрущев, к сожалению, так и не сумел полностью выбросить из головы фанатизм цели, для которой годятся любые средства. Сталинское поколение верило в близкое торжество коммунизма в нашей стране и еще в полутора десятках окрестных стран. Поэтому гибель каких-то десяти — двадцати миллионов необходима и оправданна. Хрущевское поколение еще донашивало веру в скорое пришествие коммунизма, который мнился как всеобщее благополучие и мир. Поэтому поношение какой-то группы «ничтожных интеллигентиков» — не более чем уборка мусора на великом пути. Брежневское поколение оправдывало подавление инакомыслия, привилегии и коррупцию могуществом супергосударства, вооруженного термоядом, которое может вмешаться в любое событие в мире... Каждый новый руководитель как бы заново испытывал род опьянения величием задач, возложенных на него историей.

Теперь, кажется, становится ясно: перестройка — это не дальносрочные обещания, а реальные изменения сегодня и сейчас. Нельзя оправдывать свою неспособность решать проблемы — продовольственную, товарную, жилищную, образовательную — масштабностью грядущих преобразований. То, что происходит, и есть перестройка, а что будет потом — посмотрим.

Уход из Афганистана — это перестройка. Договор о евроракетах — это перестройка. Гласность, новая система выборов, новые институты власти — это перестройка.

Сегодняшние цели и средства затрагивают судьбу десятков и сотен миллионов людей. Поэтому надо мерить каждый шаг своей мерой, не забывая, конечно, о дальнейшей программе обновления общества. Ибо каждое поколение людей живет на земле, увы, только один раз и заслуживает того, чтобы к нему относились как к цели, а не как к средству.

Идеология коммунизма родилась на почве бедности и обездоленности широких масс. Для них это была мечта о сытой жизни, о равенстве потребления благ, об исчезновении богатых, эксплуататоров и начальства в лице чиновников государства. В России она родилась еще из страха перед капитализмом, отсюда шло стремление создать общество без рынка, без денег, с прямым распределением, общества без государства. Но российская традиция веры в доброго царя и государственное величие скоро взяли верх. Тогда и появился сталинизм. Тогда и появилась стагнация общества, утратившего стимулы для своего развития. Где же выход?

Выход в демократическом преобразовании общества, всей его структуры — снизу доверху. Это и есть перестройка, начатая по инициативе Горбачева, представляющего все наше поколение детей XX съезда.

Меня часто спрашивали за рубежом, да и в стране: чем отличаются и в чем похожи Хрущев и Горбачев? Нелегко ответить на этот вопрос, хотя я знал Хрущева и четыре раза сопровождал Горбачева в поездках за рубеж, в том числе во время его встреч с Рейганом — в Женеве, Рейкьявике и Вашингтоне.

Прежде всего, что роднит этих двух деятелей. Первое — личные качества: активность, реформаторский характер и генетический демократизм. Оба они родились в деревне, причем Горбачев — в казачьем районе, там, где еще сохранилась тяга к русской вольнице. Затем, оба они представляют то направление в партии, из которого вышли

такие деятели, как Бухарин, Рыков, Вознесенский. Это направление демократического, гуманного социализма, которое сейчас стало официальной платформой ЦК КПСС. Оно никогда не умирало, несмотря даже на сталинские избиения. Надо ли напоминать, что наша партия почти двадцать лет называлась Российской социал-демократической рабочей партией. В 1918 году, в пору надежд на скорую мировую революцию, она была переименована в Коммунистическую. В конце своей жизни, после провала «военного коммунизма», Ленин вернулся ко многим идеям прежней партийной программы: смешанная экономика, свобода культурных направлений, борьба различных течений внутри партии.

Первозданный демократизм, подкрепляемый постоянно чаяниями народа и требованиями экономики, вопреки всему продолжал жить. Именно этим объясняются такие, казалось бы, необъяснимые явления, как приход к руководству Хрущева после Сталина и Горбачева — после Брежнева.

Но Горбачев резко отличается от Хрущева. Нет нужды говорить о его образовании — он закончил самый престижный в стране Московский университет, причем юридический факультет, что особенно важно для политической работы, а затем еще и сельскохозяйственный институт. Однако не это главное. Главное то, что он представляет новое, послевоенное поколение советских руководителей, которое несет в себе черты новой, демократической политической культуры. Откуда она родилась?

Она родилась из двух источников. Первое — антисталинизм. Это такой могучий заряд, которого хватило бы не на одно поколение. У каждого честного и мыслящего человека сталинизм не мог не вызывать самого яростного неприятия, протеста, противостояния, желания в корне изменить эту чудовищную, античеловеческую систему.

Второе — современный мир. При Сталине страна была полностью изолированной. Она ощетинилась против внешнего мира не только танками и идеологией, но и всем мироощущением почти каждого человека. Хрущев приоткрыл форточку в этот мир и впервые, несмотря на сопротивление собственной «классовой» природы, стал задумываться над вопросом: все ли у нас так хорошо, как мы раньше полагали?

Горбачев — это человек с широко открытыми глазами. Ни одно крупное явление, ни один значимый факт в современных цивилизациях не проходит мимо его сознания.

Он открыл для себя весь мир и жаждет открыть этот мир для всего советского народа. Ему легче это сделать, чем Хрущеву, так как судьба оберегла его от участия в сталинских преступлениях, в подавлении свободы в Венгрии, так же, впрочем, как и от ввода войск в Чехословакию, и в афганской авантюре.

И еще одно, что меня лично особенно удивляет. Горбачев — это первый за всю историю России истинно парламентский лидер. Где он этому учился, какая генетика здесь сказалась — одному богу известно. Он знает и любит демократическую работу. Он основал первый советский парламент и ведет все реформы, опираясь на народное мнение, на гласность и демократизацию. Он верит не только в реформы сверху, как верил Хрущев, а в реформацию снизу, которая проходит через душу и дела каждого человека. Надеюсь, что его постигнет удача и силы правого и левого экстремизма не помешают ему, всем нам, нашему народу выйти на новую историческую дорогу.

Хрущев, знавший так мало о внешнем мире, был глубоко и искренне убежден в превосходстве нашей системы, больше того — в своем собственном превосходстве над западными руководителями. Он гордился тем, что в детстве крутил хвосты быкам, что был из природных рабочих, он искренне презирал Эйзенхауэра, Кеннеди, Аденауэра как выходцев из богатых семей. Он был убежден, что всемирная победа коммунизма — только вопрос времени. Точно так же не любил он «интеллигентиков», которых можно использовать, но нельзя допускать до власти.

Горбачев сам представляет интеллигенцию. Его политический язык находится на уровне высоких мировых стандартов. Ему присущи понимание плюрализма современных цивилизаций и поиск взаимного их обогащения.

Наконец, эпоха. Хрущев руководил страной в момент первого таяния льдов сталинизма внутри страны и «холодной войны» — вовне. Общество, которое выходило из оков сталинского самодержавия, с трудом воспринимало раскованный и разудалый хрущевский популизм. Почти никто на политическом Олимпе и очень мало кто у его подножия был готов к реформаторству Хрущева.

Сейчас — иное время. Брежневская эпоха глубоко травмировала общественное сознание. Не только ощущением отсталости от бурно развивающегося внешнего мира, но и острым чувством бесчестия нашей жизни. Каждый человек на любом этаже социальной лестницы видел, что чаще всего процветают безнравственные и ловкие люди — будь

то в сервисе, на производстве, в искусстве, науке или политике.

Кроме того, оттуда — «из-за бугра» — все чаще стали доходить звуки, а затем накатываться волны технологической революции. Она размывала границы, она объединяла страны, она ломала идеологические стереотипы.

И все же... и все же некоторые слабости хрущевского стиля не вполне преодолены нашими лидерами до сих пор. Главных две. Кадры. Давно известная истина — новая политика требует новых людей — далеко не всегда торжествует в практике перестройки. Затем — экономическая свобода. Она основа и источник не только благосостояния, но и политической свободы. Асимметрия между ними — опасная угроза для общества, его реконструкции. Пока мы не видим на нашем горизонте таких реформаторов, какими были Кардель в Югославии, Эрхард в ФРГ, Охита в Японии. Концепция и политика экономических реформ стала ахиллесовой пятой перестройки, источником социальной напряженности и негативным фоном для национальных конфликтов. Сейчас как раз эти рудименты прежней школы реформаторства начинают преодолеваться.

Но ранняя весна наступила. Хорошее, однако такое опасное время. Ее символом стали Горбачев и его реформы. Но, как говорил еще Токвиль, каждый человек, который начинает реформы, должен знать, что они чреваты революцией. Вспомним судьбу Альенде в Чили — доброго, чистого, либерального демократа и социалиста. Вспомним судьбу Дубчека в Чехословакии. Вспомним, наконец, нашего Никиту Сергеевича. Не всех их сумели уберечь для истории, и история обернулась трагедией в одних странах и пошлым фарсом — в других.

Горбачев способен слушать других, работать с оппонентами, не бояться соперничества, искать рациональное зерно даже в предложениях противников, находить компромиссы. Это огромный шаг вперед к общечеловеческим ценностям нашей политической культуры, которая все еще тяготеет к авторитарно-патриархальным традициям. Но именно это с таким трудом приживается в нашем обществе и политической жизни и, увы, еще мало ценится в народе. Нетерпимость, раздражение, озлобление не только не исчезли, они нередко становятся сильнее в эпоху гласности. Но ведь это и было предтечей и одним из источников сталинизма. Можно ли забывать об этом?

Будем надеяться на мирную революцию в нашей стране. Наша насильственная революция уже обошлась нам в

десятки миллионов человеческих жизней. Не довольно ли крови для одной страны? Путь структурных реформ, которые приведут шаг за шагом к созданию современного гражданского общества с плюралистической экономикой, культурой, политической системой,— таков переход от наследия Сталина к новому обществу. Да осенит нас на этом пути все лучшее, что было у нашего народа и всех народов Земли.

Надеюсь, что читатели смогут почерпнуть в моем рассказе лучшее представление об одном из самых интересных отрезков истории нашей страны — о послесталинском десятилетии. Это поможет им яснее представить себе то, что происходит сейчас и произойдет в будущем.

Нет никакой загадки русской души: это вздор, придуманный людьми, которые, находясь на обочине европейской цивилизации, хотели выработать некий эталон жизни для всего человечества. Есть реальная история страны, представляющая собой одну из многих ныне существующих цивилизаций, которая мучительно приобщается к современной технологической революции и, преодолевая десятилетия изоляции, наследие авторитарно-патриархальной политической культуры, пороки этатизма, постепенно и спонтанно входит в мировое сообщество. Эта история в чем-то напоминает то, что происходило в других не очень развитых странах, в чем-то отличается от них. Если вообще можно понять окружающую нас действительность, то вполне поддается пониманию и объяснению русский феномен.

Мы придем в современный мир своим путем не для того, чтобы стать такими, как другие, но и не для того, чтобы противопоставлять себя другим. И хочется верить, что этот мир — мир XXI века — будет благоприятным и для нас, и для всего человечества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Федор Михайлович Бурлацкий

ВОЖДИ И СОВЕТНИКИ

О Хрущеве, Андропове и не только о них...

Заведующий редакцией *В. М. Подугольников*
Редактор *Н. Б. Чунакова*
Младший редактор *Л. Г. Еремина*
Художник *Е. Г. Капустянский*
Художественный редактор *А. Я. Гладышев*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 8786

Подписано в печать с матриц 28.11.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная импортная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 23,27. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 1379. Цена 3 руб.

Политиздат.
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.